Георгий Владимов

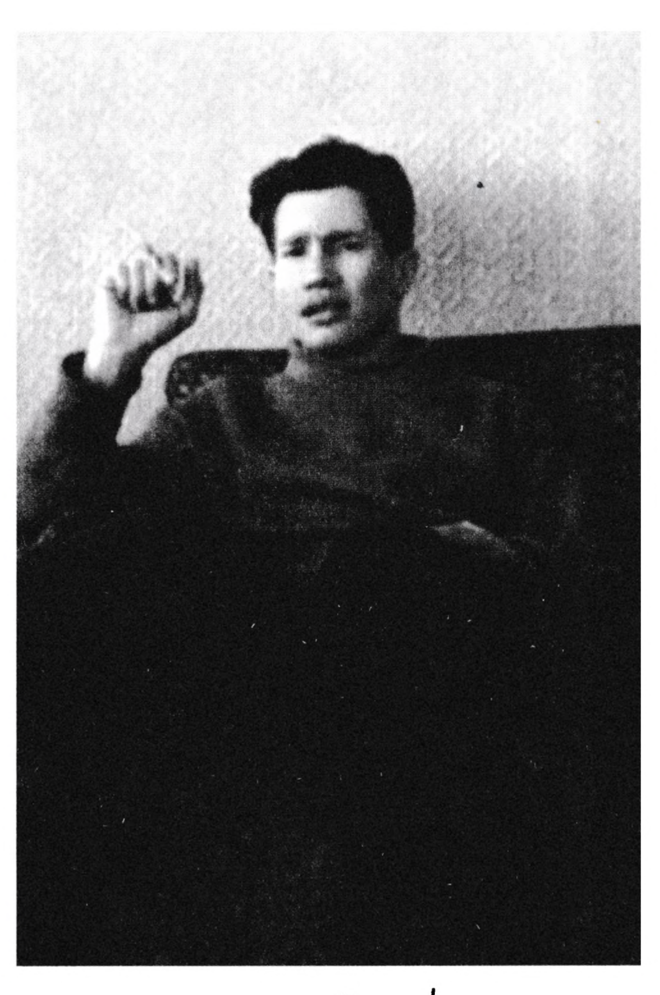
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

4

Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

4



Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том четвертый

✦

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
И ПУБЛИЦИСТИКА

Избранные статьи, выступления,
открытые письма, интервью

✦

Москва
«NFQ/2Print»
1998

УДК 882 Владимов 2 + 882-95 Владимов
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В 57

Оформление художника

Т. САФАЕВА

В томе воспроизведены фотографии из личных архивов Г. Н. Владимова, Б. А. Мессерера и Б. А. Ахмадулиной и архива Комитета Букеровской премии.

ISBN 5-900041-05-0 (Т.4)
ISBN 5-900041-01-8

К СПОРУ О ВЕДЕРНИКОВЕ

1

Довольно нелестное мнение о главном герое драмы Арбузова «Годы странствий» сложилось настолько прочно, что всякую попытку реабилитации Ведерникова стоило бы заранее признать безнадёжной. Спорить со всеми критиками решительно невозможно: не только потому, что одного перечисления уважаемых фамилий стало бы на добрую страницу, и совсем не потому, что столь неопровержима их аргументация — таковой в большинстве случаев вообще не наблюдается, и обвинения, которыми герой начисто побит и скомпрометирован в глазах читателя, окажутся взятыми напрокат из реплик и монологов самих героев, и главным образом самого Ведерникова.

«Сложный человек!» — категорически утверждает критик. Герой же — покорно соглашается: я и сам себя не часто понимаю...

«Дурной человек!» — и на этот раз ответит он: страшно подумать, как я жил до войны!..

«Эгоист!» — о нём так и говорят: если бы он понял всю меру своего эгоизма, то ещё застрелился бы, пожалуй...

«Расплачиваться за его поступки приходится прежде всего другим»,— ...он всё отнял у меня, даже мою любовь к нему...

«Он растратил все свои моральные ценности и ждёт, когда счастье, слава придут к нему в руки»,— ...ведь плохо с тобой, совсем, брат, плохо! Ничтожно ведёшь себя! — сурово откликаются герои... И сам растратчик,— «вздор-

---

Опубликовано с примечанием: «Печатая в дискуссионном порядке статью Георгия Владимова, редакция продолжает обсуждение пьесы «Годы странствий», начатое статьями В. Смирновой (№ 7), Д. Щеглова (№ 8) и Н. Калитина (№ 10)».— *Здесь и далее примечания автора.*

ный, слабый»,– сознаётся довольно словоохотливо: «Уходят дни, и я, как зевака на перекрёстке, стою и любуюсь».

Следовательно, спорить придётся не столько с критиками, сколько с автором, с драмой и её героями. В этот спор я был вовлечён уже в первом акте, когда один из героев (который «смотрит на мир с восторгом и удивлением») сообщил: «Шурка с утра в анатомичке»; одна из героинь, настроенная явно против Ведерникова, съязвила: «Любимое занятие – резать трупы!», а третий – герой, безусловно, многоопытный и положительный настолько, что фигура его «производит впечатление силы», нехотя заявил: «Он никогда не старается казаться лучше, чем он есть на самом деле»... Чего же вам ещё? Вам представляется возможность наблюдать становление характера сильного и честного человека, который смолоду любит работать, жаждет постичь то, чего до него никто не знал, и совершенно искренен в словах и поступках. Будьте за эту судьбу спокойны: если не сломает его трагическая случайность, он станет человеком, он уже человек,– потому что, как бы он ни метался, как бы тяжело ни ошибался, ни падал, в каких бы его щёлоках ни варили, он знай себе режет трупы, нимало не заботясь выглядеть красиво, да ещё и поругивает себя за никчёмность и бесхарактерность.

Ничего нет проще, чем прикладывать к человеку те эпитеты, которыми сам он себя казнит или казнят его окружающие, которые, правда, моложе критиков по возрасту... Некоторые наши критики приобретают по мере накопления стажа и опыта странное обыкновение: садясь за письменный стол, молниеносно забывать о соли и плоти житейской, о простейших будничных мерках, коими, восстав от трудов литературных, будут мерить своих знакомых и самих себя... Впрочем, это ещё не смертельно. Хуже – всё ещё довольно распространённый в критике грех – невнимательность, какая-то фатальная близорукость. Один пример. Много раз обещает Ведерников: «Я больше никогда не стану лгать». Критик раздражается: «Когда же он действительно перестанет лгать?» А когда же он, Ведерников-то, лжёт? Он больше кается, а лжёт-то всего дважды, безобидно и без выгоды для себя, и тут же, спустя минуту, признаётся. Поступки Ведерникова кажутся критику «скорее красивыми, чем искренними»,– это уже поклёп несусветный. Жена Ведерникова, Люся, говорит ему восторженно: «Какой ты красивый! Господи, по-

чему ты такой красивый?» Ведерников, которому по ремарке красивым быть не положено, ответствует: «Много каши ем». Павлик Тучков хвалит его за достойное поведение на ринге — Ведерников отмахивается: «Да... Особенно когда упал на четвереньки!» Удивления заслуживает поразительная неприязнь героя ко всяческой красивости, упрямое стремление не выделяться, стряхнуть с головы ореол, который на него незаслуженно напялили и за который так ему достаётся! Но не выделяться он всё-таки не может, ибо талантлив, умён, искренен и — чего греха таить — тщеславен.

Но самый-то слон, которого не приметили, не здесь. Если это человек дурной, вздорный — и только, почему же он оказывается внутренне подготовленным к большой, мучительной борьбе? Откуда, из какой раздвоенности и эгоизма нашлась у него упрямая, несгибаемая сила, когда, голодный, бездомный, попрекаемый дезертирством, работает он над своим препаратом с надеждой спасти жизни тысяч солдат, добивается первой победы, отказывается от славы, уходит сам на фронт?.. Прежде чем торпедировать Ведерникова ругательными и бездоказательными словами, не мешало бы критику задаться вопросом: что он такое, Ведерников?

Вера Смирнова в статье «Дни и годы Александра Ведерникова» пишет: «“Годы странствий” — лирическая хроника, если можно так сказать, частный дневник поколения, точнее, “история молодого человека”,— одного из людей этого поколения»... Итак, Ведерникову усиленно отказывают в типичности. Это не поколение, даже не часть его, а только *один* молодой человек, чья жизнь может быть названа историей только в кавычках и записана в *частном* дневнике конфиденциальной вязью лирической *хроники*. Отказав герою в типичности, критик далее отказывает ему и в исключительности, и даже создаёт весьма любопытную концепцию равновесия, по которой наш Ведерников пашет золотую середину между «блистательным талантом» и «просто пижоном, лентяем и хвастуном», то есть находится в таком фантастическом состоянии, когда его «стоит только чуть *перегнуть* в одну сторону» — и получится «учёный, новатор, и прочее, и прочее, и прочее», «а пусти его по наклонной в другую сторону», и он вдруг захочет «жить без усилий» и пленять «воображение юных телеграфисток, стенографисток,

студенток». Не странный ли это, однако, субъект, которому так недалеко до истинного героя, что, даже будучи пущен по наклонной, он ещё способен пленять воображение, и даже без усилий! Мы шаг за шагом станем искать разгадку и наконец наткнёмся на «противоречивый, неустойчивый, выпирающий какими-то углами из нашей действительности, нелепо складывающийся, тяжёлый для других и самого героя характер». Нам ещё неведомо, что за грех такой — «выпирание какими-то углами» из действительности, но всё остальное — противоречивость, неустойчивость, нелепость складывания, тяжёлые для других и *самого* героя,— задержит наше внимание и покажется знакомым. И на вопрос о том, кто же увидит себя в герое нашем, мы вправе без колебаний ответить: многие.

«Мы где-то видели его,— говорит Вера Смирнова.— Он нам кого-то напоминает. Он мог быть нашим мужем, или братом, или возлюбленным»... В тысячу раз более правой оказалась бы она, если бы вместо «где-то» сказала «когда-то». Ведерниковы живут не в пространстве, а во времени. Это не поколение, не часть его и не тип, а только *период* одной его разновидности. Понятие «Ведерников» объединяет многих, точнее — всех тех, кто жить ещё не умеет и жаждет научиться, кто понимает своё несовершенство и торопится воспитать в себе человека, самого необходимого на земле, кто мучительно ищет ответов в книгах и в жизни, кто ненавидит себя за угловатость, никчёмность, бесхарактерность, мстительно ранит собственное самолюбие, клянёт себя в бесполезности, мечется, ищет, оскорбляет себя и других, вечно собой недоволен,— за что? — за временное несчастье жить в том «проклятом возрасте», когда понимаешь, что жизнь прекрасна, и столько ломается дров, и все — об твою же голову!

Было бы наивностью полагать, что все неприятности этого возрастного кризиса разом уничтожаются с выбором деятельности. С этого они, пожалуй, только начинаются. До сих пор юноша мог ещё жить бездумно, теперь он ищет кратчайших путей, передоверяет своим силам, хватается за сложнейшее, ошибается, разочаровывается, не верит, с яростью наступает снова, делает уйму всяческих бесполезностей... покуда не придёт жестокий вывод: тот, кто стремится исполнить всё в один год, проигрывает пятилетку. А с этим может прийти и самое страшное: сомнение в правильности выбора. Подумайте, чем только терзается двадцатитрёхлетний Ведерников:

«— Но ведь и жизнь одна! Неужели тебя не мучают искушения, Михаил? А вот я ночью просыпаюсь, и мне вдруг страшно от мысли, что я уже никогда не буду геологом, актёром, лётчиком... А ведь я обо всём этом мечтал когда-то! И вот я придумываю себе разные судьбы, сочиняю небылицы... Сегодня, например, соврал одной особе, что я лётчик. Но ведь я мог быть этим лётчиком,— мог и всё-таки никогда им не буду. Никогда, понимаешь, Миша?»

Лаврухин отвечает «непримиримо»:

«— Нет, Павлов перед смертью говорил: помните, наука требует от человека всей его жизни...»

С этой железной непримиримостью мог бы ответить юноше не только тридцатилетний мужчина, лоб которого «изборождён морщинами», но и любой юнец-ровесник, в горячности позабывший, что Павлов сказал эти правильные вещи всё-таки перед смертью; что труднее всего — и непременно эмпирически — постигаются простейшие жизненные истины и что, наконец, «небылицы» эти, если они сопровождаются повышенным интересом и чтением,— в сущности, очень благодетельны, поскольку с ними юноша унесёт в наступающую зрелость тот необходимый запас дилетантизма, который пригодится ему в будущем в избранной им сфере деятельности. Что же, однако, даст Ведерникову это поучение сегодня? Минутное успокоение — и снова, и снова сомнения и вопросы...

Человек в этом возрасте и такого характера, да к тому же искренний, производит впечатление невыгодное. Он загорается новым порывом уверенности — и выглядит хвастуном. Он тягостно переживает пустячную ошибку — и кажется нытиком. Он углубляется в себя — его считают эгоистом. Он решает «взяться наконец за ум» — его называют бездельником. Он мечтает вслух — мистификатор и лжец! Он вдруг бросается в какое-нибудь сердечное, благородное движение — невпопад! Он, теряя силы, взвинчивает себя напоминанием о славе, об известности, он даже самую малость пробует к ней причаститься, то бишь покрасоваться, посорить деньгами, преподнести какой-нибудь тёте Тасе на последние семейные деньги коробку конфет,— уверяю вас, большего ему и не надо! — и вот уже «растрата моральных ценностей». Я берусь утверждать, что Ведерников первых двух картин, пребывающий в сложном, мучительном кризисе, выход из которого ясен

любому внимательному наблюдателю и неясен только ему самому,— болен далеко не угрожающей болезнью, которую ещё в прошлом веке подметила и нашла возможным не «развенчивать» и не исцелять, а даже оправдать русская литературная критика. Дмитрий Писарев, этот «сухой рационалист», человек редкой психологической наблюдательности и смелости мысли, понимавший молодость, как никто, не только описывает эту болезнь, но и даёт весьма оптимистическую перспективу её развития:

> «В студенческие годы мы не знаем действительной жизни, но мы живём в области мысли; мы в это время долго, упорно и серьёзно думаем о нашей будущей деятельности; мы подходим к явлениям действительности с очень строгими, быть может, неосуществимыми требованиями; взгляд наш на человеческие отношения и на предстоящий труд отличается в молодости скорее излишней *торжественностью*, чем излишним *легкомыслием*. Ветреными юношами выходят из университета только те личности, которые всё время своего учения не переставали быть прилежными учениками или резвыми малютками. Молодые люди, мало-мальски умные и даровитые, переживают обыкновенно во время своего студенчества, при столкновении с живой струёй науки, много тяжёлых и незабвенных минут внутренней борьбы и умственного брожения. Молодой человек углубляется в самого себя и с замиранием сердца задаёт себе решительные вопросы: “Что я такое? Как я проживу на свете? Каков склад моего ума? Каковы размеры моих сил? На что я годен? К чему я себя пристрою? Чем обеспечу за собою право подавать руку честным людям и смотреть им прямо в глаза?” Решение этих вопросов тем более мучительно, что молодость всегда нетерпелива. Молодость *тратит* нерасчетливо всё, начиная от своего двугривенного и кончая своей величайшей драгоценностью — живыми силами организма. Но когда *нерасчётливый* юноша схватывает себя за голову и, потрясённый каким-нибудь новым впечатлением, вдруг с поразительной ясностью чувствует потребность решить вопросы жизни,— тогда юноше кажется, что время не терпит, что каждая минута драгоценна, что надо тотчас сделать решительный выбор, тотчас готовить себя к известной деятельности, что малейшее

промедление вредно и преступно, как медленное самоубийство или как позорное отступничество. В уме молодого человека поднимается буря; вопросы решаются сегодня так, завтра — иначе, через неделю — на третий манер. Молодой человек злится, бранит себя за бесхарактерность, выбивается из сил, унывает, потом принимается за работу хладнокровней, потом опять горячится, опять изнемогает, и понемногу в этих *необходимых и спасительных* бурях нашей молодости созревает и складывается сильный и мужественный характер, который будет встречать и переносить с невозмутимым спокойствием и добродушной весёлостью всё то, что пугает, давит, развращает и уродует мелких людишек, не закалённых *в суровой школе внутренней борьбы и умственных страданий*. Если молодой человек по нескольку раз в месяц меняет решение важнейших вопросов жизни, то эта подвижность вовсе не доказывает, что решения даются ему дёшево и что он относится легкомысленно к своей будущей деятельности. Меняет он свои решения совсем не для того, чтобы увеселять себя разнообразием; он худеет и бледнеет, он ночей не спит от этого увеселения; чем чаще приходится менять, тем больше он страдает; — да ведь что же делать?»*

Действительно, что же делать? Да и нужно ли что-то делать для усмирения необходимых и спасительных бурь? Я не хочу говорить о «вечных типах» и чувствах,— не для того между нами и Писаревым легло почти столетие, небывалое по глубине и количеству исторических перемен,— но молодость остаётся молодостью; талант попрежнему доставляет творцу не столько отрады, сколько терзаний; и по-прежнему в муках, как оно и положено всему прекрасному, рождается человек... Поэтому пусть никого не смутит затянувшееся детство Ведерникова: большому кораблю — большое плавание, на то он и долго строится. Это детство — его многотрудное, мучительное становление, и ни к чему приплетать сюда «бездумность и легкомыслие»: и потому, что это неправда; и потому, что легкомыслие не имеет преимущественного возраста; и потому, что дети, в большинстве своём, не легкомысленны.

---

* Д. И. Писарев. Сердитое бессилие. (Курсив везде мой.— *Г.В.*)

Я вижу стоявшую перед автором огромную художественную задачу, которая не всякому по плечу. Здесь, будьте любезны, научите юношу жить, дайте ему веру в себя, проведите по бурному житейскому морю, пока не войдёт он в надёжное возмужание. А для этого не ограничивайтесь советами, а больше давайте ему бороться и падать, ошибаться и вставать, мыслить, любить, разочаровываться и влюбляться снова. Искусство — не юридическая консультация по бытовым вопросам, готовых рецептов оно не знает и не даёт. Горько разочаруется обратившийся к нему с вопросом: как поступить в данном случае? Но тому, кто ищет и добивается найти, кто смело идет навстречу раздумьям, искусство ответит на вопросы неизмеримо бóльшие и трудные; и главные из этих вопросов два: как жить и каким быть в жизни?

По силам ли эта задача тому, кто за неё взялся? Соответствует ли она излюбленным методам его работы? Алексей Арбузов — писатель не только оригинального склада мысли, но и один из самых стойких борцов за настоящую тенденциозность. Критика уже отмечала чуткий психологизм его манеры, лирическую окрашенность отношений, терпеливое пристрастие к распутыванию труднейших жизненных узлов; говорилось и о том, что герои его живут каждый своей неповторимой жизнью, что драмы его охватывают временем годы, что «годы проходят между картинами», что автор «не боится быта» и поэтому персонажи его «стирают бельё и считают, сколько дней осталось до получки». Последнее обстоятельство имело особенный успех,— и, говоря по совести, это бельё проливает много света на тайны арбузовской лаборатории, ибо он, очевидно, крепко усвоил истину, что велико по-настоящему то великое, которое не боится складываться из мелочей. Он доказал это уже в своей знаменитой «Тане» и продолжает в следующих драмах. Если перед вами влюблённые супруги, вы поначалу будете изумлены той преувеличенно значительной пустяковиной, что составляет содержание их разговоров: они дурачатся и дурачат вас, бьют символические вазочки, несут лирическую чепу́ху, торжественно выпускают из клетки воронёнка, вы вовлекаетесь в эту игру — и не замечаете, что уже... началась трагедия! Вы прозевали, прохлопали её начало. Если бы минуту назад вам сказали, что на глаза героини навернутся слёзы, вы не поверили бы, а теперь не знаете, как могло быть иначе. Уже

оглянувшись назад, вы поймёте, что художник нигде не переступил ту неуловимую границу, где кончается лирика и начинается пошлость, где сам он перестаёт быть поэтом души и становится бардом кастрюльного быта. Просто вещи у Арбузова тоже играют роли. На чём? — на пуговице развивает Гаральд Хог тигриную философию стяжательства, а тёти-Тасина «катастрофическая» керосинка напоминает настоятельно, что это не сцена, а жизнь,— отнеситесь к этому серьёзно. И вы особенно ясно чувствуете, что́ значит: Оля сейчас уходит на фронт.

Жизнь разбрасывает арбузовских героев: по чужим городам, вокзалам и переправам; и много раз, повзрослевшие, изменившиеся, они встретятся в переплетениях дорог, и будут завязываться новые узлы, закипать новые драмы. Характерно, что каждая картина у Арбузова цельна, законченна, монолитна и обладает всеми компонентами целой драмы: вы найдете здесь экспозицию, завязку, кульминацию, финал... Это напоминает серию одноактных пьес с участием одних и тех же — и всё-таки не тех же самых! — героев. Конкретное драматическое действие сосредоточено в каждой отдельной картине, между картинами сохраняется действие внутреннее, психологическое, герои «уносят» его с собою, и если они находятся во власти событий, то — огромных, охватывающих всю страну или мир. Уже поэтому Арбузов не просто бытописатель, а «Европейская хроника» доказала, что кисти его доступно по размаху огромное политическое полотно. Герои его встречаются не только друг с другом, но и с людьми новыми, пришлыми или оседлыми, у которых учатся жить, перенимают истины и привычки, открывают им новые стороны своих неожиданно многогранных характеров. Интересно не то, что живут они каждый своей неповторимой жизнью,— как же иначе? — а то, что живут они многими жизнями, обогащаются в них, растут — свободно, мучительно, упрямо. Герой в развитии и борьбе — неизменная задача драматургии Арбузова. И эта задача неизменно выполняется теми излюбленными приёмами, которые не так просты, как кажутся, и не всякому по плечу, которые обозначают не только время и место действия, но и составляют особенность композиции, окрашивают прозрачным лирическим полутоном диалоги, придают особенную прелесть и силу отношениям, гранят характеры. Эти приёмы — годы и странствия. Странствия и годы...

Я думаю, нет нужды доказывать, что Ведерниковы могли доверить Арбузову своё воспитание в надежде, что сердечный и умный учитель проведёт их по таким чистилищам, где накрепко познаются истины и закаляется молодая сталь. Эксперимент закалки мог бы и не удаться, благодаря ли тому эклектизму художественных средств, особенно опасному для оригинальной индивидуальности, которым слегка грешит Арбузов и который породил в театре фанфарную сцену, где Таню под звуки «Интернационала» толпа поднимает над собой, и столь же помпезный финал «Европейской хроники»,— или по той уважительной причине, что автор, создавая драмы годами и будучи более художником чувства, нежели беспощадным мыслителем, мог, чрезвычайно полюбив героев, потерять чувство их социальной определённости и снисходительно обставить их судьбу помягче. Но чего Ведерниковы ожидать решительно не могли — так лишь того, что их оставят на полдороге, приведут наскоро к общему знаменателю и заставят безбожно каяться в молодых грехах, в болезнях роста и даже в «нарушении советского образа жизни». Да ко всему — осудят за безволие и мелкие подлости... Я не думаю, что Арбузова могло увлечь развенчание Ведерниковых. Развенчивать то, что молодо, шатко, зыбко, а подчас и глупо, то, что само себя ежеминутно развенчивает,— задача не слишком благородная. Но постегать их малость за дуракаваляние, соскоблить запачканную кожицу, выправить мозговые завихрения и сокрушить их внешнюю *интересность* — Арбузов определённо намеревался. И это следовало делать осторожно, чуткими руками, чтобы не лишить Ведерниковых той награды, которая, безусловно, им причитается,— за муки, сомнения и удары судьбы, за ошибки и раскаяние в них: светлого, зрелого и даровитого мужества.

2

«Простыми, бесхитростными путями идут в жизни Павлик Тучков, Лаврухин, Ольга, лишь один Ведерников плутает и куролесит, муча себя и других»,— пишет критик, заметно раздражаясь и, вероятно, не подозревая, что пути, сопряжённые с новаторством, чертовски трудны и так уж «бесхитростны», что пошедший по ним человек,

хотя и не старается вовсе куролесить, почему-то постоянно делает это, каждый раз обещая себе: «Это больше не повторится».

Стоило бы приглядеться внимательней: кого же ставят Ведерникову в назидание?

Павлик Тучков? Павлик, вне сомнения, импонирует многим, раздражённым ведерниковским эгоцентризмом, как достойное воплощение скромности,— на то он, собственно, и существует со своим: «А талантов у меня к тому решительно никаких». Верит он в Шуркину исключительность, понимает его больше, чем другие, но смотрит всё-таки снизу вверх, как слабый на сильного, а сам никаких особенных целей себе не ставит. Он прочно усвоил, что пороху он не выдумает, маму великим открытием не обрадует. Я охотно верю, что Павлик — это чистое, ясное, неиспорченное существо — станет впоследствии прекраснейшим человеком. Однако покуда это произойдёт, изрядно потреплет его судьба. Школу жизни и он пройдёт, только быстрее и пассивнее, ибо меньшего хочет; но целый этот период, канувший у Арбузова за сцену, будет. Для чего третировать один из благороднейших девизов начинания: «Если быть, так быть лучшим!» — и ставить выше его — скромнейшее бездействие не нюхавшего труда и пороху ягнёнка?

Лаврухин? — но ведь та линия «попустительства» Ведерниковым, которую он выражает в драме,— точнее, В. Смирнова открыла в нём,— не вяжется с обликом зрелого мужа, которому пора бы вспомнить уже молодость. Вспомнив, он едва ли читал бы Шурке душеспасительные речи и «попустительствовал»,— а больше бы иронизировал и тонко издевался: Ведерниковым это здорово помогает...

Ольга? Но в том криминале, что припишут Ведерникову, она прямая соучастница, и мне неведомы смягчающие обстоятельства, которые учла сердобольная критика...

Нина? — но ведь эта «будущая Комиссаржевская» состоит на прочном педагогическом иждивении тёти Таси, которая рта не даёт ей раскрыть и кутает горло, ибо голос — «всё для актрисы»...

Люся, жена Ведерникова? — но что скажете вы об этом злом, ревнивом, ограниченном существе до того, как автор преподнесёт вам приятную неожиданность?

Итак, один ещё не Ведерников; другой уже вышел, в основном, из этого писаревского периода; третья прохо-

дит его об руку с Шуркой; четвертая находится в надёжных руках, каким позавидовал бы всякий недоучка; пятая — только тончайшим мастерством драматурга защищена от скоропалительных выводов критики...

И вот на этом-то фоне появляется человек, который один представлен в периоде ломки и роста, весь в строительных лесах, в опасностях обвала и взрывов, незаурядный, необузданный, поверивший в свою подспудную мощь, распираемый ею, страдающий от неё... словом, то исчадие ада, что критики нарекут: «шумный, объявляющий себя гением Ведерников». И дали же ему фамилию, громыхающую, как пустая бочка! Беру под свою ответственность, что гением он нигде себя не объявляет и даже похожего на это нет, а шум — производится, очевидно, такими вещами:

«— Всё вздор! По мне, в тысячу раз важнее узнать причину и следствия болезни, постичь то, чего никто не знал до меня... В конце концов, настоящая медицина ещё не начиналась!

К у з я. Уж не с тебя ли она начнётся, Ведерников?

В е д е р н и к о в. Почему бы и нет! Перед собой надо ставить крупные задачи... А скромность оставим неудачникам, она их здорово украшает. Нет, если говорить серьёзно, я мечтаю вот о чем — стать микробиологом и поступить в Экспериментальный институт. Должен же кто-нибудь из нашего выпуска туда попасть! *(Весело.)* Так вот, пусть это буду я...»

В. Смирнова убеждена, что произносится это «то ли под впечатлением хроники, то ли под влиянием пива... Он явно немножко возбуждён знакомством с красивой девушкой (а отчасти и пивом), он весел и задорен, говорит больше и громче всех, немножко по-мальчишески задаётся». Поистине страшно важно, чем он, Ведерников, был возбуждён — пивом, девицей или кинохроникой? — Да мало ли чем возбуждается молодость; но когда заклиниваются сдерживающие центры, она, молодость, особенно откровенна: в таких случаях говорится всё, что вымечтано днями и ночами, без ложного стыда и мелочного опасения. Бахвальство,— скажут одни. Тщеславие,— покажется другим; а третьи, пожалуй, добавят: карьеризм. Ну что же, Ведерников своих позиций не скрывает, для броских выводов разоблачительства он поистине находка редкостная. Уже его появление напомнит надоевшего

красивого индивидуалиста, щеголяющего — не то «под Демона», не то «под Печорина» — загадочностью для всех и самого себя; и приведённая тирада, казалось бы, дорисует нехитрую позитуру. Но следом пойдёт знакомый уже рассказ о небылицах, затем — в разгар лаврухинских словопрений об идеальном человеке — Ведерников будет спасаться от Кузи и производить весёлую кутерьму, затащит к столу подвыпившего прохожего, с которым только что познакомился в буфете, и закончит чудесным тостом в честь милой девушки Ольги и замечательного парня Михея. И едва ли будет отмечена вами такая маленькая, и такая горькая, сценка: Ведерников — Галина, где на два слова — больше сказать им нечего — сводит их случай и разбрасывает трудное, по-видимому, прошлое. Одна необычайно заинтересуется самоваром, другой — кинется успокаивать внезапно заревновавшую жену:

«Ведерников *(берет ее руки и нежно их целует).* Люсенька, милый мой, маленький человечек, не будь злюкой, ладно? Жить на свете очень хорошо, но очень трудно. Всякое бывает... Вот именно, всякое. Хочешь, убежим к реке и будем там сидеть вдвоем, пока скучно не станет?»

«Бахвальство» уже на язык не просится. Бахвалятся не счастливые жизнью, а довольные собой,— которым легко. О Ведерникове этого не скажешь: у человека, который весь в будущем, уже есть прошлое. Это едва ли завидное состояние, ибо молодость боится воспоминаний: хорошие или плохие, они наводят на мысль о потерянных днях и растраченных чувствах.

Вторая картина представит нам героя на вершине кризиса, в клубке запутанных им же узлов, и одновременно раскроет методы нравственного насилия автора над героем. Ведерников ещё не оформился, не окреп, а уже вовлечён автором в угрожающее подобие социального конфликта.

Дм. Щеглов в статье «Новаторство и инерция формы» настроен к Ведерникову явно враждебно, но даже ему «невозможно понять, какое противоречие, подмеченное автором в советских людях и в нашей жизни, заставило его взяться за перо? По-моему, нет в пьесе такого противоречия. Нет в пьесе никаких общественных конфликтов... Он понадобился, этот доктор, чтобы своим моральным обликом и своими общественными качествами создать *видимость* драматической коллизии». Правда, несколько да-

лее тот же критик напишет: «...поступки и высказывания героя таковы, что вместо "сложностей" мы имеем подлость, которая отбрасывает его за пределы морали нашего общества и превращает в политического негодяя...» Чем объясняется подобный эмоциональный накал? Я вынужден говорить об эмоциях потому, что мера обвинения заведомо не эквивалентна содеянному. Арбузов словно задался целью вызвать к Ведерникову неприязнь и бросил на это сильное своё оружие: тончайшее психологическое мастерство. Например, о герое много, слишком много говорят, и преимущественно женщины. Даже рассказ о бое с чемпионом вложен в уста восхищённой Люси, и вот непустячный, в сущности, подвиг снижен до известной формулы: «Нравимся жене, и то довольны донельзя!» Обвинение же безоговорочно приняло сторону героев, комментирующих его поступки со своих колоколен, и поэтому так трудно представить действительную картину строительства этого сложного и богатого характера.

Во второй картине мы слышим о Ведерникове:

«Л а в р у х и н. За последнее время Шурка со всеми перессорился в клинике... И вообще неладно с ним... Изобрёл какой-то новый мозольный пластырь и получил уйму денег, а потом истратил их самым дурацким образом... Словом, совсем закружился малый...

О л ь г а. Мне как-то Иван Степанович про него сказал: если бы вы знали, как я не люблю своего любимого ученика!»

Мы ещё ничего не знаем ни о причинах ссоры «со всеми в клинике», ни о том, что представляет собой Иван Степанович, который одним, очевидно, говорит, что любит Ведерникова, другим — что не любит; ни о размерах полученной «уймы», ни, наконец, о целительных свойствах мозольного пластыря. Но определённый халтурщик и склочник уже витает в нашем воображении, провоцируя отдаться справедливому негодованию. Пусть так. Но где же карьерист, о котором мы заикнулись?.. Нет, истинные карьеристы не бывают склочниками, особливо накануне решения судьбы. Истинные карьеристы знают, что пуще всего изматывает финишная прямая, и приберегут халтурную уйму на выпускной букет многосильному Ивану Степановичу. Только искренняя, необузданная натура может так изнервничаться в страстном ожидании, так закружиться в решающие месяцы, что потеряет способ-

ность расчётливо ждать и всё предоставит на усмотрение фортуны, оставив себе только всюду рассказывать, что дело с Экспериментальным институтом на мази. Юность ещё оптимистически смотрит на случай, это столько же говорит в её пользу, сколько и причиняет ей вред. Но что же знает автор о сущих бахвалах, об истинных резвых малютках и прилежных учениках, о карьеристах подлинных? О настоящих склочниках и халтурщиках? Где они в пьесе? Не может же быть один: и пламенным бахвалом, и расчётливым карьеристом, и тщеславным циником, и донжуаном, и чёртом-дьяволом! Одно убивает другое. Ведерников борется сам с собою: больше ни ему, ни другим бороться не с кем. Я не берусь утверждать, что, появись на горизонте контуры всамделишного негодяя, наш герой ринулся бы первым в эту борьбу, но фигура его засияла бы иными красками.

Ведерникова обвиняют ещё и в том, что он — одиночка, противопоставляющий себя коллективу. Но это вовсе не так. Он, напротив, человек очень артельный, и это видно хотя бы из того, как тянется он к людям и как легко сходится с ними. Встретился ему в буфете подвыпивший прохожий,— он уже с ним на «ты» и тащит к столу. Пожилой сержант на переправе,— и с ним говорит он, как с близким, открывая наболевшую душу. Задумывает он препарат от гангрены — и немедленно оповещает всех. Даже от Павлика не хочет он отрываться далеко — и говорит ему: «Ничего, Павлик, и наше время придёт!» Он не таится, ничего не скрывает, он у всех на виду,— только не всегда это благоразумно. Угощает Ведерников на последние деньги конфетами тётю Тасю,— бог мой, сколько поднимается шума! Люся — едва не заплачет, Павлик — и тот на дыбы привстанет; а у критиков этот поступок, вероятно, и пройдёт под грифом «не столько искреннего, сколько красивого». А ведь всего-то стоило разобраться, что же это за тётя Тася, если не жаль отдать ей последнее? Попробуем восполнить этот пробел.

Тётя Тася, бывшая опереточная актриса, надо думать, не из тех выдающихся актрис, которые делают роли. Она из тех, кого делают роли. Усвоив за сценическую жизнь много красивых чувств и благородных реплик на всякие случаи, она организовала свой духовный мир искусством и теперь настолько свободно обитает в атмосфере ею же создаваемой красивой и благородной искусственности,

что опуститься и омещаниться уже не может. В речи её не встретится пресной житейской мудрости, трезвого словца,— она мудра по-своему: не потому, что много жила, а потому, что много играла. Современность и быт знает она приблизительно, распространяет на них аромат старомодной возвышенности, и внимание ее спотыкается о всевозможные «катастрофические мелочи»: это и «совершенно незнакомый петух», с которым «надо как-то бороться»; и пришедшая со двора «ужасная собака», которую требуется убедить, чтобы она ушла и больше не приходила; и фитиль керосинки, провалившийся «куда-то вниз». Во всем этом, конечно, много лукавства и беззащитной насмешки над собой, вынужденной на склоне лет заняться стряпнёй и хозяйством; но люди, которые не прочь посмеяться над собою,— уже примечательны. Она всё-таки видела в искусстве труд и теперь «как-то борется» с положением иждивенки. Почти ослепшая, она воспитывает племянницу-актрису и учит хорошему тону молодёжь. Иногда, впрочем, она претендует на большее: например, чтобы ей разъяснили «некоторые вопросы, связанные с тактикой глубоко эшелонированной обороны», но это говорит лишь о том, что великое «чуть-чуть» ещё не всегда соблюдается Арбузовым. В остальном тётя Тася скромна, не навязывается в менторы и не требует к себе внимания молодёжи: именно потому, что молода душой. Молодёжь её, безусловно, любит, ибо вся она дышит, светится ласковым обаянием, но никто её особенно не замечает, не говорит с нею больше двух слов и даже не поддержит начатого ею разговора — и часто совсем напрасно, потому что говорит она очень весёлые вещи. Она, разумеется, прибавляет, рассказывая свои кулисные эпизоды, но это для оживления картины. Она всё замечает в доме, но не в силах никому помочь, не может вплотную приблизиться к молодым; она хочет деятельности, да не знает, как к ней приступить; она не столько хозяйка в доме, сколько его добродетельный ласковый дух; в основе её поведения лежат не логические идеалы, а полуинстинктивное стремление к хорошему. Тётя Тася чем-то незримо, но глубоко родственна Ведерникову: тем ли, что оба они мечтатели, только он — о будущем, она — о прошлом; или тем, что обоих любят, но не уважают; или, быть может, своим «надпочвенным», полуреальным отношением к жизни и неспособностью обрести над нею

власть. Так или иначе, но лишь эгоист Ведерников задумывается, почему же не вышла замуж красивая Настасья Владимировна. Действительно ли потому, что «умные мужчины боятся красивых женщин и женятся на дурнушках, так что на нашу долю достаются одни дураки»? Или потому нет у неё своей семьи и детей, что на руках её были чужие дети и с ними она не могла предпринять этот многотрудный женский подвиг? Или причиной — неприспособленность её даже к той среде, где прошла вся жизнь её? В это верится охотней, потому что она о «своих» мужчинах вспоминает без злости: видимо, её никто не совратил, не обманул, но только все проходили мимо, совестясь глубже заглянуть в её беззащитную, обаятельную доверчивость; и жизнь её, взбалмошная и неустроенная, была мечтой и ожиданием. Нетактично, может быть, расспрашивать пожилую женщину,— но бестактность не обязательно сестра равнодушия. По крайней мере недаром тётя Тася «смущена и очарована» и недаром только Ведерникову говорит, что всё-таки очень любит его. Только он и догадывается напомнить, что в ней уважают человека, женщину, бывшую актрису. И потом, ведь это великое блаженство: дарить на последние деньги! Только и всего, уважаемые критики. Только и всего!

Нет нужды комментировать дальнейшее пребывание Ведерникова во второй картине, где ему приходится круто и он огрызается на заслуженные и незаслуженные упрёки: всё это не следствие эгоистической природы, а только симптомы кризиса, о котором я уже говорил и не хочу повторяться. Но один упрёк я обязан привести, как наиболее существенный и общий:

«Л а в р у х и н *(вплотную подходит к Ведерникову).* А ну-ка давай начистоту. Ведь плохо с тобой, Шурка, совсем, брат, плохо!.. Вспомни, как мы раньше спорили ночами, мечтали о будущем, о медицине... Как хотели работать вместе. Да ведь я... я богаче становился после наших споров, ты был необходим мне тогда! А теперь? Почему ты мне больше не нужен? Почему мне неинтересно стало с тобой, Шура?

В е д е р н и к о в *(насмешливо).* Званием кандидата не удостоен, Михаил Иванович, вот и стал не пара».

Ответ, скажем прямо, не самый блестящий из всех возможных. Однако и упрекать полагается, малость оглядываясь на себя,— ведь и Лаврухин, несмотря на возраст

и стаж пребывания в положительных, ушёл недалеко от Шурки: не кто иной, как он, разразится чисто ведерниковской тирадой: «*(Вспыхнул.)* Я должен работать. Завтра. С утра. Иначе мне крышка, понимаешь, Люся?» Далее прояснятся другие параллели, и вот первая из них: Лаврухин так же откажется от места в Экспериментальном в пользу Ведерникова, как и последний от авторства в пользу Павлика,— но уж таковы законы траектории шишек на бедного Макара, что критики, умиляясь одному, не поймут естественнейшей природы поступка другого. Критик Дм. Щеглов пишет о «мелкой, подленькой» зависти героя, «которая никак уж не совместима с истинным талантом». Но зависть понятие слишком общее, необходимо добавить: чему завидуют. Если Ведерникова прельщают в Экспериментальном московские виды и солидная ставка, о нём едва ли стоило бы дальше спорить. Но ежели он рвётся экспериментировать, постигать незнаемое, делать настоящую медицину, которая «ещё не начиналась»,— тогда, сознаваясь в этой прекрасной зависти, он раскрывается как человек идеи и темперамента. Едва ли он чем-нибудь ниже Лаврухина, который сам признаётся: «Я завидовал тогда, смертельно завидовал, что это тебе выпала такая великая работа...» И критику, подумавши, придётся признать, что мелкая, подленькая зависть несовместима не только с истинным талантом, но и с подлинным Ведерниковым.

До поры, пока человек не сделал первого крупного дела жизни, нередко моторы его питаются тщеславием. Это не так страшно, как кажется: тщеславие — сильное горючее, но не разрушительное, если только оно разбавлено другими, облагораживающими желаниями, которыми впоследствии только и будет питаться окрепшая воля. Юноша ещё не отведал славы, ещё не знает, что всё-таки много ценнее её — сознание своей необходимости ближним. Но тщеславие уже выше корысти: ибо стяжательство ведёт в берлогу одиночества, а славы нет без людей; стяжательство ищет тропы легчайшей, а слава бросает порою в жестокий труд; стяжательство отваживается на подвиг по необходимости, а слава ищет его сама; наконец, стяжательство — грех преждевременной старости, и его исцеляет могила, тщеславие же — болезнь молодости и поддаётся лечению развившимся чувством юмора и жизнью. Юноша, замысливший «опрокинуть земное тяготение», став на путь большого и добровольного труда

для людей, неизбежно поднимется до разумного понимания жизни и смехом излечится от былых зараз, в том числе от заразы тщеславия. Труд ведь создаёт не только ценности, но и самого творца,— в этом его неискоренимая благодетельная сила. Творческая воля и ум безусловно окупят накладные расходы наивных желаний, а сами эти желания выгорят постепенно и незаметно. Скажем, вы загорелись непоколебимым желанием утереть нос чемпиону и начнёте жестокую тренировку: вы откажетесь от курения, сядете на мясную диету, будете бегать кроссы, подтягиваться на шкафу и обливаться холодной водой из крана. Однако может случиться, что ваше намерение ослабнет — не потому, что вам не побить чемпиона, они на то и существуют, чтобы их бить, но просто вас отвлекут другие задачи, более дельные, нежели утирание задравшихся чемпионских носов, и пустячным покажется вам желание, которому вы посвятили столько сил. Но скажете ли вы, что тренировались напрасно, что зря закаляли волю и тело в добровольных усилиях?

Вот так же тщеславие образует молодую душу Ведерникова, научит его многим полезным и деловитым вещам, и, как прежде, в бою, трижды поднимало его из нокдауна, поднимет теперь в большой, целеустремленной работе. А затем оно выгорит без следа. Тогда-то и получит он искомое средство, которым обычно и исцеляются от мук строительного периода. Это средство: *достойная и конкретная* задача. И вас уже не удивит «неожиданный» перелом, которым ознаменуется третье появление Ведерникова:

«— Мне дорог каждый час, ещё несколько дней, несколько опытов... *(Лихорадочно.)* Но у меня нет крыс. Третьего дня я украл у соседей кошку, а вчера мне не повезло и сегодня тоже... *(Тихо.)* Люсенька, Люсенька, жизнь моя... пожалей меня... Второй месяц я не ем и не сплю... Сотни тысяч солдат умерли, не дождавшись, я должен был им помочь. Но время, время. Ещё немножко, совсем немножко...» *(Медленно валится на пол.)*

Входит О л ь г а, видит его на полу, подбегает к нему.

О л ь г а. Шура. Шура... родной!..

В е д е р н и к о в *(цепляясь за неё руками)*. Крыс... достаньте мне крыс... Вы должны достать мне крыс».

Ведерникова нельзя тут жалеть: он достоин большего, чем жалость. Но предоставим о дальнейшем расска-

зывать В. Смирновой: «Дом его разрушен бомбой, и он не хочет хлопотать о пристанище, он прямо идет к Ольге, зная, что она его любит, не оставит в беде. Он заболевает сначала тифом, потом воспалением лёгких, и болезнь надолго снимает с него всякую ответственность. Но и выздоровев, устроившись без забот в доме Лаврухина, продолжая работать над препаратом, Ведерников долго не может добиться нужного результата. “Время идёт, умирают наши люди, а я всё ещё путаюсь, как слепой в трёх соснах”,– он сознаёт это и сам». Нетрудно видеть, до чего пристрастен этот пересказ. Оно и неудивительно: поведение героя не содержит ровным счётом никакого состава преступления,– тем более теперь, когда любому непредубеждённому наблюдателю ясна благодетельная перековка, начавшаяся в тяжёлом, исстрадавшемся характере.

«Время идёт» по-прежнему, но только значительно быстрее, потому что «умирают наши люди»... «Мне дорог каждый час... Ещё немножко, ещё несколько опытов...» И как раз теперь неожиданно забыто о том, что ещё недавно казалось заманчивой целью. «Славы? Чепуха! Если мне повезёт, я, не задумываясь, припишу свое авторство любому. Нет, я хочу иметь успех у самого себя, а это значит – всё осуществить самолично. Всё от начала до конца».

Вот здесь-то наш герой ставит себя наконец под прямые удары критики. «Больше всего на свете,– восклицает В. Смирнова,– он хочет иметь успех у самого себя! Вот поистине высшая степень эгоизма!» Я думаю, это высшая степень того же пристрастного пересказа. Да, он хочет иметь успех у самого себя, но не «больше всего на свете», а только больше, чем успех у других: иного понимания и не напрашивается. Ну-с, а у кого нужно иметь успех, дабы степень эгоизма понизилась? Или – вообще не жаждать успеха? Самоличные устремления Ведерникова вызывают у критиков бездну негодования: в этом видят нарушение элементарнейших устоев коллективизма, мораль отщепенца и даже (Дм. Щеглов) «сверхчеловеческую» идеологию. Впрочем, от политического негодяйства это не шибкий скачок. Однако никто не решается прямо ответить на поставленный вопрос: как же поверить в собственные силы, не сделав ни одного самостоятельного дела в жизни, как определить место в общественной жизни и как занять его, не обладая цензом умения, опыта и реальных

свершений? Нет, не с тупеньким упрямством отстаивает он свои незавидные позиции, но ищет достойного выхода из создавшейся жизненной трудности, хватаясь за работу свою, как за якорь спасения. Страдания не кончились, но схватки пошли быстрее и требуют больше трудов, темперамента, силы. И уже не зевакой на перекрёстке, а настойчивым яростным искателем верной тропы предстанет герой наш во всех последующих сценах.

«— Я всё решу сам! *(Пауза.)* Нет, ничего я не решу. Мне так всё легко давалось, а теперь, когда я взялся за настоящее, большое, я бессилен, совершенно бессилен, Павлик! Хочешь, скажу правду? Мне стыдно тебя. Вот этих двух честных медалей стыдно... В трамвае я не гляжу в глаза военным, мне кажется, что я всех обманул... обнадёжил, а не сумел. *(Садится за стол и закрывает лицо руками.)*»

Так, друже! Ты ещё много раз закроешь лицо руками, но будет же день, когда ты откроешь его и посмотришь на себя с гордостью. Ты прав и неправ, говоря, что тебе «всё легко давалось». Прав потому, что сегодняшнее дело посложнее мозольного пластыря. Но «сегодня» у новатора всегда труднее, чем «вчера», а «завтра» у него самое трудное. Ты долго будешь ещё страдать, не зная, что с этой болью придёт исцеление, будешь ещё плутать и куролесить, открывая восхитительные Америки,— но ведь от этого не перестают быть первооткрывателями! Это первые необходимые шаги исследователя, которого ты давно хотел увидеть в себе, и потому не беда, что случаются казусы такого рода:

«— Здесь, здесь надо искать! Но как же я раньше не догадался? Ведь это так просто, малый ребёнок и то понял бы, а я... *(Хохочет, счастливый.)*»

Этот полубезумный смех уже здоров и отраден.

Нет, он — не урод. Он только гадкий утёнок.

3

Лаврухин — человек, безусловно, чистый. Человек сурового и скромного поколения, чьей судьбою стало слово «пятилетка», он не растерял себя, не растратил принципов, трезво доволен тем, что имеет, и — продолжает мечтать. Но вот, например, Ольге, которую он вырастил и любит, он говорит:

«— Настоящее чувство, даже если оно безответно, делает человека счастливым... Вот почему меня нельзя разлучить с тобой. Ты — это свет, который будет мне светить всю жизнь... до конца».

Слышать это неприятно и обидно, и я не могу понять, почему это растрогало критиков. Человек боевого, наступательного поколения пробавляется утешительной философией неудачника, замешенной на водице евнухоидального всепрощения с проблесками мистицизма,— а критики умиляются моральной чистоте любви и благостному перегоранию собственнических пережитков. Но всякий нормальный человек, так называемый «простой смертный и, разумеется, грешник», превосходно знает, что именно настоящее чувство, если оно безответно, и заставляет страдать. А почему должно быть иначе? И почему благороднее отступиться, оставив свою, может случиться, ошибившуюся возлюбленную с первым приглянувшимся ей покорителем сердец? Чем в таком случае утешаться, какими нравственными материями и доводами? Кстати, и женщинам это не нравится: если их любят, то идут на всё. Может быть, этим и решаются последние колебания. И потом — здесь ни эгоизма, ни драки за женщину: есть только борьба за любовь и борьба за человека.

Вторая часть лаврухинской формулы не лучше первой: этакий сорокалетний муж довольствуется тем, что светить ему будут на расстоянии. Это, впрочем, его дело, так ему, видимо, больше нравится. Но в чём, почему и как может светить ему Ольга, не блистающая никакими особенными достижениями? В этом смысле и Лаврухин, и Ведерников, убеждённый, что Ольга помогла ему «стать другим», больны одной болезнью: оба не видят Ольгину душу, тоже строящуюся и потому страдающую, оба замечательно глупо, как и подобает влюблённым «возвышенным» мужчинам, созерцают в ней воплощение неизреченного идеала,— тогда как это всего лишь обыкновенная хорошая женщина, стихия которой — тоже обыкновенная человеческая дружба-любовь. Если же она и претендует на что-либо иное, так это просто женское издание ведерниковских завихрений. А между тем вот на таких,— порою интересных, иногда оригинальных, подчас уродливых,— отступлениях от общепринятого «правильного» представления о любви строит Арбузов любовные коллизии драмы, создаёт увлекательные женские характеры,— чем и даёт мне право посвятить им отдельную главу.

Стоило бы говорить особо о женских образах Арбузова, даже о галерее арбузовских женщин. Это, конечно, Таня, затем Шаманова, Дуся, Дагни, Мария Йенсен, Галина, Ольга, Люся Ведерникова, тётя Тася. Едва ли столько наберётся у него характеров мужских, и это кажется удивительным, если припомнить, что женские типы составляют слабую сторону большинства наших писателей.

Раскосая и суматошная жизнь Ведерникова вторгается в жизнь четырёх женщин, и в каждой отражается по-своему, обнажает особенный душевный мир, каждая из них воспринимает и любит Ведерникова различно. Это щедрость наблюдения и творческих сил и это особое, трудно достижимое мастерство: заставить каждый образ светить отражённым светом другого и помогать отсвечивать различным граням его натуры.

Одно из таких чудес — рассказ Галины:

«— Почему я не стала его женой? Так вот, выражаясь не фигурально, милая девушка, ему было на меня наплевать!.. О, иногда он бывал очень внимателен и заботлив, но… из вежливости. Он жил какой-то странной единоличной жизнью… ничего не давал и брать не хотел тоже. Последнее было особенно обидным… и я ушла! *(Усмехнулась.)* Как видите, он не очень огорчился. Впрочем, совесть у него всё-таки есть, и если бы он понял всю меру своего эгоизма, то ещё застрелился бы, пожалуй. Вот почему он никогда не позволит себе этого понять. *(Помолчав.)* Здесь, в Москве, живёт его мать, но он почти не бывает у неё… Придумал, видите ли, что прежде ему следует прославиться! Явится этакий герой с портретом, напечатанным во всех газетах, и поразит старуху мать! *(В сильном волнении.)* Он всё отнял у меня, даже мою любовь к нему… А знаете, что во всём этом самое страшное? *(Тихо.)* Я жалею, что оставила его. До сих пор. Жалею… За что, по-вашему, можно полюбить? По-моему, за талант. Это самое красивое, что есть в человеке. Я любила его талант, пожалуй, больше, чем его самого. Я придумывала Шуре волшебное будущее и в этом будущем первое место отводила себе. Ну, а нынче, как видите, осталась ни с чем. Бросила учиться. Всё полетело кувырком. Всё».

Вы услышите этот неподдельный вопль души и, вероятно, почувствуете прилив негодования к герою, которому было решительно наплевать на эту «полную и очень красивую блондинку». Меня не удивляет, что некоторые

критики явно пошли на эту приманку и разглядели лишь заурядный «обличительный монолог». Чтобы увидеть другое: например, мастерски сделанный *двойной портрет,*— нужно, видимо, откинуть затасканные шаблоны, приблизиться вплотную к манере автора, наконец, повнимательнее подойти к выведенным отношениям. Галина — женщина редкой внутренней честности и не скрывает собственной нелогичности и вины. Она, возможно, не понимает, что газетные мечтания Ведерникова — немалое следствие ею же придуманного «волшебного будущего», что эгоисты по доброй воле не стреляются, а совесть никогда не состояла в том, чтоб не позволять себе видеть свои пороки. Не знает она и всей мучительности сознания, что тебя и любят в кредит,— поневоле не захочешь брать и постараешься жить единоличной жизнью. Но в душе её зреют обида и жалость к себе: много старше Ведерникова, она ничему его не научила, ничего в нём не исправила, ничего он от неё не взял, а ведь женщина даже одних лет с мужчиной уже видит себя старше его и опытней и претендует на педагогическое господство. Но обижаться только на себя большинство смертных неспособно, и Галина надолго затаивает к Ведерникову неприязнь. Она ещё любит его, тянется к нему, даже помогает деньгами, однако не упускает случая уколоть, когда он особенно беззащитен.

Люся — прямая противоположность ей и заявляет об этом прямо:

«— А по мне, так даже лучше, если он не знаменитый.

Г а л и н а. Почему же это?

Л ю с я *(очень искренне).* Всё-таки!.. И любить меня больше будет, и к другой не уйдёт. *(Улыбнулась.)* Я иногда даже иду по улице и думаю, вот если бы он под трамвай попал, я бы так о нём заботилась...»

Эта искренность столь велика, что не нуждается в ремарках. Наивный и ревнивый ребенок, Люся обожает мужа преданной любовью, тянется к нему всеми помыслами, бережёт каждое нежное воспоминание. Каким бы Шуренька ни был, он всегда для неё хорош, если только весь принадлежит ей! Он не по хорошу мил, а по милу хорош, и всё, что делает он, уже наверное хорошо и правильно. Она и морских свинок предпочитает крысам только потому, что «Александру Николаевичу» свинок «препарировать приятней». Она ему всё прощает, вся живёт

и светится им... и мы начинаем чувствовать, что эта любовь не только слепая, но и слабенькая. Случись что-либо с Ведерниковым, и Люся не выдержит потрясения, завянет, ссохнется, умрёт. Этим сладеньким трагизмом кто-нибудь бы и воспользовался, только не Арбузов, написавший «Таню», и поэтому Люся когда-нибудь выйдет на дорогу, «неожиданно» преодолев и тяготы эвакуации, и работу на сварке танков, и временную потерю мужа. И, что интереснее всего, сохранит самоё себя. Она ещё будет рассказывать, как весело жили все вместе, как «играли в дурачки», ожидая Шуренькиных писем, «только вот их не было»,— но уже не без права ответит Ольге: «Я теперь не бедная!» И та же Галина поймёт и переоценит её. Но Ведерников ещё раньше понимает, что жена его «замечательная личность». Он, быть может, недостаточно бережёт ее, хотя всегда подчёркнуто нежен,— он попросту рано женился, рано стал отцом, а слава рисовалась ему непременно об руку с умной и сильной женщиной-товарищем,— но, безусловно, он любит жену больше, чем это кажется, и знает, что в трудные дни сможет на неё опереться. Только вот этого-то Ведерниковы и не ценят, и опираться ни на кого не хотят. Здесь, очевидно, и кроется одна из причин разрыва.

Единственное исключение из галереи замечательных и земных женщин составит Ольга, в которой автор покусился-таки на «высокую женскую душу» и заставил героев-мужчин так на неё смотреть,— отчего и пошли дальнейшие неувязки. Героиня эта заявляет своё кредо с угрожающей ясностью:

«— Раньше, девчонкой, мне казалось, что любить — значит пожертвовать всем, что имеешь. Теперь я знаю, что ошиблась. Любить — значит научить, помочь, спасти».

Тут что-то не так! — заметит благоразумный читатель и будет бесконечно прав. Обычно влюблённые просто любят, а не рассуждают, что такое любовь. И критика усмотрела «ненужную рассудочность», и Галина смекнула, какая опасность угрожает Мише, который и «сам всякого спасёт», и Ольга постепенно поняла, что если в чём-нибудь ошибалась, так только в своей привязанности к Лаврухину. Но мы-то ещё не подозреваем, что опасность спасения медленно, но верно нависает над Ведерниковым! Кто же, кроме него, нуждается в спасении? Были бы спасители, а утопающие найдутся. Уже Ведерников рисуется

Ольге «вздорным и слабым», и как раз в момент своего наивысшего взлёта, и уже не терпится ей истощить запасы спасательных способностей. В какие это выльется формы, сказать не берусь, хотя и знаю за Ольгой три благодеяния: помогла Ведерникову перенести болезнь, оградила от упрёков в дезертирстве, зашила пиджак. Всё это, разумеется, важно и нужно и, вероятно, требовало присутствия ласковых женских рук. Но едва ли на это размахивались автор и его героиня. Что же могло быть иного?

По моему глубокому убеждению, Ведерниковы в спасении не нуждаются. Ведь самая мысль о спасении их возникает в напряжённейшие для них моменты, когда особенно нагружена воля, клокочут силы, мечется ум, то есть когда любое спасение означает лишь усмирение *необходимых и спасительных* бурь. Тем более странно ожидать подобного ментора из среды очаровательно милых, лирически настроенных — точнее, лирически расстроенных — интеллигентных женщин, которые составляют для Ведерникова невыгодный и неверный фон «случайной кружковщины». Последнее очень верно замечено В. Смирновой; только вместо «выросший в атмосфере случайной кружковщины» следует, мне думается, говорить «показанный», ибо вырасти в кружковщине у нас практически невозможно. Советское общество воздействует на Ведерниковых всей совокупностью достаточно ярких педагогических средств, среди которых кинохроника испанских событий весит куда больше лаврухинских душеспасительных речей. И это даёт молодым умам развиваться вольготно, деловито, не стесняясь давлением чужого разума и одновременно не слишком отклоняясь от верного стержня, оценивая на ходу собственные ошибки и откладывая в баланс собственные достижения. Неисправимые эмпирики, Ведерниковы до всего доходят своей башкой и мозолями, терпят удары и щелчки, стонут от них и смеются одновременно. И снова ищут, не верят, находят и проверяют. В конечном итоге они приходят ко многим истинам, и даже к тем азбучным, что внушались им радетельными учителями; но, во-первых, приходят не ко всем; во-вторых, приходят с неколебимой верой; и, в-третьих, приносят собственный арсенал наблюдений, гипотез, догадок, истин. И, оглядываясь добродушно назад, не очень жалеют о потраченных силах и времени. Следует ли таких спасать?

Но вот что представляется мне самой большой и непоправимой натяжкой. Да, эгоисты Ведерниковы умеют быть благодарными, они умеют ценить терпеливую заботу и глубочайше ценят даже ненужный им благой порыв. Они и полюбить за это могут, пойти на жертвы, покинуть семью и броситься в скитания. Но что до их деятельности,— этим они никогда не жертвуют, поскольку это — выше их. Можно поверить, что герой наш остался на перепутье, понял, что любит Ольгу, уже после отъезда её на фронт, и решился написать жене о разрыве. Он мог решить, что Ольга — та искомая и найденная наконец женщина, что будет ему по росту и на всю жизнь. Он мог, наконец, не вынести пребывания в тылу, и все его метания сошлись в единственном порыве — на фронт! Но во что решительно нельзя поверить: в то, что он мог оставить работу, в которой были его судьба, жизнь, исцеление. Автор представляет дело так, будто Ведерников остановился на полпути, бросил рождённое своею мыслью, и вменит это ему в вину как одно из составных «нарушения советского образа жизни». Это и заставляет нас обратиться к фактам.

Разговор Ведерникова с Ольгой — о славе, авторстве и «успехе у самого себя» — происходит в день её отъезда и доказывает, что герой наш по-прежнему стоек в своём заблуждении, несмотря на все старания опекунши и даже им вопреки. Резкости его тона не смягчает даже зарождающаяся любовь; он, видимо, непреклонно настроен ещё голодать, ещё болеть, выносить упрёки, но достичь желанной победы, а там — безразлично, кому припишут славу. И могло ли случиться, что, сделав самую малость, герой наш уже обессилеет и откажется от борьбы, что в нём не пробудилась новая сила, которая сильнее воли, сильнее тщеславия,— жажда завершения? Нет, и автор не решается приписать Ведерникову сдачу по слабости духа: можно понять, что, напротив, он ринулся туда, где казалось ему труднее. Гадать приходится потому, что прямого ответа не даёт Арбузов. Он оставляет героя и переносит действие в Борск, куда приходит сомнительная весть о первой победе Ведерникова и его отчаянное письмо жене. В конце концов, неотъемлемое право Арбузова — убить то, что он породил, и каким угодно способом. Но имеющий права имеет и обязанности. Элементарный закон композиции требует, чтобы герой был на сцене в на-

пряжённейший миг борьбы, в труднейшую минуту изображаемого периода его биографии. И уж поскольку Арбузов почёл это, в сущности, обыкновенное, «рядовое» метание Ведерникнова *решающим*, определившим всю его судьбу, он обязан был не уклониться взглянуть в лицо герою и показать этот великий перелом обязательно на сцене, непременно на наших глазах, чтобы и мы были судьями. Этого не произошло, и в остальное мы можем с полным правом не верить. Не верить, что Ведерников отложил борьбу до неопределенной даты; что и на фронте, в окопной грязи и госпитальной суматохе, не носил он выкладок и расчётов; что не пытался урвать от работы и сна минуту для своих опытов; что его желание найти Ольгу заслонило всё остальное, в том числе — желание найти наконец своё исцеление и обрести своё место в жизни, выполнить и свой патриотический долг.

4

Четвёртый акт! В него упираются копья и стрелы критиков-адвокатов и критиков-обвинителей, недоумения зрителей и разноречивые выводы читательских дебатов. В него, наконец, упёрся и сам Ведерников. Сложный уготовлен ему переплёт «коварным» автором. Пять лет герой наш не видел матери — и она умирает в день его возвращения. Узнаёт он, что дочка совсем выросла и скоро пойдёт в школу; что Люсе трудно жилось, но она не сдавалась, любит его и ждёт; что Нина стала актрисой, а тётя Тася ещё больше ослепла и постарела; что Галина в Борске «познала цену людям, познала цену себе», а Лаврухин закончил брошенный труд Ведерникова и по-прежнему любит Ольгу и надеется, хоть и не верит. Выросли, изменились все, «кому оставлена жизнь», но старые чувства живут и требуют,— таков итог ведерниковских лет и странствий. Но это значит лишь то, что настало труднейшее испытание сердца и воли Ведерникова. Сердце его должно поручить себя уму, а ум обязан быть острым, точным и беспощадным, как скальпель в руке хирурга, ибо надо не поддаться минутной слабости, отсечь то, что сгнило, и то, что станет гнить впоследствии, принять решение самое человечное, разумнейшее для всех и для себя, принять бесповоротно, честно и на всю жизнь. Но не ждите от Ведерникова ни одного активного поступка,

решительного шага,— другие решат его судьбу, укажут ошибки и пути исправления, распорядятся даже его любовью, а сам он будет только соглашаться, каяться, благодарить, страдать, отделываться от больших решений маленькими подлостями, обнимать и целовать Лаврухина... и ничем не докажет, что прожил годы и странствовал не зря! И вот как это произойдёт.

Мы помним этот май, весну 1945-го, когда украшались цветами и плакатами разбомблённые вокзалы, прикрывались фанерой обугленные руины городов и сшитые наспех пути давали зелёную улицу фронтовикам-победителям. Возвращались они возмужалые, поседевшие, иные искалеченные, но с неукротимой жаждой жизни и созидания, с мужественным намерением восстанавливать, строить, работать лучше, чем до войны, чтобы в лихорадке новых дней залечить собственную боль, делами воздвигнуть памятник павшим, мощно двинуть вперёд нашу прерванную войной жизнь. Приходили и те, кто запятнал себя дезертирством и малодушием и не до конца успел искупить вину,— была и у них и грела надежда в новых делах и задачах выправить пошатнувшуюся душу. Но едва ли кого-нибудь оглушила долгожданная тишина, обессилила тоска по сгоревшему дому. И едва ли кто-нибудь ступал на спасённую в боях землю так осторожно, пугливо, в полном расстройстве воли к жизни, как это делают Ведерников и его возлюбленная:

«Ведерников. Мы с тобою, как два беспризорника.

Ольга. Почему?

Ведерников. Так мне кажется.

Ольга. О чём ты думаешь?

Ведерников. О нашем доме. Видишь, я нарисовал его на земле прутиком. Тебе нравится?

Ольга. Да. *(Улыбнулась.)* Особенно воротца красивые.

Ведерников. Где этот дом, Оля?

Ольга. Не знаю. *(Показывая на рисунок.)* Вот здесь... И больше нигде... *(Смотрит на Ведерникова.)* Ты всё время думаешь о Люсе и Шурочке... Что с ними... да?

Ведерников молча кивнул головой. Пауза.

И я тоже... *(Тихонько.)* Знаешь... на войне я часто загадывала: неужели мы снова встретимся? Тогда это казалось таким счастьем!.. А теперь, когда мы наконец вместе...

В е д е р н и к о в. Это перестало тебе казаться счастьем?

О л ь г а *(в отчаянии).* Молчи!.. Мы так долго искали друг друга... И вот нашли... *(Сжимая его руки.)* Остального нет. Правда?

В е д е р н и к о в. Наверно».

Ну что же, друг наш ситный, долгонько ждали мы, чем кончится затянувшееся детство; уж и закаялись ждать. Много наломано дров, наговорено глупостей, спотыкано на ровном месте. Ты уже оскорбил одного «человечка», оскорбил, как мог, давши ей понять словесами возвышенными, что не она помогла тебе «стать другим». Кажется, теперь на руку твою опирается настоящая? Ты искал её по фронтам, нашёл под пулями и привёз к порогу несуществующего дома... Так строй же его, этот дом, а не мечтай о нём, строй в «оставленной» тебе жизни, а не рисуй прутиком на земле. В женщине всегда живёт здоровый инстинкт надежды на силу и мужество спутника, на его непреложную обязанность и способность заложить фундамент и балки так называемого счастья,— это не помешает настоящей женщине пойти за другом на «край света», на баррикады, не оставить его, если он откажется от этого счастья во имя большого принципа, большой идеи. Но не простит она ему ханжества и безволия, не ответит материнской улыбкой на заячьи полунамёки, на этот исполненный тайной надежды вопрос: «Это перестало тебе казаться счастьем?» — на всё, чем пытается устрашить её эта лирическая размазня. Закоренелый циник и отъявленный моралист поступили бы достойней: первый — какой-нибудь липкой истиной враз охладил бы её надежды, второй — сделал бы то же деликатней и многоречивее, вероятно, прочёл бы ей, бывшей любовнице, логическую и обстоятельную тираду о пользе нормального воспитания детей, рождённых в законном браке. Много приличней, не говоря уже о сердечности, было бы молча всё обдумать и взвесить, а затем обрубить, но решительно и бесповоротно. Но травить надеждами, отмалчиваться, размышлять вслух... откуда же у этой прекрасносердечной Ольги так много выдержки, чтобы ещё улыбаться красиво нарисованным воротцам, и так мало женской гордости, чтобы в отчаянии сжимать руки нашкодившей малютки и чтобы не встать и не бросить ему в лицо одну из тех уничтожающих фраз, которых побаивается «сильный пол», частенько пасующий перед прекрасным!

Однако автор вознамерился нас убедить, что не только нет у Ведерникова дома, но и быть не может: слишком уж он нагрешил. В новую жизнь не пускают сердечные привязанности, в старую — молодые грехи. А старая уже манит героя нашего, уже рисуется ему в аспекте положительно райском, но и вернуться не может он, как сильный муж без посторонней воли, разума и руки. И вот он вскакивает, в приливе энтузиазма и тоски, которым всегда так невыгодно отличаются слабые души:

«— Да-да, работать! Закончить то, на чём остановился два года назад. Если бы ты знала, как мне нужен сейчас Михей. Ах, чёрт, я слишком много всего наобещал! И вот мне тридцать — молодость прошла... *(Пауза.)* Нет, пусть всё, всё будет сначала».

Редкий, однако, наш герой счастливец: хочется ему Михея — вот и Михей:

«Лаврухин *(тихо).* Вот мы и добрались с тобой до сути, Шура. *(Задумчиво.)* Всё желал сделать один. Ничьей помощи не хотел, так, что ли? *(Пауза.)* Ну что молчишь, фронтовой человек? Вернулся с войны, ордена на тебе поблескивают, и молчишь? Ты что на войне защищал? Наш советский образ жизни! Ради него ты себя не жалел. Ну, ладно, там не жалел, а здесь? Сам же его закон нарушил. Вот твоя первая вина, Ведерников!

Ведерников. Есть и вторая?

Лаврухин *(страстно).* Как ты мог бросить своё... своё! То, что было рождено тобой... твою мысль! Я завидовал тогда, смертельно завидовал, что это тебе выпала такая великая работа, а ты...»

А тут бы герою не молчать и не спрашивать, а хотя бы вежливо напомнить славному Михею, что находится он в драме, где «между картинами проходят годы»; что бывают нотации, в которых уже не нуждаются, и случаи, когда приходится бросить своё, чтобы спасти общее. Ошибка честна, тогда это казалось достойным выходом; к чему теперь упрёки? Но, разумеется, эти примитивные соображения не приходят ни в ту, ни в другую головы; а спустя минуту герой наш, узнав о блистательном завершении Лаврухиным его незаконченной работы, приникает к щеке друга запоздалым благодарственным лобзанием и, не приходя ни в отчаяние, ни в восторг, прочно настраивается на покаянный лад, с которого своротить его нет возможности.

Его покаянные речи, обращённые к разным собеседникам, столь однообразны по интонациям, что могут быть сведены в один сплошной монолог:

«— Да... теперь только одним могу оправдаться — закончить работу. И я сделаю это, даю тебе слово, Мишук... Я думал, видишь ли, что я единственный. Ещё одна ошибка, я сделал их слишком много, Оленька. Теперь у меня ни на одну нет права... Нет, не теперь, но, может быть, когда-нибудь ты простишь меня, Люся... Прости меня... Я не сумел быть хорошим другом... Только обещал и ничего не исполнил. Я хотел всё сделать один — и не смог. Прости и не оставляй меня одного: ты так нужен мне, Миша... Давай будем работать вместе. Я постараюсь быть тебе полезным. Как когда-то».

Последнее предложение, видимо, настолько нехарактерно для Ведерникова, что и Лаврухин, обнятый и поцелованный, смотрит на героя нашего с удивлением и спрашивает заикаясь:

«— Ты... ты решил это, Александр?»

Странное дело! А что он мог решить? Ведь соавторство двух учёных возникает не по дружбе, а из общности научных взглядов, чаще на конкретной проблеме, которую оба вынашивали порознь. Над чем же работать «вместе», если проблема уже разрешена? Над тем, что ещё не задумано? Или потому «вместе», что сам он уже ни на что не способен, разве что быть полезным кому-нибудь? Право, сомнительна эта полезность, и не язык учёного мужа, а лепет грешника, торопящегося под занавес «душу спасать» унизительным самобичеванием! Правда, автор приходит ему на помощь своеобразным композиционным приёмом: между картинами последнего акта проходят не годы, а всего одна ночь, но и на эту ночь раздумий падает инерция нашей привычки, приравнивая её к годам. Пусть так. Но годы прошли; и ночь, равная годам, прошла; а Ведерников только и научился бояться одиночества. Не в этом ли суть коллектива по Арбузову?

Оттого, что «вместе» наш герой не делается достойней, немалая часть обязанностей перекладывается им на других. Любовный узел не развяжется сам собой, а герой наш просит, чтоб его оставили одного, и сам уходит куда-то думать,— именно тогда, когда более всего требуется его присутствие:

«О л ь г а. Я его люблю. Вы угадали это давно. С той поры прошло шесть лет... Годы войны, дороги, разлука,

смерть и опять дороги!.. И вот мы наконец вместе... Несколько лет ждали мы этого дня, и... *(в отчаянии)* помогите мне, я не знаю, что делать... У меня такое чувство, словно я подняла руку на то, что принадлежит другим... Другим, а не мне.

Галина. Уезжайте. Сегодня же. Немедленно!

Ольга. Нет-нет...

Галина. Помню, вы как-то сказали, что полюбить — значит помочь, научить, спасти. Если это так и вы действительно помогли ему стать другим, он не может быть счастлив с вами».

Есть, однако, увесистая пощёчина нашему герою в том забавном обстоятельстве, что труднейшую для него любовную коллизию улаживает женщина, которая «едва не стала его женой». Это, видимо, и даёт ей право поиздеваться над Ведерниковым за глаза и, ещё не видя его после долгих лет, заранее отказывать ему в способности быть благодарным и любить одновременно. А может быть, он действительно «стал другим»? Нет, не может быть! Устами Галины явно глаголет автор. Видимо, здорово крута натура Ведерникова, если и теперь, самоуниженный и прибитый, нуждается он в насилии! И даже не в одном: услышит бесталанная Ольга и мужественный глас, но то не Ведерников будет, а Лаврухин; и от него услышит она слова самые тёплые, увидит поддержку самую дружескую. И только, когда они всё решат, договорятся даже о машине и проездном билете, покажется наконец и наш герой:

«— Спасибо тебе... За всё. *(Целует ее руку.)*

Ольга. И тебе также. За всё. *(Гладит его волосы.)*

Ведерников. Больше тебе не будет за меня совестно. Никогда.

Ольга *(тихонько)*. Тогда мне, пожалуй, можно уйти?

Ведерников. Ступай... Конечно».

Эта маленькая подлость, сдобренная напоминанием, что нынче «кому жизнь оставлена, с того особый спрос», едва ли нуждалась бы в комментариях, не будь преподнесена под видом иносказания. Но через минуту Ведерников не удивится отъезду Ольги, ни словом, ни жестом её не остановит. Значит, иносказания нет, и в этом «ступай», то есть в последнем, что услышит она от Ведерникова, заключается полная мера предназначенного ей издевательства,— ей, которая по воле автора «помогла, спасла, научила»... Далее карьера героя нашего пойдёт много быстрее: инициативу возьмёт на себя Люся, прочтёт ему

чудесный монолог о прелестях жизни, которой Ведерников пренебрёг столь неосторожно; герой наш попросит у неё прощения и приложит её руку к своей щеке — жестом смертельно усталого, скомканного, раздавленного человека. Может, и есть тут сермяжная правда, но видеть и слышать её почему-то обидно... Да и правда ли это?

Перечитывая пьесу, я вновь задаюсь вопросом: для чего же был выведен на сцену мыслящий, очень своеобразный человек и почему постигло его жестокое разочарование? Почему его трудный жизненный путь обернулся версией о человеке, не выполнившем долга перед родиной? Хочется верить, что не развенчание было задачей автора, что просто увидел он в жизни тип, мимо которого пройти не решился, и откликнулся горячей страстью сердца,— поэтому драма и получилась!

За пределами анализа остались многие ее красоты: это и прощание с юностью в первой картине, и сцены в заснеженном Борске, и мудрый водитель Бочкин (в чьи уста и вложена фраза: «Кому жизнь оставлена, с того особый спрос»), и вся сцена на переправе с санитаркой Зойкой Толоконцевой, влюблённой в Ведерникова и погибающей не совсем безотносительно к своей любви; это, наконец, язык, лаконичный и наполненный размышлением и сильным лирическим чувством. И хотя уже, кажется, невежливо поздно, мне всё-таки хочется сказать, как я ценю эту драму даже за спорность её, за побуждение откликнуться горячо и честно, ответить на сложную жизненную коллизию. Но драма имеет другое, полуофициальное название: «Ведерников»,— и это давало мне право сделать статью критическим портретом главного героя. Автор подошёл к нему с требованиями понятными и простыми: он его не жалел и не делал посмешищем, только хотел сокрушить его внешнюю интересность и заставить перейти от игры в придуманную жизнь к самой непридуманной жизни,— как это и делали многие со своими красивыми индивидуалистами, демоническими отщепенцами, рыцарями красивой фразы и никчемных дел. Но случай выдался непредвиденный: оказалось, что эти подпочвенные метания, окрашенные лёгким колером красивости, далеко не только внешние, а суть глубокие симптомы становления большого и многообещающего характера,— и развенчать их значило сокрушить самый характер. В конечном итоге автор притерпелся к нему и пожалел... и решил всё-таки привести к общему знаменателю, причислить любыми

путями к сонму шаблонно «перестраивающихся». Так судьба Александра Ведерникова была обставлена помягче, с пути его убрано непреодолимое, обязанности распределены по чужим плечам... и всё великое становление сковано надеждой андерсеновской наседки, что ее злосчастный птенец «со временем выровняется и станет поменьше». И что же оказалось? Незаурядному человеку едва удалось выхлопотать на празднике победы и жизни скромное местечко провинциального родственника.

Самое странное, что и эта свирепая развязка не удовлетворяет критиков: толкуют о «всепрощении», о «разлитой по всей драме беззлобной теплоте», о недостатке социальной бдительности у Арбузова. Уже от Ведерникова одни мощи остались, это не человек уже, а ходячая мямля в тряпичной обёртке, он только подличать может да плакаться, в нём уже и развенчивать-то нечего. Нет, мало ему этого! Надо бы ещё не так разоблачить! Не так бы ещё отхлестать!

Критик Н. Велехова в «Комсомольской правде» расшибает Ведерникова в пух и дым, категорически отвергая его претензии на «семейный очаг, созданный заботливыми руками Люси». Я не обладаю смелостью Н. Велеховой, чтобы единым побивахом вычеркнуть из нашей жизни целую определённую человеческую разновидность, но хочу отметить, что этот её приговор обнародован по странной случайности в статье, где говорится о пользе свободного развития характера и вредности опеки.

Я думаю, что пора оставить схоластические споры, «каким должен быть наш положительный герой», и подумать трезвее, каков он есть и как помочь ему выявиться полнее. Он ошибается, падает, ищет, встаёт и борется снова, озаряя вспыхнувшей мыслью ещё не изведанное им. Он закипает яростью по самым непредвиденным поводам, он совершает поступки по зову сердца и так или иначе понимаемого долга. Если не пресечём эти метания «педагогическими» окриками, если не помешаем им делаться всё глубже и размашистей, то, может быть, и добьёмся, что проступят рельефнее черты нашего современника. Добивается не тот, кто осторожничает — как бы не потревожить устоявшееся и привычное. Добивается тот, кто добивается!

«Театр», 1954, № 12

О ДИАЛОГЕ

«Он не стремился к механическому подражанию. Он только искал каких-то общих принципов. Он составлял длинные списки искусственных литературных приемов, подмеченных у разных писателей, что позволяло ему делать общие выводы о природе литературного приёма, и, отталкиваясь от них, он вырабатывал собственные, новые и оригинальные приёмы, и учился применять их с тактом и мерой. Точно так же он собирал и записывал удачные и красочные выражения из обыденной речи — выражения, которые обжигали, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, яркими пятнами выделяясь среди унылой пустыни обывательской болтовни. Он старался понять, как явление создаётся, чтобы иметь возможность самому создавать его. Он не довольствовался созерцанием дивного лика красоты... он, как химик в лаборатории, старался разложить красоту на составные части, понять её строение. Это должно было помочь ему создавать красоту. Он хотел знать «как» и «почему». Его гений был рассудителен... С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и комбинациям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин преклонялся с восхищением, понимая, что они созданы некоей высшей творческой силой, лежащей вне пределов человеческого разумения» («Мартин Иден» Джека Лондона).

Это — удивительный рассказ, в котором все вещи названы своими именами, сдёрнута полумистическая завеса над лабораторией писателя и сама лаборатория открыта пытливому взору каждого с той откровенностью, которой большие, честные художники не стыдятся. Им, труженикам, претит кокетничать «чистым вдохновением»,

скрывая от взоров непосвящённых будничную картину «чёрного ремесла». Как выясняется, истинные художники не слишком доверяют своенравной музе и не делают ставки на ее визиты, зато они собственным разумом проникают в святая святых красоты и, подчиняя её своей воле, ставят на службу великой своей задаче. При этом они органически не способны быть поводырями. Если всмотреться внимательно в приведённый рассказ о писательском труде, можно увидеть, что этот рассказ целомудренно чист и вовремя обрывается на той незримой черте, где уже не будет искусства, где кончается даже ремесло и начинается откровенная сердобольная рецептура.

Это покажется парадоксом, но представитель «чистого искусства», ревниво прикрывающий дымкой небесного происхождения таинства своей литературной кухни, способен обучить писательству несравненно быстрее и легче, нежели большой художник, крепко помнящий о земном происхождении художественных творений, о том, что творчество — это труд, упорство, терпение. Ремесленнику ничего не стоит передать кому угодно весь арсенал дюжинных приёмов, уловок и фокусов, которыми он научился блистательно прикрывать убожество или отсутствие социально значительной мысли,— мыслящий художник неспособен на это по той простой причине, что самым добросовестным образом уважает своё оружие и своих соратников. Рецепты, пожалуй, были бы оскорбительны для них, как молчаливое признание их неспособности выковать собственное оружие, которым драться сподручней, ибо оно — по руке.

Начинающий писатель, испытывающий на первых порах потребность в готовых формулах сочинительства, менее всего найдёт их у классиков-гигантов, которым он поначалу не прочь бы и механически подражать. Но зато он в достаточном количестве найдёт их у мелкой эстетствующей бездари, выдающей эти формулы из-под полы с миной непроницаемой загадочности на физиономии. Если формулы эти не увлекут и не развратят начинающего, он примется искать сам и в конце концов наткнётся на черновики великих — а великие, в отличие от прочих, весьма охотно оставляют потомству свои черновики,— и постигнет всю тайну созидания прекрасного из чернозёмной грязи, из ломовых трудов и малопривлекательных потогонных поисков. А постигнув, он, в любом возрасте, по-

чувствует себя приготовишкой и примется за работу истово, не смущаясь начинать с азов. И он в первую очередь поучится обращению со словом, потому что первой крепостью на его пути окажется литературный язык, многим отличающийся от тех обиходных будничных разговоров, которые нам позволяют общаться с ближними.

Он увидит, что великие не только отбирали лучшее у языка своего народа, но сами создавали язык, воздействуя на него активной волей и вкусом, и возвращали взятое у народа — преображённым. Проблема создания языка постоянно стояла перед ними и особенно ярко вспыхивала на крутых поворотах истории искусства. Новое время требовало новых песен, новая песня — новых слов. Всякая вновь возникшая уважающая себя идея непременно желала быть облечённой в новые формы, и стихия событий не могла не сомкнуться со стихией языка. Это могло навести иные умы на идею механического созидания модернизированной речи,— так, на заре нынешнего века, история зло посмеялась над потугами российских футуристов, иначе «будетлян», объявивших себя речетворцами и раскрепостителями пленённого языка. Сочинилось, к примеру, нижеследующее:

Шо да шо, да не нашоками,
А в прополз брюшины шок!
Жриху вырдывыми шоками
Раздабырдывай лешо!

Эдакое и произнести хочется ставши на четвереньки.

А слово и нет нужды выдумывать. В распоряжении сегодняшнего русского писателя — арсеналы богатейшего в мире языка, развивавшегося веками, впитавшего лучшее от всех общественных групп и классов, всю красоту, силу, крепость и свежесть наречий и диалектов громадины-страны. Это богатство движется в его руки самотёком, за ним не нужно ходить, как хаживали русские классики, к просвирням и рыночным нищим, в тюрьмы, бани и кабаки. Островский ездил слушать язык к верховьям Волги, а нынешние волжане стоят у ленинградских станков или захаживают в московские библиотеки. Кипит море жизни, и с нею бурлит и бродит океан слов, постоянно перемешивая свои воды. Достаточно занять своё место на любом участке жизни, и языковая проблема, казалось бы, решена для пишущего.

Но значит ли это, что идея словотворчества, созидания речи теперь начисто снята и художнику остаётся только слушать, брать у народа его язык, да и живописать им по силе возможности? Я, верно, стану ломиться в открытые двери, доказывая, сколь благодарен и ныне труд активного творца, отданный той самой проблеме, которая стояла перед каждым из русских классиков. Однако говорить об этом всё же необходимо: не всякий берущийся за перо знает, что создаёт он не только книгу, но создаёт и язык, по крайней мере должен это делать, должен воздействовать на сырое слово своей активной волей и вкусом, должен возвращать взятое у народа — преображённым.

По скромным моим наблюдениям, писатели-прозаики мало знают о собственных книгах. Выходя из-под пера и облекаясь крепостью печатного шрифта, книга отделяется от её создателя и начинает собственную жизнь, автор же знает только, понравилась она или не понравилась, покупается или не идёт, и почти ничего о том, какие струны задеты ею в многотысячном сердце читателя. Драматург — в более выгодном положении: он может прийти зрителем в зал и мотать на ус восторги и молчание публики, но даже и его не раз удивит неожиданность актёрских толкований. Знание степени и силы своего воздействия на массу писатель приобретает годами. И с годами он всё глубже начинает понимать, как сильно и благодатно — или, увы, наоборот — действует на читателя, слушателя, зрителя — язык.

Сильнее всего увлекает воображение жизненная философия героя; но телесная оболочка мысли — слова. И увлечение более или менее ярким героем сопровождается невольным запоминанием его характерных словечек, оборотов речи, афоризмов, сентенций, крепких и точных фраз. Нет нужды доказывать, насколько это шлифует словесную культуру массы, обогащает её. Но у процесса овладения культурой речи — свои враги: читатель вообще легко воспринимает и усваивает также и газетные штампы, канцелярские обороты и чиновничьи формулы, вялые, сорные, никчёмные словеса; мысль успокаивается на них и отдыхает, а чаще всего — отгораживается непробиваемым словесным барьером от действительности, от восприятия жизненной сути во всей ее цельности и глубине. Пошлость слова неизбежно — и, наверное, неизлечимо — ведёт к застою разума. Школа языка — это также и школа морали.

Иногда от пишущего приходится слышать: «Раньше были купцы, монахи, авантюристы, бродячие актёры, мужики и работный люд,— каждая каста говорила по-своему. Теперь язык стал более однородным и книжным, постепенно выхолащивается и бледнеет». До таких тирад договаривается заурядная кабинетная скука, питаемая однообразным вращением среди надоевших разговоров и лиц. Что же касается книжности, насчёт этого следует говорить особо.

Отвращает не всякая книжность, а только плохая книжность. Обратившись к русской классической прозе XIX века, можно видеть, что весьма живая книжность этой прозы удивительным образом перекликается с диалогами классических трагедий и вместе с тем максимально приближена к разговорному языку. У одного из лучших русских стилистов, Лермонтова, это делается даже с некоторым вызовом: «Герой нашего времени» написан сплошь от первого лица, точнее от первых лиц, каждый из которых ведёт рассказ сообразно своей натуре, миропониманию и запасу слов. Можно пойти еще дальше и вторгнуться в ту область, где книжность вообще не считается особенным грехом,— в область творчества великих русских критиков, сочетавших насыщенность научной мысли с высоким художеством ее выражения. Среди них одним из первых стилистов, наверное, окажется Писарев. Но что составляет силу и прелесть писаревского слога, какая первая его особенность бросится в глаза? Он максимально приближен к разговорному, заимствует у него непринуждённость, юмор и обстоятельность, он предельно прост и очищен от всяческой наукообразности, дешёвой иностранщины и латинизмов. Это стиль не столько трибуна, сколько собеседника, и задушевность его беседы немало зависит от живой её разговорности. Наконец, обращаясь к поэзии, можно видеть, что первейшая суть реформы стихосложения у Маяковского состоит в стремлении предельно приблизиться к языку улиц, площадей, митингующих толп. Ради этого порушены ямбы и хореи и найдены небывалые интонации и ритмы. Существует книжность «академическая», сухопарая, наукообразная, от которой рукою подать до чиновничьих перлов: «К сему прилагаю» и «Настоящим удостоверяется», в этой книжности великая литература неповинна. Но есть и другая книжность, которая сливается с разговорной стихией, стремится к ней, живет

её соками и сама благодатно воздействует на разговорный язык. И может быть, вся история становления русского литературного языка была не чем иным, как борьбою хорошей книжности больших мастеров и знатоков языка с плохой книжностью бездарей.

При Островском не говорили лучше, чем теперь, и это возможно установить с документальной точностью: именно по чахлым и одноцветным творениям бездарных его современников. Из этого сравнения всякий может сделать вывод, что без создания языка ни в какие времена у великих писателей не обходилось и что эта проблема не тревожила только умы производителей писанины, потрафляющей низкопробному вкусу. Таковая количественно преобладает и теперь, но пусть утешится языкотворец: при самой немыслимой плодовитости халтурщиков их творения умирают, едва родившись, а настоящая книга живёт десятилетия, а то и века, и во всё время своей жизни творит и сохраняет язык народа. Уже это соображение должно бы внушить художнику веру в себя, в неминуемо благодарные результаты его работы, закалить терпением и вооружить воинственным духом. Необходимо и возможно лишить халтурщика его активно вредного воздействия на читающую, слушающую, зрительскую массу и, добиваясь преобладания, учить ее говорить остро и сочно, крепко и чисто, выразительно и красиво.

Да, учиться говорить красиво! Я не сомневаюсь, что эта фраза многим режет слух,– но, кажется, в значительной степени оттого, что некогда большой языкотворец Тургенев заклеймил словоблудие памятной со школьных лет формулой: «Мой друг Аркадий, не говори красиво!» Формулу эту приводят к месту и не к месту, забывая, к сожалению, что красота не существует в абстракции, она имеет своё лицо. Наше восхищение красивой женщиной непременно потребует уточнения, что красоту конкретной Анны Петровны составляет своеобразное сочетание ума, женственности, лукавства или гордости, силы и чистоты. Только через эти звенья можно перейти к рассказу об особенностях глаз, выреза ноздрей, очертаний губ или подбородка. Так же и языка, красивого вообще, не существует,– он может быть лаконичным или преувеличенно образным, суровым или задушевным. Высшая его красота – в той гибкости, с которой он в каждом новом обстоятельстве разворачивается полным фронтом своих выразительных средств.

Язык Булычова стихиен, груб, отрывист, но он единственно возможен в той предсмертной схватке, которую ведёт этот некающийся грешник:

«Булычов. Отрёкся — а? За что? За то, что я деньги любил, баб люблю, на сестре твоей, дуре, из-за денег женился, любовником твоим был, за это отрёкся? Эх ты... ворона полоротая! Каркаешь, а — без смысла!.. Молишься день, ночь под колоколами, а — кому молишься, сама того не знаешь... Вспомнила! Страшный суд... Второе пришествие... Эх, ворона! Влетела, накаркала! Ступай, поезжай в свою берлогу с девчонками, с клирошанками лизаться! А вместо денег — вот что получишь от меня — на! *(Показывает кукиш.)*»

Красиво? А почему, собственно, нет? Анафемски красиво — как идеальное выражение бунтующей страсти и обиды, пробудившейся мысли и озорства. И сколько могучей пластики, чёткого и строгого ритма — это хочется пощупать руками, как торцы булыжного тракта. Отсюда слова не выбросишь, чтоб не поранить смертельно всю фразу. И это — создано, этого не услышишь от одного, пусть сверхэрудированного лингвиста-гения, ещё менее — от костромского купчины, даже если ходить за ними с записною книжкою по пятам. Это слышалось годами, проникло в кровь и мозг автора, шепталось и перекраивалось десять и тысячу раз, прежде чем мощный толчок фантазии положил эти отточенные и раскалённые слова на бумагу — в одну из обычных кабинетных минут.

Право, не знаю в литературе более сильного примера борьбы словом, нежели диалоги Егора Булычова с Меланией, Башкиным, попом Павлином, где сам герой, правдоискатель и мятежник, сражаясь со словоблудием и цинизмом окружающих его, становится художником слова, создателем языка...

Как же создаётся язык? Этот вопрос приобретает особенное значение для писателя драматического, который поставлен профессией на первый рубеж, лицом к лицу со стихией разговорной речи. Расхожая истина многих статей о диалоге — «Пьеса пишется разговорным языком» — ничего не дает драматургу и даже дезориентирует его, потому что писать пьесу только разговорным языком — нельзя. Имеются в виду, конечно, не ремарки. Хорошая пьеса пишется синтезом хорошей книжности и создаваемой речи. Я различал бы в диалоге — *придуманное, услы-*

шанное и *созданное*. Первое — не только почти, но даже совсем неприемлемо для реалиста, ограничивание вторым — неизбежно приведёт к бытовизму и серости, все герои будут говорить языком одинаково тусклым или одинаково пёстрым, с изрядной долей болтливости и неуместных острот. Речь может идти только о третьем, которое есть не просто смешение первого и второго, но высший синтез их, новое качество, рождаемое чудесным слиянием фантазии и памяти, рождаемое исключительно тогда, когда рождается характер.

Рецептов к созданию языка — нет. За диалогом нужно идти к его создателю, человеку, слушать разговоры людей и запоминать их, постигать все тончайшие переходы, все перипетии этой изменчивой стихии. Но совершенно ясно, что драматург идёт за словом с несколько иным целевым намерением, нежели поэт и прозаик. Драматург ищет в жизни именно диалог. Не всякий разговор двух есть диалог в его драматическом смысле. Спор — не всегда диалог, спорить могут люди одинаковых убеждений и даже одной точки зрения на обсуждаемый вопрос. А диалог — это борьба, это схватка характеров. Она не всегда, эта схватка, яростна внешне, как в случае Булычова, её прикрывает часто непроницаемая вежливость, многозначительные иносказания и недомолвки, и разговор порою кажется бессвязным и несодержательным, но это — диалог! Люди поспорили и разошлись,— каждый, как говорится, остался при своём мнении,— а диалог непременно побуждает к действию, потому что сам он есть *действие словом*.

Николай Погодин в своей книге «Театр и жизнь» пишет:

«Говоря о мастерстве драматурга, надо прежде всего говорить о языке пьесы. Сценическое слово выполняет функцию действия; оно выражает характер действующего лица; а из этих двух начал и образуется художественная форма пьесы, которая должна свободно, ясно, точно воздействовать на сознание и чувства зрителей. Вот, на мой взгляд, правила, вытекающие одно из другого, которыми должны руководствоваться сценические писатели, когда они пишут пьесу.

Первое правило, в общем, ещё соблюдается — язык более или менее точно выражает происходящее действие,— иначе просто не было бы пьесы... А вот когда надо

через слово ясно, точно, чётко выразить характер действующего лица, тут мы обычно начинаем сдавать».

Автор статьи, как это можно видеть, понимает первое начало — «функцию действия» — настолько же определённо, насколько и ограничительно: «язык более или менее точно выражает происходящее действие». Я не против — ни этой определённости, ни этого ограничения, но уж если перечислять начала, так их не два, а три: автор статьи забывает о воздействии словом не на сознание и чувства зрителей, а на сознание и чувства действующих лиц, то есть о функции диалога как *возбудителя* действия. Без этого начала тоже не было бы пьесы, как нет её, кстати, без ясно, точно и чётко выраженных характеров.

На эту сторону диалога обращал особенное внимание Белинский, утверждая, что диалог тогда лишь действительно драматичен, когда он разговаривающих «становит в новые отношения друг к другу». Эти новые отношения, вероятно, и послужат к последующим действиям, придадут им силу, размах и — обязательность.

Попробую пояснить это на практических примерах небезынтересной пьесы молодого драматурга Виктора Лаврентьева «Светлая». Для этого мне придётся выписать довольно значительную по объёму сцену. В ней мы впервые встречаемся с Илюхиным и Русиновой, о которых ещё ничего не знаем и надеемся узнать из их беседы: вначале оба слушают сообщения радио о боях под Сталинградом, затем Илюхину начинает казаться, что взгляд Русиновой в чём-то его упрекает, а Русинова, со своей стороны, советует Илюхину «не взвинчивать» себя постоянно. Дальнейшее привожу дословно:

«Илюхин. За что вы молча меня упрекаете? За что?

Русинова. И не думаю, и не могу... Я не виновата, что мой муж на фронте, что я полгода не получаю писем... Бывает очень трудно... Ничего другого в моём взгляде нет. Неужели вы не понимаете?

Илюхин. Как не понять... Да, Никита Русинов в армии. Я поручил ему отвезти материалы в институт, а лучший товарищ, друг с давних лет, позволил себе не вернуться, оставить свой пост, уйти в ополчение.

Русинова. Разве можно за это осуждать Никиту?

Илюхин. Конечно, не осудишь! А я из-за него вынужден быть здесь, за тысячу вёрст от фронта. Одинокий, здоровый мужик, о котором некому горевать, должен

сидеть, слушать сводки, написанные кровью товарищей, и заниматься никому теперь не нужным делом — вести изыскания на реке Светлой... Вот о чём говорят ваши взгляды.

Русинова. Неправда! Не выдумывайте! *(Пауза.)* Мы с вами нужны здесь, нужны. Если бы я хоть на минуту поверила, что мы напрасно тратим время и силы, меня давно бы... Ищи-свищи. И вам бы я первая сказала: бросайте!»

Из этой последней реплики зритель вправе заключить, что Русинова — женщина энергичная и самостоятельная, которая и не думает упрекать здорового невоюющего мужика, потому что сама очень трезво и мужественно смотрит на вещи. Если бы дело на реке Светлой казалось ей бесполезным, она бы сама ушла от этого дела на фронт, не спросясь тоскующего Илюхина. Если этого простейшего умозаключения Илюхин не удосужился вывести раньше, так вот ему прекрасный повод оборвать этот тягостный для него разговор. Однако он продолжает его, уже с новой позиции:

«Илюхин. Оставьте... Утешительница... Я никогда не чувствовал себя гостем в этих краях. Я полюбил эту красавицу Светлую. Возможно, за всю жизнь мне суждено сделать всего только один-единственный проект и принять участие в строительстве лишь одной гидростанции. Отказаться от этого мне не так-то просто. Но нашу работу, начатую еще Геннадием Ионычем тридцать лет назад, с успехом довершат другие, в другое, лучшее время...

Русинова. Вы думаете, оно очень далеко?

Илюхин. Даром провидца не обладаю... Мы с вами инженеры и обязаны понимать — не так-то скоро найдутся у государства силы для нового строительства. Сколько уже разрушено, разбито. *(Пауза.)* Вы знаете, что ещё товарищ Ленин одобрил предложение Фролова построить гидростанцию на Светлой. И это было записано в плане электрификации России. Но сколько пришлось ожидать, пока не окрепла страна, пока правительство не сказало — приступайте к изысканиям! Последние годы, помните, мы вместе считали остающиеся дни до начала работы. Начали, и вот...»

Всё это Русинова великолепно знает и помнит, но если уж автору непременно хотелось сообщить это зрителю, то едва ли это возможно было сделать лучше, чем в разгово-

рах Илюхина с новичком Лубенцовым, там это прозвучало бы уместней, патетичней и действенней, там бы Илюхин своими воспоминаниями боролся, а здесь он только отбивается от кажущихся ему упрёков своей действительной союзницы. И хотя ему уже ясно, что она его никоим образом не осуждает, он так разошёлся, что не может остановиться и начинает сам на себя возводить обвинения:

«Илюхин *(горячась)*. Я убежден, что нас просто забыли. Забыли, что где-то у чёрта на рогах, на берегу далёкой реки, застряла с довоенных дней экспедиция, её остатки. Застряла — ну и ладно. Есть поважнее работа. И вот по чьей-то забывчивости — я просто дезертир. Да, дезертир».

Всё очень естественно, ничего не скажешь: сидя в тылу, когда другие воюют, даже при большом и полезном деле, почувствуешь себя дезертиром. И, вероятно, это особенно обидно, если такое случилось «по чьей-то забывчивости». Тут не нужны никакие дальнейшие объяснения, а нужно стиснуть зубы, молчать и не плакаться. Что же заставляет Илюхина думать о своём дезертирстве, точнее, как он это состояние объясняет?

«Илюхин. Помните, Татьяна Васильевна, что нас действительно забыли. Денег давно не переводят. Нас не включают в списки на снабжение. Я краснею, когда по обязанности прошу в райторге выдать для нас немного муки, сахара… Я с завистью слушаю, как другие посетители говорят о нуждах людей, работающих для фронта. Они не просят, а требуют. И им дают. А на меня смотрят как на странного, надоедливого фантазёра и только-только не обзывают дармоедом. Я не говорил вам об этом.

Русинова. Опасались, что у меня пропадёт аппетит или опустятся руки? А я буду есть хоть жмых, хоть одну картошку, а работу не брошу… Не надо отчаиваться.

Илюхин. Благодарю. Изумительный вывод. Я отчаиваюсь?! Женщина. Открой вам душу, и получишь взамен чёрт знает что».

Вот видите, сам же напросился на упрёк, а теперь обижается. И при чём же тут женщина? Мужчина бы ему ответил похлеще. Ведь работа у них есть. Продукты в райторге Илюхин получает «по обязанности». В чём же дело? Может быть, ему приятней было бы, чтобы в райторг ходила и краснела там Русинова? Женщине это как будто легче: авось не обзовут дармоедкой. Нет, этого он —

как герой положительный и благородный — хотеть не может. Но тогда — о чём речь? Нет у тебя ощущения своей правоты, чувствуешь ты, что дело твоё бесполезно,— так оставь его и поезжай на фронт, никто тебя не остановит, как не остановили Никиту Русинова. Жена этого решительного человека ещё слишком терпелива и даже мила с тобою:

«Русинова *(невольно улыбаясь)*. Как мне хочется вас утешить. Вы так похожи на обиженного мальчугана».

«Эко, слов-то у тебя сколько!» — говаривал в таких случаях Булычов отцу Павлину. К чему же свелась эта громоздкая, занявшая полторы журнальные страницы сцена? Мы увидели Русинову, которая показалась нам женщиной энергичной и самостоятельной в решениях, только не в меру снисходительной к человеческим слабостям. Мы кое-что узнали о трудном житье-бытье забытой экспедиции, о мечтах Геннадия Ионыча,— только ведь зритель не будет зрителем, если не пропустит всё это мимо ушей, и правильно сделает, потому что это его ещё не интересует. Наконец, мы увидели многословно тоскующего Илюхина, с чувствами, может быть, и возвышенными, но только очень уж расслабленного, плаксивого, дряблого. Наше мнение о нём радикально изменится в дальнейшем, но мы никак не поймём, для чего было автору преподносить нам такую каверзу: Илюхин не из породы «неожиданных» людей, это не леоновский Похлёбкин, да и не ставил автор перед собой такой задачи, он сразу хотел показать нам Илюхина прямым, деловитым, суровым и темпераментным. Но когда он писал эту сцену, то не задал себе простого вопроса: чего же добивается здесь Илюхин, каково его *желание*, зачем он заводит весь этот разговор? В какие новые отношения поставит этот диалог Илюхина и Русинову, какие возбудит действия и к каким последствиям приведёт?

А ведь пьеса-то ещё не началась! Герои только поговорили друг с другом, вспомнили былое, пожаловались на жизнь, поутешали и пообижались друг на друга. И это всё — и рыхлость характеров, и навязчивость экспозиции, и торможение действия — произошло только по причине забвения важнейшей и необходимейшей функции диалога как возбудителя и зачинателя последующих событий.

Но, к чести для Виктора Лаврентьева, он всё-таки опомнился на второй странице и написал небольшую сценку —

такую простую, лаконичную и замечательную по своей полнейшей противоположности вышеприведённой:

«И л ю х и н. ...Лучше дайте мне один совет. У нас есть разное имущество — палатки, всякий инструмент, стекло, гвозди... Заведующий чайной на тракте, Ефим Кутин, предлагает свои услуги по части обмена. В любом колхозе с руками оторвут, оплатят стоимость, а главное, добавят продуктов. По современной терминологии — отоварят натурой. Пойти на это?

Р у с и н о в а. Соблазнительно. Мне, грешнице, уже иногда снятся груды вкусной снеди. А это... это будет законным?

И л ю х и н. Наоборот.

Р у с и н о в а. Тогда зачем же?

И л ю х и н. А легко мне знать, что все вы давно не едите досыта?.. Вы хоть иногда посматривайте на себя в зеркало.

Р у с и н о в а *(помолчав)*. Потерпим. Гоните Кутина.

И л ю х и н. Спасибо».

Вот это самое «спасибо» и даёт нам понять, что никакого совета Илюхин у Русиновой не спрашивал, он только хотел узнать, так ли уж верит она в дело экспедиции, как говорит об этом, и не оставит ли свою работу ради чего-то другого. И трудность мы чувствуем действительную, а не воображаемую: видимо, круто приходится этим людям, если они — суровые и честные — могут всерьёз подумывать об услугах приватного комбинатора. Любопытно, однако, как много времени и слов отнял бесцельный и рыхлый разговор и как мало их потребовало действие! А ведь эта сцена решительно не вытекает из предыдущей. Та — извлекается без особенной потери, этой — фактически начинается пьеса. Пробуждает ли действие этот маленький диалог, «становит» ли героев в новые отношения, словом — есть ли в нём элемент драматический? Безусловно. Русинова ответила: «Гоните Кутина» — и этим обязала себя остаться в экспедиции и разделять с её участниками их трудности и работу. Илюхин проверил её, теперь уже будет ему с ней спокойнее и едва ли покажется, что взгляд этой женщины в чём-то его упрекает. А — Кутин? Подавайте нам теперь Кутина, мы жаждем его лицезреть! Ведь недаром уже и фамилия названа; он, вероятно, ещё заявится и подложит экспедиции какую-нибудь свинью. Станем теперь ожидать да размышлять, как дальше развернётся борьба.

Итак, диалог обрисовывает характер, диалог выражает действие, диалог является источником действия. Последняя функция может, казалось бы, атрофироваться в последнем акте, где всякое действие должно наконец закончиться. Но этого в хороших пьесах всё-таки не происходит, поскольку диалоги последнего акта зачинают *послесценическую* жизнь. Таким образом, все эти три начала должны присутствовать в каждой сцене, от первой реплики пьесы до её финала. Имея в виду эти три начала, драматург и отправляется за словом в жизнь.

Это, разумеется, не должно его ограничивать: он волен слушать все разговоры людей, гнаться за крепчайшим словцом, поразительной фразой, колоритнейшим оборотом, он может и должен слушать интересные беседы, споры и монологи — заранее обдуманное намерение только придаст его поискам целенаправленность и деловой интерес. Он будет искать диалоги, слушать их, поддерживать или возбуждать. Особые свойства памяти помогут ему удержать не только слово, но и те обстоятельства, в которых оно прозвучало. А ведь всегда важно помнить, было ли это в комнатной тиши или в сутолоке улиц, ранним морозным утром или на закате южного дня, сказано в гневе или страсти, в радости или обиде, женщиной или стариком, рабочим или солдатом, учёным или актёром: отрывать сказанное от сказавшего можно лишь с превеликой опаской — фальшь, не замеченная за рабочим столом, неминуемо проявит себя под увеличивающим стеклом сцены, острота покажется домашней, пафос — натянутым, лирика — пошлостью или слюнтяйством.

Всё сказанное, как это можно понять, упирается в проблему памяти. Без хорошей памяти — нет писателя, в особенности драматурга, поскольку его обязанность — запоминать то, что живет секундами. Но память — такое же произведение человека, как сила мышц и качества характера; память можно и необходимо развивать, и в этом на помощь писателю приходит его записная книжка.

Дени Дидро говорит: «Слушать людей и часто говорить с самим собою — вот средства, чтобы подготовить себя для создания диалога». Записная книжка писателя отражает оба этих занятия, и второе — преимущественно перед первым. Она не может быть только складом деталей будущих конструкций, она есть нечто большее, а именно — карманная мастерская первичной обработки

сырого жизненного материала. Записная книжка никоим образом не должна превращаться в заменитель памяти. Она есть разговор писателя с самим собой.

Насколько известно мне из опыта начинающих, записные книжки слишком часто ведутся неправильно, губительно для развития памяти и наблюдательности. Владельцы книжек зачастую не дают себе отчёта в их назначении и заводят книжку приблизительно под девизом: «Начну-ка я записывать всё интересное. Когда-нибудь пригодится. Куда-нибудь вставлю». И записываются парадоксальные случаи, колоритнейшие картинки быта, зарисовки из ряда вон выходящих тёть и дядей, оригинальные словечки, сентенции, афоризмы — то есть ровным счётом всё то, что великолепно удерживается или *должно* удерживаться памятью. Ну что же, возразят мне, зато внимание останавливается на самом интересном, выдающемся, обостряется наблюдательность, умение извлекать жемчужины и блёстки. Смею уверить, что это далеко не так. Во-первых, выдающееся не всегда блестит и бросается в глаза не всякому. Во-вторых, наблюдательность на жемчужинах не обостряется, а, напротив, становится пассивной и пробуждается только под активным воздействием исключительного. В-третьих, наконец, интересное попадается не на каждом шагу, а над книжкой необходимо работать систематически. Неудивительно поэтому, что иные быстро разочаровываются в своих записях, оставляют книжку,— а садясь за писание вещи, не знают самого простого: чина и должности своего героя, привычек его и обычаев, отношения к различным категориям людей и различным историческим событиям, не знают, где и как он воспитывался и вырос, почему женат именно на этой женщине, и, наконец, самое удивительное: не знают, как он говорит,— неужто всё жемчужинами и блёстками? И вот вырисовывается парадоксальнейшая картина: записные книжки некоторых начинающих пестрят изумительными находками, а творения тех же авторов суть кратчайшие расстояния между этими находками, плавающими в мутной слякоти наспех сработанной «рыбы».

Здесь-то, воспитавший в себе критическое чутье или наученный другими, автор ощущает необходимость изменить отношение к работе, и в первую очередь к записной книжке. С годами она становится ровнее, теряет интерес для непосвящённых, из неё всё реже можно зачитать при

случае «что-нибудь остренькое»,— зато она становится глубже, детальней, интимнее и превращается из некоего подобия коллекции — в помощника и друга. К ней прибегают не только с праздничным, но и с будничным, и за эту верность платит она сторицей. Столь же глубоким, интимным, выстраданным становится творение автора, но именно поэтому оно делается теперь достоянием всех.

И теперь же, когда пишущий так привязан к своей книжке, кончается рабская зависимость от неё в процессе самого писания. Она сыграла свою роль, и теперь она как будто и не нужна. Почти парадоксально утверждение многих мастеров пера: когда пишешь вещь — роман ли, рассказ, пьесу,— в записную книжку почти не заглядываешь. Она имеет неизмеримо большее значение, когда её заполняют, ведут, нежели когда читают, лихорадочно перелистывая, с целью подстегнуть нерадивую фантазию. В большинстве случаев это не удаётся, подходящая запись не отыскивается сразу и внимание спотыкается на первых попавшихся блёстках, может быть, и значительных вообще, но решительно бесполезных в эту минуту и даже губительных для рабочего настроения. Приблизительно так здоровый аппетит перебивается конфетами. Но дело не только в этом: фантазия художника не может безнаказанно эксплуатировать вчерашний день. Скупость порождается боязнью «исписаться», но никого от этого не спасает,— как давно известно, только щедрость сохраняет силы, только вечные поиски нового, жадность внимания к нему и щедрость созидания дарят долголетие творчества. И поистине выдающуюся роль в этом играет ненужная и неинтересная для других, но столь необходимая автору записная книжка.

Меня побьют моим же примером из «Мартина Идена», в котором говорится, что этот герой собирал и записывал именно «удачные и красочные выражения», яркими пятнами выделявшиеся «среди унылой пустыни обывательской болтовни». Это требует от меня небольшой оговорки. Наблюдательный читатель мог заметить, что Иден собирал и записывал эти выражения «*точно так же*», как и составлял «длинные списки искусственных литературных приёмов», то есть с намерением разложить красоту на элементы и познать, как явление создаётся, чтоб научиться самому его создавать. Перед нами уже не процесс освоения жизни, а художническая учёба на её

красотах. Записная же книжка — это принадлежность писателя, окунающегося в жизнь с намерением постичь её возможно быстрее, глубже, социальнее, развить свою память и наблюдательность. Те разговоры и фразы, что писатель записал, не отрывая от обстоятельств и личности сказавшего, он может теперь произвольно складывать в разнообразнейших сочетаниях, отбирая лучшее и отбрасывая мусор, дополняя и углубляя диалоги книжной эрудицией. Это, собственно, и есть разговор писателя с са́мим собою и — создание языка. Подобно тому, как из разрозненных чёрточек быта складываются его картины, подобно тому, как из отдельных зарисовок вырастает, живёт и дышит типический характер, так создаётся и складывается его неповторимый язык.

Почему нельзя придумать диалог, вычитать из книг, воссоздать из словарной эрудиции? Это так же невозможно, как придумать тип. Диалог рождается тогда, когда рождается характер. Как рыбу невозможно извлечь из старой её чешуи и заживо облечь в новую, так невозможно реальный, увиденный в жизни характер облечь в словесную оболочку придуманной речи. Диалог — это сценическая сущность характера, и она кровоточит от навязчивого вмешательства. Идя на поводу у критиков и завлитов, требующих во что бы то ни стало индивидуализации речи, авторы пичкают язык героя так называемыми «характерными словечками», начиняют его инверсиями, умолчаниями и придыханиями,— словом, делают уйму благоглупостей во имя того, чтобы язык одного персонажа никоим образом не походил на язык другого. Получается что-нибудь вроде: «Я те, Иван Кузьмич, по-нашему, по-рабочему скажу. Нехорошо вышло. Непартейно».

Временами кажется, что автор спервоначала написал диалоги обыкновенным человеческим языком, а затем пустился во все тяжкие придавать ему рабочие, колхозные, моряцкие, профессорские, студенческие и тому подобные нюансы. Если на то пошло, так уж лучше оставить, как написалось. Если герой мог выразиться так, как это первозданно вышло у автора, и автор не видел в этом особенной фальши,— значит, герой и не мог выражаться по-иному. Так называемые характерные словечки — дело настолько же простое, насколько и бесполезное. Если ваш герой родился и вырос в Саратове, он, разумеется, «а́кает», произносит «хворат» вместо «хворает», употребляет «а

то!» вместо «а как вы думаете?», и просит передать «зá сорок» в троллейбусе. Героя берут на флот — и вот он отъезжает в Мурмáнск, плавает по компáсу, подает рапóрты и ждёт, когда его произведут в мичманá. Затем он отправляется в Одессу, приезжает оттуда и говорит: «А сходим до товарища Зябликова, или есть у него на этот счет инструкций?» Я не против легчайшей стилизации речи, областной или производственной, но есть ли тут хоть какая-нибудь черта характера? Если и есть, так только одна: восприимчивость ко всяким словесным новшествам.

Вся суть индивидуализации речи сводится к тому, чтобы решительно о ней не заботиться. Заботиться нужно об индивидуализации души и мысли. Диалог получится сам собою, если проделана заранее работа наблюдения и записи. А затем герой может говорить свободно, может плавать в словесной стихии, как ему вздумается: если в сознании писателя созрел ясно очерченный психологический тип, речь его неминуемо будет оригинальной и неповторимой.

Есть и другая сторона этого же вопроса: отдавая дань характерным словечкам, автор не может забывать о насущном своём призвании воздействовать активной волей и вкусом на общую культуру народного языка. Косная речь бюрократа не остаётся только на сцене, она проникает в зал и запечатлевается в памяти зрителя. Канцелярские жемчужины, спасая сатирическую комедию, не должны губить языка смеющихся над нею. Здесь уже хозяйское отношение к слову не терпит так называемой объективности: клеймя бюрократа, писатель должен заклеймить и его язык, страстно и отчётливо, вытесняя его из обихода и даже доводя порою до немыслимого, истинно патологического состояния,— как это сделано в знаменитом монологе Победоносикова об аппарате освобождённого времени и текущем моменте, который «характеризуется тем, что он момент стоячий».

Придуманные диалоги за версту себя выдают: от них веет той повышенной драматичностью, которая в жизни ни за что бы писателя не поразила, но на сцене, как он полагает, должна произвести эффект. Этим диалогам обычно свойственны беспомощная иллюстративность, полнейшее отсутствие внутренней логики и совершенная их необязательность для хода действия. Жизнь всегда логичнее этих диалогов, и её логики выдумывающему ни-

когда не учесть, сколько бы он ни напрягал фантазию и ни пытался убедить зрителя жизненностью своих наблюдений.

Я позволю себе занять внимание читателя сценой из последней драмы Александра Штейна «Персональное дело» — в этой сцене отчётливо предстанут слабости придуманного диалога.

В квартиру Хлебниковых пришёл давний друг хозяина, старый военный моряк Черногубов. Он уже познакомился с дочерью Хлебникова, Марьяной, когда прибегает младший брат Марьяны со своим приятелем. Братец — субъект весьма развязный и наделён самобытной страстью «прикидываться идиотом»,— по мнению приятеля, не без успеха. Поэтому сестрицу, считающую долгом делать ему замечания, осуждать не будем. Будем читать дальше.

«Павлик. Воспитываешь? Макаренко!

Марьяна. А ты — отвратительный, несносный нарцисс.

Павлик. Покажи, покажи перед кавалерами учёность.

Черногубов. Насколько помнится, слово «нарцисс» имеет два значения. Первое — садовое луковичное растение с белыми пахучими цветами; второе — самовлюблённый эгоист.

Павлик *(с вызовом)*. Второе, второе! А я не знаю, с кем имею честь...

Черногубов. А я знаю: с нахальным мальчишкой.

Павлик. Поаккуратней, товарищ капитан первого ранга, поаккуратней.

Черногубов *(негромко)*. Молчать!

Павлик. Послушайте, вам здесь не полубак.

Степан. Не мне вам указывать, товарищ капитан первого ранга... Но не опрометчиво ли будет? Не разобравшись в обстановке, принимать решение? Павел мне товарищ, и я дружбы с ним не стыжусь...

Черногубов *(презрительно)*. Товарищ! Он хамит, а ты позволяешь? Настоящий товарищ не подхалимничает, правду режет. Подлиза ты, а не товарищ!

Павлик *(со слезами в голосе)*. Марьянка, это твой знакомый? В конце концов, это чёрт знает что! Меня вольно обзывать, как вам будет угодно, но Степана... Ещё не проверено, кто из вас смерть чаще видел. Он в гвардейском танке до Шпрее дошел, весь в ожогах...

Степан. Будет тебе...

Павлик. За десятку сдал, медаль золотая, в Бауманское приняли, и тут — отличник!

Степан. Ей-богу, глупо. Угомонись ты, петух...

Черногубов. А ежели он такой герой выдающийся, что он в тебе, бедном, нашёл?

Павлик. Я вас не понимаю.

Черногубов. Ты-то сам, например, отличник?

Павлик молчит.

Стипендию получаешь?

Павлик. До первой сессии — нет.

Черногубов. А зачем тебе стипендия? Батя вытянет, у него шея дюжая...

Павлик *(подёрнул плечом)*. Марьянка, будешь кормить или нет? Мы уходим».

То, что эта сцена от начала до конца придумана, ясно и без «нарцисса». «Нарцисс» — только реальное доказательство, потому что сам бы Черногубов с этим «садовым луковичным растением» не справился. Справился предварительно автор со словарем, а потом уже поручил Черногубову объяснить для публики. Он и объяснил, и притом как нельзя более кстати: именно после того, как братец посоветовал сестрице показать «перед кавалерами учёность». Не блещет моряк умом и дальше — при всём убеждении автора, что именно таким шутейным образом и следует морским волкам толковать с неразумной порослью. У автора своя логика! Но у жизни — своя. Студенты — народ зубастый, и не стали бы они оправдываться перед хамоватым Черногубовым ни золотыми медалями, ни гвардейскими ожогами,— да после того, как весьма резонно напомнили ему о полубаке. Они бы его, с позволения сказать, оборжали и сказали бы напоследок, что до батиной дюжей шеи ему нет никакого дела.

Для чего написана эта сцена? Может быть, она нужна по ходу действия? Может быть, она порождает новые отношения — между Павликом и Черногубовым, Павликом и Степаном, Степаном и Черногубовым? Никаких. «Нарцисс» и капитан более ничего не скажут друг другу, только последний заметит, что Павлик — «парень как парень». У Степана с Павликом пойдёт все по-прежнему, у него же с Черногубовым не возникнет ничего. Сцена —

иллюстративна. Она должна характеризовать нахального мальчишку, с жиру прикидывающегося балбесом,— и характеризует довольно непосредственного, хотя и слабонервного субъекта с незначительными проблесками ума. Она должна характеризовать умудрённого жизнью и находчивого моряка — и характеризует его глупейшим солдафоном. Она должна характеризовать Степана носителем армейской чести, вступающимся за товарища,— которого он даже и не уважает,— и характеризует в нём только робость перед начальством.

Придуманный диалог никогда не может стать нужным, он всё испортит и извратит,— и только потому, что, сидя в кабинете, вы никогда не учтёте всех оттенков жизненной логики. И напротив, «мельчайшая пылинка живого», как сказал поэт, всегда окажется к месту, всегда поможет действию, убедит зрителя, что и всё остальное — тоже правда. По-настоящему же убеждает только созданное. Величие и правда — так формулировали большие художники синтез созданного. Величие — это страсть, горение, фантазия, пафос. Правда — это земное, это достоверность, это осязаемый быт. Только в их соединении, в неразделимом сплаве рождается настоящая убедительность.

Не нужно думать, что это под силу только героической патетике, только великим трагедиям, где само величие — правда и где правда — одно сплошное величие. Никакой, даже самый земной и примитивный быт не понуждает художника только придумывать или только «бытописать». Я беру в доказательство сцену из «Светлой»,— это очень простая сцена, происходящая в столовой на тракте нового строительства. Обстановка — самая прозаическая, желания — тоже не отличаются романтизмом. Приходит шофёр Иван Стабретов со товарищи и требует водки. Водки ему не дают. Друзья возмущены и требуют заведующего.

«А н я. Кто меня спрашивал?

И в а н. Я. А-а, не здешняя. Глупые порядки заводишь. Ты знаешь, кто я?

А н я *(холодно)*. Это пробел в моих знаниях.

И в а н. И улыбнуться не желаешь? Так слушай: я — Иван Стабретов. Не слыхала?

А н я. Чем вы знамениты?

И в а н. Работой и своими правилами. Не люблю, когда возражают. Кто до войны здесь больше всех денег оставлял? Я! И теперь, учти, пока буду тракт утюжить, все

левые в вашей кассе. Ясно? Скомандуй. *(Соне.)* Лунатик, шевелись.

Аня. Не обижайте девушку. Она о вас заботится. Ведь жаль, если вы вместе с машиной слетите в ущелье. Левых денег нам не надо. О том, что вы король тракта, постараюсь запомнить. Соня, дай товарищу жалобную книгу. Вашу претензию, вероятно, с удовольствием прочитают работники автоинспекции.

Иван. Постой, постой.

Аня. Вы хотите сказать — постойте?

Иван *(помолчав)*. Скука ты ходячая! Хочешь из шофёра грошового ангелочка сделать? Карамелькой обрадовать? Другой раз не заеду. Замерзать стану — не остановлюсь. С голода скрючит — вашего куска хлеба не съем.

Второй шофёр. Иван, наживёшь неприятности. Сонечка, неси чаёк.

Первый шофёр *(берёт газету)*. Почитаем газетку.

Иван *(отводя Аню в сторону)*. Удружи, товарищ. Я без всякого гонора прошу. Годами во сне виделось, что я ещё промчусь по старому пути. Я тут первым машину проводил, когда ещё и тракта не было в помине. Я об этом часе, как о сказке, на фронте думал. Сколько раз меня калечило, а я упирался, нет, не отдам концы, меня мой столик ждет. Оставляли служить в Германии — не согласился, рвался домой. Где же твоя душа? Глаза? Какой для меня час хочешь испортить. Первый рейс.

Аня. Поверь, товарищ Стабретов, не хотела и не хочу. Если бы вы сразу сказали. Примете от меня угощение? От фронтовички?

Иван (*недоверчиво*). Фронтовички? Почему же плохо нашу натуру знаешь? Ведь у нас так: загорелось — выкладывай с размаху. А с оглядкой да с примеркой пусть копеечники живут».

За подобными речами не нужно далеко ходить, ни высоко подниматься, ни погружаться в лингвистические глубины толковых словарей. Виктор Лаврентьев — писатель с хорошим чувством слова и знанием изображаемого; это и помогает ему, не мудрствуя лукаво, творить из обыденного, выстраивать характеры на самых простых и, казалось бы, примитивных желаниях. Из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся? Бог ты мой, водки не дали! Но вы чувствуете этого темпераментного, гордого и настойчивого парня, с его залихватской отрывистой речью и

широтой души. Вы предчувствуете, что не глупейшей ссорой окончится его встреча с этой женщиной, что они, несомненно, понравятся друг другу и будут верно и крепко дружить. И вас не удивит, если этого парня автор сделает одной из главных движущих сил конфликта.

А теперь посчитайте «характерные словечки» — едва ли вы что-нибудь тут найдёте, кроме «левых денег» и «тракт утюжить», то есть самого банального, что можно узнать об особенностях шофёрского лексикона. Не в этом дело, это можно выбросить или заменить, и образ нимало не пострадает. Дело в той динамичности, страстности, безапелляционности и крепости его речи, без которых Стабретов не Стабретов, потому что выразиться иначе он не мог. Это глубже, чем особенности речи,— это особенности его мысли, его чувства, его характера. Этих простых оборотов: «Глупые порядки заводишь», «Где же твоя душа? Глаза?» — не прилепишь навязчиво к характеру дряблому, или мечтательному, или рассудительному, они опадут с него, как с дерева пожухлая листва. А Стабретов живёт в них, и он не то что выразиться не может иначе, он не может иначе поступить. Это он сам, его философия, его образ жизни. Всё это надо было услышать, воспринять на слух,— иначе бы в такой простой и одновременно патетической сцене фальшью отдавало бы за версту.

Почему диалогу нельзя научиться из книг? Я сознательно оставляю вопрос насчёт учения у классиков напоследок, поскольку подходить к этому учению следует очень и очень осторожно. Диалоги прозы менее всего подходят для этой цели, поскольку выполняют совершенно иные функции. Слово в драме несёт нагрузку и побудителя действия, и самого действия, каковая нагрузка в прозе значительно ослаблена, а в драме выступает на первый план. Даже речевая характеристика персонажей, сходная в прозе и драматургии, имеет для последней не только большее, но даже исключительное значение. Диалоги прозы более характеризуют речь, диалоги драмы — характер. Наконец, выступают чисто акустические соображения: слово прочитанное и слово услышанное могут по-разному зазвучать на сцене. Поэтому слово должно непременно восприняться на слух, и оперировать при создании диалога можно только услышанным словом. Учиться диалогу необходимо на пьесах, но и здесь гораздо более осторожно, нежели учатся пейзажу, описаниям внешно-

сти и манер, ибо слово, в особенности у классиков, составляет настолько неотъемлемую принадлежность говорящего, что неосторожное подражание речи неизбежно приведёт к стилизации под уже известного героя.

И, однако же, надо учиться у классиков: их бережному обращению со словом, их безукоризненному вкусу и неиссякаемой любви к этим крепким и чистым, сочным и объёмистым оборотам, к этим круглым и «вкусным» русским периодам, которые словно бы созданы для идеального выражения душевной силы и недюжинной мудрости. Учиться умению и страсти словотворчества!

Проникнуть в стихию языка — значительно труднее, чем приобрести словарную эрудицию. И важнее! Начинающие нередко путают эти понятия и, в надежде, что вывезет запас слов, тщатся довести его до возможного предела, порядка десяти — двенадцати тысяч. Делать это, разумеется, лучше, чем не делать, но это ещё не решение вопроса. Вещь, написанная с помощью десяти тысяч слов, может оказаться беднее оттенками и ничуть не ярче, не живописней, несмотря на всю языковую пестроту,— нежели написанная с помощью двух тысяч. Здесь уже выступает математический закон сочетаний. Глядя на крымские марины Айвазовского, трудно поверить, что в палитре их создателя было всего три-четыре краски, но каждую из них художник постиг в совершенстве и добивался невиданного количества разнообразнейших сочетаний. Постичь слово, как живописец постигает краску, растирая и размалёвывая её на палитре, добиваясь власти над нею, постичь бездонные недра языка и его золотые россыпи, богатства пластики, музыкальности и ритма — первейшая задача всякого берущегося за перо с намерением жечь глаголом сердца людей. И эта задача никогда не решится ни словесной эквилибристикой, ни добыванием жемчужин, всегда таящих в себе опасность оказаться чужеродными и ненужными.

Без создания диалога нет сценического героя, а есть, в лучшем случае, очерковые зарисовки колоритных личностей; нет типического, а есть придуманное и только щекочущее слух; нет глубокой правды, а есть скольжение по верхушкам. Создавать язык — значит создавать идеи и характеры, значит активно вторгаться в жизнь и воздействовать на неё могущественным оружием — словом.

«Театр», 1955, № 6

КОЕ-ЧТО ОБ «ОШИБКЕ АННЫ»

Название драмы Константина Финна составляет её первую особенность и первую ошибку. Оно указывает зрителю определённый адрес: это трагедия Анны, а не трагедия Бочарникова. Вследствие этого Бочарникову отводится роль стихийно-отрицательного, почти неодушевлённого начала. Это не кто-то, а что-то, и это «что-то» взяло и исковеркало жизнь излишне доверчивой героини, и не могло иначе, потому как — стихия, а со стихий, как водится, взятки гладки. Автор, взявшийся поведать нам о «страшном зле алкоголя», по-видимому, не согласен с тем, что пьянство не представляет собою ни органического порока, ни тупой социальной силы, которые исключали бы напрочь ответственность индивида. Пусть так. И всё же не от случайной встречи с Бочарниковым произошла трагическая ошибка Анны, а от её превратного представления о нём. Поэтому я начну не с Анны Ивановны Балабиной, а с Петра Кондратьевича Бочарникова и постараюсь показать, что эта первая ошибка драмы подтверждается всем ходом её сюжета.

Самое интересное в Бочарникове — то, что он пьёт. Если бы он не пил, не стоило бы писать пьесу. Это доказывает, что Пётр Кондратьевич играет не последнюю скрипку в драме и оказывает неблагодарному автору неоценимую любезность. С какой же радости или с какой печали пьёт Бочарников? В первой же картине он посвящает случайную собеседницу, Анну, в тягостные обстоятельства своей несчастной жизни. Умерла жена, на руках остался ребёнок, ухаживать за ребёнком некому, и пока он, Бочарников, тут сидит, за сыном присматривает чужая женщина, соседка по купе. «Нужно ли такому чело-

Рецензия на пьесу: Константин Финн. Ошибка Анны. Драма.— «Новый мир», 1955, № 10.

веку счастье?» — спрашивает он. Оказывается, счастье ему нужно до зарезу, поскольку он тут же предупреждает Анну, что сейчас он будет «всё более и более грустным становиться», и показывает ей записную книжку с карандашиком и перочинный ножик с носовым платком — мелочи, оставшиеся от покойной жены, которые он почему-то носит в кармане; их, «конечно, можно опять подальше куда-нибудь засунуть», но только это всё равно не поможет, потому что «воспоминания останутся и покинут только тогда, когда измучат тебя вконец». Настроив этим себя на жалостливый, а собеседницу на сострадательный лад, наш герой задаётся новым риторическим вопросом: «Что же ему делать-то, мужчине этому, остаётся? Жить. Это-то, впрочем, нетрудно — изо дня в день. Ремесло несложное. Топ-топ по дорожке, топ-топ левой-правой, правой-левой. Только это, Аннушка, не для меня». Что же для него? «Я,— говорит Бочарников,— жить хочу интересно».

Тому читателю, который уже собирался упрекнуть меня в жестокосердии, я хочу указать на всё несоответствие этой последней фразы с действительным или напущенным состоянием Бочарникова. У кого на душе настоящее горе, тому, как ни странно это, не нужно и счастья. Тот не только не хочет жить интересно, ему вообще жить не хочется. Скажут мне, что всякий же имеет право «забыться», но я ведь этого права не отрицаю. Мне глубоко безразлично, шестимесячный или трехлетний полагается траур, и у меня язык не повернётся упрекать безутешных вдов, которые сочетаются новым браком спустя неделю после поминок. Жизнь идёт вперёд, и пусть мёртвых оплакивают мёртвые, только врать-то зачем? Кто может забыться, пусть забывается. А кто умеет сильно чувствовать, тот знает очень хорошо, что никакими интересностями забыться ему не удастся, потому что за счастье сильно и глубоко ощущать радость приходится расплачиваться несчастьем так же сильно и глубоко переживать горе. И он победит своё горе, но только гордо и молча, не требуя ни от кого утешения и никого не тираня своими переживаниями.

Хочется интересно жить? — прекрасно, но тогда уже о мёртвых говорить не будем, а будем думать о живых мечтах безутешного Петра Кондратьевича. Мечты у него, признаться, не совсем маниловские: «Напишу если кан-

дидатскую диссертацию, стану кандидатом наук». Ну и пусть его пишет, пусть проектирует свой башенный кран, который «поднимет всё, что ему прикажут, а прежде всего меня (то есть Петра Бочарникова.– *Г.В.*) на недосягаемую высоту». По всей вероятности, это и будет та высота, на которой пьянство перестаёт быть исцелением от горестей и становится своего рода украшением жизни.

«Вы, наверное, очень талантливы?!» – восклицает простодушная собеседница. «Кто его знает? – скромничает наш герой.– Пока из слесарей собственными силами стал инженером, а там посмотрим. Может быть, очень, а может, и не очень». Тут мы совершенно успокаиваемся за нашего героя. Талант его не гнетёт. Это значит, что для него не существует ни «святого недовольства», ни терзаний ответственности за свой дар, ни вредной привычки разбрасываться, равно и прочих прелестей, какие дарует фортуна смертному в придачу к одарённости. Блажен, кто не верует в свою гениальность! Что же мешает ему «собственными силами» двигаться дальше, тем же прямым и трезвым путём, пусть к простодушно-эгоистической, но всё-таки цели? «Неудовлетворённость,– тянет Пётр Кондратьевич.– Медленно, медленно пробираюсь. Шажком... Не скоро ещё вознесусь. Если вообще вознесусь... Трудно, Аннушка, трудно! Жизнь не устроена... Вот видите обстановку! Ребёнок. Всё держит, не пускает в чисто поле». А рюмочка между тем путешествует за рюмочкой; фляжку в первой картине сменяет графин во второй; и вот так он целыми днями хнычет, блажит и жалуется на такие мелочи, мимо которых скользит рассеянный взгляд всякого целеустремлённого работника. То у него шнур над столом не так болтается, «и будто ты сам на нём болтаешься», то няньки у него, Кати и Маруси, не задерживаются, то ещё какая-нибудь чертовщина. Что Пётр Кондратьевич не борец, это ясно как божий полдень, поэтому я и обращаю внимание читателя на эту фразу о «чистом поле». О чистых полях, да о настоящем деле, да о том, чтобы «только дорваться до борьбы», очень любят похныкать микроскопические хлюпики, и уж они дорываются, дорываются до седых волос, пока не дорывают последние надежды окружающих. А потом горделиво-скорбно удаляются с арены и не захлопнут за собою крышку гроба, чтоб не сказать на прощанье какую-нибудь оловянную пошлость, вроде того, что «среда заела»,

«засосал проклятый быт». И никогда им в голову не придёт, что вырваться в чисто поле, победить проклятые обстоятельства и дорваться до борьбы — это и было борьбою, это и было первым настоящим делом, и если уж этого не осилили, так нечего было и рассусоливать о вселенских размахах и океанских просторах действия.

Но вот к Бочарникову приходит Анна. «Когда вы со мной,— говорит он ей,— мне уже ничего не надо... Так легко, как давно уже не было». Ну, слава те, господи! — вздохнёт успокоенный читатель. О мёртвых теперь и вовсе забудем. Ребёнок ухожен, квартира прибрана, шнур не болтается, повешен оранжевый абажур счастья. Теперь с какой же болячки пить Бочарникову? А с какой радости, спрашивается, ему бросать? Ведь его заедали мелочи, и дальше будут другие мелочи, от мелочей не избавит нас никакая женщина. Но даже если ангельски заботливая Анна уберёт с его пути всякую пылинку, то ведь этим она окажет Бочарникову коварную услугу. Среда его заедала, но и оправдывала. Теперь же микроскопическому хлюпику предоставляется возможность вырваться в чисто поле, заняться настоящей борьбой и — о, какой пассаж! — перед ним открывается такая бездна собственного безволия и дряблости, о какой он и помыслить не мог в своём хвастливом воображении. Если до Анны он потягивал водку из графина, то я не вижу особенной причины, почему бы ему теперь не хлестать из ведра. Если он раньше хныкал, трудясь через пень колоду, то теперь он вопит и мечется, закусив удила. Он уже и не заботится пристойно выглядеть перед окружающими, и эгоцентрическая суть его стремлений становится слишком очевидной. «Кран вы ваш создаёте только для себя, Пётр Кондратьевич,— говорит ему профессор Солнцев.— Потому-то вы так и торопитесь — поскорее хотите вкусить все радости жизни!» Старик, разумеется, попадает в точку, но это лишь половина правды. Другая половина состоит в том, что Бочарников всеми силами своей маленькой натуры замахивается на такое дело, которое вполне для него исполнимо, но именно в этом вся соль его трагедии. Если бы он вознамерился переплыть сажёнками Тихий океан или, подобно аббату Куаньяру, прочесть 42-томную книгу Моля «История человеческого безумия», тогда бы он живо убедился, что это не его ума и сил задача, и предоставил бы другим совершать эти дикие подвиги. Но

заветное кандидатство тянет его своей дурманящей близостью, как пучок сена, повешенный перед мордой осла: с той же скоростью, с какой он свою цель догоняет, она от него убегает. Так может продолжаться долго, до того момента, когда горемычный осёл выбьется из сил и падёт посреди дороги, так и не увидев по её обочинам разливанного моря свежей травы.

Много настоящих дел окружает Бочарникова, просится под его умелые руки, на этих делах можно вполне укрепить свою волю, набраться знаний и в конце концов далеко не смертельным усилием сдвинуть с места великое дело башенного крана. Надобно только не спешить. Но не спешить Бочарников не может: «Идеи, как говорится, носятся в воздухе. И пока я буду канителиться, у когонибудь тем временем, пожалуйста, и я...» Эта трусливая жадность говорит не столько о бездарности, сколько о той пропасти безволия, которая внезапно перед ним разверзлась. В чистом поле развеялось его хвастливое воображение, и он, как маньяк, всеми помыслами и горячечными надеждами привязался к своей навязчивой идее. Бочарников мечтает о кандидатской степени, как гоголевский Башмачкин мечтал о своей шинели. Всё ставится на карту, всё идёт ва-банк, и всё прахом пойдёт, если фортуна откажет. Каковы, подумаешь, волки, каковы фаталисты! Но там, где волки только облизнутся и побегут дальше, там Акакии Акакиевичи и Петры Кондратьевичи мрут как мухи, потому что силёнки-то и подломились. Разве что, к чести Акакия Акакиевича, он к своей крохотной цели двигался деятельно и неутомимо; он оказался не только человеком буквы, но и человеком подвига, и он таки своего добился. Это доказывает, если хотите, даже и моральное право отдать богу душу, когда заветное ушло из рук. Бочарников этого права не имеет. Но, впрочем, пора уже с ним кончать.

С того момента, когда он поднимает тост не за радости жизни и не за свой успех, а за вино, с этого момента трагедия характера превращается в патологию воли, а драма Константина Финна принимает прозрачную антиалкогольную направленность. Здесь Бочарников уже не человек, а развалина, пьёт он потому, что пьёт, а не бросает пить, потому что остановиться не может. Сама по себе картина патологического запоя весьма жизненна, но она не отвечает на главный вопрос: с чего всё началось?

Мы не видели в Бочарникове ни такого глубокого чувства горя, которое бы давило его своей безысходностью, ни такого могучего желания, которое бы вступало в трагический конфликт с его очевидной неисполнимостью, ни — говоря по правде — такой интересности, при которой стоило бы его оплакивать. Запил Бочарников, потому что жить неинтересно; жить неинтересно, потому что не получается башенный кран; кран не получается, потому что спешил не в меру, а не спешить он не мог, потому что идеи носятся в воздухе и кто-нибудь непременно утащит из-под носа заветное кандидатство, а это уже такая потеря, после которой, разумеется, жить не стоит.

История закономерной гибели человека в двух случаях интересна и поучительна. Эти случаи, разумеется, бесконечно варьируются во всевозможных романах, трагедиях и поэмах, но две категории погибающих героев разграничены в них достаточно чётко. Первую категорию составляют люди активной воли, могучие индивидуалисты: наиболее яркими представителями этого типа можно назвать Мартина Идена и Жюльена Сореля; эти люди не изменяют жизненному закону общества и движутся к своей цели, сжигая препятствия тёмным пламенем своего желания... до тех пор, пока не сожгут корабли и не окажутся, неожиданно, в жесточайшем разладе с тем самым законом, которому следовали. Представление о другой категории дают прекрасные чеховские интеллигенты, светлые альтруисты, наделённые множеством добрых свойств и талантами и в придачу к ним скорбным пониманием всей безвыходности своего положения. Законов мира своего они не приемлют, изменить ничего не в силах, а цель далека и расплывчата, как звёзды сквозь слёзы. Жизнь и тех и других полна страданий и не всегда благодарных трудов, но гибель их не просто физическая гибель: она неожиданно делает первых настоящими альтруистами, вторых — деятельными борцами. Своим уходом из жизни закоренелые индивидуалисты заставляют общество расписаться в очевидной лжи: мир, живущий законами джунглей и который гордится тем, что сильный в нём всегда побеждает слабого, этот мир может убедиться в обратном — погибает в нём именно сильное и талантливое, а выживает приспособляющаяся слякоть, серая моль человеческой второсортности. Вторые — гибнут не столь темпераментно и заметно, но их бесславная тихая смерть

всё-таки не остаётся не замеченной теми, кто несёт на своих плечах судьбу социальных перемен. Эти люди страсти и дела необычайно расчётливы и трезвы; им, разумеется, не доставляет удовольствия видеть, как день за днём уносится смертью великое богатство ума, даровитости, энергии, искренней любви к человеку, то богатство, которым мог бы жить и строиться грядущий завоёванный мир и которое хищная лапа жизни пускает на ветер; холодная ярость сжимает их сердца и стократ увеличивает их усилия... Такая гибель действительно не оставит вас безучастными и, хоть она закономерна и неотвратима, вызовет в каждой живой и честной душе чувство протеста и преклонения: перед силой и мужеством первых, перед светлым очарованием вторых. Но смотреть, как гибнет этакая пузатая мелочь, смотреть, как топырит жабрами на песке себялюбивая плотва, у которой нет ничего, кроме сомнительных талантов и несомненной прожорливости, согласимтесь, что это, может быть, и картинно, только трагедии в этом никакой нет, а есть, пожалуй, необходимая дезинфекция жизни. Если бы жизнь время от времени не расправлялась с Бочарниковыми круто, она была бы довольно плоской иронией и не заслуживала бы имени великой борьбы за существование.

Сотворив своего Бочарникова мелким, дрянненьким человечишкой, автор задаёт себе самому немыслимую задачу. Ему предстоит оправдать такую ошибку Анны, против которой ополчается всяческий здравый смысл. Как же он вывернется, как докажет, что этого хлюпающего грешника смогла полюбить неглупая, озорная, весёлая девица, да так ещё полюбила, что бросилась к нему очертя голову, принесла ему в жертву молодость, любовь друзей, своё будущее художницы, лучших пятнадцать лет жизни и даже собственное материнство!.. Надо сказать, что берётся автор за дело отважно, и где не находит одного прямого доказательства, там прибегает к дюжине косвенных. Во-первых, говорит Константин Финн своей драмой, моя Анна очень молода, очень отзывчива и очень не искушена в науке жизни; во-вторых, она у меня провинциалка, а Бочарников «красив, хорошо сложён и всё его поведение доказывает, что он привык к успеху у женщин»; и в-третьих, наконец, это была любовь с первого взгляда. Ну что ж, об этом предмете мы кое-что слышали. Слышали мнение пылких романтиков, что это самая

что ни на есть настоящая любовь, и мнение суровых реалистов, что это не любовь, а блажь, которая разлетается, как мыльный пузырь, от столкновения с прозою жизни. Кто более прав, судить не берусь. Но примем сторону пылких романтиков, допустим возможность вулканических взрывов и поверим, что могучий пламень любви, который удалось погасить лишь на 16-м году гектолитрами 40-градусной, вспыхнул в сердцах героев от первого соприкосновения.

Может быть, при этой встрече Бочарников выглядел с несвойственной ему стороны; может быть, он неосновательно пленил провинциальное сердце собеседницы каким-нибудь красивым движением души, оригинальной речью, острым взглядом на вещи? Ничуть не бывало. Когда наши герои встретились на глухом полустанке, ему уже было за тридцать, ей — двадцать два; то есть она в нём видела не сверстника, а зрелого, сложившегося мужчину. Сверстнику многое прощается, но зрелый мужчина, в глазах девушки, обыкновенно представляется законченным, резко очерченным идеалом, в котором каждая мелочь ранит воображение, досаждает крохотный изъян. Представьте же себе, что этот сложившийся мужчина даже не пытался как-нибудь прикрыть свою дряблость, этот резко очерченный идеал хныкал, жаловался, клял свою вдовью судьбину, хвастал, что «собственными силами» пробился в инженеры, лягнул, ни с того ни с сего, подвернувшегося Анниного ухажёра, отпускал казённые пошлости стареющего покорителя сердец, претенциозно и вяло острил, словом, принимал радикальнейшие противопожарные меры, чтобы вулканический взрыв не состоялся и пламень не возгорелся... Чем же пленилась трепетная провинциальная душа? Красотой и хорошим сложением? Это обстоятельство, несомненно, импонировало эстетическому чувству героини и даже вполне могло явиться причиною взрыва, но в таком случае, бога ради, уважаемый автор, не делайте её трагической героиней: она вполне достойна своей ошибки. На отзывчивости и провинциальности тоже далеко не уедешь: Анна в конце концов не старая дева и не хуторская тетеря; сколько можно понять, это активная комсомолка мужественного поколения 30-х годов, краса и гордость ткацкой фабрики; притом это такая девица, что «своих парней вконец измучила», и значит, понятие о мужчинах имеет высоко

критическое. Были ещё, правда, «замечательные письма» Бочарникова, которых мы не читали, но, признаться, вполне можем представить себе наполненными той же слезливой блажью, грешненькими откровениями и всепокоряющей пошлостью. А так как эти перлы приводили Анну в неописуемый восторг ещё при первой встрече, то и немудрено, что она нашла письма Петра Кондратьевича замечательными и поспешила включить в золотой фонд своего обожания. Словом, как видите, никто её не обманул, никто не вводил в заблуждение, и довольно было с её стороны небольшого количества мозгу и эстетического чувства, чтобы уразуметь всю великолепную сущность своего избранника.

На все мои доводы автор мог бы ответить просто. Он может сказать, что я вникаю критическим оком в такие тонкости, которые анализу не поддаются и всё-таки не становятся от этого глупее или ничтожнее; любовь бывает слепа и фатальна, и нечего подвергать её исследованию высшего разума. Это так, но слепая и фатальная любовь уже не ошибка, она не допускает двух ответов, и значит, не допускает критической оценки. А между тем название драмы — «Ошибка Анны» — обещает такую оценку. И, как это ни странно, первым не верующим в слепую и фатальную любовь героини оказываюсь не я, оказывается автор, который всё более настойчиво вводит в пьесу новый мотив, новое действующее лицо, отвлекающее наше внимание в сторону от любви Анны и Бочарникова. Этот новый мотив — неожиданно вспыхивающий в 22-летней Анне инстинкт материнства, это новое лицо — сын Бочарникова. Почему ей вдруг захотелось назвать трёхлетнего мальчика своим сыном, этого я касаться не буду. Но только это круто меняет дело и отставляет нашего бедного Бочарникова на задний план — со всеми его предосудительными вожделениями. Плохой он или хороший, эгоист или альтруист, слабенький или сильный, это теперь совершенно не важно, если Анна приходит не к Петру Кондратьевичу, а к Николаю Петровичу и намерена быть не столько женой, сколько матерью. То есть, разумеется, приходит она и к тому и к другому, но вот уйти не может от одного, от сына. Этого преобладания материнской любви над супружеской автор нисколько не скрывает, даже напротив, всё резче подчёркивает, потому что с некоторых пор она становится един-

ственным оправданием её затянувшейся жизни у Бочарниковых. Отца она раскусила уже на пятом году их жизни, уже в середине пьесы она говорит о нём: «Как, как я могла такому поверить?! На что хорошее, большое, настоящее он вообще способен? Мелкий, маленький... ничтожный». Это, разумеется, поздновато, но пять лет ещё не пятнадцать. Остальные десять её удерживает только «душа ребёнка», только отчётливое сознание, что «погибнет тут человек!». С этого момента действительная — или придуманная автором — ошибка Анны уже не существует, а до финала ещё далеко! Мало этого, только здесь и берёт начало настоящая драма, в которой Бочарников уже не играет роли действующего лица, а существует лишь как пассивный балласт для материнской любви героини, как неодушевлённая опасность, от которой она защищает *своего сына.*

Это так, но ведь автору непременно хочется, чтоб была ошибка. Он так старательно доказывал, что Анна могла полюбить Бочарникова, и вдруг оказывается, что она почти с первой картины была не обманутой женой, а страдающей матерью. Упрекнуть её теперь не за что; можно ли упрекать человека, который с сознанием опасности приходит в чужую семью или остаётся в ней, против своего желания (что одно и то же!), только затем, чтобы усыновить чужого ребёнка, взять его под свою защиту от отца, вырастить настоящим человеком, претерпев при этом тысячи страданий и пожертвовав лучшими годами жизни? Воля ваша, у меня на это язык не повернётся. А между тем у автора он как раз поворачивается, в силу каковых причин и пишется нижеследующий финальный диалог:

«А н н а. ...Пойду в посёлок. Там ещё немало людей, которые помнят меня, которые посылали меня на учёбу. Спросят они меня, что же я создала за это время, какие рисунки, какие ткани, какие вышивки или, может, прекрасную машину какую,— я должна дать им ответ!

Н и к о л а й. Человека ты создала, мама! Что было бы со мной, если бы не ты? И кто же тебе тут посмеет сказать, что не затем тебя посылали?!

А н н а. Да, это верно, человека я создала! Когда я увидела тебя в первый раз в окно, маленький ты был человечек... А теперь вон какой богатырь, человек ты мой! Мой человек! Но ведь меня посылали ещё и затем, чтобы

я для всей нашей жизни что-то создала. А на это ответа у меня нет...»

Если это так, то есть если Анна действительно «создала человека», тогда ей незачем печалиться о том, что она ничего не сделала «для всей нашей жизни». Достаточно положить на одну чашу весов прекрасные вышивки, рисунки или машины, а на другую — «вон какого богатыря», чтобы сказать, что «самоупрекает» автор свою героиню совершенно неосновательно и что большинство тех людей, которые посылали её на учёбу, едва ли за эти годы сделали больше. Ведь если верить автору, вырастила она не просто человека, а погибавшего человека; это двойная работа, это, если хотите, подвиг, а перед подвигом должны смириться любые требования, предъявляемые обществом каждому нормальному гражданину. Я вижу, что последние надежды автора на трагическую ошибку Анны трагически рушатся. Мне хочется успокоить его, для чего я ему и говорю, что ошибка в его драме всё-таки есть, только не Анны, а самого Константина Финна.

Дело в том, что никакого человека Анна не создала и не могла создать. Что она его не создала, или, вернее — не она его создала, доказать очень легко, поскольку весь процесс созидания совершается в антракте между третьим и четвёртым актами. Под занавес третьего Бочарников-младший является в дрезину пьяным и приказывает своим ногам: «Эй вы, остановитесь! Кому говорю?!» А в первой картине четвёртого он уже правоверный трезвенник, научившийся произносить по поводу пьянства проникновенные трагические монологи. Метаморфоза, конечно, отрадная, только честь её менее всего должна быть приписана Анне. Чтоб доказать, почему она не могла этого сделать, я поставлю вопрос так: за погибающего нужно бороться, нужно его спасать тем более деятельно и неутомимо, что он не имеет ещё сложившегося характера и находится под сильным и страшным влиянием отца; притом, как подчёркивает автор, «необыкновенна его любовь к отцу». Эта необыкновенная любовь уже привела подростка в компанию таких же забулдыг, каков его нежный родитель. Таким образом, к эгоистическому влиянию отца уже присоединилось альтруистическое влияние компании, в которой Бочарникову-младшему, наверное, очень хотелось выглядеть бравым мужчиной и не ударить носом в грязь по части внутреннего употреб-

ления. Какими же мерами и средствами удалось Анне вытащить его из ямы, которая его уже засасывала? Так как у автора по этому поводу ничего не говорится, то я могу предположить, что методы были те же, какие применялись и к отцу. Если б у Анны были какие-нибудь другие методы, более радикальные, она бы, несомненно, применила их и к Бочарникову-старшему. К последнему же применялись меры такого рода:

«А н н а. Уговаривала, умоляла... грозила. Чего только не делала! Ничего не помогло. Теперь вы себе представляете, если бы у меня руки опустились, что бы с ним стало? Ох, как это страшно, если один человек опустился, а другой — за ним! Тогда конец! А так он знает: рядом с ним — сила! Она его лучше всяких слов укоряет! Вы что думаете, он не переживает, на меня глядя? Сегодня переживает, завтра переживает, и в конце концов это его заставит за ум взяться! Вот в чём моя борьба заключается!»

Борьба заключается в том, что днями она работает как ломовая лошадь, кормя, одевая и обслуживая троих, а ночами видит во сне, как её ненаглядный Петя взялся наконец за ум и что-то чертит на своём забытом столике. Чему изумляться раньше: стойкости или глубине её наивности? Что Бочарников-старший действительно «переживает», на неё глядя, это видно уже по тому, что деньги на водку он выклянчивает уже не у неё, а у её знакомых. Что сила укоряет его лучше всяких слов, это также не подлежит сомнению, потому что когда Анна, впервые за пять лет, решилась применить к нему какое-то подобие силы, тогда он из-за пятнадцати рублей разыграл перед нею отвратительную комедию неутешной скорби по умершей жене и таким образом наглядно продемонстрировал здравствующей богатейшие плоды её спасительного метода. Чем ниже опускается Бочарников, тем явственней проступает в нём истинная сущность тунеядца и эксплуататора, облегчающего остатки совести плевками в душу своей спасительницы. Может быть, самым разумным было бы применить к нему жестокую насильственную меру, которая произвела бы на него впечатление оглушительного удара и поставила бы на ноги энергичным рывком. Таких мер более чем достаточно в арсенале общества, но, разумеется, деликатная и любвеобильная Анна никогда на это не отважится, хотя это нисколько не противоречило бы ни её деликатности, ни любви. Когда

тонущий утаскивает в пучину своего спасителя, его, как известно, оглушают ударом. Это, правда, несколько нарушает правила хорошего тона, но зато и применяется не как наказание, а как единственная необходимая мера деятельного человеколюбия. Анна избирает другой путь, глупее которого ничего нельзя себе представить, потому что присутствие покорной воловьей силы во все времена доставляло особенное удовольствие всем тунеядцам и эксплуататорам, нимало не способствуя их перерождению в трудящихся энтузиастов. Но даже если бы Пётр Кондратьевич не был паразитом по натуре, даже если бы в нём не утихал голос совести, то и тогда бы пример терпеливого трудолюбия Анны не наставил бы его на путь истинный. Увлекает — только активная воля. Только тот способен заразить своим примером, кто сам идёт вперёд, кто весь в наступательном порыве, кто на удары судьбы отвечает ударами, а не только переносит их со стоическим мужеством. Самые невероятные мучения страстотерпца ничего не вызовут у нас, кроме почтительного удивления; никто, кажется, ещё не пытался повторить подвиг Муция Сцеволы, а между тем, бывало, самые отчаянные трусы, увлекаемые чьим-нибудь стремительным порывом, шли на гибель, на штыки, на штурмы; самые ленивые просыпаются при виде энергичного деятеля, в то время как вид размеренного, усидчивого труда вызывает у них зевоту и отвращение. Такова природа примера: движение порождается только движением, пассивная стойкость мирно уживается с пассивной неустойчивостью. Люди активной воли, которых мне хочется назвать аккумуляторами общественной энергии, такие люди редки, попадаются они один на тысячу, но зато и увлекают, когда хотят, всю тысячу разом. Судите же сами, насколько принадлежит к таким людям Анна, которая не способна увлечь одного, и это в то время, когда он был у неё под каблуком, когда любил её и давал ей клятвы. Но такова уже наша Анна, что за все пятнадцать лет совершила только два энергичных поступка: когда пришла к Бочарникову и когда от него ушла. При этом уходит она не без чужого давления, и как раз тогда, когда Бочарников больше всего в ней нуждается, когда полагалось бы проявить к нему если не родственную, то хотя бы медицинскую гуманность.

Вот каковы те методы, которыми наша героиня создавала «своего человека».

Читатель, наверно, спросит, зачем я так старательно доказываю несостоятельность пьесы, которая затрагивает острую и большую тему, в которой есть немало прекрасных, психологически сильных и драматичных сцен, которая говорит о таланте и человечности автора и, наконец, недаром же пользуется у зрителя успехом?

Прежде всего меня эта пьеса интересует с самой практической стороны. Я не собираюсь наклеивать на неё сортовой ярлык для сдачи в золотой или серебряный фонд литературы и говорю об этом не в порицание автору, а в похвалу. Тема его пьесы — тема практическая, деловая и повседневная, она не принадлежит к разряду вечных и «неразрешимых» тем, на которые каждый век отвечает по-своему; откликнуться на неё обязаны только мы, и притом не одними восторженными овациями. Что пьеса имеет успех у зрителя, это неудивительно; зритель смотрит прекрасные сцены, которые в жизни выглядят, конечно, грубее и грязнее, но здесь их пронизывает некоторый даже философский смысл, и зритель уходит в приятном убеждении, что он посмотрел что-то захватывающее и сильное, направленное «в общем против водки». Когда же разлетаются облака восторгов и рассеиваются туманы лирической задумчивости, тогда настаёт черёд голых утилитарных выводов, на которые неизбежно наталкивает пьеса своей сугубой практичностью. И тут решительно настроенному зрителю начинает казаться, что водку-то, в сущности, оклеветали зря. На сей раз этот чарующий напиток нимало не причастен к тем потрясательным сценам, из которых составилась пятнадцатилетняя драма горемычной Анны. Не потому Бочарников падает, что запил, а потому и запил, что падает. А уже почему он падает, это вопрос особый, при рассмотрении которого всякие изделия ликёро-водочной промышленности должны быть отставлены в сторону. Не потому страдает Анна, что муж её пьяница, а потому, что связала свою судьбу с судьбой дряблого и пошлого эгоиста, который предельно ясен с первого взгляда. Не водка его развратила, она лишь явилась проявителем, обнажившим до дна его первозданную сущность.

Но драма ведь всё-таки к чему-то зовёт, чего-то хочет от нас. Не любоваться же на водку, как на какого-нибудь принца Гамлета! Не задаваться же вопросом: «Пить или не пить?» Решительно настроенный зритель останавлива-

ется в недоумении и никак не может понять того благоговейного ужаса, с которым автор превращает простой и ясный вопрос в неразрешимую проблему века, наворачивает одну патологическую картину на другую, кладёт краски одну чернее другой и вообще произносит слишком много угроз там, где нужно власть употребить и призвать присутствующих к решительному действию. Что Анна не в силах спасти Бочарникова, это неудивительно, потому что по силе характера они одного поля ягоды. Но с ним же возились и другие люди, у них-то почему не вышло? Стоит его спасать или не стоит, это как кому покажется, но представим себе на месте Бочарникова кого-нибудь другого, кого бы нам безусловно хотелось спасти, чья ослабленная ядами воля была бы неспособна бороться в одиночку с надвигающимся крахом... Если верить Глафире Петровне, а Глафира Петровна — это такая дама, которая в гражданскую войну служила пулемётчицей в 14-й армии и, следовательно, представляет в пьесе активное начало, «болезни в нём, врачи определили, никакой нет. Одна распущенность! От себя и погибает!». Что означает это мудрое народное выражение: «От себя и погибает», этого я не знаю, но когда человек не принимает пищу из чужих рук, потому что боится отравы, тогда уже всякому ясно, что в этом бедном мозгу поселилась разновидность мании преследования, и слово «распущенность» выглядит уж слишком деликатно.

Сколько известно, запойных всё-таки лечат у нас. Лечат изоляцией, режимом, внушением, внутренними средствами; словом, это вопрос особый, на рассмотрение которого не уполномочены ни драматург, ни критик. Но зато и врача едва ли заинтересует, каков его пациент по своему мировоззрению и складу ума. Кончилось несчастье души, началось несчастье организма.

Я возвращаюсь к тому, с чего и начал. Хочет того Константин Финн или не хочет, весь вопрос его драмы упирается в личность Бочарникова. Если драма серьёзно замахивалась на такую тему, от которой мы часто полусерьёзно отмахиваемся, она непременно должна была явиться трагедией погибающей человеческой ценности. Прежде всего, и это особенно важно для социального понимания темы, гибнет сам виновник наших терзаний. То, что терзаемся при этом мы, то, что его падение доставляет нам большие или малые хлопоты, это дело де-

сятое, это мы как-нибудь стерпим, это ещё не трагедия. Социальная трагедия заключается в гибели нашего ближнего, нелепой и оскорбительной для человеческого достоинства, и эта трагедия тем выше, больнее и значительней, чем выше само достоинство погибающего, чем интересней и драгоценнее могло быть его существование рядом с нами. Если бы таковым был Бочарников, тогда бы нас глубоко задело и потрясло его медленное самоубийство, тогда была бы вполне оправдана и мучительная любовь, и трагическая ошибка Анны, и едва ли потребовалось бы присутствие иных мотивов и действующих лиц, несущих в себе идею искупления. Я не хочу быть догматиком и навязывать автору своё понимание сюжета, но таковы законы человековедения, заставляющие художника измерять глубину всякого явления ценностью человеческой личности.

На примере драмы Константина Финна особенно ясно видно, насколько эти законы жестоки и своенравны и как велика их месть за нарушение их. Талантливое отношение к жизни предоставляет писателю полную свободу инициативы, здесь всё зависит от степени мастерства, от мировоззрения и самобытности автора, здесь он волен искать и спорить с необузданной стихией жизни, подчиняя картину мира своему философскому и художественному Я; но едва только это Я вынесло приговор, едва только внутренний голос художника произнёс своё «Не могу молчать!», как тотчас вступают в силу законы человековедения и навязывают свою непреложную волю самому сильному мастеру. Вмешиваются они в лабораторию писателя очень глубоко и простирают свои требования вплоть до вопросов формы. Разумеется, факт, что «поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката», но известно же его признание, что он наступал при этом «на горло собственной песне». Я этим ещё не хочу сказать, что Константин Финн не волен был воплотить свою тему в форме лирической или бытовой драмы, но тема, безусловно, суживала возможности сюжета, а может быть, и целиком обрекала их на тот вариант, который я не хочу, но приходится навязывать автору. Надо и то учесть, что сфера человековедения непостоянна и переменчива; с каждой новой эпохой она раздвигает пределы одних тем, сужает другие, предоставляет визу времени третьим. Наше время вытеснило — и, на мой взгляд,

безосновательно — почти совершенно проблему преступления; а между тем во времена Островского хулиганство какого-нибудь Хлынова или подлог какого-нибудь Кисельникова находились в поле внимания писателя по праву таких нарушений нравственного закона, которые имеют острый общественный интерес и заставляют задумываться о большем, нежели сама примитивная суть хулиганства или подлога. Тема, которую затрагивает Константин Финн, урезана временем сразу с двух сторон: во-первых, с той стороны, что наше время позволяет сделать её предельно практической, и, во-вторых, с той, что задумываться о большем она не заставляет. И то и другое значительно связывает инициативу художника и вынуждает его к исключительной осторожности, так как легко снизиться до простого иллюстрирования живыми фигурками медицинской агитки. Этой опасности Константину Финну всё же не удалось избежать, посему он и не решил своей темы.

1955

Публикуется впервые

ДЕРЕВНЯ ОГНИЩАНКА И БОЛЬШОЙ МИР

Количество новых произведений художественной литературы, выпускаемых центральными и областными издательствами, публикуемых в журналах и альманахах, за последние годы заметно увеличилось. Это очевидно и без специального подсчёта: в каждом повременном издании и на каждом книжном прилавке постоянно встречаются новые имена, новые названия. Разумеется, в потоке книг есть произведения различных жанров. Однако бросается в глаза всё большая склонность ряда прозаиков к крупным и даже колоссальным масштабам. Никогда раньше не появлялось столько многотомных романов. Иногда самостоятельно выпущенное произведение впоследствии начинает достраиваться, обрастать пристройками. Есть даже такие парадоксальные случаи, когда первая вышедшая в свет книга становится последней — сперва второй, потом третьей частью исторического романа-эпопеи, уходящего всё дальше в глубь времён и в принципе бесконечного, как бесконечна сама история. Книга, привлёкшая внимание современностью темы и материала, растягивается всё больше в сторону «предыстории» нашего времени, повествование о наших днях рискует стать лишь эпилогом.

Конечно, и так построенное произведение может быть интересным и талантливым; но нельзя не заметить, что в такой «архитектуре» есть нечто сомнительное, заставляющее предполагать, что не одно лишь стремление к полноте жизненной картины порождает её; что, может быть, первоначальный идейный и художественный замысел

Статья написана в соавторстве. Другой её автор — Игорь Сац, только включённый тогда А. Твардовским в состав новой редколлегии. По некоторым тактическим соображениям, теперь уже малопонятным и не важным, Игорь Александрович свою подпись снял.

писателя был недостаточно ясным и что писатель, почувствовав это, старается возместить свой просчёт, исправляя границы, прирезывая к взятому и использованному материалу то тó, то это. Возможна и другая, более внешняя причина — соблазн крупной формы. Критики слишком часто хвалят писателей именно за «эпопейность», и автор небольшого романа или повести стыдится появиться на люди со столь «незначительной» работой, начинает всемерно увеличивать свою вещь. Опыт показывает, однако, что литературное произведение, перегружаемое излишним и потому художественно безразличным материалом, имеет все шансы утратить часть своих первоначальных достоинств.

Как бы то ни было, оттеснение на задний план небольшого романа и повести (назовем их: «тургеневского типа»), небывалое увлечение формой «толстого» романа, «романа-эпопеи», стало проблемой, в которой нужно разобраться.

Не претендуя в этой статье на художественную характеристику всех романов такого рода, появившихся в последние годы, мы хотели бы уяснить себе некоторые из их основных черт на примере одной из наиболее значительных книг — на примере романа Виталия Закруткина «Сотворение мира». Первая книга этого романа вышла в свет два года тому назад, она уже имеет своего читателя, о ней есть уже и критические отзывы — следовательно, мы будем говорить о книге известной, и читателю легче будет самостоятельно — что чрезвычайно важно — проверить правильность наших рассуждений. Ещё важнее, что книга, избранная нами для анализа, относится к числу самых заметных произведений последних лет, что её автор имеет заслуженную хорошую литературную репутацию. Притом же, как мы постараемся в дальнейшем показать, этот роман В. Закруткина характерен для литературного явления, о котором идёт речь, решительно во всём — начиная с выбора темы.

Тема романа Виталия Закруткина «Сотворение мира» в общей и краткой форме выражена в заглавии, но более полное и точное ее определение — дело нелёгкое. Основной материал взят автором из жизни советской деревни Огнищанки в 1921—1927 годы; есть, однако, в романе и Москва с ее выдающимися деятелями, учреждениями, съездами, выставками, с изложением решаемых в центре

специальных проблем, характерных для периода перехода от гражданской войны к мирному строительству; есть Берлин, Константинополь, Лондон, Генуя, Нью-Йорк, Калифорния, Алеутские острова и ещё много местностей, городов; есть судьбы различных классов и общественных слоёв, борьба политических партий в Советском Союзе и во всём мире, множество людей, различных по национальности, по общественному положению и взглядам, людей, носящих известные в истории имена, людей неизвестных, а то и вовсе безымянных. Здесь так много всего, что можно, пожалуй, сказать — общее ощущение темы этого романа верно выражается эпиграфом: «И слышал я как бы слово многих народов, как бы шум вод яростных, как бы грохот громов... И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Величественное зрелище крушения старого мира и становления мира нового, переживание этого процесса как некоего великого единства, охватывающего весь мир и все народы,— это и есть основная тема последнего романа Виталия Закруткина.

Однако только мироощущения или душевного настроения, каким бы оно ни было высоким и сильным, недостаточно для романа. Даже в «Откровении св. Иоанна Богослова», откуда взят эпиграф, помимо переживания, есть ещё много пусть фантастических, но всё же конкретных картин. А «Сотворение мира» В. Закруткина — не «откровение», а исторический роман, притом чрезвычайно обширный: его 743-я страница всего лишь «конец первой книги». Поэтому и картин здесь должно быть много больше.

Есть, однако, кроме этого естественного в произведении большого масштаба обилия лиц и картин один важный критерий, на основании которого, собственно, и решается вопрос о том, насколько автору удалось справиться с необходимой в большой эпической форме полнотой объектов. Это критерий необходимости — необходимости именно этих лиц, отношений, событий, фактов, описаний в данном произведении для максимального развития идеи и для возможно многостороннего, художественно-реалистического изображения данной стороны, данного отрезка жизни. С этой точки зрения мы будем судить об идейно-художественных достоинствах и недостатках романа «Сотворение мира» (не ставя перед собой задачи всесто-

роннего разбора всех его линий и образов). Сама по себе, как говорят, «населённость» романа так же мало может быть поставлена в заслугу или в упрёк, как и больший или меньший объём произведения; всё решает конкретный анализ содержания. И при этом очень важно определить те стороны произведения, в которых больше всего выявилось его содержание и обнаружились лучшие способности писателя, ибо удачи писателя зачастую помогают нам вернее понять также сущность и причины его неудач.

Итак, начнём с характеристики нескольких наиболее удачных персонажей и сцен.

Уже на первых страницах романа «Сотворение мира» есть сцена кулацкого самосуда. Всего на четырёх страницах резкими чертами вырисовываются и картина классовой борьбы в деревне того времени, и человеческий облик её участников: «красного героя» — демобилизованного красноармейца, крестьянина-бедняка Комлева, кулака Антона Терпужного (у которого Комлев зарезал овцу, чтобы спасти от голодной смерти жену и детей), председателя сельсовета Ильи Длугача и всей ещё неясно, смутно настроенной толпы, которая может и поддержать кулака, потому что он опирается на «извечный» закон частной собственности, но может стать и на сторону бедняка, потому что ведь и детям бедняка жить надо, а кулак его жене за работу не заплатил, и потому ещё, что этот бедняк, поддерживаемый новой властью, близкий к ней, также начинает уже становиться силой, вызывающей уважение колеблющихся людей.

Интересно, что между представителями крайних социальных групп, при всей ожесточенности борьбы, ещё остаётся нечто от «патриархальности» дореволюционной деревни: Антон Терпужный, требуя убийства Комлева, называет его Колей, а тот, оправдывая себя и обвиняя Терпужного, ещё называет своего убийцу дядей Антоном. Этот оттенок в деревенском быту сохраняется целые годы. Уже много позднее, после того как столкновения Терпужного с защитниками нового строя ещё умножились, он вместе со всеми односельчанами ездит, скажем, в город на ярмарку. И вообще бытовые отношения между ними — в промежутке между схватками, в которых выражается и очередной этап борьбы за советизацию деревни, и возрастающая ненависть,— остаются более или менее нейтраль-

ными и мирными. Можно было бы увидеть здесь недостаток последовательности в характеристике действующих лиц (мы покажем на других примерах, что такой недостаток в романе «Сотворение мира» есть); но нам кажется, что в этом случае автор правдиво изобразил некоторые реальные стороны сложных и запутанных форм общественной жизни, не сводя их целиком к одним лишь основным принципам и линиям.

У Виталия Закруткина нередки такие положения, при которых ни в одном из действующих лиц истина не выражается во всей своей полноте и в самом своём совершенном и законченном виде. Правда истории встаёт из всего сплетения интересов, стремлений, идей. Уже в приведённой сцене самосуда предсельсовета Илья Длугач по способу действия очень далёк от установленных советским законом форм борьбы: он грозит кулаку, в случае неуплаты штрафа за избиение Комлева, до полусмерти отодрать его самого шомполами на сходе. И в то же время ясно не только то, что в существе дела Илья Длугач совершенно прав, но и то, что в своём положении, да ещё при необходимости решать дело в одну минуту, он почти не имел средств действовать более точно.

Правда, никак нельзя, придя к такой мысли, на ней и успокоиться, признать и неправильное правильным. Нечего скрывать, что во взглядах и психологии Длугача немало мешающего той самой советской власти, которую он чистосердечно и самоотверженно защищает. Это видит, например, предволисполкома Долотов, политически грамотный и обладающий партийным опытом человек. Он ругает Длугача за то, что тот зачисляет в кулаки крестьян, не эксплуатирующих чужого труда, а лишь своим умением и прилежанием достигших известной зажиточности; сам Длугач говорит об одном из них, Тимофее Шелюгине, что «правда, Тимоха в Красной Армии два года служил и сам по себе человек аккуратный...»,— и всё-таки берёт на себя смелость на основании своего убеждения, что у того «серёдка кулацкая, значит он чего угодно может натворить», обвинить его в поджоге общественных запасов сена, принуждать его вместе с кулаками бесплатно работать на полях коммуны. Узость общественных суждений, неумение разобраться в каждом из людей, с кем он должен иметь дело, оценка их только «по категориям» иногда вовлекают Длугача в серьёзные ошибки, в кото-

рых он сам с сокрушением сознаётся: «оскользаюсь, как кабан на льду».

Было бы, однако, неверным считать, что Илья Длугач — человек сомнительный с партийной точки зрения, или же объяснять его склонность к левацкому радикализму одними (скажем к слову, очень хорошо обрисованными в романе) особенностями его личного характера: порывистостью, импульсивностью, нетерпением. Конечно, личные особенности человека в некоторой мере делают его более или менее пригодным для выражения тех или других общественных тенденций; но всё-таки сами эти тенденции — прежде всего общественные по своей природе. В данном случае это — одно из проявлений той мелкобуржуазности, которую коммунистическая партия, организуя широкие массы на борьбу за советскую власть, за построение социализма, должна была посредством долгого и терпеливого воспитания и просвещения преодолеть даже в слоях, из которых социалистическая революция черпала свои резервы. Таким образом, Илья Длугач — фигура не только колоритная, но также помогающая понять тот отрезок нашей истории, которому роман В. Закруткина посвящён. Мелкобуржуазные тенденции проявляются в Длугаче не в собственнической форме (собственничества, страсти к накопительству в нём совсем нет), а в своего рода партизански-анархических чертах. Этому горячему и искреннему революционеру предстоит еще немалый путь, пока воспитание и самовоспитание дополнят его классовый инстинкт коммунистической сознательностью.

Трудно сосчитать, сколько раз Длугач «оскользается», но при этом он не выглядит ни смешным, ни глупым. Полуграмотный мужик, бывший батрак и конюх, он — волею революции — стал в своей Огнищанке и судьёй, и прокурором, и следователем, и организатором первых коммун, и первым миссионером ликбеза, и прорабом коллективных строек. Он не всё одинаково умеет, но он исполнен неугасимой веры в коммунизм и обладает тем искусством, каким особенно отличаются ставленники революционной власти: он умеет появляться вовремя, когда необходимо повести за собой или предотвратить катастрофу, когда поднимает головы и обрезы притаившееся кулачьё, когда озверелая толпа убивает жердями своего односельчанина «за украденную овечку», когда, нако-

нец, какой-нибудь Андрей Ставров, парень в расцвете ума и сил, растрачивает и то и другое на узком поприще собственного хозяйства.

В. Закруткин изображает борьбу за социалистическую переделку экономики и сознания людей, различные виды и оттенки трудностей, которые вставали перед коммунистической партией. Вот, например, городской трудящийся человек – Платон Иванович Солодов. Он не только горожанин, но и чистокровный пролетарий, да ещё и участник первой русской революции: «В своё время, плавая на прославленном мятежном броненосце, он вместе с товарищами восстал против царя»; вместе с другими матросами «Потёмкина» он был судим военно-полевым судом, два года отсидел в крепости, потом вернулся в родной город и стал работать мастером на механическом заводе. Хозяин завода, немец Юст, предупредил Солодова: «Ты хороший механик, я тебя помню, но если ты хоть немножко будешь делать революцию и портить моих рабочих, я тебя буду закатывать в Сибирь, на вечную каторгу».

Как же после этого живёт Солодов?

«Не столько угроза всесильного Юста, сколько жизненные события заставили Солодова целиком отдаться заводской работе. Он и на броненосце не отличался особой активностью, а тогда, после крепости, решил: "Куда там мне революцию делать! Характер у меня неподходящий, смирный..."»

В 1917 году нашлось ещё новое основание для его аполитизма: «Теперь царя не было и, по мнению Платона Ивановича, можно было оставить политику», ибо это «скучное и мудрёное дело, от которого лучше стоять подальше...».

Солодов впервые появляется за двести страниц до конца книги, а по масштабу и темпу романа В. Закруткина двести страниц – это слишком мало, чтобы чей-либо образ (или характер) успел развиться. Но как эпизодическая фигура первой книги Солодов дополняет ещё одной чертой общую пёструю картину того «человеческого материала», который нашёл себе место в романе. При своей профессиональной умелости, личной честности, любви к труду, к заводу Солодов будет, конечно, полезным членом коллектива и помощником партии в её великой работе по индустриализации страны. Но возможно немало случаев,

когда такой «принципиально беспартийный» человек способен и осложнить дело.

Очень интересна рассказанная В. Закруткиным история коммуны «Маяк революции». Государство ещё не в силах было помочь объединившимся в ней батракам и беднякам сельскохозяйственными орудиями, посевным материалом, денежной ссудой, которые позволили бы сразу поставить хозяйство на ноги; не хватало также и привычки к совместному труду, тем более — организаторских навыков, даже у умного и преданного делу председателя коммуны Бухвалова. Не имея в своей основе хозяйственного расчёта, коммуна всё больше падает, члены её начинают разбегаться. Бухвалов тщетно пытается её поддержать своими призывами к «сознательности». Помощь со стороны, оказываемая соседними сёлами, недостаточна, чтобы в корне изменить дело, и лишь подчёркивает то печальное обстоятельство, что в данных условиях коммуна становится иждивенцем государства и общества.

Нельзя равнодушно читать о героических, но тщетных усилиях Бухвалова. Но кто же он? Лишь привлекающий нас своей личной убеждённостью и своим бескорыстным героизмом донкихот? Нет, в основе нашей симпатии к Бухвалову, отстаивающему, как он говорит, «идею», воплощённую для него в его коммуне, в одном из первых малых очагов социализма, есть нечто более глубокое. Забегания вперёд, неизбежно сопровождающие колоссальный творческий взлёт пробудившейся самодеятельности масс, исправлять, конечно, необходимо, но люди, которые ими были бескорыстно и самозабвенно увлечены, часто бывали достойны и любви и уважения.

В соответствии с задачей настоящей статьи, которая посвящена не столько критическому всестороннему разбору романа В. Закруткина, сколько обсуждению одного из общих литературных вопросов, мы рассказали лишь о некоторых людях и событиях из романа «Сотворение мира». Но, по нашему мнению, одних этих типов, характеров и картин было бы достаточно, чтобы книга могла по праву считаться не только содержательной, но и оригинальной: в ней есть то, о чём ещё никто не рассказал, а к тому, что мы уже знаем в литературе, автор добавил несколько новых и интересных черт. Мы хотели также в нашем пересказе показать природу художественности у

В. Закруткина: писатель силён своей способностью видеть большие, основные черты жизни в ряде частных, конкретных, многообразных проявлений, характерных для определённого времени, для определённого круга людей. Определённость времени и «человеческого материала» нисколько не приводит у него к узости — писатель показывает нам, сколько здесь заключено богатейших социальных и индивидуальных возможностей.

Нам ещё придётся говорить о том, насколько полно использованы в романе эти возможности с точки зрения развития отдельных характеров и общего действия. Но сейчас мы хотели бы подчеркнуть, что Виталий Закруткин — художник, потому что он любит свою «натурv», подлинную жизнь, и способен «поднимать целину»: открывать в действительности нечто значительное, другими художниками не увиденное.

Наше утверждение мы хотели бы подкрепить анализом ещё одного из второстепенных и ещё одного из главных персонажей.

В первой главе, где рассказано о страшном бедствии, постигшем нашу страну,— о голоде 1921 года, внимание читателя останавливает на себе эпизодическая фигура старого священника, отца Никанора, разъезжающего по сёлам хоронить умерших.

«Чтобы хоронить по обряду, никто в семье не препятствует?» — спрашивает он, входя в дом. «Не понимаю, батюшка...» — отвечает ему родственница покойного. «Безбожников у вас нет? — раздражаясь, спросил священник.— Может, есть коммунисты или же комсомольцы, которые против обряда?» Ему отвечают, что «безбожник» в семье есть, это сын покойного, но он уехал за хлебом. Можно хоронить.

У читателя сразу возникает представление об этом попе как о враге новых порядков, о человеке крайне озлобленном, но достаточно хитром и осторожном, чтобы не лезть на рожон, а уступать, где надо, дорогу и, вероятно, вредить исподтишка.

Но вот, закончив отпевание, «придерживая дрожащими пальцами крест на груди, комкая епитрахиль, священник пробормотал:

— Куда поедем, дьяче? Опять хоронить? А нас с тобой кто похоронит? Некому будет нас хоронить, и околеем мы, как голодные псы, на дороге.

...Взглянув на людей воспалёнными, горячечными глазами, поп направился к выходу. За ним потянулись испуганные люди».

И вот уже перед нами начинает вырисовываться не душевно мелкий и тупо озлобленный — из консерватизма ли или из корыстных побуждений — враг всего нового, а характер крупный, суровый, сосредоточенный, беспощадный к себе самому и, как угадывается, правдивый. Мы чувствуем, что этот человек озабочен не только своей судьбой, что он глубоко потрясён общественным бедствием, гибелью миллионов людей и страстно, мучительно хочет узнать: что же значит всё это, к чему ведёт непонятный и страшный ему перелом в жизни всего народа? Этой краткой сценой читатель подготовлен к дальнейшему — к тому, что мы узнаем об отце Никаноре позднее: когда советская власть предпримет конфискацию церковных ценностей, чтобы помочь голодающим, он выступит против саботажников этого решения, произнесёт проповедь, призывая прихожан жертвовать голодающим все ценности вплоть до предметов религиозного культа, и сам сдаст властям утварь и оклады с икон своей церкви.

Конечно, краткая сцена, которую мы привели, ещё не делает такой шаг для него неизбежным, она делает его лишь возможным; но именно это и хорошо, потому что взгляды и представления отца Никанора развиваются в романе как бы сами по себе, без вмешательства автора, и в то же время в них своеобразно, в форме религиозных размышлений, отражается частица действительного общественного сдвига тех лет.

К открытиям писателя принадлежит и образ того «безбожника», чей отец умер от голода в первой главе романа,— фельдшера Дмитрия Даниловича Ставрова, одного из главных лиц в романе.

Демобилизованный после гражданской войны Дмитрий Ставров забрал свою семью — отца, жену, детей, невестку — из разорённой голодающей деревни и повёз всех с собой, в поисках работы и хлеба, по чужим местам. Наконец, видя, что выбраться из полосы голода не удаётся, этот решительный и мужественный человек отказался от дальнейших попыток и остался жить там, где у него уже появилась одна родная могила — могила отца. Этой местностью оказалась глухая деревня Огнищанка. Население её измучено голодом и болезнями; фельдшер

здесь — человек нужный. Сельсовет старается сколько возможно поддержать его семью. К тому же сам Дмитрий Ставров благодаря своему трудолюбию и пониманию сельского хозяйства, получив на большую семью много земли, заставляя работать и жену, и детей, через год-два укрепил свое хозяйство, увеличил свой достаток наравне со всей деревней и даже быстрее, чем вся деревня. И вот создаётся сложное положение: дети подросли, пора посылать их в город, в семилетку, а без них в поле некому будет работать. Фельдшер идёт к Длугачу советоваться: «Если я весной и осенью принайму человека, не будет ли на это возражения?» Председатель отвечает, что, поскольку Дмитрий Ставров «трудящий работник по медицине», никаких возражений нет; «а всё же я тебе не советую наймать посторонних. Почему? Потому, что по всей деревне и по хуторам трёп пойдет, что, дескать, огнищанский фершал батраков держит и окулачивается. Ясно?» — «На чужой роток не накинешь платок»,— сердито отвечает фельдшер. Однако от мысли о подсобном наёмном труде он отказывается. Что же делать? Работать в супряге с соседями он не хочет: хотя они люди хорошие, но его хозяйство сильнее, ему невыгодно. Переезжать в город, бросив с таким трудом созданное хозяйство, ему и жаль, да и действительно трудно: на одну его зарплату семья могла бы жить лишь впроголодь.

Думаем, читатели согласятся с нами: тип такого вышедшего из крестьянства и вновь «омужичивающегося» интеллигента любопытен и в литературе ещё не известен.

К концу первой книги романа мы оставляем фельдшера Дмитрия Даниловича Ставрова в трудном положении. Сыновей он учит поочерёдно, и это плохо отражается на их образовании; вкладывая каждую копейку в хозяйство, он не позволяет подросшим мальчикам и одеться получше, ставя их в неловкое положение перед товарищами. Юноши, сами любящие труд на земле и научившиеся гордиться своей крестьянской сноровкой, всё же начинают тяготиться непосильным трудом и про себя возмущаться прижимистостью отца. Глядя на вечно утомленных и отрываемых от школы детей, начинает чуждаться Дмитрия Ставрова его любящая жена; прежние сердечные отношения между ними не могут сохраниться ещё и потому, что Ставров перестаёт о чём-либо разговаривать в семье, кроме хозяйственных дел.

Изображая эту ситуацию, В. Закруткин, к счастью, не понимает её слишком прямолинейно — как якобы неизбежный для каждого крестьянина переход от зажиточности к окулачиванию. Это верно лишь в применении к целому социальному слою, но далеко не всегда — к отдельным людям. Причислить фельдшера к «своим» был бы рад кулак Антон Терпужный, но, во-первых, как ни умён и твёрд в делах Ставров, кулак его всё-таки умеет надуть, а во-вторых, фельдшер, уважая Терпужного за то, что тот «землю понимает», нисколько не хочет ни лично с ним сближаться, ни, тем более, ему уподобиться; он слишком горд сознанием, что его достаток — дело его собственных рук.

Изображение жизни Дмитрия Ставрова во всей её сложности — несомненное достоинство романа. Но достоинство относится здесь главным образом к изображению объективной ситуации, в которой этот человек оказался, и тех личных качеств, которые образуют его своеобразную, внутренне противоречивую, но цельную индивидуальность. Что же касается развития мировоззрения и характера Дмитрия Ставрова, то здесь В. Закруткин как писатель слабее. Это можно с достаточной наглядностью показать, сравнив несколько эпизодов из различных глав первой книги. И анализ этот имеет значение, относящееся не только к данному персонажу непосредственно: мы попытаемся при помощи него также выяснить, чем же именно пожертвовал автор, расширяя материал своего романа до всеобъемлющего охвата всемирных событий. Другими словами, мы попытаемся выяснить, в какой мере этот охват приводит к действительно эпической «полноте объекта», а в какой он является прежде всего внешним расширением границ повествования, причиняя ущерб идейно-художественной полноте главных из составляющих его элементов.

Напомним прежде всего, что в первые дни пребывания семьи Ставровых в Огнищанке там чуть не был убит Терпужным, его роднёй и подпевалами красноармеец Николай Комлев. Страшная сцена самосуда и то крайнее напряжение, с которым проявилась в ней классовая ненависть, были тогда по-своему правильно восприняты даже малолетними детьми Ставрова. Можно ли сомневаться, что смысла такого события не мог не понять их отец, Дмитрий Ставров? Ведь и причины и обстоятельства дела были вполне ясны.

Об этом рассказано в первой главе романа. А в главе седьмой мы читаем, что, выслушав слова старого пастуха, деда Силыча, о том, что бедноте, получившей землю, нечем её обработать и засеять, приходится ей снова на кулака батрачить или свой надел ему в аренду сдавать и что нет другого выхода мужикам, как объединиться, совместно купить косилку-самоскидку, быка-производителя и т. д., «Дмитрий Данилович… *впервые почувствовал*, что в захолустной, маленькой, *тихой и мирной на вид* Огнищанке… идёт глухая, затаённая, но яростная борьба. *Он не понимал смысла этой борьбы*, она казалась ему давней распрей чего-то не поделивших односельчан, и он с облегчением *всегда думал:* "…меня это не касается"». (Курсив наш.)

Странное непонимание у человека совсем не глупого и видящего своими глазами, что происходит в деревне, знающего, что происходит в стране!

Конечно, особое положение какого-либо человека, его личные особенности, взгляды и связи могут повлиять на то, какую позицию он займёт в борьбе (хотя бы этой «позицией» было и желание от борьбы уйти); но именно непонимание — да ещё такое непонимание — в данном случае, у такого человека, совершенно невозможно. Никакой «ограниченностью частного собственника» его объяснить нельзя.

Допустим, однако, эту странность. Поверим на минуту автору, что Дмитрий Ставров действительно *впервые* почувствовал классовую борьбу в Огнищанке лишь через два года жизни в ней. Что же с ним случилось после этого?

А вот что. «Впервые почувствовав… яростную борьбу» в своей деревне, «…Дмитрий Данилович отряхнул брюки, окликнул сыновей и вновь зашагал по глубокой, ровной борозде… "Чудак! — подумал Ставров, вспомнив деда Силыча.— Косилку, говорит, сообща купить… Я вот сам, если уродит хлеб, куплю косилку, без всякой складчины… На что мне сдалась эта складчина?" Подгоняя коней, он весело, заливисто засвистал».

Вот и всё. В одну минуту в Ставрове произошёл переход от непонимания к пониманию; и так же мгновенно совершился возврат от нового понимания к прежнему непониманию.

Такие же движения повторяются в сознании Дмитрия Ставрова неоднократно. Приведём ещё один, по нашему

мнению, показательный пример (из второй главы второй части).

После разговора с Антоном Терпужным о меновой сделке между ними (обмен сортовыми семенами) Ставров чувствует острое недовольство собой: «Уже давно Дмитрий Данилович начал замечать в себе какую-то неприятную жадность... Он жалел, что корова привела не тёлочку, а бычка... часами ходил по бахче, пересчитывал арбузы и дыни и мысленно прикидывал, сколько денег за них можно взять на базаре. За каждый расклёванный воронами арбуз, за каждый сломанный початок кукурузы Дмитрий Данилович ругал сыновей последними словами, а под горячую руку и поколачивал». Он вспоминает и о том, что, принимая в амбулатории больных, он всё чаще «чувствовал, что растущее хозяйство мешает ему, что он стал мало читать, меньше интересовался медицинскими новинками».

Ставров задумывается над этим и над тем, что вот люди бывают такие несхожие: Терпужный только и стремится что к богатству, к своему господству, а дед Колосков (пастух Силыч) добивается правды для всех крестьян. «Подумав это, Дмитрий Данилович вдруг остро почувствовал, что он, фельдшер Ставров, сын полунищего мужика, тоже стал чем-то похож на Терпужного — то ли хозяйской цепкостью, то ли жадностью, то ли скуповатостью, над которой втихомолку потешались дети».

Он замечает также, что его жена Настасья Мартыновна «осунулась, похудела, на её тёмном от загара лице появились морщины», «а она ведь и не жила ещё по-настоящему...». Эта мысль его потрясла. Он как бы очнулся. И он говорит жене не слышанные ею прежде, изумляющие её слова: «Ладно, Настя,— сказал Дмитрий Данилович... — вернётся Андрей, отправим Романа и Федю учиться, а хозяйство начнём помаленечку свёртывать. Ни к чему оно нам сейчас...»

Как видит читатель, человек переживает серьёзный душевный кризис. Но — «утром же, как всегда, Дмитрий Данилович на заре разбудил сыновей и послал их в амбар веять овёс, почистил конюшню» и т. д. «От его вчерашнего настроения не осталось и следа».

«Не осталось и следа...» Вот в этом-то и всё дело.

Конечно, мы не осуждаем автора за то, что он не заставляет своего героя сразу переродиться под влиянием

какого-то одного случая или разговора, под влиянием внезапно открывшейся ему истины. Заметим, однако же, что и такие случаи возможны и, вероятно, каждым наблюдались в жизни, а в литературе катастрофически резкие переломы всего отношения человека к себе и другим, к своему поведению и поступкам нередко встречаются в произведениях великих реалистов — у Гоголя, у Достоевского, у Чехова. Дело не в быстроте перемены, а в том, как она согласуется с характером действующего лица и насколько она реалистически мотивирована всем ходом событий и служит выявлению жизненного содержания.

Воля автора — вести развитие постепенно или резкими скачками. Однако есть ли надобность писать огромную многофигурную картину, сопоставлять один из главных в ней человеческих образов с другими фигурами и средой, притом среди бушующей революционной борьбы, и всё это только для того, чтобы изобразить минутное душевное *состояние* одного человека или хотя бы и десятка людей? На то есть другие, гораздо более скромные средства — например, небольшой психологический очерк, этюд. В произведении же такого масштаба, который избран Виталием Закруткиным, «состояниям» может принадлежать лишь подчинённое место. Всё главное в нём должно быть в движении, все главные сопоставления и столкновения должны давать какой-то новый результат. И большой грех художника, если в его описаниях движется, изменяется преимущественно «ситуация», «среда», люди же остаются неподвижными. Ведь люди — основной объект художественного изображения, и в них автор прослеживает «сотворение мира» больше всего. Если нет движения в сознании, в психологии людей, то и материальная среда, общественный «фон» приобретают в произведении искусства в большой мере неподвижный характер, лишаются действенности.

Между тем в рассказе о Дмитрии Ставрове — о человеке, в чьём характере и социальной судьбе заложено столько возможностей для развития, мы видим странную статичность.

Развивается хозяйство Ставрова — и развиваются связанные с ростом хозяйства трудности, встающие перед самим фельдшером и его семьёй. Но мировоззрение, характер Ставрова в романе не развиваются, а лишь колеблются, как маятник, возвращаясь на одно и то же место.

Поэтому, несмотря на ряд верно найденных отдельных черт, он не становится в полной мере живой личностью, художественно живым образом.

Подобного же рода повторения (колебания маятника всё в тех же пределах, замещающие развитие), а также отдельные крупные и мелкие просчёты, когда дело идет об изображении сознательной жизни и характеров, обнаруживаются при мало-мальски внимательном чтении и в других персонажах романа. Например, Максим Селищев (одна из самых интересных в книге фигур: казачий хорунжий, против воли попавший в белую армию и эмиграцию) на протяжении всей книги мечется между убеждением, что большевики правы, и ненавистью к большевикам, между желанием вернуться на родину, чтобы помогать народу, и намерением проникнуть туда, чтобы вредить. Правда, здесь есть внешняя мотивировка: авантюрная судьба бросает Селищева в различные страны, ставит его в зависимость от различных сил и людей, а он пассивно приспособляет свои взгляды к обстоятельствам, хотя и остаётся всегда человеком искренним. Но всё же никакими мотивами не оправдывается *почти буквальное* воспроизведение уже пройденного, уже пережитого и передуманного Селищевым. В «Тихом Доне» Григорий Мелехов повторно попадает из одного лагеря в другой, но при этом он не остаётся прежним; даже возвращаясь в сходное с прежним положение, он чувствует и думает уже иначе, не так, как раньше. А у Максима Селищева этого нет — он, как личность, как характер, такой же «маятник», как и Дмитрий Ставров.

Нельзя не пожалеть об этом; переживания Селищева, вступившего в противоречие со своим белоофицерским окружением, сцена военного суда над ним, некоторые из эпизодов его жизни в США — всё это читается с волнением, с верой в подлинность изображенной писателем жизни. Механичность же идейных и психологических «эволюций» Селищева уменьшает художественную достоверность его характера, расхолаживает читателя.

Старший сын Дмитрия Ставрова, Андрей,— тоже один из главных героев книги — подробнее всего изображён в тот год своей жизни, когда он переживает первую, притом несчастливую любовь. Но как неинтересно и вяло об этом рассказано! Мало того, что с художественной точки зрения одинаково сомнительны и возбуждение поэтиче-

ского чувства при разглядывании подмышек одиннадцатилетней девочки, и цитирование случайно прочитанного огнищанским мальчиком «Вертера»; может быть, ещё хуже то явное вмешательство авторской воли, в силу которого мальчик много раз и в почти неизменных выражениях повторяет: она хорошая, я её люблю; она плохая, я её не люблю. Рекомендуемый как быстрый ум и яркий характер, он оказывается невозможно скучным.

Мы уже упоминали, что рядом с этим, на наш взгляд, главным недостатком в изображении людей — отсутствием движения, развития — у В. Закруткина попадается немало второстепенных неточностей, также ставящих под сомнение органичность и полноту человеческих образов и взаимоотношений между людьми в его романе.

Приведём пример.

Заклятый враг советской власти, террорист сотник Острецов, живущий в Огнищанке по подложному документу на имя убитого будённовца,— одна из важных фигур в романе. Но и в его психологическом облике есть странные упущения и противоречия. Характеризуя Острецова, автор пишет: «Речь у него была городская, складная» — и тут же даёт образец этой речи: «Ты не думай... что я из каких-нибудь недорезанных беляков. Нет, брат, я всю гражданскую в коннице Будённого отбухал... А вот кончилась война... Сопливые комсомольцы в церковных алтарях диспуты с попами устраивают. На черта это всё народу?..» Хороша «складная» и «городская» речь! Ведь это явная попытка Острецова подделаться под язык его огнищанских слушателей.

Конечно, характерность прямой речи не единственный, хотя и важный, способ создания индивидуального характера. Однако продолжение только что цитированного нами диалога показывает, что ошибки в речевой характеристике отражают здесь неясность, неконкретность самых представлений о характере человека, о складе его ума.

На попытку Острецова вовлечь его в антисоветский разговор Дмитрий Ставров угрюмо отвечает: «Так может рассуждать только подлая шкура». Острецов неловко отшутился, замолчал и «после этого разговора... *притих* и стал относиться к Дмитрию Даниловичу добродушно-насмешливо, *отмалчивался* и больше расспрашивал Ставрова о семье и о его службе в армии». И буквально тут же, через две страницы, мы читаем, как Острецов, увидев

Ставрова, идущего от председателя Пустопольского волисполкома, говорит ему: «Ну, как вам понравился пустопольский губернатор товарищ Долотов?»

Можно ли назвать эту открыто антисоветскую выходку — «притих», «отмалчивался»?!

Встречаясь в романе с Острецовым и дальше, мы не раз видим настолько же непонятную шаткость в изображении характера. Чередуясь, иногда и повторяясь на огромном пространстве романа, эти «движения маятника» затрудняют чтение и часто делают его неинтересным.

Чем объяснить эти недочёты в романе В. Закруткина? Может быть, недостатком художественного таланта у автора? Но ведь и в этом романе есть немало лиц и эпизодов, свидетельствующих о противном. Вероятно, мы не ошибёмся поэтому, предполагая, что недостаточная художественная продуманность отдельных фигур есть следствие общей неверной литературной концепции этого произведения, что искомая «полнота охвата» на деле привела к уменьшению реалистической полноты и цельности каждой из составных частей.

Стремясь изобразить связь «сотворения мира» в Огнищанке с творческим процессом истории, идущим во всём Советском Союзе и во всём мире, автор именно эту связь потерял. В книге, например, рассказывается о Генуэзской конференции. Автор напоминает о некоторых забытых деталях этого исторического эпизода. Но к чему это рассказано именно здесь, в этом романе? Как эта конференция отразилась на событиях огнищанской жизни? В романе — просто никак. Для того чтобы установить внутреннюю связь, понадобились бы ещё какие-то посредствующие звенья, и, если бы автор занялся этим применительно ко всем рассказанным фактам международной политики, первая книга романа была бы еще много толще. Поэтому автор удовлетворяется установлением хотя бы внешней связи Огнищанки с международным положением и внешней политикой СССР. В. Закруткин делает Александра Ставрова (брата фельдшера) дипкурьером, ездящим в Геную, Варшаву, Рапалло, Лондон, Берлин. Однако и от этого проку мало. Допустим, что Александр благодаря своим поездкам «хорошо знал всё, что делается в мире» (хотя, заметим, для этого нет надобности самому всюду бывать); пусть так. Но как это его знание отразилось на состоянии умов его огнищанских

родственников и односельчан? Никак. Огнищане не чувствуют своей принадлежности к «большому миру», они мало о нём заботятся. И Александр Ставров не пробуждает в них интереса к нему. Во время своего приезда в Огнищанку он занят лишь своей любовью к жене пропавшего без вести Максима Селищева, больше ничем.

Таким же образом в роман включены все описания международных событий, все упоминания исторических имён. В романе изображены, очерчены или упомянуты коммунисты: Ленин, Дзержинский, Эрнст Тельман, Воровский, Войков, Чичерин, Литвинов, Красин, Вильгельм Пик. Есть здесь и Фритьоф Нансен, Герберт Уэллс, Сакко и Ванцетти. Огромен перечень лиц, враждебных прогрессу: Керзон, Ллойд-Джордж, Пуанкаре, Сидней Рейли, Мосли, Муссолини, Гитлер, Розенберг, Стиннес, Крупп, Рябушинский, Манташев, Лианозов, Третьяков, Врангель, Деникин, Кутепов, Туркул, Улагай, атаман Анненков, Скоропадский, Петлюра, Тютюник, Булак-Балахович, Савинков, Махно, Мамонтов, Шкуро и другие. И все они являются лишь «фоном», независимо от того, больше или меньше о них сказано по количеству страниц или строк. Главные герои романа, главное действие в конкретно изображённых, имеющих длительную связь сценах существуют сами по себе, отделённые от них совсем или связанные литературно-механически. Если автор и рассказывает, что, скажем, у шпиона Сиднея Рейли есть жена, дама буржуазного «света» (или «полусвета»), это служит лишь поводом для написания сцен, более уместных в романе типа «Поджигателей», но лишь мешает развёртыванию того материала, который наиболее ценен в «Сотворении мира».

Уж лучше было бы, если бы автор, выбрав для этого надлежащие места, *в публицистической форме* освещал общее историческое положение страны, делая сам выводы, которые соотносили бы главный предмет его *художественного изображения* с очерком движения современной истории в целом. («Война и мир» — бессмертный образец такого обращения с историческим материалом, выходящим за пределы непосредственной связи персонажей с событиями.) Но В. Закруткин почти всегда «беллетризует» свои исторические описания, стараясь характеризовать участвующих в событии или присутствующих при нём людей. Конечно, это не могло привести к удаче, так как,

во-первых, характеристики эти, при таком их числе, могут быть лишь чересчур беглыми, а во-вторых, потому, что все достоверные черты берутся автором из литературы и перекочёвывают из многих книг в его книгу. Не раз, вероятно, на страницах различных произведений, в том числе и популярных детективных выпусков, встречались читатели с такими описаниями злодеев: «Высокий человек с лошадиным лицом и водянистыми, безжизненными глазами. С трудом ворочая длинной челюстью, поглаживая зализанные остатки белесых волос... сказал деревянным голосом: "...Меня зовут Морис Морисович Конради"». Не слишком выделяются также «лица необщим выраженьем» и фигуры буржуазных дипломатов, участников всевозможных конференций и совещаний; по большей части это «чисто выбритые, розовощёкие господа в щегольских сюртуках, в смокингах, в аккуратно разглаженных фраках», словно сошедшие на страницы «Сотворения мира» с заурядных плакатов и карикатур.

Эти и подобные им характеристики не наполняются жизнью, ибо, повторяем, связи с жизнью, конкретно изображаемой в основном ядре романа — обязательной, непосредственно воспринимаемой связи,— у большинства исторических событий и лиц в романе нет.

Возьмём процесс эсеров в Москве. Уж такое-то событие, явившееся результатом попытки потерпевшей крах «крестьянской партии» связаться с кулацкими элементами в советской деревне и оторвать крестьянство от коммунистической партии, могло бы, казалось, быть изображено в связи с классовой борьбой в Огнищанке, с формированием мировоззрения действующих там лиц. Но этого нет. Описание суда над эсерами и обвиняемых (Гоца и других) остаётся описанием. Идеологически, отражаясь в сознании героев романа, это событие не задевает Огнищанку никак, а в, так сказать, практической политике передаётся в Огнищанку через связь Острецова с эсером-террористом Савинковым. Но как искусственна и эта связующая нить! Острецов орудует через бандитов, скрывающихся по другим сёлам и в лесах, живя в Огнищанке лишь сам, а в свою контрреволюционную деятельность он не посвящает из огнищан никого, даже заклятого врага Советов кулака Терпужного. Таким образом, его жизнь в Огнищанке есть лишь местопребывание, проживание, а по отношению к жизни других действующих лиц, через

которых выражается главная линия романа, остаётся фактом внешним и случайным.

Максим Селищев, вербуемый в антисоветские террористические группы главнейшими деятелями контрреволюции прямо или через посредство других лиц, входит в соприкосновение с известными организаторами антисоветских диверсий. Но с Огнищанкой все эти встречи и действия имеют лишь то общее, что война и голод забросили в эту деревню жену Селищева, о чём он сам даже и не знает... Может быть, в одной из следующих книг романа разрозненные линии как-то свяжутся или пересекутся. Но справедливо ли это по отношению к читателю первой части романа?

Беда не в том, что добрая половина книги отдана, таким образом, описаниям, которые не имеют связи с главными героями и взяты так выборочно, распределены по частям и главам романа по такому внешнему признаку (лишь исходя из общеисторической хронологии), что самый этот материал воспринимается не как живая, подвижная картина истории, а как отдельные, разъединённые, неподвижные зарисовки фактов. Конечно, и это намного усиливает впечатление неподвижности, отмеченное нами выше, когда мы говорили о способе изображения в этом романе его главных героев. Но, может быть, ещё бóльшая беда в том, что автор, рассеяв свое внимание на столько объектов, лишил себя возможности до конца справиться хотя бы с одной из поставленных перед собой задач. Он не смог «провести» по роману главных своих героев. То же можно сказать и об исторических фактах.

Мы видим в этом подтверждение неновой, но очень важной истины, которую полезно помнить всегда: глубина и верность художественного воздействия имеют своим источником глубокое и активное отношение художника к жизни. Самая высокая по художественности та форма, которая позволяет жизни проявиться с наибольшей верностью. Если же форма, художественная концепция, предвзято навязывает себя «материалу» как нечто обязательное, хотя бы за счёт потерь в глубине изображения жизненной правды,— это форма инертная, косная, уменьшающая творческие возможности автора как с содержательной, так и с художественной стороны. Форма «эпопеи во что бы то ни стало» не составляет исключения.

Мы привели примеры того, как, захватывая вширь, В. Закруткин упускает возможность идти вглубь, как от этого теряют конкретность и развитие характеров и судеб, и речь, выражающая особенный склад мышления и чувств действующих лиц. Но очень часто художественно неудовлетворительны и те страницы романа, где рисуются факты исторического масштаба:

«Истина заключалась в том, что подавляющее большинство людей изо дня в день работали на фабриках и заводах, на верфях и в шахтах, в полях и в садах, то есть работали сообща, огромной массой, но все те неисчислимые ценности, которые создавала эта огромная масса людей, распределялись не между ними, тружениками, а присваивались ничтожной кучкой эксплуататоров. Так людские жизни, здоровье, пот и кровь превращались в богатства, которыми пользовались лишь очень немногие. И чем больше богатели эти немногие, тем беднее, бесправнее становились массы голодных тружеников.

Маркс и Энгельс открыли эту истину, впервые рассказали о ней людям, возвестили неизбежную гибель капитализма, а Ленин, создавший в обширной, но отсталой стране могучую Коммунистическую партию, указал единственный путь к победе трудящихся. Под руководством Коммунистической партии народы России победили и основали первое в мире свободное государство. С тех пор мрак холодной ночи над людьми стал рассеиваться.

"Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм",— сказал вождь китайских коммунистов Мао Цзедун.

"Для лозунгов, раздающихся из Москвы,— говорил Сун Ятсен,— расстояния не существуют. Молниеносно они облетают всю землю и находят отклик в сердце каждого труженика... Мы знаем, что Советы никогда не становятся на сторону неправого дела. Если они за нас, значит, истина за нас, а истина не может не победить, право не может не восторжествовать над насилием..."

"Русский народ проложил путь к социализму. Он пробил первую брешь в капиталистической системе... Это величайшее событие вселило радость в сердца всех угнетённых в мире и страх в сердца капиталистов",— так отзывался о русской революции руководитель американских коммунистов Уильям Фостер.

Когда молодой француз коммунист Морис Торез впервые приехал в Советский Союз, он писал...»

Конечно, приведенные цитаты сами по себе очень ценны и имеют все основания быть в поле зрения художника. Но вводить их в ткань художественного произведения столь упрощённым способом — вряд ли закономерно.

Можно было бы привести еще много примеров идейно-художественных просчётов В. Закруткина в романе «Сотворение мира». Можно было бы легко доказать, что не только события в нём не имеют нужной художественной связи, но и главные персонажи существуют как-то рядом друг с другом, слишком мало взаимодействуя (Дмитрий Ставров и Илья Длугач, пастух Силыч и тот же Длугач и другие).

Можно было бы остановиться и на языковых, стилистических ошибках. Но мы не пишем рецензию на роман.

Итак, мы пришли к выводу, что почти необозримая широта охвата фактов лишь повредила роману «Сотворение мира». Значит ли это, что мы выступаем против самой формы большого исторического романа? Конечно нет. К такой мысли нельзя было бы прийти, не вступая в противоречие с реальной историей литературы.

Незачем обращаться к прошлому — Михаил Шолохов дал пример широкой, органически единой, насквозь живой современной эпопеи в романе «Тихий Дон». Но в чём источник единства этого произведения? В нём нет ничего существенного, что было бы «фоном», абстрактным в том смысле, что те или иные события общественной жизни произвольно «добавлены» к развивающейся по своим законам жизни действующих лиц. В нём нет людей, нет индивидуальных судеб, которые были бы лишь иллюстрацией к историческим событиям, идущим своим чередом, без связи с действиями и переживаниями героев. В нём нет таких встреч и связей между людьми, которые создаются автором посредством натяжек, трудно допустимых случайностей и лишь для того, чтобы присоединить ещё одно событие к перечню других, происходивших в то же время. Шолохов выбрал как предмет художественного изображения такую среду, где, при всей противоположности классовых интересов и различий в личной судь-

бе, было достаточно широкое поле для взаимодействия. Всё выходящее за пределы донских станиц возвращается к ним непосредственно или в виде влияний, изменяющих их жизнь.

Мы не собираемся здесь прибавлять нечто новое к сказанному другими о «Тихом Доне», мы хотим лишь указать на один на первый взгляд парадоксальный факт: Шолохов ограничил круг персонажей и событий, а получилось монументальное произведение; он исходил из жизни в одной местности, а вышел на простор всей нашей страны и, следовательно, всего мира. Те же писатели, которые уже в исходном пункте имеют в виду весь мир, рассматривая своих основных литературных героев и все обстоятельства их жизни как его малую частицу, писатели, прибегающие к нанизыванию фактов, далёких от непосредственной жизни героев, оказываются постепенно, к концу, более бедными и узкими, чем были в начале.

К сожалению, этих последствий внешней, формальной «эпопейности» не избежал и В. Закруткин в своем «Сотворении мира», в романе, интересном там, где литературная инерция не заглушила искусства, растущего из жизни.

«Новый мир», 1958, № 11

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ ЯЛГУБЫ

Это не совсем обычная книга. Это книга без вымысла — можно было бы назвать ее очерком, репортажем, моментальным снимком всего увиденного и услышанного в самой рядовой, нисколько не примечательной деревушке Карелии середины 30-х годов. И между тем в этой книге сколько угодно вымысла, сколько угодно заведомых небылиц, переплетающихся с несомненной былью в самых неожиданных сочетаниях, самых причудливых узорах.

Герои этой книги как будто ничего не делают. Они «только» рассказывают, и автор «только» записывает их рассказы. Рассказывают попутчики в машине, шофёр, встречные на дороге, жители деревни, приезжие — они как будто лишь затем и собрались на эти страницы, чтобы порассказать друг другу всё, что припомнится, что придёт в голову, кстати или некстати, всё, что им самим покажется занимательным, любопытным, достойным того, чтобы послушать. При этом всякого читателя поражает та расточительная щедрость, с которой автор расходует накопленный материал, не переслаивая его «воздухом» описаний и пейзажей, не разбавляя водой отступлений и сентенций. Едва успевает один из рассказчиков закончить, как тотчас вступает другой, и увлекательнейшие истории цепляются друг за друга, нижутся звеньями нескончаемой цепочки.

Только что вы наслушались баек о похождениях «кума императора», купца Зайкова, который пробрался на съезд Советов Карелии и предложил «выкачать досуха Белое море, чтобы удивить весь мир и чтобы никакие неприятельские суда не могли подойти к побережью», другой персонаж расскажет вам про увеселительную экскурсию на Ивановские острова, которая на самом деле оказалась

Рецензия на кн.: Геннадий Фиш. Ялгуба.— М., Советский писатель, 1958.

героическим рейдом парохода «Анохин» в тыл белогвардейцев и англичан-интервентов.

А ещё через две-три страницы сам автор не может отказать себе в удовольствии вспомнить любопытную встречу в Матроссах, на показательном лесозаготовительном пункте. И следует рассказ про «молодого, выбритого розовощёкого канадского парня в шёлковой трикотажной рубахе», который «положил гитару на койку, взял свой топор и лучковую пилу с волчьим зубом и вышел из барака в лес. И рядом с ним шёл рослый, мощный сибиряк. Мужик-борода. Таких рисовали народники, когда хотели изобразить мужицкую исконную стихийную силу». И вот они стали соревноваться между собой, и каждый раз у канадца бывало напилено восемнадцать фестметров, а сибиряк еле добирался до десяти, и при этом «после работы сибиряк валился без задних ног на койку. А канадец на гитаре тренькал...». На двенадцатый день сибиряк всё-таки сдался и пошёл на выучку к «молодому, розовому, как поросёнок, парню», которого он сначала возненавидел и называл «канальец» и с которым они в конце концов подружились.

«— Мой старший брат в американских частях здесь на севере был,— говорил канадец, и я переводил его слова сибиряку.— Потом он отказался стрелять в красных... Обратно домой увезли. А я сюда приехал. Теперь здесь мой дом.

— А я в партизанах с разными иностранными войсками дрался. Били мы их. Учись по-нашему говорить... я тебе многое расскажу. Я тебя политике научу. Своих белых поедешь бить».

Или рассказ шофёра о легендарном Вернере Лехтимяки — финском красногвардейце, который поехал в Америку «технику лётного дела изучать» и сделался там знаменитейшим лётчиком, «главным инструктором по кадрам», с которым сам Рузвельт беседовал. И однажды понял Вернер Лехтимяки, что «превзошёл он всю техническую авиационную науку, под самый потолок забрался, дальше некуда, остаётся ему передать эту науку трудящемуся классу, рабочему государству, то есть нам...». Тогда он «стал вести коммунистическую работу» среди лётчиков-финнов, обучавшихся в лётных школах Америки, стал ездить по финским колониям и агитировать подписываться по «американскому пятаку» и на эти деньги закупал у аэропланных фирм «у одной там мотор, у другой фюзеляж, у треть-

ей другие необходимые детали». Кончилось дело тем, что в Ленинградский порт прибыл теплоход и привез самого Вернера Лехтимяки, а с ним — двадцать два аэроплана, «подарок американских финнов трудящимся Карелии...».

Всё это, пожалуй, могло бы показаться невероятным, если бы герой рассказа не существовал на самом деле и если бы рассказчик не имел самых неопровержимых доказательств того, что аэропланы действительно прибыли в Ленинград. Однако же слушатели и не требуют никаких доказательств; превратившись сами в рассказчиков, они поведают вам другие истории, ещё удивительнее, и из всех этих историй встанет живой и несомненный образ славного Вернера Лехтимяки, способного, оказывается, и не на такие дела и не на такие подвиги.

А рядом с историями такого рода мирно соседствуют и другие: например, о том, «как остров Кильдин произошёл», или про чёрта и старого партизана, или притча про «чудо святого Николая Мирликийского», солёная, как итальянские новеллы Возрождения. Пестрота, хаотичность этой кунсткамеры изумляет и застаёт врасплох. В самом деле, что общего между историческим анекдотом о Петре и описанием лыжного пробега по следам знаменитого рейда курсантов Интернациональной военной школы? И почему так близко соседствуют легенда о гнедой лошади, которая стала символом крестьянского восстания, и рассказ узбека Ильбаева о том, как он «усомнился в мудрости Аллаха» и стал заядлым безбожником и активным антирелигиозником — «ибо неисповедимы пути Аллаха»...

Право же, неисповедимы пути автора, но это лишь самое первое и поверхностное впечатление. В свое время А. М. Горький писал автору этой книги о «многом ценном» в ней, «что звучит анекдотически только потому, что оно свежо, ново». Этой новизны и свежести «Ялгубы» нельзя не признать и теперь, после того как она без малого четверть века не переиздавалась. Но, может быть, именно наше сегодня позволяет бросить на неё общий широкий взгляд и увидеть то единство и тот недюжинный смысл, какие в ней, безусловно, присутствуют. При всей своей внешней пестроте и хаотичности «Ялгуба» Геннадия Фиша представляет собою размашистую, клочковатую, мозаичную и всё-таки очень цельную и типическую картину северной русской деревни середины 30-х годов нашего века. Эта деревня взята на рубеже двух эпох,

застигнута в одном своем порывистом движении, со всем её прошлым, настоящим и будущим, со всем новым, что она успела познать, и со старыми грехами, предрассудками и заблуждениями. Со всей ее былью и небылью.

Она, эта деревня, прошла гражданскую войну и коллективизацию, живёт памятью о Ленине и товарищах Ровио и Гюллинге, знает цену пролетарской солидарности. Она уже посмеивается над чудесами святого Николая, чудотворца Мирликийского, и подозревает, что остров Кильдин вполне мог бы произойти без участия чёрта и кольского святого, но она ещё слагает невообразимые саги и легенды о красном партизане Ваньке Поспелове и навешивает щукам на хвосты деревянные ложки, чтобы узнать спустя год, соединяется ли Укш-озеро с Ур-озером.

Анекдотическое и реальность — порою очень тяжёлая, даже трагическая реальность — тесно соединены в этой картине, иногда в одном и том же рассказе; разделить их нет ни возможности, ни смысла. Таков, например, рассказ узбека Ильбаева об уразе — месяце поста и радости для правоверных, который стал последним месяцем его веры. Анекдотична лишь самая внешняя причина его ухода «от демократии Аллаха»: во время этого поста «от восхода солнца до захода верующий мусульманин не имеет права взять в рот ни маковой росинки. Но как только солнце зайдёт, открываются вечерние и ночные пиршества». Так постановил Аллах, но в этих северных местах, «куда не ступала нога мусульманина, куда не залетала слава о мудром Саади» и куда во время империалистической войны согнали толпы несчастных строить на их же собственных костях самую северную в мире дорогу,— в этих местах ночь не наступает три месяца кряду, и для тысяч людей это стало «не искушением веры, а искушением желудка». Вот как будто и всё смешное в этой истории, остальное — это уже трагедия исступлённо верующих, которые предпочитают умирать в голодных судорогах, но не прикасаться к пище, постигая ценою своих мук и смертей, что «Аллах, если он есть, не знает, что делает». К этому следует ещё прибавить весь ужас работы, бессмысленной для этих людей и такой же невыносимой, как война, которая «всё перевернула вверх дном», и картина совсем уже приобретает прочную опору в той простой и трезвой правде, которая в иные эпохи открывается нам в самом неожиданном обличье.

Вся эта многосложная калейдоскопическая картина и вызвала к жизни тот необычный жанр, в каком написана

«Ялгуба». Только при самом превратном понимании типичности можно увидеть здесь отступление от её законов. Небылицы в этой книге нисколько не компрометируют былей, хотя и достаточно не похожи на них. Более того, и как это на первый взгляд ни странно, анекдотичность их только подчёркивает и удостоверяет их несомненность: придумать всё это невозможно. Эти любопытные, удивительные, из ряда вон выходящие истории всё-таки остаются живыми фактами, внушительными свидетельствами того, насколько жизнь богаче всякой выдумки.

А между тем, при всей её необычности, «Ялгуба» всё же не что иное, как повесть с оригинальным сюжетом, в котором, пожалуй, даже слишком заметны следы тщательной отделки, с живыми характерами людей, отличающихся каждый своей неповторимой речью. О языке этой книги — пластичном, гибком, колоритном — только потому и не следует говорить отдельно, что без него вообще невозможно себе представить «Ялгубу». Я имею в виду не авторскую речь, которая в конце концов сведена к минимуму и выполняет даже нарочито подчёркнутую роль сухой ремарки, кратчайшего связующего звена. Главное — это язык рассказчиков; он-то, собственно, и отличает их друг от друга, поскольку никакими иными средствами они не характеризуются. Зато уже в этой своей языковой стихии они поистине неповторимы и неподражаемы, люди разных профессий, склада ума, биографий и двунадесяти языков: русский шофёр, вобравший в свой лексикон пёструю дань дорожных встреч и приключений; узбек-пропагандист, для которого первой читаной книгой, кладезем мудрости и обмана, был Коран; крестьянин-возчик с его суесловием заводного враля, а также и лукавой бестии; канадец-лесоруб, владеющий всего сотней русских слов, но для которого именно на русском языке прозвучали самые важные истины.

В том же письме к Геннадию Фишу, о котором уже говорилось, Горький поздравил его «с удачным вкладом в советскую литературу». Это, к счастью, можно повторить и сегодня, потому что «Ялгуба» оказалась именно прочным вкладом, а не временной поделкой. И можно надеяться, что сегодняшний читатель отнесётся к ней с тем вниманием и интересом, какого, безусловно, заслуживает эта живописная, искромётная и весёлая книга.

«Новый мир», 1959, № 7

РОМАН И ЕГО ЦЕНИТЕЛИ

Я прочитал книгу Евгения Белянкина «Вислый камень», потому что не мог её не прочитать. Отзывы её ценителей убеждали меня, что этот роман «несёт огромные запасы эстетических чувств» и «ведёт тебя до конца на большом интригующем уровне». Они обещали мне «многоплановые картины русской народной жизни с изумительным знанием этого народа, его жизни», притом написанные «сочным, образным, выразительным... русским языком». Они расписывали достоинства героев: «Это всё люди большие, сильные, страстные», а порою даже светящиеся «каким-то особым внутренним огнём». И все как один твердили об «исключительной талантливости автора», в доказательство чего редактор книги А. Налдеев поделился воспоминанием: «Когда нужно было найти деталь или заменить какую-то сцену, он буквально в один-два часа пишет новую сцену, так же талантливо написанную...» После этого меня уже не нужно было уверять в том, что «роман Белянкина... выдерживает самую высокую критику» и что «русская литература оценит его по-настоящему».

Все эти похвалы, которые, будь они малость грамотнее, вполне приличествовали бы появлению новой «Анны Карениной» или «Тихого Дона», раздавались при обсуждении романа в Союзе писателей РСФСР, и никакой бог педагогики не надоумил учителей Белянкина, преподавателей Литературного института Г. Апресяна, А. Власенко и других, взять хотя бы полутоном ниже, напутствуя в жизнь молодого писателя с его первой книгой.

Я вовсе не отрицаю её достоинств; они тем более несомненны, чем решительнее мы требуем от художника

Рецензия на кн.: Е. Белянкин. Вислый камень. — М., Советская Россия, 1958.

правдивого изображения жизни. Автор «Вислого камня» поставил себе задачей написать широкое полотно сегодняшней нашей деревни, которая бесконечно выросла и продолжает расти, вбирая в себя, в своё бытие, в свой язык новые понятия морали, политики, науки и уже не мысля без них своего существования. И рядом с этим, рядом с живейшими спорами — о гидротаранах и формуле Эйтельвейна, об узловом методе ремонта машин и почасовом графике — он хочет изобразить живучие остатки кондовой стари, невыбитый окаянный быт ненасытных сплетен, суеверий и пьяных драк, подчас вступающий в бешеную схватку с новым, а подчас и ускользающий от борьбы, проходящий стороною, «матом покрывая улицу»...

Всю эту пёструю путаницу явлений, где *вислый камень* старья торчит и шатается, как гнилой зуб в соседстве с молодыми и крепкими, приходится распутывать Владимиру Бегичеву, молодому парню, приехавшему из города. В придачу ко всем недостаткам и неполадкам на Константиновской МТС — в придачу к кустарщине, равнодушию, карьеризму, дрязгам. В придачу к несчастной любви и неудавшейся дружбе. Если ещё сказать, что автор, как говорится, не щадит своего героя, не обставляет ему путь лаврами и фанфарами — перед читателем этих строк, вероятно, очертится образ суровой, мужественной книги.

Но я сказал о ней только половину правды. Другая её половина в том, что писать жизнь «такою, какая она есть», невозможно. Вольно или невольно, художник группирует материал, сообразуясь со своей личностью; он пишет жизнь такою, какою он её видит. Вольно или невольно, он занимает позицию и обнаруживает пристрастия, и книга Белянкина в этом смысле не исключение; весь вопрос, разумеется, в том, как он умеет видеть и как умеет написать увиденное.

Как странно, что книга, задуманная широко и смело, читается с такой непроходимой скукой. При этом само письмо Белянкина далеко от гладкописи — даже слишком далеко,— но каждая страница выдаёт явную растерянность её создателя перед лицом необъятного, которое он не в силах организовать в образ. Он собрал и втиснул в свой роман пестрейшую кунсткамеру всевозможных житейских историй, анекдотов, пословиц, острот — словом, всё, что он знает и что угодило его вкусу — без отбора, без связи, без видимой ему самому цели.

Это явственно в пределах любой главы, которая ниоткуда не начинается и кончается какой-нибудь случайной фразой, например: «На селе лаяли собаки», полна необязательных разговоров и описаний, энергично тормозящих развитие характеров.

Впрочем, куда же им развиваться, ежели, к примеру, Настя — «по характеру — не тронь: задириста...», Петька Ражихин — «парень оторви-голова»; Алёшка и Настя — «хороши, но занозисты...»; Дашка — «огонь, одни глаза что: взглянет — одарит...»; семья Дашки — «боевая, спуску не даст...»; Леонидов — «занозистый...»; Борька — «был фасонистым, занозистым парнем...»; ребятня — «весёлая и смелая...»; парни — «залихватские...».

Так они и бродят — огневые девки, занозистые парни, боевые семейства. Особенно уродило «озорных»: тут и «озорные голоса», и тётя Садыя «смотрит озорно», и Васька «рос озорным и способным», и жеребчики в стойлах — «ишь каких озорных вырастили!», и наконец, «статная девушка с большими чёрными выразительными глазами. Глаза и лицо ясно передавали её озорное состояние».

В «озорном состоянии» пребывает и весь роман Белянкина, которому он с переменным успехом пытается придать «выразительный» вид. Но та же бедность властвует и над стилем «производственных» сцен:

«Весь день вертелся Бегичев, как белка в колесе. Его можно было видеть в мастерской, в конторе, на усадьбе, на складе запчастей. Ругался, спорил, советовал, но больше требовал».

«Озорно, но споро работали курсанты, бухгалтеры, табельщики, механики, трактористы. И дело было сделано».

Временами этот дежурный стиль парикмахерски завивается, и тогда являются «рыдающие родники», «обрывки разговорной паутины», глубокая печаль, которая заложена под «вуалью ресниц», луна, которая «выдавливала в улыбке что-то непонятное», «разрывающий крик», который «сжал в клещи тишину сада», и прочие прелести уже пародийного пошиба:

«С приездом Алёши расцветала маковой зарёй; на случайную ласку отзывались мягким перезвоном колокольчики в её груди... По ночам догадливо прикасалась к его сердцу, слушая, как там по-осеннему шепчут листья».

Не ведая элементарных литературных штампов, приобретших уже нарицательное значение, автор попадает

впросак на каждом шагу. Он выдаёт себя с головой, когда пишет о герое: «но не дрогнул ни один мускул на его лице», или начиная главу сакраментальной фразой «Мороз крепчал», которая, с лёгкой руки чеховской Веры Иосифовны, стала синонимом литературной беспомощности. Или описывая «искорки в глазах», которые, «подобно разрядам молний, так и вспыхивают, так и вспыхивают...». Или впадая в так называемую «сказовую манеру»:

«Впилась Валя в шершавые губы Васькины, обдавая мужа жарким дыханием последней ночи — в глазах мольба девичья: "Пиши чаще, слову своему верен будь..."»

После таких тирад смешно бывает прочесть рассуждения критиков Белянкина (например, А. Хватова в 7-м номере журнала «Звезда») насчёт «связи с художественной традицией» Шолохова. Что эта претензия чересчур велика и неосновательна, очевидно любому читателю: не называть же плодом учения живописного кума Матвея, которого автор безнадёжно пытается слепить с деда Щукаря. Кум Матвей так же любит во всё «встревать», и такого же сорта случаются с ним истории: то сом его утащил под воду, то покусали собаки, то старуха Пантелевна в аэроплане облевала его с головы до ног. Словом, как говорит Белянкин, «удивительно хорошо работает мозг под чужие мысли». Но если у Шолохова создан полнокровный характер, у Белянкина — примитивная карикатура, зловещий символ того «ползучего натурализма», с помощью которого автор стремится организовать в образ непостижимую для его пера действительность. Глупый и жалкий кум Матвей для автора преисполнен народной мудрости и обаяния. Роман даже и оканчивается тем, что кум Матвей просит рекомендацию в партию. Этот заключительный пассаж уже не удивляет, ибо о тёмных и грязных сторонах деревенской жизни Белянкин пишет без гнева и горечи, без того холодного спокойствия, за которым прячется слишком горячая злость, даже напротив, со всей живописностью и смакованием. Право, самые яркие страницы — это те, в которых герои и героини блюют, дерутся, обзывают друг друга «паскудой», «кобылятиной», «сволочью поганой», посылают «к мамаше сиську сосать», леди величают джентльменов кобелями, а джентльмены ледей — суками, и все друг дружку всячески соотносят по материнской линии. Стиль романа заметно оживляется именно там, где они пребывают в под-

8 — 3710

питии или парятся в бане, особенно же когда они уединяются попарно. В овине, в омёте, в сарае, на сеновале, в чулане, на траве и даже иногда в постели. Но это уже такой деликатес, что о нём говорится особо:

«В ласках Алёши она забыла свою горечь, обиду, призналась:

— А всё же мы на белой простыне... Мечта сбылась».

Мечта сбывается не у каждого, но идея носится в воздухе: «Бабье лето наступило. Летела паутина, рыжели листья, и вздыхали украдкой истомившиеся солдаткины груди». Женщины то и дело обдают мужчин «жаром бабьим», а те в свою очередь исходят «чисто мужской тоской» и обнаруживают в себе таинственные желания. Например: «Сергей почувствовал необъяснимую тягу к Зинаиде, желание близости с ней».

Но это ещё святая простота; подчас картинки любви обставляются великолепной, сияющей пошлостью рыночных этюдиков с целующимися голубками. Вот Алик, друг Бегичева, очаровывает его же, Бегичева, возлюбленную:

«— Я на танцах встретил одну девушку, так хотелось подойти и сказать: "Галя — это ты?" Она была в таком же голубом платье, и оно ей так шло... Я за ней шёл вслед и думал: "Галя, голубая Галя, остановись!"»

Разумеется, голубая Галя, по автору, «неглупая девчонка», принимает это за чистую монету, следствием чего является выразительная сцена, в которой «Алик потихоньку высвободил ногу», а «Галя не могла не ощущать его горячего тела. В его движениях было что-то постыдное, но такое, с чем сладить она не могла», и т.д. Во избежание кривотолков следует затем пояснение: «Она так близко познала Алика. Она так близко ощущала его потребность».

Все любовные истории в романе похожи друг на друга; их могло быть и вдвое больше, и вдвое меньше, всё равно мы никогда не узнаем, что заставило Зинаиду уйти от Сергея к Алёшке Воеводину и почему Алёшка покинул Настю и перешёл к Зинаиде. На всё один ответ: «Любовь! Яркими цветами весны незаметно вошла она и расцвела в её сердце».

Когда не в силах описать душу любви, описывают её физиологию. И тогда является в изрядном количестве горячительное чтиво, полное неизъяснимой прелести для всяческих любителей клубнички. Что же касается фило-

софии героев, то вот характерные для них, и для автора тоже, образчики глубокомыслия:

«Жертвами любви становятся бесхарактерные», «Все женщины на одну колодку», «В природе, да и в жизни, вдруг погожие дни сменяются ненастьем», «Ничего не скажешь – неповторима детская пора», «Честный человек не менее, чем какой-либо нечестный, добивается известного благополучия», «Глупым быть полезно, но до предела».

Но, кажется, и цитировать автора полезно «до предела», тем более что исчерпать сей кладезь банальности и диковинного косноязычия невозможно. Я надеюсь, всякому читателю ясно, что таким языком, с помощью таких «изобразительных средств» и не могла быть написана мало-мальски оригинальная книга.

Но похвалы и восторги делают своё дело, и уже явлено миру уникальное в своём роде авторское предисловие к роману. Так оно и называется – «О себе»:

«И вот он – гвардеец. Командир полка прикрепляет к выцветшей гимнастёрке командира пулемётного взвода его первый орден Красной Звезды... Ещё совсем молодой гвардии лейтенант, на удивление учеников и учителей, приходит в класс... Кипы бумаг исписаны. Уже журналистом исхожены новые дороги, повзрослели мысли...»

Я должен, однако, огорчить Белянкина: он и здесь не оригинален. Так о себе, в третьем лице, уже писал Цезарь, писал Наполеон, люди, как известно, не умиравшие от скромности. И если Белянкин способен (надеемся на это!) своей «повзрослевшей мыслью» задуматься трезво и честно об истинной ценности своей книги, быть может, он помянет незлым тихим словом своих наставников, которые сыграли с ним злую неумную шутку, поторопившись выпустить книгу и создать ей рекламу и не оказав ему самой необходимой помощи.

«Литературная газета», 10 октября 1959 г.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ПОБЕДА

Вторая половина 1941 года...

Никогда потом не был так стремителен темп немецких наступлений и так оглушительны успехи оккупантов; никогда потом они не имели такого преимущества — в силе техники, мощности огня, обученности кадров. А между тем именно в эти полгода исход войны был предрешён, если и не окончательно, то во всяком случае бесповоротно. Был потом Сталинград, были Курск и Белгород, Корсунь-Шевченковская операция и много других побед — их одерживала уже спасённая Россия. А спасена она была именно в те трагические дни сорок первого года...

Одни из тех, кто совершил это чудо, узнали об этом значительно позже. Другим так и не суждено было узнать. Может быть, мысль о печальном различии между первыми и вторыми и породила название нового романа Константина Симонова «Живые и мёртвые». Так или иначе, среди книг, тяготеющих к правде войны, засвидетельствованной участниками и очевидцами, среди этих книг роман Симонова выделяется отчётливым стремлением сказать и ту правду, которая не была тогда известна людям, сделавшим для спасения родины больше, чем они сами думали. Не напрасно же так часто в «Живых и мёртвых» слышен рефрен: «Они не знали...», полный и грусти, и гордости всей мерой совершённого этими людьми.

«Они не знали и не могли знать,— говорит автор о бойцах дивизии, выходящей с боями из окружения,— что генералы ещё победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой».

Рецензия на: Константин Симонов. Живые и мёртвые. Роман. — «Знамя», 1959, № 4, 10—12.

Признания врага немало значат. Особенно если он перестаёт оправдываться свирепостью русской зимы и необъятностью российских пространств и называет роковым для себя самый жаркий месяц в году, когда его сапоги, колёса и гусеницы пожирали эти самые пространства наиболее успешно. Все наши споры о трагедии 1941 года упираются в чудовищную трудность: увидеть всходы побед там, где, кажется,— одна безысходная пропасть поражений.

В первых главах романа вновь возвращаются к нам тягостные, обидные часы и дни всеобщей сумятицы, «ужаса и недоумения», бессмыслицы и нелепейших слухов, потому что «толком никто ничего не знал», потому что «всё перемешалось и сдвинулось со своих мест». Эпизоды и люди мелькают, запоминаясь лишь постольку, поскольку разительны сами факты. Они точно выхвачены теперь наугад из залежей записных книжек и брошены кое-как на страницы, но от этого нисколько не теряют в своей достоверности. Ни этот военный комендант, который «говорил таинственным шёпотом, что ему пока ничего не известно». Ни красноармеец, бросающийся со штыком на своих, потому что заподозрил в них переодетых немцев. Ни новобранцы, идущие к своим частям и попадающие в плен, так и не успев получить оружие. Ни вот эта скорбная фигура на пыльном шоссе отступления: «...на узкой дамбе в толчее стоял громадного роста человек без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и... надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит её и расстреляет каждого, кто попробует отступить! Но люди двигались и двигались мимо...» И точно мало всего этого, над головами людей, в синем небе отчизны, разыгрывается ещё одна простая драма тех дней; они видят её и плачут от ярости, потому что ничем не могут помочь своим неповоротливым и беспомощным бомбардировщикам, ползущим под огонь «мессершмиттов» без прикрытия, «на своей безысходно малой скорости».

Может статься, эта картина покажется кому-нибудь чересчур мрачной. Но надо думать, их мнение вполне уравновесится мнением тех, которые найдут её чересчур приглаженной. Однако и те и другие вряд ли назовут её фальшивой и недостаточно впечатляющей, чтобы вместе с автором и его героями, «доведёнными до бешенства своими мытарствами», задаться вновь мучительными вопросами. «Как это могло получиться, когда предчувствие на-

двигающейся войны висело в воздухе ещё с апреля?..» — спрашивают себя герои, едущие, точнее, ползущие на фронт в поезде, «почему-то составленном из одних дачных вагонов». Политрук Синцов, вернувшийся в Москву, рассказывает жене «обо всём, что видел и что передумал: о великом подвиге людей и о их величайшем изумлении перед ужасом и нелепостью происходящего; об их стойкости и бесстрашии и о возникавших в их голове страшных вопросах: почему так вышло и кто в этом виноват?».

А за час до этого к той же Маше, жене Синцова, с теми же «страшными вопросами» подступал старик Попков: «Что из ямы как-нибудь вылезем — это ты меня не убеждай... А вот как в яму залезли — ты мне объясни. Вот что я понять хочу!» Этого не только он понять не может, но и Серпилин, старый и умный военачальник, в своё время пострадавший за проповедование бывших тогда не в моде предупреждений о сильных сторонах тактических взглядов возрождённого Гитлером вермахта. В конце романа Серпилин предлагает тот же вопрос старому другу из Генштаба: «Скажи мне: как вышло, что мы не знали? А если знали, почему вы не доложили? А если он не слушал, почему не настаивали?»

Большинство этих вопросов остаётся без ответа. Это и понятно: чтобы ответить как художник — посредством живых фигур и реальных коллизий, Симонов должен был бы написать совсем другую книгу, совсем о другом. В романе же, начинающемся первым днём войны, все эти размышления и рассуждения в лучшем случае составляют тему публицистических отступлений; они детализируют тогдашний колорит жизни, напоминают нам, о чём думали, чем терзались люди, продолжавшие при этом делать своё дело. Художественной концепции на этом не построишь, потому что не о том роман писан.

«Почитайте книгу Толстого... "Война и мир",— говорит Хемингуэй,— и вы увидите, что все пространные исторические рассуждения, которые ему, вероятно, казались самым лучшим в книге... вам захочется пропустить, потому что даже если когда-нибудь они и имели не только злободневное значение, теперь всё это уже неверно и неважно, зато и верным, и важным, и неизменным осталось изображение людей и событий».

Вот почему если в «Живых и мёртвых» есть «верное и важное и неизменное», так это изображение того, как закалялась сталь сопротивления и отпора, как люди, опо-

мнившиеся от первого потрясения, от своего «изнурительного страха» и отчаяния, потянулись жадными руками к оружию и ещё до приказа «Ни шагу назад» не сделали этого шага по доброй воле. Эта сила в «Живых и мёртвых» берёт начало не после сумятицы и разброда, а параллельно им, перемежаясь с ними, а ещё точнее — вырастая из них, из неприятия всего, что мешает драться. Она возникает как бы исподволь, мелькая едва заметными штрихами, едва очерченными фигурами — то неким безымянным полковником, проворчавшим: «Слава богу, восьмой день воюем, пора в порядок приходить!», то даже и невидимым в темноте стрелочником, который один, в неразберихе и хаосе на станции, уверенно говорит, какой поезд пойдёт, и он действительно идёт; то неизвестным бойцом с чирьем на шее, который в плену у немцев конфиденциально сообщает о них Синцову: «Думаешь, порядок у них? Ничего у них не порядок, тоже беспорядок». И, наконец, является Серпилин со своей замечательной фразой о «нормальных условиях боя» и сердитой тирадой: «Все кругом только и твердят: "Диверсанты! Диверсанты!" А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их презираю. Если охрана несётся правильно, никаких диверсантов быть не может». А затем в обескровленную боями и всё-таки сражающуюся дивизию приходят пять артиллеристов, притащивших свою пушчонку по занятой врагом земле аж от самого Бреста!

Вот так, понемногу, как будто из мелких, но очевидных деталей, ясно доказывающих, что люди, совершившие чудо великого перелома, не были столь подавлены и ошеломлены с самого начала, как это казалось даже им самим в первые минуты вражеского вторжения,— понемногу из этих мозаичных кусков составляется пёстрая и сложная картина того, как, кем и когда была растоптана в прах безумная идея блицкрига.

Картину эту едва ли назовёшь цельной. Но едва ли она и была таковой. Гораздо легче, конечно, поддаётся живописанию уже устоявшийся быт войны, со всем комплексом сложившихся привычек, обычаев и традиций. В романе Симонова быт этот только ещё создаётся. Фон повествования чрезвычайно подвижен, устойчиво здесь лишь пристрастие автора к людям кадровой армии — отсюда обилие подробностей и разговоров о званиях, наградах, передвижениях по службе. Но как раз это доскональное

знание, как раз эти подвижность, изменчивость, взвихренность происходившего с героями заставляли ожидать такой же динамичности характеров. Этого, к сожалению, не произошло. Каким входит в повествование Малинин — угрюмый, немногословный и твёрдый в суждениях и привязанностях,— с таким Малининым и расстаёмся мы в конце, когда его, раненного в живот, увозят на дровнях. Первая встреча с симоновскими героями обыкновенно сильно заинтересовывает. Но так же сильно разочаровывает вторая. Не потому, что люди эти обманывают наше очарование, а потому, что не очаровывают по-иному.

К людям мало-мальски противоречивым применяется слишком частый у Симонова и едва ли достойный его приём растолковывания вместо показа, вместо движения характера. Точно читатель не уяснит себе, к примеру, малопочтенной сущности мнительного Крутикова без рекомендации автора: «Он был молод, недобр и растерян. И, как это часто бывает, нежелание верить другим рождалось у него от неуверенности в самом себе... Он изо всех сил старался по-прежнему держаться так, как его обязывала надетая на него военная форма, и, пряча собственный страх, цукал и упрекал в трусости своих подчинённых. Но себя самого он не мог обмануть».

Если, при всём этом, генеральная тема «Живых и мёртвых», тема величайшей сопротивляемости и непобедимой стойкости народной души, завязана тем не менее в основных своих узлах, то произошло это лишь потому, что Симонову с его мастерством и опытом удалась общая картина: массовые эпизоды и целая галерея маленьких, эпизодических лиц. Они-то, эти лица, мгновенно и точно очерченные, и составляют все вместе лицо сражающегося народа. Ни одна частная человеческая история в романе не может поспорить с теми картинами, где проявляется общее, народное начало — от первых дней смятения и вплоть до прекрасной сцены взятия нашими станции Воскресенское, сцены, которую следует считать кульминацией, потому что именно от этого боя берёт начало новая «арифметика» войны. И тем более жаль, что люди, изменившие эту арифметику, так мало изменились сами — исключая, пожалуй, Серпилина и ещё Синцова. Но о Синцове следует говорить отдельно, потому что с ним связана и основная слабость романа.

Как бы широк ни был охват событий и как бы многочисленны и масштабны ни были проблемы романа, он

тем не менее или тем более требовал для себя стройной и чёткой концепции, сосредоточенной вокруг определённого психологического и философского центра. Таким центром явно не может быть Синцов. Для этой роли он слишком «ограниченно годен», слишком обнаруживает свое назначение дежурного для связи разрозненных событий и персонажей. Появляясь в большинстве эпизодов, он почти нигде не становится главным действующим лицом. Между тем именно на синцовские хрупкие плечи автор возлагает всю тяжесть своей концепции, именно в его судьбе видит влияние тех больных, но живучих явлений, которым мы обязаны поражениями 1941 года.

Описания скитаний Синцова, его злоключений в плену, побега и затем мытарств в поисках утраченной репутации занимают почти всю вторую часть романа и большую долю третьей. Здесь много приключений и беллетристики и мало прозы, той прозы, которая отличает сцены в окружении и появляется вновь в описаниях декабрьских боёв под Москвой, в картинах немецкой атаки, взятия Воскресенского и на тех последних страницах, где батальон Рябченко идёт на запад по снежной равнине Подмосковья навстречу поднимающемуся дыму горящей деревни.

В истории Синцова автору дорога тема веры в человека. Но при всём горячем сочувствии к Синцову в его многотрудных хождениях по инстанциям читатель не может не видеть, как малотрагедийны его мытарства в сравнении с общим «наводнением горя».

А между тем утрачивается темп, слабеет пружина главной темы, и, вероятно, поэтому вся вторая часть романа не идёт в сравнение с лучшими страницами из первой и третьей, где бои, где муки, где последнее напряжение сил, где решаются судьбы мира, а не утерянной гимнастёрки с документами.

На перьях, которыми пишутся книги о войне, следовало бы выгравировать надпись, как на старых клинках: «Без дела не вынимай, без чести не вкладывай». И, адресуя этот совет автору «Живых и мёртвых», нужно сознаться, что вынут клинок для дела, то есть для слова, покамест не сказанного о великой войне. Но вкладывать его рано,— не так быстро расстаются со словом, которого требует зрелая совесть живых и светлая память о мёртвых.

«Литературная газета», 4 февраля 1960 г.

ПАРОДИИ И МЕЛОДИИ

Фельетонов у нас пишут много. Нет журналиста, который бы не попробовал себя в этом почтенном жанре. Но пародисты насчитываются единицами. Хорошая литературная пародия — это событие, сборник пародий — сенсация на книжном рынке.

Вот почему я заранее прошу извинения у читателя, если, рассматривая книжку А. Раскина «Очерки и почерки», оставлю в стороне его фельетоны, прозаические и стихотворные — в форме басен. Они для А. Раскина не характерны и, на мой взгляд, уступают его пародиям. Между тем как последним он обязан своей известностью.

За что же пародии такая почесть? Почему она редкая гостья на страницах журналов и газет? Каковы её свойства и особенности?

Чтобы ответить на эти вопросы, начну с небольшого предисловия. Даже с двух. Притом не моих, а принадлежащих перу А. Раскина, вошедших в его первый цикл «К вопросу о предисловиях».

Вот одно из них — «К заведомо плохой книге»:

«Конечно, эта книга — не та книга. Ах, совсем, совсем не та! При первом же знакомстве с рукописью озноб пробежал по нашей коже; читая гранки, многие из нас наполовину поседели, а подписывая сигнальные экземпляры к печати, ответственный редактор скорбно прошептал:

— Нет, эту книгу выпускать нельзя...

Мы не будем говорить о её художественных достоинствах. Какие там достоинства! Худшей книги не видел мир и вряд ли увидит. В отчаянии, со скрежетом зубовным выпускаем её в свет.

Да простит нас читатель!» И т. д.

Рецензия на кн.: А. Раскин. Очерки и почерки (Пародии. Фельетоны. Эпиграммы). — М., Советский писатель, 1959.

Да простит нас А. Раскин, но здесь его ирония пропадает впустую. Кривизна зеркала чрезмерна. Таких предисловий, слава богу, всё-таки у нас не пишут.

А вот такие, например, предисловия – «К переводному роману сомнительного характера» – пишут, и даже очень часто:

«...Скажем прямо, это не "Мадам Бовари" Флобера, не "Пармский монастырь" Стендаля, не "Боги жаждут" Франса... Автора нельзя назвать гениальным писателем... Вряд ли можно назвать его писателем вообще. Скорей всего он не писатель. Так же как и его книга не роман, не повесть, не развёрнутый очерк. Правильнее всего было бы назвать её записками крысы, живущей на дне помойной ямы и вооружённой чрезвычайно сильным увеличительным стеклом...

Наш читатель легко разберётся в этой книге и, с отвращением отбросив её, вынесет из неё много полезного для себя».

Сработала таинственная шестерёнка, именуемая «чуть-чуть»,– и необходимые свойства пародии проявились отчётливо и достаточно. И мы понимаем теперь, какой она должна быть. Она должна быть таким слепком с натуры, на котором отпечатались бы все её *особые приметы*, но только чуть глубже и оттого карикатурнее. Она должна быть имитацией без копирования, шаржированием без пасквиля, издевательством без оскорбления. Она должна быть как бы собственной иронией пародиста над самим собой. И тогда она станет острейшим оружием критики, донимающей и таких мастодонтов, чью плотную шкуру не пробивают самые злые статьи. Потому что выглядеть смешным в собственных глазах боится даже тот, кто уже ничего не боится.

Из всех видов юмора, какие существуют, наиболее ценен для пародиста юмор наблюдения, тот редчайший и труднейший юмор, которым в избытке был наделён, например, Карел Чапек. Он ничего не придумывает и даже не преувеличивает, он просто рассказывает нам, как люди занимаются фотографией или как делается газета; всё это мы как будто знаем и без него и всё же не в силах удержаться от смеха, потому что рассказывает он настолько точно, как сами себя мы со стороны увидеть не можем.

Но, значит, искусство пародирования – действительно редкий дар, не менее редкий, чем талант большого

художника. Только художник исследует жизненную материю, а пародист — материю искусства. В этом вся разница, и в этом же вся сложность, потому что первый волен всегда оставаться самим собой, второй — всякий раз обязан перевоплощаться. А удаётся это именно не «всякий раз»; ведь и твоя собственная сущность по-разному небезразлична к тому, что́ пародируешь, поэтому и не удивительно, что в одной и той же книжке одного и того же автора так очевидны успехи и неудачи, хотя объекты осмеяния как будто равноценны.

Автору «Очерков и почерков» особенно удаются пародии на прозаиков. В прозе М. Пришвина, например, он ухватывает роскошество и густоту стиля, дотошную обстоятельность охотничьего рассказа при отсутствии или ослабленности фабулы. Здесь даже название выбрано не в бровь, а в глаз — «Случай». В «Туманной юности» мы, разумеется, узнаём Р. Фраермана, экзальтированного, пылкого, туманно-романтического, неутомимого устроителя судеб своих героев-фаворитов:

«Пока она спала, весь класс уже перебывал у своей любимицы, подруги убрали комнату, помыли пол, побелили потолок, приготовили за Динку все уроки и даже позавтракали за неё. Динка засмеялась весело и решила, что она обязательно хорошо проживёт свою жизнь».

Лев Кассиль — устроитель иного рода: своих героев он щедро и от души награждает самыми мужественными добродетелями, какие только в тайных грёзах являются «расчудесным моим ребятишкам»:

«Кешка взял городошную биту в правую руку, поплевал на неё и одним ударом выбил из круга всю фигуру. В левую руку он взял гранату и забросил её так далеко, что и по сей день её не могут найти. На трибунах зашумели. Тогда Кешка, поплевав на ноги, ударил правой ногой по мячу и попал в левый верхний угол, под самую штангу. Такую “штуку” не взял бы даже лучший вратарь мира...»

У Н. Погодина верно и точно «позаимствована» его ремарка, состоящая из назывных предложений и таких сведений о персонаже, каких ни один режиссёр и актёр физически не в состоянии представить на сцене. И совсем не схвачен его диалог.

Менее, на мой взгляд, удаются А. Раскину пародии на стихотворцев. Прежде всего они, как правило, длиннова-

ты, а ведь самая лучшая шутка, как известно, не самая длинная, и коэффициент полезного действия любого анекдота обратно пропорционален его размеру. В большой стихотворной пародии шаржирование, нагнетаясь от строфы к строфе, может стать чрезмерным и уродливым. Нельзя слишком долго педалировать три-четыре характернейшие черты стиля и манеры, а большего количества читатель просто не сможет усвоить.

Для пародии на С. Щипачёва, например, вполне достаточно было бы названия «Философемы» и одной строфы:

Вчера весь день смотрел на мост.
Как он велик и как он прост!
Вот так и мы с тобой, дружок,
Когда выходим на лужок...

А их в книжке — четыре. Масло масляное.

В оправдание автору «Очерков и почерков» следует сказать, что пародировать стихотворцев вообще труднее, чем прозаиков. К тому же общая индивидуальность поэта неуловимее, неподатливее для шаржирования, нежели мелодия одного стихотворения. По большей части А. Раскин верно и тонко передаёт именно эту мелодию. Однако при всём его чувстве юмора, при всей точности, с которой он передразнивает пять-шесть строчек поэта, обыкновенно проставленных в эпиграфе, нельзя отделаться от мысли, что тот же Александр Прокофьев, тот же Михаил Светлов, те же Вера Инбер и Маргарита Алигер пишут и другие стихи. Всё ими написанное и то, что они ещё напишут, ведь не поставишь в эпиграф. Не говоря уже о том, что для эпиграфа строки выбираются с умыслом, заведомо неудачные, пародийные уже сами по себе, а писать пародию на пародию — так ли уж это нужно?

Между тем Александр Архангельский, например, пародировал именно всё творчество поэтов, их особые и, как оказывается, неискоренимые приметы. Много лет спустя читаешь тех же стихотворцев и сквозь новые их строки видишь не увядшие строчки Архангельского. Он брал не отдельную строфу или стих или просто манеру, он брал ключевую тему, общую направленность лирики, и, если он изображал, как бы Маяковский написал «Сказку о рыбаке и рыбке», мы видели не только стих Маяковского, но и его «отношение плёвое» к «занудам старого быта».

Если внимательно проследить, что же помимо формы, помимо мелодии подчёркивает А. Раскин в пародируемых им писателях, то окажется, что чаще всего это пустота, никчемность содержания отдельных страниц или глав. Иными словами — *безмыслие.* Но разве нельзя осмеять *мысль* — ошибочную или заведомо ложную? Разве нельзя помимо эстетических идеалов выставить на смех этические?

Пародист, на мой взгляд, достиг бы ещё большего эффекта, если бы он смелее выходил в сферу публицистики, в мир жизненных проблем. Он имеет все права и восстать против идей писателя, если с ними не согласен, и отнестись к этим идеям с полным сочувствием соратника, оставаясь в то же время острейшим критиком формы.

Впрочем, отнести все эти благие пожелания и укоры в адрес одного А. Раскина, разумеется, нельзя. Это было бы несправедливым по отношению к человеку, талантливо и упрямо подвизающемуся в одном из самых неразвитых жанров нашей литературы, испытывая подчас на себе увесистые и отнюдь не шутливые удары критической дубинки. И нужно отдать должное его боевитости: он остался по-прежнему желчен, язвителен, драчлив, твёрд в своих симпатиях и вкусах, чему свидетельством целая россыпь великолепных эпиграмм, собранных здесь же, в книжке. Это не праздничные мадригалы и не юбилейные подсюсюкивания; эпиграммы А. Раскина разящи и хлёстки, они точны и прилипчивы, как формулы творчества.

СЕРГЕЮ ОСТРОВОМУ

Пишет басом... тихо вянут уши.
Волос прибавляется седой...
Островым мы назовём часть суши,
Окружённую водой.

Но и там, где имя не названо, забрало остаётся открытым; мы слышим отзвуки ещё не отшумевших литературных битв, различаем контуры конкретных фигур:

ПОЭТУ ЭН

Едва успел твой стих забыть,
Как ты статьёй меня тревожишь...
Поэтом можешь ты не быть,
Но критиком ты быть не можешь.

В штатном расписании литературных вакансий должность сатирика-пародиста — одна из самых трудных, почётных и насущно необходимых. Воздействие его на литературный процесс переоценить трудно: без окисляющего компонента невозможно горение. Вот отчего, я надеюсь, всякий читатель воспримет появление маленькой книжки А. Раскина как факт, отрадный для нашей литературы.

«Новый мир», 1960, № 4

ОБРАЗЫ И КОММЕНТАРИИ

Читателю нового романа Льва Овалова «Партийное поручение» не могут не броситься в глаза многочисленные фронтовые ассоциации, густо разбросанные по всему тексту.

«Добыча угля та же война»,— говорят герои романа, и поэтому, например, отказ поехать на периферию рассматривается как бегство с поля боя, отношения руководителей и шахтеров сравниваются с отношениями генералов и солдат, а семейная жизнь Синицыных — с неправильно намотанной портянкой.

Словом, «à la guerre comme à la guerre»* — этими ассоциациями автор стремится внушить читателю впечатление продолжающегося боя, *продолжающегося* и после 9 мая 1945 года в наших мирных буднях, в простых делах, поступках и отношениях.

Пусть так. Смущает здесь лишь одно маленькое обстоятельство — именно то, что главный герой Синицын и другие сравнивают эту мирную жизнь не с той войной, какая была и какую они, если верить автору, прошли сами, а с той, какая должна быть по незыблемым положениям и параграфам устава. Что это не одно и то же, что не устав делает войну, а война делает уставы, ясно любому фронтовику, и не только фронтовику. Не ясно это только героям «Партийного поручения».

«— Многие из вас были на войне,— говорит Марченко, бывший партизан, а ныне секретарь обкома,— мыслимо ли, чтобы офицер не был для солдат образцом поведения?»

По уставу это, разумеется, немыслимо, а «по жизни» — бывало и так. Рассуждающий строго по уставу Синицын

Рецензия на: Лев Овалов. Партийное поручение. Роман.— «Москва», 1959, № 7—9.

* На войне как на войне (*фр.*).

не может себе представить, как можно быть командиром полка, не командуя прежде ротой, между тем как в жизни существовали солдаты, принимавшие на себя командование батальоном. Это уже не говоря о тех героических «нарушителях» правил ведения боя, которые бросали свой горящий самолет на вражескую колонну или применяли таран,— какой параграф какого устава предусматривал это?

Что же удивительного, если Синицыну «там, на войне, всё было как-то проще и яснее»? Что же странного, если ему «не так-то просто было сохранять фронтовые навыки в мирной обыденной жизни»? Ту ясность и те навыки, которыми обладает Синицын, мудрено сохранить не только в мирной обыденной жизни, но и на войне.

В том, как он думает и говорит, в том, как он применяет свои представления о войне к мирным делам и отношениям, трудно увидеть непосредственность и сложность человеческой мысли, невозможно предположить итог глубоких раздумий и большого жизненного опыта. Если война — жестокое, трижды сложное дело — обогатила его только знанием уставных положений и мудростью дурно написанных «военных» репортажей, какой же ещё — более сильный — опыт сделает его взрослее, умнее и тоньше?

В голове нашего героя до того всё просто и ясно, что и самый неопытный читатель не может не видеть, какая ему обещана книга. Он может не ждать от неё ни трудных жизненных коллизий, ни драматических осложнений.

Правда, иные писатели подчас — вольно или невольно — отступают от заданного курса, но Лев Овалов от него не отступает. Разумеется, его Синицын (по профессии горный инженер) малость поартачится, но всё-таки поедет на периферию и не захочет уезжать оттуда, где звёзды светят «ярче, чем на Арбате». Разумеется, новое начальство Синицына, председатель совнархоза Кузнецов, поначалу произведёт на него впечатление «грубияна и бурбона», но потом окажется очень милым, компанейским парнем. Разумеется, кто-то погибнет в горящей шахте, но по своей же ошибке. Разумеется, жена Синицына, Лида, немножко разочаруется в муже и немножко очаруется Кузнецовым, но до серьёзного дело не дойдёт, всё кончится самым достойным образом.

«— Знаете что? — скажет Лида.— Я хотела бы быть вашей дочерью!»

Никакие неожиданности, никакие жизненные сложности не расстроят Льву Овалову боевых порядков, не нару-

шат систему огня. Буде же они прорвутся где-нибудь на стыке, автор атакует их десятками нравоучительных тирад и назидательных рассуждений от себя и устами своих героев. Например: «Надо *уметь думать* и надо *знать*, о чём думать... Мысль, которая не рождает действия, мало чего стоит... В предвидении холодов следует наколоть дров,— это, конечно, полезная мысль и полезное действие, но автору этой мысли, воплотившему её в конкретное действие, памятника всё-таки не поставят».

За неприступными бастионами подобных прописей можно и впрямь чувствовать себя совершенно спокойно. Спорить против банальности так же наивно, как и соглашаться с нею. Но ведь, кроме банальностей, принятых автором на вооружение, существуют и его художественные идеалы. Спорить с ними и можно и нужно, ибо то, что кажется правильным Овалову, может оказаться неприемлемым для других.

Главная фигура, в которой сосредоточены идеалы автора, которой он отдаёт и львиную долю внимания, и десятки страниц, это, конечно, Кузнецов. В нём автор хотел создать образ героя нашего времени, человека сильного и внутренне необыкновенно значительного, образ руководителя, коммуниста, вся жизнь которого «есть партийное поручение» — иначе говоря, беззаветное служение народу.

Кузнецов для Овалова — прежде всего человек собранный. Недаром на него «нельзя было не обратить внимания, даже если бы он находился среди тысячи людей...». Недаром «Кузнецов появился перед Лидой, как чудо. Он принадлежал к тем самым людям, которых Лида ценила больше всего. Он был самим собой. Это и есть чудо...».

Итак, нам обещано самое главное. Герой не притворяется — следовательно, каждый его поступок и жест мы вправе принимать за истину. Вот и рассмотрим с этой точки зрения сцену, в которой впервые встречаются Синицын и Кузнецов.

«— Вас как зовут? — внезапно спросил Кузнецов, обращаясь к Синицыну.

— Сергей Иванович.

— Так вот, Сергей Иванович, с моей стороны это доверие, но если что — не пеняйте... — В голосе Кузнецова прозвучала угроза.— Шахта — это не московское метро, удобств в ней маловато, и главное, помните, уголь добывают люди, без них вы ничто, шахтёров надо любить, иначе угля не будет.

Кузнецов поднялся и вдруг как-то сразу преобразился, перед Лидой предстал холодный, злой, беспощадный человек; он был совершенно спокоен, но так стиснул кулак, что Лида без слов поняла: зажми он кого-нибудь в этот кулак, тому уж из него не вырваться.

— Вы понимаете, почему мы устанавливаем мировые рекорды? — спросил он Синицына и опять сам же ответил на вопрос: — Потому что богаты такими людьми, что все Америки...

Он точно отмахнулся от какого-то невидимого существа, и Лида поняла, что Кузнецов видит перед собой какого-то сильного и страшного противника, которого ей, Лиде, не дано ещё, а может быть, и никогда не будет дано видеть».

Здесь я должен сразу же предупредить читателя, что этого сильного и страшного противника ему тоже не дано будет увидеть в романе. В своём беспощадном кулаке Кузнецов зажмёт собственного шофёра Ваську, оказавшегося мелким жуликом. Своим угрожающим голосом он непечатно покроет маленького чиновника Снякина, который тут же сомлеет, как кролик перед удавом. Со своим совершенно спокойным видом он бросится в идеологическую схватку с подвыпившими стилягами в московском кафе, причём стиляги будут говорить заведомо глупо, а Кузнецов парировать необыкновенно умно.

Для чего же понадобилось сопровождать шумовыми эффектами унылые и плоские афоризмы («Шахта — это не московское метро...» и т. п.), которые обидели бы не только квалифицированного горного инженера, но и любого экскурсанта? А видите ли, теперь всё, что ни сделает Кузнецов, каким ни покажет себя вельможей и бурбоном, ему должно проститься, потому что этими начальственно-величественными жестами полномочного над людьми хозяина он отмахивается от некоего «невидимого существа».

Но если под «невидимым существом», «сильным и страшным противником» автор (как естественно предположить) подразумевает поджигателей войны, империалистов и всяческих «апологетов», то почему, собственно, редкостное умение разбираться в противниках присуще одному лишь Кузнецову, но им обделены те тысячи, миллионы, с позволения сказать, «простых советских людей», которые тоже читают газеты и даже способны уяснить смысл прочитанного? Почему же не дать им всем

такие же «чрезвычайные полномочия», какими пользуется Кузнецов?

А пользуется он ими широко и вольготно. Старому начальнику шахты Пряху, который, кстати, работал на ней задолго до приезда Кузнецова, он говорит: «Если услышу, что было плохо, не взыщи, можешь заранее уезжать из области». Секретарю, «забывшись», велит соединить его по телефону с возлюбленной. Шофёра Ваську, которого он иначе не называет, потому что не знает его отчества и фамилии, он готов послать за водкой, а когда старый друг советует быть поскромнее, «— Да что — скромнее? — спросил Кузнецов.— Есть, что ли, не досыта?». И правда, живёт он досыта и размахивается порой не по чину. Небрежным росчерком пера утверждает он проект Дворца культуры стоимостью в два миллиона; но маленький страж финансовой дисциплины не даёт таких фондов, и Синицыну, уже начавшему рытье котлована, приходится выпутываться не совсем законным образом. Что же Кузнецов? Кузнецов милостиво прощает Синицына.

Всё это как будто мелочи. Ну, а что же другое, настоящее, крупное, что было обещано автором, есть в Кузнецове? Оказывается, он «доступен для людей»; оказывается, он «не любил дёргать своих помощников и сотрудников по пустякам», и «его собеседники большей частью оставались им довольны» (даже те, которые называли «грубияном и бурбоном»?). Оказывается, он может запросто пообедать и выпить с «простыми людьми», а потом «всех обойти, с каждым распрощаться за руку». И даже когда Кузнецов обуреваем гневом, происхождение этого гнева благородно и чисто: «...Васька в нём вызвал такой гнев потому, что он слушал перед этим прекрасную музыку. Настоящее искусство пробуждает в людях сильные чувства. Не играй Наташа Бетховена, Кузнецову, может быть, не захотелось бы избить Ваську».

Автор не скупится на комментарии, в которых спешит оправдать своего героя. Впрочем, «оправдание» — не то слово. Овалов вообще не видит за Кузнецовым никакой вины. Для него он таков есть и такой нужен, а если его поступки и жесты кажутся нам, мягко выражаясь, странными, тем хуже для нас: мы не понимаем, что значит, когда человек обладает не только личным, но и «государственным опытом». Это действительно загадка для нас, и, чтобы разрешить её, мы вновь обращаемся к тем же поступкам и

жестам и не находим в них не только государственного, но и личного опыта. О первом красноречиво свидетельствует история с Дворцом культуры, о втором — история с его собственным, Кузнецова, шофёром. Так в романе ясно обнаруживаются два плана, два ракурса — образы и комментарии: то, что видит и пишет Овалов-художник, и то, что хочет увидеть и внушить читателям сидящий в нём резонёр. При этом, как часто случается в литературе, первый оказывается много убедительнее второго.

Овалову, например, достаёт умения и наблюдательности, чтобы нарисовать живописный облик Варвары Некрасовой — к слову сказать, самый яркий и достоверный характер во всём романе. Особа весьма надоедливая и горластая, она суётся, куда её просят и не просят, она помыкает своим безобидным и безвольным супругом, заставляет его полоть грядки и выговаривает ему за то, что мал «аванец»; она и квартирантов своих, Синицыных, стремится втянуть в орбиту своей неукротимой, суматошной деятельности, а главное, своего понимания, что правильно и что неправильно.

Во всём этом, повторяю, много правды и колоритности; странно только, что не находится никого, кто бы попытался осадить эту деятельницу и предложил бы ей не вмешиваться в чужую жизнь. А вмешиваться ей вовсе не обязательно, потому что, при всём ее партизанском прошлом, она в своём нынешнем состоянии домашней фурии являет собой такое же воплощение мещанства, как и те стеклянные шары в её комнате, в которых в подкрашенной воде плавают восковые лебеди.

Но вот, к немалому удивлению Лиды, которую эта особа тоже успела донять, выясняется, что у неё в кармане партийный билет. Происходит разительная метаморфоза:

«Должно быть, я воспринимала Варю всё-таки слишком внешне,— подумала Лида,— воспринимала неприятные черты её характера, её грубость, развязность, мелочность как нечто органическое, а на самом деле они объясняются отсутствием воспитания и образования».

Это ещё один образчик такого комментария, в котором мы с удивлением обнаруживаем существование в романе двух разных моралей. Кузнецов видит «сильного и страшного противника», которого другим видеть не дано,— простим ему вельможный тон и барственную оскорбительность жестов. Варвара Некрасова не просто домашняя

скандалистка и сплетница, она партийная,– поэтому объясняйте неприятные черты её характера чем угодно, только не считайте их чем-то «органическим». Всякому неискушенному читателю видна в этом разделении моралей изрядная доля ханжества.

Что это вовсе не случайная особенность романа, доказывается усердно и другими его героями. Что вы скажете, например, о самой Лидии Синицыной, которая не желает спать в одной комнате с мужем, отказывающимся ехать на периферию? Что вы скажете о девице, которая после нечаянного поцелуя на лыжной прогулке строго заявляет своему спутнику:

«– Серёжа,– сказала она.– Я дала себе слово, меня поцелует тот, кто станет моим мужем...»

Вопрос поставлен довольно оригинально. Любит Лида Синицына или не любит – это не важно, важно соблюсти принцип «поцеловал – женись», поэтому, окажись на месте Синицына кто-нибудь другой, она бы и от него должна была потребовать оформить поцелуй законным браком. При этом не следует думать, чтобы сам автор считал свою героиню чрезмерно рассудочной или ханжой – она для него «и строга, и умна, и насмешлива», и самая лучшая женщина, если верить таким авторитетам, как Синицын и Кузнецов.

Правда, иным читателям она такой не покажется, они найдут её и душевно неразвитой, и ограниченной в своих взглядах на жизнь. Но для автора она идеал, а идеал – вещь труднооспоримая, позволяющая человеку видеть в предмете такие достоинства, которых иные смертные не замечают. Вот, например, с какой точки зрения смотрит Лида Синицына на художества своего малолетнего сына:

«Лида все пристальней и пристальней всматривалась в рисунок, во все эти зелёные кружочки и лиловые полосы. Где-то она видела уже нечто подобное. Она вспомнила. На одной из выставок в Москве, где демонстрировались картины каких-то западных абстракционистов. Володя рисовал не хуже. Но там, на картинах взрослых, это была затухающая мысль, бегство от мысли, а здесь перед нею была мысль пробуждающаяся, поиски мысли».

Вероятно, у многих читателей эта тирада вызовет только улыбку, но, право же, в этих зелёных кружочках и лиловых полосах видится нечто символическое. Всё дело ведь в том, как посмотреть, а смотрит Лев Овалов на свой

роман, как мать на собственное дитя. Надо полагать, его роман «Партийное поручение» кажется ему донельзя актуальным и острым, ведь затронуты животрепещущие идейные проблемы, вопросы руководства промышленностью, выдвинуты на первый план фигуры, в которых как будто видны признаки новых веяний. И во исполнение своих прекрасных замыслов автор приглашает читателя окунуться в жизнь, в самую что ни на есть глубину действительности.

Читатель видит быт и нравы шахтёрского поселка, совнархозовских приёмных и кабинетов, изображённые достаточно верно, хотя и достаточно поверхностно. Он слышит слово «до́быча» и другие шахтёрские словечки, тонко подмеченные наблюдательным автором. Он опускается вместе с Лидой Синицыной в шахту и целиком разделяет её *первые* впечатления, очень неплохо описанные.

Но ведь это ещё не делает «Партийное поручение» романом современной жизни. В любом хорошем очерке встретишь даже больше точных деталей, обнаружишь даже больше понимания вопросов угледобычи, увидишь даже не хуже описанных людей, в которых, однако, есть обаяние и масштабность чувствований. Современность романа – это прежде всего характер современника. Между тем герои, которыми Лев Овалов предлагает нам любоваться, которых он ставит нам в образец, вызывают недоумение, а порой и решительный протест. А ведь мы рассмотрели здесь только три фигуры, которые автору больше всего удались; остальным, в том числе и Синицыну, вообще нечего делать в романе, они слоняются по нему бледными, призрачными тенями, произносят правильные или неправильные слова, пьют, едят, перевыполняют или недовыполняют план. Где же обещанный бой? Где же тот реальный конфликт, который заставляет героев бороться, страдать, мыслить? В «Партийном поручении» они сражаются с ветряными мельницами, они отмахиваются от «невидимых существ» и костыляют нашкодивших жуликов.

При этом герои Овалова не согласны, «чтобы в мирное время мы были друг к другу снисходительнее...»,– и совершенно напрасно это говорят, потому что больше всех нуждаются в снисхождении именно они, бедные чувствами и не задетые жизнью.

«Новый мир», 1960, № 7

ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ХОЛДЕНА

Не тонкость отделки и не изящество архитектоники делают роман Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» тем, что он есть,– одной из беспощадных и гневных, остро жалящих книг. Книга эта идёт к вам путём самым простым и бесхитростным и вместе с тем кратчайшим, «ходами» обнажённой, предельной, бьющей наотмашь откровенности. В этом весь её секрет. И вся сила.

Шестнадцатилетний американец Холден Колфилд пишет вам, или рассказывает, из туберкулёзного санатория, где ему, конечно, не придёт в голову актёрствовать, «выставляться напоказ» и сочинять педагогические сюжеты из своего «дурацкого детства». Ему бы исповедаться почестнее перед вами, а может быть, и перед самим собою, и потому он без дальних предисловий, без «всей этой давид-копперфильдовской мути», просто рассказывает о трёх днях своей жизни, очень суматошной, безалаберной и невыносимой для него, стараясь не упустить ни одной мелочи, называя все вещи их именами и меньше всего рассчитывая понравиться вам, — и больше всего он нравится вам за это. Его откровенность доходит порою до мучительства или до таких подробностей, которые можно назвать и натурализмом или ещё какимнибудь ругательным словом,– но, как ему кажется, без этого не обойтись, если хочешь, чтоб тебе поверили.

Эти три дня выбраны как будто совсем случайно, ничего особенного в эти дни как будто не происходит. А между тем перед вами полная история несчастья. Оно началось задолго до первой страницы и не кончается вместе с книгой. Его не объяснишь ни тем, что юного

Рецензия на: Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалёвой.– «Иностранная литература», 1960, № 11.

лодыря «выперли» из аристократической школы Пэнси, ни тем, что украли пальто, ни тем, что он забыл в метро «идиотское снаряжение» фехтовальной команды. Его несчастью вообще нет имени. Можно было бы назвать его строчкой из песенки Бёрнса: «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи...», но там, где обходишься словом или фразой, нет надобности писать книгу.

В эти три дня случилась простая вещь. Случилось так, что Холден, покинув школу и ещё не придя домой, оказался внезапно вышибленным из привычной колеи, из своей респектабельной обыдёнщины, и остался наедине с собой. Даже не остался, а просто повис над гигантским, бурлящим и пустынным городом. В описаниях Сэлинджера Нью-Йорк поразительно бескрасочен: мало того что на всём протяжении романа вы не встретите слова «небоскрёб», но вы не услышите шума и грохота, не увидите прыгающей световой рекламы — вещей, столь привычных нам по традиционным описаниям журналистов. Есть только жуткий холод «и кругом — ни души». А Холден ещё не в таком возрасте, когда одиночество закаляет.

Несчастье стало предельным, оно достигло красной черты на шкале, которую Холден размечает по-своему, со всем пылом мальчишеского нетерпения и максимализма. Оссенбергер, оказывается, «отгрохал речь часов на десять» — вероятно, и десять минут послушать хвастливые разглагольствования этого хлюста, нажившегося на поставке гробов, для Холдена выше его сил. Экли врывается к нему в комнату «раз восемь — десять на дню» — нам, читателям, и одного раза достаточно, чтобы нас затошнило от этого набожного тупицы, с его прыщами, обломанными ногтями и вечно капающим носом; нам и один раз не по себе, когда он берёт в руки фотокарточку Салли, а ведь он держал её в своих омерзительных лапах «по крайней мере пять тысяч раз». У кинотеатра мы видим: «миллион народу стоит в длиннющей очереди» — если так ненавидеть кино, как Холден, может вполне показаться, что в очереди стоит весь род людской. Вместе с Холденом мы смотрим спектакль «про каких-то старых супругов, которые прожили пятьсот тысяч лет вместе»,— и, право же, больше ничего не нужно рассказывать про этот спектакль, потому что ничего убийственнее этой лапидарной рецензии не придумаешь. Больше не нужно рассказывать о квартире Колфилдов, если в спальне у них кро-

вать «миль десять в ширину»; больше не нужно говорить о любви к родственникам и о них самих, если «у меня одних тёток штук пятьдесят»; большего нельзя сказать о том, какой невыносимой вдруг сделалась жизнь Холдена, если он слышит в холле «застоялый запах пятидесяти миллионов сигарных окурков».

Но, безудержный в ненависти и отвращении, он так же не знает удержу и в своих привязанностях. У малышки Фиби «целая куча блокнотов — у неё их тысяч пять, если не больше», и в этом уже сквозит застенчивая и горячая нежность к сестрёнке, нетерпеливое желание, чтобы она и вам поскорее понравилась, потому что это самое любимое, что есть у Холдена. И когда она «отодвинулась от меня бог знает куда, на другой конец кровати, чуть ли не на сто миль»,— это тоже можно понять, это действительно страшно, потому что, когда говоришь кому-то о самом наболевшем, нельзя, чтобы он отодвинулся от тебя даже на сантиметр.

Если меришь всё такими масштабами и живёшь такими крайностями, можно и в самом деле прожить за три дня целую жизнь. А в Холдене «уживаются» крайности самые несовместимые, противоречия самые раздирающие. Он не выносит и минуты одиночества, он всё порывается кому-то звонить среди ночи, какой-то чужой женщине, которую он и в глаза не видел, приятелю, который «наизусть знал, кто педераст, а кто лесбиянка», и больше ни о чём не мог говорить, «старушке Джейн», которая уже побывала со Стрэдлейтером в машине «этого проклятого Эда Бэнки»; он умоляет, напившись вдрызг: «Пжалста, пзовите Салли» — и зовёт её жить с ним «у ручья»; он пытается заговорить с шофёрами такси — о том, куда деваются утки с замёрзшего пруда, с девицами в кафе, с музыкантами в оркестре, но «все эти смазливые ублюдки одинаковы. Причешутся, прилижутся — и бросают тебя одного». И в то же время он сам мечтает лишь об одном — уехать куда-нибудь на Запад, подальше от «ненужных глупых разговоров», притвориться глухонемым несчастным дурачком, и пусть все «оставят меня в покое».

Холден поразительно откровенен, он говорит начистоту обо всех своих слабостях, неудачах, об ощущениях, в которых ему неловко и больно теперь признаться,— возьмите его разговор о лифчиках или о дешёвых чемоданах,— и в то же время он беспардонно врёт милой доброй мис-

сис Морроу насчёт её сына, расписывает ей удивительную чуткость этого «всеобщего любимца»,— «а сын её был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе... В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте», да и вообще Холден дорого не возьмёт соврать мимоходом какому-нибудь дураку.

У него очень верный, почти безукоризненный вкус — по отношению к театру, кино, литературе, к «идиотским рассказам в журналах» (рассказам «про всяких показных типов с квадратными челюстями по имени Дэвид и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они ещё всегда зажигают этим Дэвидам их дурацкие трубки»), он умеет различить, когда певица «своё дело знала», а когда «ничего там не было — одно актёрство», он знает настоящую цену слезливой сентиментальности («Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревёт в три ручья, так поручиться можно, что из них девять окажутся в душе самыми прожжёнными сволочами») — и в то же время он сам для себя придумывает сентиментальную сказочку о житье «у ручья», где-нибудь на далёкой бензозаправочной станции, с «красивой глухонемой девушкой», куда все к нему будут приезжать и где у него «будет такое правило — никакой липы в моём доме не допускать. А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает»; в то же время он сам признаётся: «Ненавижу кино до чёртиков, но ужасно люблю изображать актёров... Мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться... Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно».

Он знает о людях достаточно и многих из них ненавидит и презирает, а всё-таки ищет встречи с ними — даже против их желания. Он бывает взрослым и проницательным, необычайно зрелым для своих лет, и бывает милым дурашливым ребёнком, который напяливает на себя красную охотничью шапку и непременно желает выяснить, куда же деваются утки, когда замерзает пруд в Центральном парке, у Южного входа.

Всё это, казалось бы, странно, всё это могло бы озадачить, но ведь ни одно движение Холдена не фальшиво, ни одна строчка в романе не покоробит вас неверно взятой интонацией. (И здесь нельзя не сказать о прекрасном переводе Р. Райт-Ковалёвой, которая донесла до нас Холдена и роман о нём со всеми его интонациями и сло-

вечками, со всей сложной гаммой его звучаний, без явных русизмов и в то же время так, что он совершенно входит в наш язык и наши понятия, точно он и написан по-русски.)

Несчастье Холдена родилось вместе с ним, с его невесть как сформировавшейся душой, чистой и бесконечно мягкой, нежной, легко ранимой, отзывчивой даже просто на человеческую улыбку,— несчастье естественного человека, принуждённого жить неестественной жизнью, прилаживаясь к официальной морали преуспевающих дельцов, маклеров-«удавов», «хлюстов», «жулья», «смазливых ублюдков», «остроумных болванов», «распутных сволочей», «всяких психов» и «двоюродных подонков», от которых нет спасения даже на кладбище, потому что страшно представить себе, «как миллион притворщиков явится на мои похороны… а вокруг одни мертвецы и памятники».

Он чувствует себя единственным нормальным среди психов и живых мертвецов, и, право, что может быть естественнее того, в чём он, стесняясь, признается Льюсу: «Но понимаешь, в чём беда? Не могу я испытать настоящее возбуждение — понимаешь, настоящее,— если девушка мне не нравится. Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я её и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идёт псу под хвост. Дрянь, а не жизнь!»

А что же Льюс? А Льюс говорит ему: «Ты запутался в сложностях»,— и предлагает сходить к психоаналитику.

Каждое движение Холдена непосредственно и естественно для данной минуты, потому что о следующей минуте он не задумывается. Он считает себя трусом, для него невыносимо ударить человека по лицу, видеть в эту минуту его глаза, и всё-таки он первый бьёт Стрэдлейтера, хотя тот сильнее его, потому что у Джейн «детство было страшное… но это его не интересовало, Стрэдлейтера», «у него совести нет ни капли». Холден стесняется сказать вору, что тот вор, и всё-таки называет дураков и кретинов дураками и кретинами, потому что нет сил не сказать им, кто они есть. Он отдаёт последние деньги двум монашкам, потому что они напомнили ему добрую и славную миссис Морроу, а ей самой он расписывает её сына, потому что у неё милая улыбка,— и всё-таки он замечает сумку, которую она поставила в проходе купе

так, что кондуктор или ещё кто-нибудь мог бы споткнуться. Он презирает Лилиан Симмонс, бывшую любовницу его старшего брата, за то, что она в ресторане «загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать», а в это время «официант стоял и ждал». Он замечает и славную гардеробщицу, которая не взяла у него, пьяного, доллар, и коридорного в отеле: «что за работа для такого старика — носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверно, он ни на что больше не годился, но всё-таки это было ужасно».

Сильнее всего и чаще он чувствует жалость — к дураку Экли, к старому Спенсеру, выжившему из ума, хотя он-то и вытурил его из школы, к некрасивым девушкам, которые должны выслушивать всяких дураков, рассказывающих им про свой «идиотский футбол». И при всём этом у него ни малейшего почтения к богатым, к сильным, к знаменитым, ко всем классным игрокам жестокой игры, которую они называют жизнью и в которую, как им кажется, играют по всем правилам. Холден среди них — явный мазила, поневоле или по призванию, но скорее всего добровольный мазила, которому всё осточертело и вся игра кажется «сплошной липой».

Куда он идет, Холден, и что привязывает его к жизни? Это неясно ему самому, как туманно его собственное отношение к войне: с кем ему быть, он не знает, он знает лишь, что в американской армии «полно сволочей, не хуже, чем у фашистов», и потому, пожалуй, самое лучшее — сесть верхом на атомную бомбу. «Пропасть, в которую ты летишь,— ужасная пропасть, опасная... Я очень ясно вижу, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, нестоящее дело»,— говорит ему учитель мистер Антолини и читает Холдену длиннейшую нотацию о людях ученых и *просто* талантливых и об «академическом курсе», которому Холден должен себя посвятить. От этих нотаций Холдена берёт зевота, и неспроста, конечно, потому что мистер Антолини предлагает ему такую же пропасть, такое же патентованное средство забвения, как и все те, кого Холден ненавидит и презирает: в конце концов они только и делают, что всякими способами уходят от настоящей жизни.

Единственная неизменная, неиссякаемая приязнь Холдена — это дети, и среди них маленькая сестрёнка Фиби, в которой мы узнаём того же Холдена, только ещё не

дозревшего до его чудачеств и смятения. Речь его, обыкновенно хлёсткая и мальчишески грубоватая, становится вдруг чистой и застенчиво-нежной, когда он говорит или думает о детях или разговаривает с ними. В парне его возраста это кажется даже странным, у него ещё не может быть никаких отцовских чувств, но отношение Холдена к детям вовсе не отцовское, а куда более сложное. «С ребятишками всё по-другому»,— говорит он, уже хлебнувший «взрослой» жизни и сразу отведавший в ней больше, чем ему хотелось бы. Он перерос эту жизнь и, пожалуй, вернулся бы обратно, если б это было возможно. И это возможно отчасти, если придумаешь себе занятие, какое придумал Холден. «Понимаешь,— говорит он Фиби,— я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И моё дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему».

Это иллюзия, конечно, но спасительная иллюзия. Она не позволит Холдену вернуться обратно к миру, который его породил и отверг. В конце концов, это уже и призвание, и цель, которой можно себя посвятить. Однако ведь и эта иллюзия потребует мужества. Хватит ли его у Холдена? Сэлинджер этого, пожалуй, не знает. Да и мы знаем лишь, что в своё время из самых чистых мечтателей порой формировались вполне прагматичные буржуа, а закоренелые и отъявленные филистеры нередко происходили из безалаберных бунтарей. Вероятно, к тому же придут со временем «битники» и «рассерженные молодые люди». Это так, но всё дело в том, что Холден Колфилд — не «битник» и не «энгри мэн». Скорее в их компании представишь себе Стрэдлейтера, Экли, Салли, нежели Холдена, для которого всё это — та же самая «сплошная липа», та же мода и которому глубочайше ненавистны все эти банды и шайки, все эти «хлюпики из аристократических землячеств», клубов, компаний и спортивных обществ.

Ему суждено другое, суждено стать как бы отделившейся совестью всех этих людей, этого ненайденного

поколения,— надорванной, отравленной и кровоточащей. Это хоть кому недешёво стоит, а Холдену, помимо всего, это стоит здоровья. Дыхание у Холдена короткое, нервы «совсем ни к черту», головная боль кончается обмороком, а три дня похождений — туберкулёзным санаторием. О какой уж тут говорить борьбе, если тому же Стрэдлейтеру ничего не стоит повалить его на обе лопатки и придавить грудь своей «вонючей коленкой», если лакей Морис, который в другое время расшаркался бы перед ним и смиренно принял на чай, теперь, когда Холден одинок, сбивает его с ног и перешагивает через него, не опасаясь возмездия. И это ещё, так сказать, «хэппи энд», мы ведь знаем, чем окончилась история с Джеймсом Каслом, над которым надругались шестеро юных фашистов и довели его до самоубийства.

Но интерес романа о Холдене вовсе не в авторском ответе на вопрос, сможет ли герой когда-нибудь бороться. Весь интерес его в том, что мы видим: вот жизнь привычно катится своим чередом, и мерзости её становятся привычной обыдёнщиной, даже не слишком унылой, даже отчасти радующей глаз своим никелированным, нейлоновым, поливиниловым глянцем, и школа Пэнси доблестно выковывает благородных «стопроцентных американцев»,— но внезапно, откуда ни возьмись, появляется вот такой парень, сам плоть от плоти этого мира, и криком своей души заставляет посмотреть на всё другими глазами. И мы видим, что человеку жить в этом нейлоновом мире невыносимо, что он задыхается в нём и не находит, куда себя деть. И мы видим другое: что этот мир не так прочен, каким самому себе кажется, и что напряжение в нём достигло красной черты. Многих читателей и критиков этой книги интересует будущее Холдена. Но разве не сам Холден отвечает на это: «По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать?» И разве для того он рассказал вам свою историю, чтобы вы задумались вместо него, как ему жить дальше? Я думаю, что как раз с самим Холденом всё обстоит более или менее благополучно. Что-то, разумеется, уйдёт от него, уйдут наивность, порывистость, способность «балдеть» от девчонок без всякой влюблённости. Но человечность и непримиримость, пожалуй, останутся. А с этим можно не только умереть достойно, с этим можно и жить.

Однако что толку думать о тридцатилетнем, о сорокалетнем Холдене, если у него не было юности? У поколения должно быть не только будущее, у него должно быть и настоящее. И вот когда его нет, тогда нужно бить тревогу. Нужно говорить во весь голос, нужно писать книги большого мужества, большой злости и большой любви. Книги о юности, за которую почувствовали бы себя в ответе взрослые и сильные.

«Новый мир», 1961, № 2

ПИСЬМО В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Копия — А. Солженицыну

Уважаемые товарищи!

Я, как и вы, получил письмо А. Солженицына и хочу высказать своё суждение по всем пунктам этого письма.

Я осмеливаюсь напомнить Съезду, что не рапорты о наших блистательных победах, не выслушивание приветствий иностранных гостей и не единение с народами Африки и борющегося Вьетнама составляют главную задачу писательских съездов. Но прежде всего — единение со своим народом, прежде всего — разрешение собственных наболевших проблем, без чего не может жить и развиваться советская литература. Она всё-таки не может жить без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказать любое суждение в области социальной и нравственной жизни народа,— какими бы ругательствами мы ни поносили это законное требование всякого мало-мальски честного, мыслящего художника. Без неё — он чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющий зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк в своём отечестве, способный воздействовать духовно на своего читателя, развить его общественное сознание либо предупредить об опасности, пока она не надвинулась вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она осуществляется, но только не в сфере официально признанной, подцензурной литературы, а в деятельности так называемого «Самиздата», о которой вы, вероятно, осведомлены. Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные вещи Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Платонова и других, ныне живущих, чьих имён я не называю по вполне понятным соображениям. Могу лишь сказать, что и моя вещь усыновлена Самиздатом, не найдя при-

станища в печати. Время от времени она возвращается ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнёс в неё очередной переписчик, а той бережности и точности, с которыми всё-таки сохраняется её главное содержание и смысл.

С этим ничего не поделаешь — как ничего нельзя поделать с распространением магнитофонных записей наших менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных Радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Устройте повальный обыск, изымите все плёнки, все копии, арестуйте авторов и распространителей, и всё же хоть одна копия да уцелеет, а оставшись — размножится, и ещё того обильнее, ибо запретный плод сладок. Помимо неподцензурных песен и литературы есть неподцензурная живопись и скульптура, и я даже предвижу появление неподцензурного кинематографа, как только кинолюбительская техника станет доступной многим. Этот процесс освобождения искусства от всяческих пут и «руководящих указаний» развивается, ширится, и противостоять ему так же глупо и бессмысленно, как запретить табак и спиртное.

Лучше подумайте вот о чём: явно обнаруживаются два искусства. Одно — свободное и непринуждённое, каким ему и полагается быть, распространение и воздействие которого зависят лишь от его истинных художественных достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое, но только угнетённое в той или иной степени, но только стеснённое, а подчас и изувеченное всяческими компрачикосами, среди которых первым на пути автора становится его же собственный «внутренний редактор»,— наверное, самый страшный, ибо он уродует дитя ещё в утробе. Которое из этих двух искусств победит — предвидеть не трудно. И волей-неволей, но приходится уже сегодня делать выбор — на какую же сторону из них мы станем, которое же из них поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи Самиздата. 9/10 из них, могу сказать со всей ответственностью,— не только можно, их должно печатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. Ничего антинародного в них нет,— об этом ни один художник, здравый умом, никогда и не помыслит,— но в них есть дыхание таланта, и яркость, и блеск раскрепощённой художе-

ственной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни. А подчас в них слышится боль и гнев за своё отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся ярыми его друзьями и охранителями.

Разумеется, всё вышесказанное относится и к неизданным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть почти всё им написанное. Это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия, кому суждено прославить её в мире и ответить нам на все больные вопросы выстраданных нами трагедий,— не знаю иного автора, кто имел бы больше права и больше силы для такой задачи. Не в обиду будь сказано Съезду, но, вероятно, 9/10 его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр же Солженицын, гордость русской литературы, донесёт своё имя много подалее. И если ему сейчас физически трудно выполнить свою задачу по причинам достаточно вам известным, изложенным в его письме, то не дело ли Съезда, не честь ли для него — защитить и оберечь этого писателя от всех превратностей его индивидуальной судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск и конфискация архива, «закрытые» издания вещей, к изданию самим автором не предназначенных, вдобавок ещё гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну...— читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происходит в пролетарском государстве. Это происходит на 50-м году Революции. Это происходит, наконец, в цивилизованном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу объявить писателя «врагом народа»,— в конце концов это был бы честный бандитский приём, к которому нам ли привыкать! — нет, воспользовались приёмом сявок, недостойных находиться в приличном доме, подпустили слух исподтишка, дабы скомпрометировать писателя в глазах его читателей, хоть как-нибудь объяснить его вынужденное молчание... Такого парадокса ещё не ведала история демагогии — официальные общественные организации, пущающие анонимку на *частного* человека! Ведь даже Чаадаев был объявлен сумасшедшим высочайше, то бишь открыто.

И вот я хочу спросить полномочный Съезд — нация мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев?

Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твёрдо, как верит он сам,— но мы-то, мы здесь при чём? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда он искал ответа?

Мы в это время выслушивали приветствия г-на Дюрренматта и г-жи Хеллман. Что ж, это тоже дело, как и единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией. Но пройдут годы, и нас спросят — что сделали мы для самих себя, для своих ближних, которым так трудно было жить и работать?

Письмо Солженицына стало уже документом, который обойти молчанием нельзя, недостойно для честных художников. Я предлагаю Съезду обсудить это письмо в открытом заседании, вынести по нему ясное и недвусмысленное решение и представить это решение правительству страны.

Извините все резкости моего обращения — в конце концов, я разговариваю с коллегами.

Уважающий вас

Г. Владимов.

Москва, 26 мая 1967 г.

Впервые опубликовано в кн.: А. Солженицын. Собр. соч. в 6 тт., т. 6. Франкфурт-на-Майне, Посев, 1970.

ПИСЬМО В ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Вы не пустили меня на книжную ярмарку во Франкфурт-на-Майне, куда меня пригласило норвежское издательство «Гюльдендаль». Я не был на Западе ни дня, проживу и без этих шести; трудно лишь объяснить г-ну Гордону Хёльмбакку, главному редактору, наивно меня пригласившему, что мой союз, добровольный творческий союз единомышленников, может утаить приглашение и не отвечать на мои запросы, может не пустить автора встретиться со своим издателем, с читателями, с книгой. Поймёт ли он, смогут ли ему перевести, если я объяснюсь на вашем страшном языке тюремщиков и работорговцев: я — «*невыездной*»?

Ещё труднее — себе самому признаться, что питал иллюзии, будто вам ведом иной язык, будто природа ваша может меняться.

Когда на Западе появилась и стала распространяться моя повесть «Верный Руслан», вы спохватились, многого ли достигли долгим битьём «Трёх минут молчания»,— или просто рука устала? — вы сочли ошибкою и саму травлю, и статус «неугодного», каким я всегда для вас был, и вы призвали меня «вернуться в советскую литературу». Я вижу теперь, какую цену должен был заплатить за это возвращение. Простодушный г-н Хёльмбакк, желая вас порадовать, пишет, что очень доволен переводом «Руслана» и отзывами норвежской прессы,— и какую ж занозу вгоняет в ваши партийные сердца! Ну, разумеется, политика не по его части, ему всё едино, где появляется русская проза: в «Гранях» или в «Дружбе народов»,— там, где он видит литературу, там вы — политику и ничего больше; кто же дальтоник? Я мог бы попросить его переписать пригласительное письмо, чтоб никакой «Руслан» не упоминался,— это бы вас устроило? — но для меня бы значило: отказаться от собственной книги. На унижение я не пойду. И так

как вам не расстаться с вашей природой, а мне — со своей, то это моё письмо к вам — последнее.

Отдавали вы себе отчёт, куда предлагали мне «вернуться»? В какой заповедный уголок бережности и внимания? Туда, где по семи лет дожидаешься издания книги, после того как её напечатал первый журнал в стране (дети, родившиеся в тот год, как раз пошли в школу, выучились читать)? Где любой полуграмотный редактор и после одобрения вправе потребовать любых купюр, пускай бы они составляли половину текста (не анекдот — письма ко мне М. Колосова)? И где независимый суд в 90 случаях из ста (а если произведение критиковалось в печати, то в ста случаях) примет сторону государственного издательства и подтвердит в решении, что надо уложиться в «габариты повести»? Литературоведы, не знающие этого термина, обратитесь к судье Могильной — *она знает!*

Чего не претерпишь ради великого российского читателя — да если б была нужда терпеть, говорить с ним из-под пресса, постылым языком раба Эзопа. Разумеется, всякий предпочтёт издаваться на родине, где его тиражи свободно расходятся, а не тащатся в микродозах через самую надёжную в мире границу, и всё же нет проблемы неизданных авторов, есть проблема — не решающихся издаваться. Десять лет назад, в письме IV съезду, я говорил о наступлении эпохи Самиздата — и вот она кончается, другая идёт, куда более продолжительная,— эпоха Тамиздата. Да он всегда и был, Тамиздат, ненавистная для нас палуба в океане, на которую усталый пилот мог посадить машину, когда не принимали отечественные аэродромы. Но ведь советовал вам изгнанник, а вы не слушали: «Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века», впору уже не о палубе говорить — о целых островах, если не материке. И попробуйте не посчитаться с нарастающей жаждой читателя, который, в отличие от вас, текстом интересуется, а не выходными данными,— всё меньше у него охоты разбирать седьмые-восьмые копии, он хочет иметь — книгу.

Россия всегда была страною читателя — и такого, что в семи водах испытан, в бессчётных огнях. Чем ему только мозги ни пудрили — и казённой хвалою, и списками сталинских, в Лету канувших, лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и докладами ваших секретарей, и всесоюзными анафемами, и публицистикой «знатных сталеваров»,— а всё же не сплошь запудрили, выстояла, выкристаллизовалась лучшая его часть, знающая цену

честной, не фальшивой книге. Этот читатель, помимо своей основной обязанности — просто читать,— принял ещё оброк, наложенный временем: сохранять книги от физической смерти, и тем бережней, чем рьяней их изымают. Тридцать лет он хранил Есенина, пока не дождался переиздания, ещё хранит — машинописного Гумилёва, уже хранит — «Ивана Денисовича» в «Роман-газете», принял на сохранение — «В окопах Сталинграда» с библиотечным штампом — зачитал ли? украл? выпросил? — но уберёг от гильотинного ножа.

Вы предлагали мне «определиться», сделать выбор, но, боюсь, он не между Тамиздатом и Тутиздатом, он — между читателем и вами. Между ним, кто хранил и мои новомирские комплекты, переплетал — без надежды, что издадут, а на северных флотах — переписывал от руки в тетрадки,— и между вами, кто не исполнил передо мною элементарных обязанностей профессионального союза. Ваше Бюро пропаганды *не рекомендовало* читателям встречаться со мною, ваша Правовая комиссия не вступилась за мои права, попранные издательством «Советская Россия»; знакомство с Иностранной комиссией вполне исчерпывается эпизодом с приглашением от «Гюльдендаля». А могло ли иначе быть? Могли б вы на йоту отступить от главного своего предназначения?

Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так до́лжно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь — полицейским аппаратом, вознёсшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только они. Не стану зачитывать присталинский список — кому союз, вернейший проводник злой воли властей предержащих, да со своей ещё ревностной инициативой, первоначально *оформил дела*, обрёк на мучения и гибель, на угасание в десятилетиях несвободы,— слишком длинно, более 600-т имён,— и вы оправдаетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве — прежнем, нынешнем, промежуточном — «поздравляли» с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца — Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал? И вот,

ещё не просохли хельсинкские чернила, новые кары — изгон моих коллег по международному ПЕН-клубу*. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух нобелевских лауреатов высвистели! И как не воскликнуть словами третьего: «Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!» Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснёмся? Так ведь для этого, по крайней мере, Фадеевым надо быть. Но, травя, изгоняя всё мятущееся, мятежное, «неправильное», чуждое соцреалистическому стереотипу, всё то, что и составляло силу и цвет нашей литературы, вы и в своём союзе уничтожили всякое личностное начало. Есть оно — в человеке ли, в объединении,— и теплится надежда на поворот к раскаянию, к возрождению. Но после размена фигур положение на доске упростилось до крайности — пешечное окончание, серые начинают и выигрывают. Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются. Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей ведома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима.

Оставаясь на этой земле, я, в то же время, и не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключённых, «оформленных» к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чьё пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас, и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища,— пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас — своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.

Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны,— давите, преследуйте, не пущайте. Но — без меня.

Билет № 1471 возвращаю.

Георгий Владимов

Москва, 10 октября 1977 г.

«Грани», 1977, № 106

---

* В. Войновича, Л. Копелева, В. Корнилова, Л. Чуковской.

ЛИК МОЕГО НАРОДА?

К процессу Александра Гинзбурга

— Здесь стоит мать осуждённого! — крикнул им Сахаров.— Будьте же хоть раз в жизни людьми!

И этот вскрик, столь страшный по смыслу, нисколько их не ошарашил. Тотчас нашлась с ответом девица — вертлявая и с порочным личиком, в лаконичной сверх пределов юбчонке, в калужских кругах известная как «показательная воспитанница детской комнаты милиции»:

— Мы-то вот люди, а вы кто? — и далее уже по инструкции: — Нам стыдно за академика Сахарова!

Мы и они стояли по разные стороны ворот, из которых должны были вывезти осуждённого, и они реготали, ржали тем смехом, какой возникает только при виде пальца,— над чем же? Как ловко они нас провели. В руках у нас были цветы, мы хотели их бросить под колёса «воронка» с немудрящим скандированием «А-лик! А-лик!»; эти цветы хранились в прозрачном полиэтиленовом мешке с водой и были розданы в последние минуты — и тут, кстати, выдали себя примазавшиеся, втесавшиеся, изображавшие «сочувствующих»: от цветов они отказались, этого инструкция то ли не предусмотрела, то ли не могла позволить даже в целях маскировки. Однако и они приготовили свою «новинку».

За три дня мы привыкли, что «воронок» этот (не чёрный, как в песне поётся, а серовато-розовый) вылетает стремительно, и тут же срывается и мчит за ним с прерывистой сиреной жёлто-синий милицейский «газик». Но вылетел — другой какой-то, без сопровождения, с одним лишь водителем в кабине,— у нас не было уверенности, но бросили цветы и под него, всё-таки проскандировали. Это и было началом их розыгрыша, а самая кульминация наступила, когда у второго «воронка» так театрально неожиданно распахнулась задняя дверка, и подбежавший дружинник показал нам, чтó в нём везли — порожние бутылки из-под кефира.

— А вы — «Алик, Алик»! Вот вы кого с цветами встречали. Подберите ваш мусор.

Уже давно истощились наши с ними дискуссии: кого мы тут чествуем цветами, и чем нас не устраивает советская власть, и какого нам рожна ещё нужно, «борцам справедливости», и вот некто, явно нагрузившийся, ступив с тротуара и выпятив живот, обвёл наши ряды блаженным и оценивающим взглядом.

— Эх, хорошо встали! Щас бы вас всех из автомата — одной очередью!

— В своих попадёшь,— сказал ему кто-то из нас.— Тут и ваши стоят, на этой стороне.

— Никогда! — воскликнула страстно «показательная воспитанница».— Никогда мы не встанем на вашу сторону!

Свой фортель с «воронком» они могли проделывать до бесконечности, и мы двинулись восвояси, под накрапывающим дождём, по улице, закрытой для проезда всех машин, кроме оперативных. Двинулись и они — параллельно, по проезжей части, временами приближаясь и всё же не смея переступить незримую, но указанную им черту,— и всё ржали и выкрикивали свои оскорбления.

Вот эти гогочущие, глумливые, неподдельной злобой исковерканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него — бороться нужно, внушать ему начатки правосознания, человечности? Это ради него жертвовали профессией, любимым делом Сергей Ковалёв, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, платили свободой, да вот и Александр Гинзбург в третий раз за решётку идёт, за проволоку? Стоит ли? И нужна ли противникам нашим другая участь, они так довольны своею!

А ведь далёким предкам их свойственно было сострадание — даже к государственному преступнику,— как же отвердели, окаменели потомки! А что стало бы, если бы и впрямь кто-нибудь из них оказался «мягкотелым выродком»? Когда обращался к публике Сахаров с просьбой — если действительно зал переполнен, то, может быть, кто-нибудь выйдет, уступит своё место жене подсудимого, а публика смотрела на него из окон второго этажа — тупо, равнодушно, вовсе без всякого выражения, мертвецы, почему-то расположившиеся вертикально,— вдруг бы кто-нибудь ожил, вышел бы, уступил? Вдруг бы комендант суда, предупредительный и непреклонный, презрел свои функции и пропустил бы Арину в зал — хотя бы на вре-

мя чтения приговора? Да хоть бы один из этих дружинников с выправкой строевых офицеров — нет, не провёл бы под свою ответственность, а только вопрос бы задал: «Ну, может, всё-таки пропустим, начальник?» Стряслось бы крушение всей системы, миропорядка? Сами бы эти люди — жестоко пострадали? Мы из литературы помним, что стало с купринским дьяконом, который не опустил свечу, но поднял её высоко и вместо анафемы «болярину Льву Толстому» проревел ему «Долгая лета!» — он лишился службы и сорвал голос. Так, стало быть, анафемствовать — выгоднее, покойнее для души?..

Но вот с этими калужанами, из которых ни одного нет, у кого бы хоть один родственник, хоть самый дальний, не пострадал, не загинул на «сталинских курортах»,— чего мы не поделили с ними, откуда такая ненависть?

Кончается эта улица, тенистая и короткая, и нам расходиться пора, а пленительное «а вдруг» так и не происходит. Однако ж, уходят они — совершенно спокойно, с другими уже заботами на лицах, даже как будто усталые, опустошённые. Сыграв свои роли, сбросивши маски, они уже не дают себе труда ни лишнего бранного слова произнести, ни выглядеть какими только что были.

А полчаса спустя, на другой улице, я сталкиваюсь с одним их них, мы узнаём друг друга, я спрашиваю насчёт ближайшей бензоколонки, он мне охотно показывает, как проехать, и я вижу два глаза, глядящих на меня с живым любопытством. А в самом деле — натасканный, надрессированный, он ведь так и не получил ответа: что же нас гнало в его Калугу, где нас не поселяли ни в одной гостинице — и мы спали по чужим дворам по трое в одной машине или по семь, по восемь человек в комнатке у знакомых? Что нас заставляло целыми днями выстаивать в затоптанном скверике около суда, откуда заранее, предусмотрительно, убраны были скамейки,— без малой надежды хоть на минуту проникнуть в зал? И чем могли мы помочь судимому, который и видеть не мог ни нас самих, ни наших цветов?

Если хоть это ему интересно, то он уже — «выродок». И значит, не потерян для человечества.

13 июля 1978 г.

«Поиски», 1978, № 3

ОТВЕТ РОЮ МЕДВЕДЕВУ
на его «Открытое письмо Р. Б. Лерт*»

Многоуважаемый Рой Александрович!

На письма, в том числе открытые, обыкновенно отвечают те, кому они адресованы. Однако ж, во-первых, один из вариантов своего письма Вы зачем-то же мне привезли — верно, чтоб я на него как-то «отреагировал». А во-вторых, по странным сюжетным соображениям, адресуясь к редактору журнала «Поиски» с обидой на уязвившего Вас П. Егидеса**, Вы не только бросаете перчатку людям непричастным и неповинным, но, сказать не преувеличивая, всему нашему правозащитному, или демократическому движению.

На первый взгляд, это не главное в Вашем письме, всего лишь брюзгливая преамбула или как бы увертюра к схватке — для устрашения противника видом напрягшихся бицепсов, замахом раззудевшегося плеча. Но где-то за серединой письма смутно ощущаешь вдруг, что вся соль его позади: придать Вашему спору с П. Егидесом интерес всеобщий, принципиальный — не удалось. (А может быть, и не ставилось целью?) Письмо увязает в частностях, волнующих нас куда меньше, нежели сказанное мимоходом. Архитектоника — головастика: с тоненьким хвостиком и объёмным началом. Намеренно ли это, случайно ли — не имеет значения; второе даже предпочтительней: больше истины высказывает человек, когда проговаривается.

Словом, есть смысл говорить лишь о первых полутора страничках.

Вы познакомились — по материалам — с калужским процессом Александра Гинзбурга, возмутились жестокостью приговора, но мнения о самом подсудимом не из-

---

* Раиса Борисовна Лерт — член редколлегии журнала «Поиски».
** Петр Маркович Абовин-Егидес — главный редактор журнала.

менили. Вы ему от себя ещё добавили обвинений — в тщеславии, легкомыслии, неосторожном обращении с документами, *«странной склонности к составлению различного рода картотек, которые содержали тысячи адресов и фамилий»*. Вам тяжело думать, Вы «ужасаетесь», как много других людей могло пострадать от изъятия этих бумаг при обыске — и тем же недобрым словом поминаете Юрия Орлова, Валентина Турчина, Анатолия Щаранского, Андрея Твердохлебова.

Правда, ни одного из многих — пострадавших или могших пострадать по вине Гинзбурга или Орлова — Вы не называете, хоть это и не прибавило бы им опасности, коль скоро они всё равно под колпаком у наших славных компетентных органов. Но Ваши обвинения всё же достаточно серьёзны, чтоб в них разобраться — как со стороны моральной, так и теоретической.

Может быть, Вы сторонник того взгляда, что полемисту, истины ради, не следует считаться с положением оппонента — лежачим или сидячим. Но нет, применительно к себе Вы такой жёсткий взгляд отвергаете: «*...сейчас, когда и я, и моя семья, и мои близкие стали предметом особенно изощрённой травли, когда на самом высоком уровне обсуждается вопрос — как заставить замолчать Роя Медведева, я не могу рассматривать распространение открытых писем, подобных письму Егидеса, иначе, как поступок недостойный...*»

Достойнее ли в таком случае говорить о «легкомыслии» или «тщеславии» Гинзбурга, или Орлова, или Щаранского, когда они прежде всего лишены того преимущества, каким Вы сейчас пользуетесь, обращаясь с открытым письмом к Р. Лерт: о Вас ещё только рядят «на самом высоком уровне», а их речевой аппарат уже заткнут кляпом. Достойно ли попрекать Гинзбурга банкетом по случаю сорокалетия, когда Вам доподлинно известно, что многие предыдущие свои дни рождения и свадьбу он справлял в тюрьме, там же встретит свой сорок второй и сорок девятый годы. Достойно ли переписывать из протоколов суда, что Гинзбург *«много якшался с уголовниками и устраивал им обильные угощения»*? И опять же, не называя никого, а ведь начни называть, тут же и кончишь: из уголовников окажется один Градобоев, натасканный и выставленный против Гинзбурга; зачем же так доверчиво принимать сторону обвинения, когда Вы знаете — и пишете об этом: сви-

детелей защиты суд не пустил в зал. Впрочем, Вы подчас даже благосклонны к Гинзбургу, Вы ему не отказываете как распорядителю Русского общественного фонда в моральном праве использовать часть средств и на свои личные нужды, на дом в Тарусе или квартиру в Москве... Странное какое отпущение греха — оно хотя и расходится с мнением «Литгазеты» и суда, самую версию, что Гинзбург таки попользовался из Фонда, подтверждает и узаконивает. Не приходило ли Вам на ум, что найдутся свидетели, эту версию опровергающие,— и свидетели и документы? Право, уже столько помоев вылито — и ещё прольётся — на этот злосчастный Фонд, что и не представить, как бы оправдался Гинзбург перед целым миром без своей скрупулёзной отчётности, без «странной склонности к составлению картотек» и прочей, как Вы говорите, бухгалтерии.

Ваши упрёки, разумеется, увязаны с теорией, они — в русле конструктивной, дружественной критики этих наивных, беспечных организаторов *«революционных групп»*, которые, как Вы пишете, *«совершенно не учитывали всей сложности такого дела в нашей стране»*. Здесь ведь нужна не только личная смелость, но и большое искусство, умение, знание *«правил игры»* и многие другие качества. К этому, собственно, и сводится главная Ваша мысль — прежде надо было научиться политической борьбе, затем уж в неё вступать. Оно-то, может, и справедливо,— хотя, гласит пословица, «работа учит», столярами делаются, взявши рубанок и испортив несколько досок,— да вся беда, что нет таких университетов, где б нам преподали *«всю сложность»*, и именно *«в нашей стране»*, учат другому — как можно более радостному приятию своего бесправия. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно...» и так далее. И как-то не вдохновляют ни пример Сталина, бегавшего то ли пять, то ли шесть разов из туруханской ссылки, ни ловкость Ильича, съедавшего при входе надзирателя молочную чернильницу из хлебного мякиша,— как говорится, эпоха была не та и харч не тот. Однако ж, совсем без понятия не оставила нас великая русская литература, кое-что рассказала нам — и довольно брезгливо — о шигалевских «пятёрках», так глухо законспирированных, что каждой из них не только о смежных пятёрках ничего не известно, но и что в России делается, в каком направлении двигаться всем. Вот эту брезгливость в первый свой час впитало нынешнее демократическое движение, выска-

зывая и декларативно, и всеми своими действиями полную открытость, небрежение какой бы то ни было конспиративной заговорщицкой «игрой».

И в этот же час, ещё как будто ничего не добившись, оно уже победило нравственно. Отказавшись спуститься в подполье, оно это предоставило своим преследователям и притеснителям, и чудесная перемена произошла на наших глазах: ниже нижнего этажа работают те, кто так грозно стучал когда-то наганом по столу, кто так картинно над нами высился, обтянутый героической чёрной кожанкой. Я беру примеры из Вашего же письма, чем теперь промышляют наследники Железного Феликса, эти бравые и находчивые штирлицы, бывшие завидные женихи, образцы — чёрт меня дери — мужской доблести: различные виды давления и шантажа, анонимные письма, анонимные звонки, появление в Москве и за границей фальшивок, подписанных Вашим именем, перлюстрация писем, прослушивание телефонных разговоров. Каждый из нас ещё бы многое сюда добавил, да всех мерзопакостей не перечислишь, тут надобно целое отдельное исследование, и думаю, такая книга вскоре появится,— но главное впечатление уже есть, и оно неотразимо и однозначно: ни дать ни взять — шурует подпольная террористическая организация, с тем лишь отличием, что не гонима правительством, а стоит при власти. И самые эти судебные процессы, так тщательно ограждаемые от глаз и ушей мира, процессы, которых власти боятся больше, чем подсудимые, и после которых стали слабее, чем до,— мы в полном праве назвать подпольными. И на мой взгляд, самую верную позицию в таком судилище избрал самый юный из подсудимых — Саша Подрабинек: всё-то ихнее судоговорение пропустил промежду ушей, промолчал весь процесс, давши понять самым непонятливым: нет у нас с ними никакого общего языка, вывели они себя из пределов человеческого общения.

Не странно ли, что это общение вызвался наладить Рой Медведев, автор самиздатских статей и книг, многоопытный и премного информированный обличитель? Помилуйте, для чьих ушей это произносится: «революционные группы», «любые средства», «подполье», «тщательная конспирация», «продуманная система»? Слыша такие речи, работники наших славных компетентных органов уже, поди, дырки сверлят для орденских штифтов: сейчас

эти мямли диссиденты перестроятся, наконец, наподобие масонских лож или упомянутых бесовских пятёрок. Дух пронунциаменто, заговорщицкий большевистский романтизм сквозит из Ваших строчек — и загодя оправдывает самые низкие, непотребные приёмы слежки. Действительно, не зазорно весь Ваш стол переворошить и мусорную корзину вывернуть — ведь нити заговора ищутся, оберегается мир и покой наших дорогих сограждан. Не зазорно и к любовникам под простыню залезть с магнитофоном — ежели они между делом выстраивают планы политической диверсии (желательно — с человеческими жертвами!). А штаты и без того растут, а расходы и так не ограничены, и самые новейшие дефицитные технические средства идут в службу. Вы попрекаете Гинзбурга — зачем он деньги считал, полагаясь на бумагу, а не на взаимное доверие,— и видно из Вашего письма, во что б ему обошлось такое доверие! — а ведомство Андропова считает ли их? На моих глазах за тем же Подрабинеком следовало неотступно, часами, восьмеро недурно одетых лоботрясов, которые очень бы сгодились при монтаже мостового крана, и с ними — две «Волги», набитые чёрт-те какой аппаратурой,— в шутку ли, всерьёз, но Подрабинек подсчитал, что слежка за ним в месяц стоила тысяч около 12-ти; когда-нибудь с Комитета спросят ли всенародно финансовый отчёт? Навряд ли, тут и дураку ясно, с продуманной системой боролись, со строжайшей конспирацией.

Не ловите меня на слове, будто я против конспирации вообще. Мы с Вами знаем, что рукопись или документ, покуда не выплыли, не попали в надёжные руки, испытывают некий «момент беспомощности», когда их необходимо уберечь от физической смерти, от изъятия при обыске. Но, упрятав надёжно копию, почему не хранить на квартире другую? Потому, что упоминаются люди, помогавшие движению — деньгами, доставкой писем, их распространением? Прошу прощения, но эти люди знали, на что шли,— иначе б их имена не попали ни в один документ, иначе б свои пожертвования делали анонимно. И те, кто пишут письма, и те, кто доставляют их не по почте,— тоже знают: за это не гладят. Все и всё наперёд знают — и идут на это, довольно-таки беспечно. Может быть, те, кто придут им на смену, предварительно хорошенько вызубрив «правила игры», добьются большего и с меньшими потерями. Но смею думать, они будут хуже

нынешних, так наивно открытых, легкомысленно неосторожных. И едва ли привлекут к себе столь сочувственное внимание мира.

Вы удивлены и обижены, почему Вам, Рой Александрович, и Вашему брату Жоресу пишут открытые письма, это уже превратилось, как Вы говорите, «в особый жанр литературы». Впервые пиша открытое письмо частному лицу, я тоже задумываюсь — почему? Действительно, странно видеть, как люди с Вашими способностями и, должно быть, благими намерениями служат объективно тому, что сгнило и должно отмереть, вместо того чтоб всеми силами поддерживать юное, чуть выбившееся из-под земли, рискующее в любой час быть растоптанным. Слегка перефразируя большого русского поэта, нашего с Вами современника,

Я сожалею и грущу, месье.

Ваш *Георгий Владимов.*

13 октября 1978 года

«Континент», 1979, № 19

К 60-ЛЕТИЮ А. Д. САХАРОВА

Сослав его в Горький без следствия и суда, без объявленного приговора и срока, применив меру из ряда вон выходящую, власть оказала ему честь, какой мог бы удостоиться разве лишь наследный принц или возможный президент. А ведь он едва ли претендовал обладать хоть какой-то материальной силой, ничем не руководил, не стоял во главе партии, ни организации, ни даже крохотного кружка единомышленников, а только был самым ярким выразителем той бестелесной мощи, которая называется «нравственное сопротивление». Много это или мало? Власть посчитала, что это, пожалуй, и есть второе правительство.

Время от времени они пишут или наговаривают на плёнку свои косноязычные мемуары. Есть надежда когда-нибудь прочесть, на каком «уровне» было принято решение, какие выдвигались «про» и «контра» и кто отважился подписать. Думаю, им доставит больших трудов сформулировать, выиграли они или проиграли, попытавшись отъединить Андрея Дмитриевича Сахарова от Демократического движения в России. Едва ли они дойдут до мысли, что сие от них вообще не зависело.

Сегодня, когда ему исполняется 60, уже можно сказать определённо, что Андрей Сахаров — несомненная и наибольшая удача Демократического движения, воплощение его совести, оправдание всех его ошибок и п1оражений. В своей прекрасной зрелости он — звезда первой величины на небосклоне нашей общественной жизни, и это сознают и друзья его, и противники, и кто по недостатку решимости не относит себя ни к первым, ни ко вторым.

Мне посчастливилось знать его почти уже десять лет — крупнее и человечнее я не встретил, а может статься, не увижу больше и его самого, разве что неожиданная случайность поможет свидеться. Но я пожелал бы ему —

помимо тех благ, каких мы обычно желаем юбиляру,— я б пожелал, чтоб та свобода, которой мы все достойны от рождения, а он достоин больше, чем кто бы то ни было, чтоб она явилась к нему не по случайной милости притеснителей, но неожиданным мощным поворотом истории, перед которым они окажутся не властны.

21 мая 1981 г.

Сахаровский сборник.—
Нью-Йорк, изд-во «Хроника», 1981

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС Ю. В. АНДРОПОВУ

Уважаемый Юрий Владимирович,

я не могу пожаловаться на то, как были восприняты мои первые шаги в литературе,— вначале как критика, а позже и прозаика, автора «Большой руды», отмеченной более чем 120-ю статьями и рецензиями, поставленной в театре и в кино, на радио и телевидении и за которую меня пригласили в Союз писателей.

Однако с года 1969-го, когда я имел несчастную глупость выступить в «Новом мире» с другой крупной вещью, «Тремя минутами молчания», мои отношения с советской литературой переменились кардинально и непостижимо для меня. Думаю, и самым рьяным гонителям теперь не сформулировать своих претензий к этому роману, не объяснить, какая была необходимость — уже и после разгрома журнала, после ухода и смерти Твардовского,— продолжать кошачий концерт в центральной и местной печати и подвергать автора критической экзекуции, семь лет не издавать книгу и давить на него материально, не платя причитающегося по договору, вытребывая назад авансы, а поскольку автору это было непосильно, то присылать судебных исполнителей описывать у него мебель. Одновременно другие, услужливые, руки подсовывали ему «социальные заказы» на побочные, хорошо оплачиваемые ремёсла, как-то: переводы казахских и иных национальных авторов — соблазн, сгубивший такого прекрасного писателя, как Юрий Казаков. Вот ещё одна трагическая судьба, ожидающая своего исследователя.

Ни помощи, ни защиты от травли я не находил ни в одной инстанции, а меньше всего — в отделе культуры ЦК, где некий Альберт Беляев, графоман, поставленный «управлять» литературой, оказался, к моему злополучию, ещё и соперником мне по части маринистики.

Есть много способов вытолкать неугодного из советской литературы, вынудить его издаваться за рубежом, гораздо меньше — привлечь его вернуться. В моём случае — секретари Союза писателей такого способа не нашли. И да послужит этот случай уроком, что не любая душа в силах простить совершённые над нею надругательства, хотя бы они и были признаны ошибкой. К тому же и после такого признания я всё оставался неугодным — это выяснилось быстро, когда от меня скрыли приглашение во Франкфурт, сроком на шесть дней. Ведь у нас поездки на Запад, совершенно необходимые писателю, даром не даются, они суть высшего рода награды за примерное поведение. Не заслужив такой награды за 16 лет моего пребывания в Союзе писателей и не надеясь когда-нибудь заслужить, я эту организацию покинул и возвратил свой билет.

С этого дня — и в особенности после избрания меня председателем Московской группы «Международной Амнистии» — не оставляет меня своим вниманием возглавлявшийся Вами КГБ. Рассказать ли здесь или Вам это известно по докладам? — о непрерывной слежке и пресекаемой переписке, о приходах милиции — с расспросами, на какие деньги я живу, об угрозах моей жизни — письменных и телефонных, да, наконец, и об отключении телефона — *пожизненно*, с передачей номера 144-47-21 какому-то юмористу, отвечающему на звонки, что прежний абонент то ли эмигрировал, то ли умер. Не думается ли Вам, что и это всё признают когда-нибудь ошибкой, нуждающейся в прощении?

Венцом творческих усилий Вашего ведомства явился обыск у меня 5 февраля минувшего года — на том основании, что литератор Козловский принёс мне прочесть свою повесть «Красная площадь». Согласно молве, Вы владеете несколькими языками и даже читаете в подлиннике Монтеня; едва ли Вы не знаете, что со времён Софокла и Еврипида у молодых литераторов существует обыкновение приносить свои творения на суд более опытным коллегам, и никто никогда ни в какой просвещённой стране не устраивал по сему поводу обысков. У меня — перерыли две квартиры, мою и 73-летней тёщи, изъяли записные книжки и материалы к новой книге, личную и деловую переписку с издателями и адвокатом, экземпляры моих, изданных на Западе, произведений.

Если не взяли самих рукописей, это не милость захватчиков, а моя многолетняя предосторожность — не держать рукописей дома, а только последние 5—6 страниц. При втором обыске, 28 декабря, забрали и пишущие машинки — с русским и латинским шрифтами. Русская — мне прослужила 34 года; в своё время, чтобы её купить, я продал единственный свой костюм; на ней отстуканы все мои произведения. Вернут ли её — не знаю, до сих пор, невзирая на все обещания, мне не отдали ничего.

4 января, при допросе по делу арестованного писателя Леонида Бородина, следователь Губинский потребовал от меня письма в КГБ, где бы я:

1. Признал бы свою деятельность антисоветской и публично в ней раскаялся;

2. Указал бы все свои контакты (которые, по-видимому, неизвестны Губинскому из агентурных сведений и захваченной переписки);

3. Касательно литературы — дал бы обещание впредь издаваться на Западе только официально, через ВААП, а гонорары, полученные «незаконными путями», перевёл в доход государства.

Если такого покаянного письма не последует от меня до 20-го числа, значит, «мы друг друга не поняли», т. е. он, Губинский, возбудит против меня уголовное дело, для которого материалов у него «более чем достаточно».

Я уже ответил Губинскому, что друг друга мы не поймём никогда, и ждать ему до 20-го нет смысла, я такого письма не напишу. Я готов приять ставшие уже привычными тернии русского писателя, и как прежде недрогнувшей ногою ступил на палубу рыболовного траулера, так же ступлю и под своды Лефортовской тюрьмы. Уверяю Вас, ни следствие, ни суд, ни уготованные мне лагерь или ссылка не переменят моих убеждений и не покажутся тяжелее того бесчестья, какое бы я себе нанёс требуемым покаянием.

Однако ж, вместе со мною, а может быть — вместо меня, грозятся арестовать мою жену, Наталию Кузнецову. Оказывается, и на неё «материала достаточно», а главная её вина — что она не прилагает усилий добиться от меня вышеуказанного письма, да ещё и мешает общению со мною людей, которые могли бы на меня повлиять «в лучшую сторону». Это, в общем, неплохо придумано, хотя и не ново. Быть храбрым за чужой счёт — невелика честь,

и я не могу допустить, чтоб по моей вине, действительной или воображаемой, пострадал бы другой, будь то жена или вовсе посторонний. Как видите, славным чекистам не стоило нравственных мучений унизиться до презираемой во всём мире, но и действенной тактики заложничества.

Я предлагаю иной выход, менее ущербный для нашего государственного престижа. Я готов покинуть Россию. Быть вынужденным к этому — больно и обидно для нас, свою любовь к ней мы доказали уже тем, с каким терпением сносили гонения, преследования, унижения нас самих и нашего жилища. Я не покинул свою страну добровольно в трудные для неё годы и надеюсь, в меру своих сил и способностей, ещё послужить ей, живя за рубежом,— до поры, когда мы сможем вернуться. Если нужны формальные обоснования нашего отъезда, то вот они. Я имею приглашения от ПЕН-клуба Франции и французского же издательства «Галлимар» приехать для лечения сердца. Кроме того, академии Бонна и Кёльна, ФРГ, выразили желание, чтобы я прочитал курс лекций о современной русской прозе. Я прошу Вашего содействия моему выезду из СССР, с женой, сроком на год. Мы хотели бы выехать летом — сейчас, зимою, врачи не рекомендуют мне столь резкой перемены обстановки.

Впредь, до указанного времени, ещё просьба — чтоб нас оставили в покое.

С должным уважением

Георгий Владимов.

12 января 1983 г.

«Континент», 1983, № 35

О ЛИШЕНИИ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА

25 августа 1983 года советские средства информации сообщили о лишении гражданства Г. Н. Владимова, находящегося в Западной Германии. Указ Верховного Совета СССР, подписанный Андроповым, датирован 1 июля. В Указе говорится, что Владимов «систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР».

Как я уже заявлял в нескольких интервью западной прессе и радио, главный смысл всех изменений, происшедших в Советском Союзе после смерти Брежнева и с приходом к власти Андропова, состоит в том, что, по существу, ничего не изменилось.

Уже было ясно, что новый глава государства не в силах проявить оригинальность мысли ни в одном политическом вопросе — ни в решении Продовольственной программы, ни в том, чтобы вывести войска из Афганистана и прекратить непопулярную войну, ни даже в том, чтобы решить по-человечески хотя бы одну судьбу — бессрочного узника Андрея Сахарова. Теперь выяснилось, что и по части лишения гражданства выехавших на Запад деятелей культуры и правозащитников Андропов остаётся таким же ординарным чиновником, лишённым государственной мудрости.

Могу ответить на этот Указ словами моего персонажа из рассказа «Не обращайте вниманья, маэстро»: «Надо их самих лишить навсегда — национальности!»

Я продолжаю верить, надеяться — настанет час, когда всем нам, лишённым гражданства, вернёт его с почётом новая, свободная Россия. Мы приложим все силы, чтоб это произошло скорее.

Георгий Владимов

25 августа 1983 г.
Эшборн, ФРГ

Радио «Свобода»

БРЕМЯ СВОБОДЫ

Выступления на 35-й Посевской конференции

Самое интересное и приятное в «железном занавесе» — то, что в нём есть прорехи. И сквозь эти прорехи можно смотреть. Можно смотреть с этой стороны, можно с той. Я не так долго живу в эмиграции и не так ещё остыл от своих московских обид, чтобы уже почувствовать себя эмигрантом, и я ещё ловлю себя на том, что смотрю с той стороны. И вот вопрос, который мучил первую эмиграцию,— зачем нужны наши книги, кому они нужны в России? — вот этот вопрос я предлагаю снять с повестки дня и считать, что книги эти нужны и эмиграция нужна России. Живя в Москве, я и мои друзья, мы как бы возлагали обязанности на эмиграцию. Вот вы выехали, вы ногою ступили на другой берег, берег свободы, и вы сразу же понесли какие-то обязанности перед нами, оставшимися. Так мы чувствовали это. Раз вы эти обязанности приняли и понесли, стало быть, вы нужны.

Чего же мы хотели бы от эмиграции? Ну прежде всего, чтоб она рассказала о нас Западу, рассказала о том, что здесь — в России, в Москве — происходит, разъяснила бы непонимающим, что их ожидает в будущем. С другой стороны, чтобы эмиграция поведала нам о Западе, рассказала бы о каких-то течениях, о каких-то философских и политических проблемах более глубоко, чем это делает, скажем, западная пропаганда с помощью радио. В общем, была бы каким-то мостом между нами и Западом. С третьей стороны, она должна была бы для тех писателей, которые уже не в состоянии оставаться писателями в России, подготовить какие-то посадочные площадки в виде, скажем, журналов, газет. Есть какие-то практические вещи, которые эмиграция должна была принять на свои плечи и сделать.

Но самое главное, мне кажется, даже не в этих практических вещах, а в том, чтобы осуществить идеалы сво-

боды, то есть жить так, как может жить свободнорождённый человек, достичь этой способности ощущать себя не рабом, сорвавшим с себя цепи, а изначально свободным человеком. Пока что, как я мог оттуда видеть, достигнута в полной мере только свобода путешествий. Да, действительно, мы с завистью, но и с некоторой долей радости смотрели на то, как выехавшие наши друзья передвигаются. Много, интенсивно, по всем странам и континентам. К сожалению, в других аспектах они остаются людьми советскими, и это проявляется прежде всего в нетерпимости — первейшая, главная черта советского человека. Это вообще как душевная болезнь, по-моему,— так называемый «советский характер», и если мы не можем лечить её, то необходимо хотя бы поставить диагноз — это уже на треть вылечить.

Эта самая нетерпимость, которая выражается в грызне, в распрях, она страшно огорчает людей в России. Так, получаем мы какие-то письма из-за рубежа, и первый вопрос: что там происходит? Первый ответ: «Грызутся. Все между собою перегрызлись». Такое осуществление свободы наблюдать тягостно, и поэтому многие люди в России видят в эмиграции какую-то пропасть. Они страшатся эмиграции, им кажется, что никаких духовных ценностей они там не приобретут, только растеряют, что будут там несчастны,— и это заставляет их, некоторых из них по крайней мере, идти на компромиссы, на которые они бы в других условиях не пошли. Я думаю, есть смысл расширить тему нашей дискуссии, включить в неё вот этот вопрос — об осуществлении идеалов свободы. Как каждый из нас, сидящих за этим столом, её понимает.

Владимир Емельянович* имеет большой опыт попыток объединения людей, и коли он говорит, что политическое объединение эмиграции невозможно, то я ему, пожалуй, поверю. Но всё же возможно объединение нравственное, объединение людей, которые преодолеют самое тяжкое бремя эмиграции, бремя свободы. Я здесь, видимо, был неправильно понят или неточно выразился, но, когда я говорил о том, что сквозь дыры и прорехи «железного занавеса» слышно, как русские между собой грызутся, я имел в виду, конечно, тот распад человеческих

* Максимов.

отношений, которые ведь существовали в России. Люди выезжают и начинают ссориться между собой, они распадаются на различные группировки, «мафии», они друг с другом, оказывается, годами не разговаривают или соотносят оппонента по материнской линии, всячески низводят полемику до уровня советской коммунальной кухни. Вот о чём я говорил и что я имел в виду, когда сказал, что всё это производит тягостное впечатление на оставшихся по ту сторону занавеса.

Ну, а мне, в качестве аргумента, приводят пример обыкновенной, нормальной полемики по поводу книжки Синявского — и спрашивают меня: «Так вы что, против полемики?» — Да нет, не против, конечно. Но я думаю, что интеллигенция эмиграции, которая всё-таки не забывает о России, должна ощущать себя стоящей на уровне огромной задачи. Ну, хотя бы так, как это было с поручиком Голицыным и корнетом Оболенским.

Кстати, по поводу поручика Голицына и корнета Оболенского. Действительно, происходит некий пересмотр отношения к Белому движению. Действительно, и песни сочиняются, и в кино приглашаются весьма обаятельные актёры на роли белогвардейских офицеров. Однако нельзя всё-таки забывать, что Белая армия проиграла, и значит, она виновата.

Почему проигрывает армия? На это существует много причин, но Толстой нам рассказал и объяснил, почему армия выигрывает. Она выигрывает тогда, когда в ней самой рождается некая нематериальная субстанция, которую он называет «духом армии». Эта субстанция подчас делает среднего полководца гениальным, а последнего труса — храбрецом и героем. По-видимому, присутствие или отсутствие такого духа определяет победу или поражение. По-видимому, Белое движение не имело этого духа в достаточном количестве и, следовательно, корнет Оболенский и поручик Голицын были несколько другими, чем это изображается в песне. Необходимо это исследовать, говорить не только другую сторону правды, противоположную советской правде, но говорить *всю* правду.

Точно так же сейчас пересматривается отношение к власовскому движению, и не столько к самим власовцам, сколько к личности генерала Андрея Власова. Я много занимался этой темой и личностью генерала Власова, и мы вынуждены будем признать, что и он виноват, хотя бы

в том, что взвалил на себя заведомо непосильное бремя. Вообще, по поводу той или иной идеализации нужно быть очень осторожным. Ведь идеализируется и блатной мир в песнях, а мы знаем, что такое блатные, хотя бы из «Архипелага ГУЛАГа». Идеализация происходит оттого, что советская пропаганда навязла уже в зубах, она осточертела уже, набила оскомину, и рождается естественная реакция. Причём иногда у молодёжи доходит до того, что вот 20 апреля 1981 года, в день рождения фюрера, собирается демонстрация на Пушкинской площади. Поскольку эмиграция имеет доступ к архивам, она может исследовать любую тему, вот хотя бы власовского движения. А ведь даже вопроса нельзя в Советском Союзе такого поставить: почему оно проиграло? были его цели достижимы или недостижимы? — даже задаться таким вопросом советский писатель не может. Он должен говорить только ту сторону правды. Мы имеем возможность сказать обе стороны и, значит, *всю правду*, поскольку и архивы в нашем распоряжении, и люди ещё доступны — из первой эмиграции, из Белого движения, из власовского движения.

Владимир Емельянович несколько пессимистически смотрит на положение писателя за рубежом, считает, что писать можно только на родной почве. Я тут с ним не могу согласиться, я думаю, что писатель должен *состояться* на родной почве, и вот если он уже состоялся, тогда он может работать и в Малеевке под Москвой, и где-нибудь на юге Франции. Всё-таки мы выехали уже в весьма почтенном возрасте, нам есть что сказать и о чём написать. Точно так же мне хочется возразить ему и по поводу языка. Дело в том, что язык подвергается вивисекции, изничтожению не только здесь, он подвергается этому и на родине,— со стороны советского бюрократического воляпюка. Если мы равнодушны к таким советским оборотам, как, например, «по линии рождаемости» или «в плане крысонепроницаемости», то я вижу в этом не меньшую опасность для языка, чем как у Маяковского в «Русских американцах»: «тудою пройдёте четыре блока и там на корнере возьмёте трен». Объединение всех трёх эмиграций — как трёх хранительниц истинного русского языка, наверное, назревшая необходимость.

1—2 октября 1983 г.

«Посев», 1983, № 11

НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ БУДЕТ

Мне было бы лестно считать Горбачёва молодым, будучи на 11 дней его старше. Вспомним, однако, что Ленин ещё до своих 54-х подвергся бальзамированию, а политическую деятельность закончил двумя годами раньше. Не хочу этим противопоставить новоявленного генсека Ильичу № 1, но лишь подчеркнуть: его политическая биография не начинается, а продолжается (не исключено, что и завершается), перед нами — сложившийся характер, жёсткая система, от которой можно ждать не больше того, что она уже реализовала в речах и поступках.

Утверждают, что его продвижению поспособствовали Суслов и Андропов,— в таком случае силы, его подпирающие, обозначить легко: это партия и КГБ. Третья сила — армия — на похоронах Черненко не была представлена ни одним чином, исключая тех декоративных полковников, чья воинская доля — нести подушечки с наградами усопшего. Всё же я склонен думать, что своим выдвижением наш генсек обязан лишь одному человеку — именно Михаилу Сергеевичу Горбачёву. Он закончил юридический факультет — надо полагать, не затем, чтобы постичь мудрость правоведения (в Англии наш юрист разговаривать о «так называемой проблеме прав человека в СССР» напрочь отказался), а чтобы набраться «государственного мышления», заодно и тонкостей крючкотворства — это юрфак вполне обеспечивает, я его сам закончил. Он никакой работы не знал, кроме партийной,— это протоколы, заседания, подсчёты и перетягивание голосов, проведение спущенных директив, это «есть мнение, товарищи», «поступило предложение кто за» (без запятой и без вопросительной интонации), «предлагаю избрать почётный президиум в составе...». Для кого — мёртвая пустыня, а для иного, как нам поведал в своей книге «Номенклатура» М. Восленский, так очень рельефный пейзаж,

с живописными долинами, холмами и рытвинами, которые далеко не всякому перейти. Он — перешёл. И можно себе представить, каким нужно быть, чтоб суметь понравиться товарищам Суслову и Андропову... «Бойтесь первого движения души,— поучал Талейран молодых дипломатов,— ибо оно, как правило, самое благородное». Супротив этого движения слабоват иной раз оказывался Хрущёв, есть тому многие подтверждения, Должно быть, Михаил Сергеевич его урок усвоил «на отлично»: за всю свою карьеру он не сделал ни одной ошибки.

Никаких неожиданностей не обещает его лицо — сытого, пожившего, всё познавшего патриция времён 12-ти цезарей.

Некоторой новинкой для Запада — по крайней мере, для англичан, не берусь предсказать, как это пройдёт во Франции,— было явление госпожи Горбачёвой. Английская пресса даже отдала ей предпочтение перед г-жой Тэтчер: писали, что на домашнем приёме у премьер-министра советская «леди Шик» задвинула хозяйку «в глубину сцены». Репортёров, не учитывающих разницу в возрасте, мне трудно назвать джентльменами; к тому же и в этикете они смыслят не много: г-жа Тэтчер — весьма яркая женщина, но, очевидно, хозяйка так и должна была себя вести, чтобы на авансцене оказалась гостья. Чем же, однако, так пленила Раиса Максимовна суровых британцев? Она занимается философией? Ну какая же у нас в СССР философия — один марксизм-ленинизм, у всех иных философов взгляды исключительно «реакционные». Она уделяла много внимания библиотеке? Правильно, другая тетеря попросила бы платяной шкаф открыть или прилипла бы к столовому хрусталю. Она особо интересовалась Шекспиром? Что же, она его дома не читала? Или произведения этого автора на его языке — такая редкость в России? Выехавшему за рубеж естественно к Набокову кинуться или к Оруэллу, которых в развитом социализме раздобыть трудненько, Шекспира же мы и в школе «проходим». Она, наконец, доказала, что и ей «вечно женственное» не чуждо — меняла наряды, щеголяла короткой причёской, в магазине подолгу выбирала серьги? Тут есть от чего обмереть, но для живущего в России она — заурядная номенклатурная дама, каких много сейчас у дипломатов, гебистов, деятелей ТАССа и АПН, даже у партсекретарей — разве что не ранга генсека. Мадам Громыко, пересчитывающая после обеда серебро — не украла ли гор-

ничная,— это позавчерашний день, новая формация знает толк в «хороших манерах», имеет в штате и массажисток, и косметичек, и лучших преподавателей английского, и, разумеется, проходит перед заграницей хорошо разработанный тренаж. Словом, «хозяйка земли советской» свою программу выполнила не хуже супруга, произносившего речи, всем на удивление, без бумажки (кстати, какие такие особенные речи? Тосты и приветствия? На траурном митинге бумажка ему понадобилась — трудненько, поди, на память перечислить заслуги Черненко перед человечеством), и значит, Раиса Максимовна вполне под стать Михаилу Сергеевичу. Тоже ошибок не делает.

И всё же — почему самому молодому так единодушно отдали голоса наши «геронты»? Я думаю, причина проста — своим, до смертного часа не угасающим, никогда не обманывающим инстинктом они в нём почувствовали — своего. Они в нём увидели редкое сочетание — совершенного подобия и, одновременно, воплощённого здоровья, самих себя лет на двадцать моложе. Что же, им самим не надоело — каждый год хоронить очередного Генерального и переживать встряску новых выборов? Не надоело демонстрировать свою немощь, бессвязность речи, объяснять настырным западным корреспондентам своё пребывание в реанимационной палате чрезвычайной занятостью или простудой? Они не уступили ему свою власть, они только передали её на хранение в более надёжные руки — авось не уронит. И поэтому он — вовсе не ставленник своего поколения, он ставленник — стариков.

Однако ж, не питая иллюзий насчёт самого Горбачёва, я всё же вижу нечто отрадное в его выдвижении. Сила жизни мудрее мудрости стариков и даже их нечеловечески гениального инстинкта. Неизбежно, по советскому закону подражания низов верхам, в промежуточном, в поддерживающем слое тоже начнётся омоложение. Прорвутся 50-летние, которые, возможно, съедят Горбачёва — и тем скорее, чем больше он будет в них нуждаться и выдвигать их. 70-летние-то — они надёжнее, им свойственны инерция покоя и неохота к переменам, но 50-летних ещё не оставило вожделение власти. Возможно, из них выдвинутся и настоящие личности — даже такие, что не боятся ошибок и первого движения души. Дай-то Бог.

«Новым Сталиным» Горбачёв стать не сможет, да это и не нужно ему, сталинского устрашения хватит нашему

народу с избытком до конца века, да, кстати, и сам Иосиф Виссарионович, как бы он там ни своевольничал, а проводил линию и осуществлял волю тех, кого Милован Джилас назвал «новым классом». Этот класс уже настолько образовался и окреп, что без его волеизъявления генсек не ступит и шагу. Почему он не станет «новым Хрущёвым»,— наверное, ясно и так, не такого выбирали, чтоб ещё натерпеться страху от «разгула демократии». Но он не будет и «новым Брежневым», с его умственной ленью, грузом самонаград и величавым попустительством коррупции,— это уже не только смешно, но и смертью пахнет для того же класса. Всё-таки надобно что-то делать, братцы! Сегодняшние советские газеты пестрят призывами укреплять дисциплину — это значит, что новый лидер, как и Андропов, не видит стимула, который бы сделал ненужным укрепление дисциплины, от которого и дисциплина, и честность, и бережливость, и энергия, и энтузиазм наладились бы сами собой. Пока что новый генсек ступает в след Андропова, прерванный его смертью,— истинно, можно пожалеть, что тот до самого конца так и не убедился в бесполезности своих «силовых приёмов».

Но наш юрист ведь ещё и агроном по образованию, он курировал сельское хозяйство и, как утверждают, вместе с Андроповым что-то такое проводил или пытался провести насчёт расширения приусадебных участков. Теперь, имея некоторую власть, он их, возможно, и расширит малость — сотки на две, на три. Возможно, на одну дырку смогут наши соотечественники подраспустить пояс. Но дело-то не в количестве земли, дело в качестве владения ею. На главное, кардинальное, все узлы разрубающее — никогда Горбачёв не пойдёт, и класс ни за что не допустит, чтоб земля получила наконец — хозяина. Будет нечто вынужденное, и значит — половинчатое, что-нибудь вроде бригадного метода, который отойдёт в забвение, как отошли торфоперегнойные горшочки, хрущёвская кукуруза, косыгинская «реформа».

Вся беда наша, что мы уже и не ждём от наших лидеров изначальной человечности, чтоб они горели желанием сделать своих подданных сытыми, свободными, счастливыми, мы спорим лишь о том, насколько такой-то будет вынужден пойти на то-то и станет ли он этой вынужденности уступать или противиться. Если бы Пётр Великий был только вынужден «пробить окно в Европу»

и выстроить город в устье Невы, но не хотел бы этого яростно, во весь размах своего темперамента, мы б не имели нашей Северной Пальмиры, мы бы имели что-нибудь вроде Мурманска. Равно и Джефферсон — разве же только вынужден был написать Декларацию независимости, а не хотел этого всей душой? И не хотел ли великих преобразований Александр Второй, подбирая себе в помощь лучшие умы? Вынужденно — он бы и сам чего-нибудь сообразил.

Будем, однако, унылыми реалистами и хоть то признаем, что для свободного мира (а я к нему причисляю и тех в тоталитарном лагере, кто сам себя посчитал свободным) настало время не возлагать надежд на того или иного генсека Политбюро, но полагаться на ту силу, которой он сам обладает. Сейчас вот на первый план выдвигается защитная космическая программа, объявленная Рейганом,— очень сильный ход, едва ли не самое большое потрясение для Советов со времени испытания атомной бомбы в Аламогордо. К сожалению, эта программа явно скомпрометирована своим названием — «Звёздные войны», не только безвкусным, но скрывающим главное в ней — её оборонительную суть, чем советская пропаганда воспользовалась как только могла. Что она это умеет, мы наблюдали на днях: естественно было американской делегации в Женеве предложить советской повременить с переговорами, покуда прах Черненко не засыпан землёй,— предложение человечное, да и по протоколу, наверное, требуется, к чему здесь было придраться? Ан положили советской прессе палец в рот, и тут же она его укусила — американцы хотели оттяжки мирных переговоров! Назовите рейгановскую программу хотя бы — «Космический щит» (я беру первый пришедший в голову вариант, кто-то найдёт и получше), и сражаться придётся уже с самой сутью. Суть же её — гениальна во многих отношениях, даже в том, что открытия и достижения в этой области не обязательно покрывать мраком тайны, можно ими делиться с противником, со всеми соседями по планете, можно даже совместно разрабатывать: «Вот какой забор я себе отстроил. Хочешь — и тебе помогу».

Мы лишь смутно догадываемся, к каким грандиозным переменам может эта программа привести внутри СССР, но уже воочию наблюдаем все страхи перед нею «нового класса». С удивлением мы узнаём, что Советы и сами

разрабатывают космическую оборону несколько лет, но — поразительно! — забрасывая Запад новыми и новыми «мирными инициативами», предлагая то сокращение, то замораживание, то безъядерные зоны, то ещё какой пропагандный кунштюк, ни разу не предложили эту программу — самую надёжную и мирную. Больше того, скрывали старательнее, чем самые смертоносные ракеты,— не дай бог, кому-то ещё придёт в голову. Но вот — пришло. И можно представить себе всю растерянность нашей военно-промышленной олигархии, когда эта программа станет осуществляться — и все накопленные заряды сгодятся лишь на сожжение в реакторах электростанций. Когда придётся же дать отчёт — не народу, но хоть себе самим,— на что истрачено было национальное достояние, в какой песок ушли труды и жертвы соотечественников.

Представим себе и то тяжелейшее испытание, какое выпало новому лидеру — влететь между «Космическим щитом» и щетиной нацеленных боеголовок. Как вывернется Горбачёв, как поведёт себя? Перед чем отступит? Чему воспротивится? Не знаю. И не хотел бы быть на его месте.

«Посев», 1985, № 4

ТАМИЗДАТ и его влияние на процессы в России

Я не стану пересказывать вам всю историю Тамиздата, которая началась задолго до моего рождения. Это было бы слишком громоздко для нашего короткого совещания. Но некоторые эпизоды, некоторые этапы Тамиздата, которым я был свидетель,— впоследствии и участник,— я постараюсь до вас донести.

Тамиздат вошёл в мою жизнь в 1956 году, когда я — в прекрасном и, увы, невозвратимом возрасте, 25-ти лет,— был приглашён в журнал «Новый мир» редактором отдела прозы. Мне было сказано, что в правой тумбе моего стола находится роман, который нужно очень быстро прочесть, потому что он перспективный и выведет нас, то есть «Новый мир», далеко вперёд, на «генеральную линию». А в левой тумбе стола находится другой роман, который, повидимому, придётся возвращать автору с отрицательной рецензией, потому что он, к сожалению, перспектив не имеет. Тот, который перспективный, был роман Дудинцева «Не хлебом единым», всем вам хорошо известный, и он не только не вывел нас, то есть «Новый мир», на «генеральную линию», но из-за него в конце концов редактору Константину Симонову пришлось уйти из журнала. Ну, впрочем, может быть, и к лучшему, потому что на его место пришёл Александр Трифонович Твардовский.

Роман бесперспективный был вскоре, через год, передан на Запад, там опубликован и выдвинут на соискание Нобелевской премии, которую и получил. Это был «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Я вспоминаю о том, как мне это было впервые рассказано. Пришёл, помнится, в редакцию Борис Лавренёв, член нашей редколлегии,— ну, как в народе говорят, «мужик не вредный»,— всё понимающий,

---

Доклад в качестве главного редактора журнала «Грани» на 37-й Посевской конференции, в Эшборне близ Франкфурта-на-Майне, 5–6 октября 1985 года.

автор к тому же великолепного рассказа «Сорок первый», это очень заметная веха в советской литературе. И вот, почему-то с непонятными для нас раздражением и насмешливостью, он стал рассказывать, как группа писателей во главе с Фединым и Сурковым поехала на дачу к Пастернаку уговаривать его забрать свою рукопись у издателя Фельтринелли, как их встретила «не то жена, не то сожительница», ничего определённого не сказала, и в конце концов Лавренёв разразился такой сентенцией: «Как он не понимает, Пастернак, что если он будет откалывать такие трюки, то не будет больше Пастернака, его уничтожат!»

Вскоре его действительно уничтожили. Состоялось то позорное судилище, которое закончилось исключением Пастернака из Союза писателей. И самое странное, что в этом судилище участвовали люди в общем приличные и порядочные, ну, такие, как Борис Слуцкий, как Владимир Солоухин, впоследствии сам автор Тамиздата, как Вера Панова, как председательствовавший на этом судилище Сергей Сергеевич Смирнов, автор книги о Брестской крепости, который многим из своих героев помог, вытащил их из лагерей и ссылок. Не удержусь процитировать, что говорилось на том судилище:

«Пастернак чужд советскому народу... Написал эту дурно пахнущую мерзость, этот поганый роман, где оплёвано всё святое для нас... Пастернак ненавидит народ, считает его быдлом... Враг народа... Вся его поэзия — это 80 тысяч вёрст вокруг собственного пупа... Нож за пазухой, нож против народа... Поставил большую пушку — обстреливать из этой пушки народ... «Доктор Живаго» — предательский акт, проповедь предательства и апология предательства... Литературный Власов, соучастник преступления против мира и покоя на планете...»

И наконец апофеоз:

«Пастернак — это война!»

Любопытно, что всё это говорилось, как мне сдаётся, не читая самой книги. Мало того, это было возведено в некий горделивый принцип. Если помните, пресса той страшной недели пестрела такими заявлениями: «Пастернака не читал и читать не собираюсь», «Случайно услышал, что есть такой Пастернак...»

Хочу ещё прочесть вам один небольшой перл,— я думаю, что это, пожалуй, самое прекрасное, что когда-либо выходило из-под пера советского человека:

«Только один наш колхоз продал государству в этом году 250 тысяч пудов хлеба и 200 тысяч пудов маслосемян. Лишь за 9 месяцев от каждой коровы мы надоили по 2070 литров молока. И поэтому мы с радостью встретили сообщение о том, что Пастернак лишён высокого звания советского литератора».

Я думаю, что на памятнике коммунизму, а коммунизму тоже будет полагаться свой памятник, эти слова следовало бы выбить на цоколе.

Но откуда же взялся вот этот запал? Откуда такой темперамент? Откуда такая вражда к человеку, который отважился спасти свой роман от забвения и напечатать его за рубежом? Было ли это только проявлением писательской зависти к успеху, к премии? Наверно, и это присутствовало здесь, и я вообще в писательской зависти ничего плохого не нахожу, но хочу напомнить, что в 1967 году никакая зависть не помешала тем же писателям, в количестве ста человек, вступиться за Солженицына, для многих очевидного лидера советской литературы.

Несколько лет спустя после того судилища Вера Фёдоровна Панова, будучи уже при смерти, приблизительно так объяснила своё тогдашнее в нём участие: нам казалось, что Борис Пастернак своим поступком нарушил негласный договор между правительством и интеллигенцией, он испортил начавшийся диалог между властью и писателями, он сильно помешал Никите Сергеевичу в его борьбе с «ястребами» в Политбюро.

Я думаю, что участие в том судилище — по крайней мере, вот этих порядочных людей, которых я перечислил,— было тогда искренним, и мы его можем простить сейчас, по прошествии многих лет, хотя бы тем людям, которые сами себе этого простить не смогли.

Прошло ещё восемь лет — и прогремел знаменитый процесс Синявского и Даниэля. С моей точки зрения, это был второй этап Тамиздата. И вот как он был воспринят писателями и властью. Власть по-прежнему, по инерции, считала, что к этим двум «отщепенцам», этим «перевёртышам», которые к тому же выступали под псевдонимами, общественность, в основном писательская общественность, отнесётся с таким же темпераментом, с таким же запалом, как она судила Пастернака. Ничего подобного не произошло. Что-то сильно сдвинулось в сознании большинства писателей, и это сказалось уже в том, что не нашлось ни одного порядочного имени — поставить его

под постановлением правления, которое клеймило этих самых «отщепенцев» — Синявского и Даниэля.

Ну, мы, молодые, тоже немножко повзрослели и уже должны были как-то высказать своё слово, мы почувствовали себя обязанными вмешаться в этот процесс. Как мы в своё время отнеслись к Пастернаку? Нам было приятно и радостно, что он получил Нобелевскую премию, но мы были, разумеется, разочарованы, когда он не смог вынести всего лишь одной недели травли, не смог вынести «всенародного презрения» и клеймения, не смог вынести угроз Семичастного, отворившего ему дверь на Запад, и обратился с покаянным письмом к Хрущёву, с просьбой оставить его в России, сказав при этом, что он отказывается от премии. За это же осудил его и Солженицын в своей Нобелевской лекции.

Но мы тогда не заметили — по молодости, по глупости,— что Пастернак не отказался от самого главного: он не отказался от «Доктора Живаго». А ведь тот же Солженицын настаивал, чтоб не ставили ему в укор пьесу «Пир победителей», захваченную при обыске. Пастернак не предал своё детище, он ни словом не раскаялся в том, что он эту книгу написал,— как потом, к сожалению, многие авторы Тамиздата отрекались от своих собственных произведений в покаянных заявлениях в «Литературной газете». Дело прошлое, я их здесь называть не стану, но во всяком случае того состояния духа, которое проявил тогда Борис Пастернак, они не достигли. Что сказал своим заявлением Пастернак? «Вы хотите видеть в Нобелевской премии политический акт? Пожалуйста, я от него отказываюсь. Я отказываюсь от премии. Я художник и не принимаю участия в ваших политических махинациях. Но лиры милой не отдам».

Позиция новых тамиздатчиков, Синявского и Даниэля, была как будто менее нравственной, они действительно укрывались под псевдонимами. И ведь на дворе уже была не «оттепель», а стойкое похолодание, да, собственно, этот процесс и обозначил для нас начало этого похолодания. Тем не менее писательская масса ощутила к ним сочувствие. Я помню, как ко мне за столик в Центральном Доме литераторов подсел Василий Павлович Аксёнов и мрачно сказал: «Ну что, старик, надо выступить, надо написать письмо».— «Надо,— говорю,— а какое письмо? Куда?» — «Ну не знаю, но как-то же надо ребят выручать...» И мы тут же

зашли в редакцию журнала «Юность» — это поблизости, там оказался Анатолий Гладилин, и втроём быстренько сочинили первое — в моей жизни, во всяком случае,— «подписантское» послание к нашим лидерам — Брежневу, Подгорному, Косыгину. Это письмо впоследствии подписали ещё 17 литераторов — среди них Евтушенко, Вознесенский, Коржавин, Рождественский, Ахмадулина, Булат Окуджава, Василь Быков. Это было то самое «письмо двадцати», за которое Шолохову было стыдно, как он сказал на партийном съезде. Если помните, было ещё одно письмо, «письмо восьмидесяти», во главе с Эренбургом и Паустовским, за которое Шолохову было «стыдно вдвойне».

В 1973 году Советский Союз примкнул к Всемирной конвенции об авторском праве, и для тамиздатчиков начались трудные времена. Стало, как ни странно, хуже. Ну, благодаря различным причинам, которые здесь не место и не время выяснять, любая конвенция, любой акт, который в любой другой стране приводит к расширению прав, к увеличению их объёма, в нашей несчастной стране приводит к обратным результатам — к сужению прав, к их умалению. Так произошло и с этой конвенцией. Ведь вот до конвенции любой издатель вправе был взять любое произведение советского писателя и напечатать его, не спрашивая ничьего позволения, пиратским способом. Такого автора обыкновенно вызывали к литературному начальству и спрашивали его, как это получилось. Автор начинал объяснять, что он носил своё произведение в одну редакцию, в другую редакцию, кому-то ещё давал читать, ну и в конце концов утратил контроль над рукописью. Ну, прекрасно, это именно и хотелось от него услышать начальству. Тогда этому автору предлагали «отмежеваться» от своего издателя,— если это было издательство «Посев», так назвать их «бешеными собаками» или ещё какими-нибудь сильными кликухами,— и объяснить читателям, что рукопись не завершена, что она лежала в столе и её оттуда чуть ли не выкрали и т. п. Ну, здесь уже всё зависело от твёрдости самого писателя, от того, соглашался ли он позориться, или ему это было слишком противно, имел ли он намерение съездить за границу или не имел, собирался ли покупать машину через Союз писателей или мог её купить другими путями,— во всяком случае, тут были многие привходящие обстоятельства, которые оказывали и своё давление.

Теперь же сослаться на «пиратский способ» было нельзя. Предполагались, по конвенции, какие-то согласованные действия издателя и автора, требовалось непременно согласие автора, и такому автору напечатанного за границей произведения могли предложить выступить против своего издателя в суде. Ну, ничем особенно страшным это издателю не грозило, кроме некоторых материальных затрат, но всё-таки это было крайне автору неприятно. Возникло, в связи с конвенцией, Всесоюзное агентство по охране авторских прав — ВААП, или, как остряки его называли, ВОХРАП — «Вооружённая охрана авторских прав»,— и оно обратилось к юристам Министерства юстиции с просьбой разработать уголовный закон, который бы запрещал саму передачу рукописи за границу. К чести юристов, они воспротивились. «А собственно, на каком основании можно уголовно наказывать автора, передавшего кому бы то ни было *своё* произведение?» — «Ну, хотя бы на основании монополии внешней торговли, которая целиком принадлежит государству».— «Но ведь монополия распространяется на водку, на трактора, на нефть, но никак не на изделия интеллектуального творчества. Тем более что вы, то есть ВААП, организация общественная, да к тому же ещё как бы дочерняя, возникшая на базе других общественных организаций, и нарушение вашего устава никак не может быть уголовно наказуемым».

К чести юристов, они трижды отвергали проект такого закона. «Что же нам делать? — спрашивали вохраповцы.— Этих тамиздатчиков становится всё больше и больше, дурные примеры заразительны, и нужно же как-то на этих нарушителей воздействовать!» — «Ну и воздействуйте,— отвечали юристы.— У вас в уставе Союза писателей есть для этого соответствующие меры. Вы можете объявить нарушителю выговор, можете строгий выговор с занесением в личное дело и т. д. Ну, наконец, подвергнуть исключению».

Вот тогда и последовала целая полоса исключений, которую открыл, по-моему, Максимов, за ним — Копелев, Чуковская, Корнилов, Войнович, ну и, наконец, Феликс Светов.

Однако ж, исключение, как убийство или самоубийство, имеет один крупный недостаток — его можно применить лишь один раз. Это ведь только товарищу Сталину

удалось дважды расстрелять Рокоссовского, а потом поручить ему командовать армией. У Союза писателей это не получалось; тем более, будучи исключённым, автор куда же направлялся? Ну, разумеется, в Тамиздат, больше ему некуда было идти. Все советские редакции были для него закрыты. Таким образом, само исключение только узаконивало его участие в Тамиздате, а когда стали писатели сами покидать свой союз, так и вовсе эта мера потеряла своё страшное, карательное значение.

И вот тут-то случился ещё один эпизод, который я счёл бы третьим этапом Тамиздата. Этот эпизод в истории советской литературы я считаю уникальным, он называется — «Метрополь». 23 автора, во главе с Аксёновым, Ахмадулиной, Андреем Битовым, Семёном Липкиным, Инной Лиснянской, собрали свои неизданные рукописи и, по существу, издали их сами. Они превратили свой альманах — я сейчас отвлекаюсь от его художественных достоинств — в некое подобие Самиздата и Тамиздата, и, по существу, в готовый продукт печатного процесса. Даже художник у них был свой — Борис Мессерер, который сделал обложку. «Ардису» оставалось только выпустить это коллективное произведение книжкой.

Чем интересен этот этап? Тем, что 23 человека сами себя поставили в такое положение, когда им отступать было некуда. Они не могли сослаться на то, что у них рукописи взяли почитать и не вернули, что издатель их обманул — как в своё время наших «покаянцев»,— они сами собрали свои произведения, сами их расположили в определённом порядке и представили на суд читателя, минуя литературное начальство. И не случайно этот альманах «Метрополь» вызвал такую ярость, вызвал к жизни новое позорное судилище, с самыми драматическими последствиями. В частности, Василию Аксёнову, Инне Лиснянской и Семёну Липкину пришлось добровольно покинуть Союз писателей — в знак протеста против преследования их молодых коллег.

Характерно, что из этих 23-х человек не нашлось ни одного, которого бы удалось отколоть, который бы выступил с покаянием и обвинениями своих коллег. Ну, может быть, повинен в некоем отступлении от этого правила Андрей Вознесенский, который сильно подвёл «метропольцев» тем, что своё стихотворение напечатал параллельно в официальном советском журнале и тем

самым дал повод ёрничать: вот, мол, вы говорите о «якобы несвободе», о том, что вы печатаете произведения, которые не могут пробиться в советские редакции, а вот, пожалуйста вам. И все, выступавшие против «Метрополя», ссылались на этот единственный пример.

Каким образом Тамиздат влияет на те процессы, которые происходят в России? Ну, прежде всего, Тамиздат несёт читателю информацию, которой он, естественно, не может получить в печатных органах, официально зарегистрированных в Союзе. Очень многие писатели не были бы известны в России, если бы не Тамиздат. Чтó был бы Набоков для российского читателя без Тамиздата? Чтó был бы, скажем, без Тамиздата такой прекрасный мастер, открыватель нового жанра — реалистического абсурда,— как Венедикт Ерофеев? Чтó был бы для России без Тамиздата, скажем, Сергей Довлатов, который буквально вырос здесь как писатель, в эмиграции? — он ведь не напечатал ни одной прозаической строчки в своей собственной стране. А между тем писатель очень интересный, со своим стилем, внешне как будто суховатым, но поразительно ёмким, лапидарным, выразительным; сейчас вот в «Гранях», в 137-м номере, мы печатаем новую его подборку — «Рассказы из чемодана»,— прошу на них обратить внимание; это, мне кажется, уже какой-то новый этап творчества Довлатова. Чтó был бы без Тамиздата молодой Владимир Рыбаков, автор весьма читаемого в России романа о советской армии — «Тяжесть» — и вот недавно вышедших армейских очерков «Тиски», донёсших до нас много правды о трагической участи советского солдата в Афганистане.

Тамиздат выставляет советскому читателю как бы новый критерий истины, новый критерий художества. Советский читатель этот же критерий предъявляет уже и официально признанному писателю, который печатается в официальных журналах. От этого никуда не уйдёшь. Читатель, наслышавшийся, начитавшийся Тамиздата, уже не может не предъявлять каких-то требований даже своим любимым писателям. Это чувствует начальство, и, естественно, оно задумывается — что же мы противопоставим Тамиздату? Многие из вас, вероятно, заметили, что наша советская литература как бы посмелела в последние годы. Часто слышатся вопросы: как это могло появиться, как это пропустила цензура? Ну, скажем, «Дом на набережной»

или «Старик» Трифонова. Или повесть Бориса Можаева «Полтора квадратных метра». А ведь мало кто знает, что эта повесть, прежде чем была напечатана в журнале «Дружба народов», 5 лет пролежала там. Что же она, за эти 5 лет стала менее «острой»? Стала помягче? Или её так сильно урезали? Насколько я знаю, почти в том же виде она и была напечатана. Просто возникла вот эта самая ситуация, когда необходимо разрешить что-нибудь «поострее», нечто большее высказать писателю на поле правды.

Как реагируют на Тамиздат иные читатели — кроме того, что они его распространяют? Вот, скажем, мне довелось видеть сброшюрованный «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Отпечатано типографским способом в Грузии — без обложки, просто пачка листов. Расположение шрифта говорило, что это не фотокопия, а собственный набор. Наконец, появляются и ксерокопии. Вы знаете, что в России нет свободных для доступа аппаратов, где можно за гроши отпечатать любой документ или страницы любого текста. Там все эти машины находятся на учёте: чтобы напечатать какой-нибудь чертёж, необходимо десять разрешений, десять резолюций. И тем не менее люди ухитряются, перепечатывают на этих машинах страницы «Граней», «Континента» или изданных на Западе книг. Мне в своё время был преподнесен такой подарок, один из лучших в моей жизни: напечатанный таким способом на запретной машине «Верный Руслан». И первое, на что кинулись гебисты, когда пришли ко мне с обыском, это и был вот этот самый экземпляр. Вероятно, по каким-то особенностям шрифта они надеялись распознать, что́ за машина и кто на ней печатал.

Как реагируют на Тамиздат писатели? Вы понимаете, смелость — она заражает, такое у неё свойство. Я помню одного из первых тамиздатчиков, Владимира Максимова,— это был 73-й год,— который вовсе не ходил с понурым видом, как от него, наверно, ждали, не каялся, а даже наоборот, расцвёл, приоделся, выглядел победителем и говорил, что он всем теперь укажет путь. Это увлекало, и это соблазняло робких. Кроме того, писатель в России уже не может сказать, что ему неизвестна другая половина правды или другие три четверти правды. Он не может на это сослаться, потому что Тамиздат стоит у него на полке. В своё время, вы помните, в 49-м году, появилось стихотворение Исаковского, в общем, хорошего поэта и

доброго человека, стихотворение, посвящённое Сталину, одно из самых позорных явлений советской литературы:

> Спасибо Вам, родной товарищ Сталин,
> За то, что Вы живёте на Земле...
> За то, что Вы такой, какой Вы есть...

Многих я спрашивал,– конечно, не самого Исаковского, но близких к нему людей,– как мог он в то время, в страшное время, в разгар «борьбы с космополитами», написать и напечатать такое произведение? Ну, не напечатал бы – ничего бы с ним не было. Объяснялось так, что он не знал всей правды. Я думаю, что его дети, даже несовершеннолетние, знали больше, чем их родитель.

Но теперь советский автор уже не может сослаться на своё незнание. Вся остальная правда ему известна, и она толкает его перо к ещё большей правде. Затем, Тамиздат существует для него в качестве некоего плацдарма, на который можно ступить в случае чего. Как говорят писатели, на рукописи не усидишь – когда она написана, она должна быть напечатана, она толкает автора к решительным действиям. И хотя этот плацдарм завоёван другими людьми, которые костьми на нём полегли, тем не менее приятно сознавать, что он существует и можно начальству не то чтоб заявить, но дать понять, что вот это произведение, которое автор принёс в редакцию, это есть уже явление, с которым надо что-то делать, решать, так просто его отшвырнуть нельзя. Когда более или менее крупный писатель приносит свою рукопись в редакцию, об этом ведь знают уже во всех других редакциях, об этом знает уже через день вся Москва, весь Ленинград. И всегда есть опасность, что рукопись может стать достоянием западных издателей. Это отлично чувствует начальство и всячески старается этот вопрос как-то загладить, что-то решить, найти какой-то компромисс.

Вообще надо сказать, что партийно-литературное начальство пристально следит за Тамиздатом, не упускает ничего и тоже иной раз берёт его на вооружение. Вот появился роман Лимонова «Это я, Эдичка» – и что же? «Литературная газета» не преминула тут же поместить сочувственную статью, где особенно цитировались проклятия автора западному миру. Вот появилась в Советском Союзе такая странноватая книга некоего Яковлева «1914-й год», из которой мы с удивлением узнаём, что Россия

в 1913 году была вовсе не такой отсталой страной, как нам это 70 лет долдонили большевики. Ведь это, в сущности, был их первый и главный миф, что Россия была страной слабой и её все били за эту слабость. И вот мы узнаём от Яковлева, что Россия в то время была единственной в мире страной, которая могла построить линейные корабли. Или что она в первую мировую войну поставила на фронт 70 миллионов пар сапог. Других цифр просто не помню, но они столь же ошеломительны. Спрашивается: если всё было так хорошо, зачем было делать революцию?

Но, в то же время, и другое «зачем?». Зачем было опровергать этот миф, который уже так прочно вошёл в мозги всех последующих поколений? А вот зачем. Само название клонит к ответу: «1914-й год» перекликается с «Августом четырнадцатого», и этот Яковлев даёт понять, что «мы сами о себе можем сказать куда бóльшую правду, чем все эти продавшиеся отщепенцы». Вот как реагирует вовсе не глупая власть на появление тамиздатских книг.

Авторы Тамиздата находятся в России в довольно сложном положении. После процесса Синявского–Даниэля власть, в общем-то, закаялась судить «официальных писателей», членов союза. Но, скажем, такие писатели, как Ирина Ратушинская или Леонид Бородин,– это, с её точки зрения, не писатели, они же не были членами союза, не имели писательских билетов, так что их талант ничем не удостоверен. «Официальных» же – стараются всё-таки не судить, а как-нибудь «безобидно» их выпроводить в эмиграцию, или подкупить, или вообще сделать вид, как будто ничего не произошло. Иные авторы Тамиздата, как, скажем, Ахмадулина, или Окуджава, или Солоухин, не только сохранили свой статус, но иногда и выезжают посланцами советской литературы за рубеж. Таким образом, власть подходит очень дифференцированно, она учитывает и степень дерзости того или иного писателя, и степень правды, которую он выражает, ну и возможность както его всё-таки вернуть, приспособить для своих целей. Я думаю, что с приходом к власти Горбачёва, например, несколько облегчатся условия жизни «деревенщиков», да и некоторые критиканы получат чуть больше полномочий. Думаю, что этот процесс дифференциации будет продолжаться и будет разработана целая, так сказать, табель о рангах – кого всё-таки можно использовать и в какой степени, а от кого уже придётся совершенно отказаться.

Мы этот процесс должны учитывать, но вся беда в том, что у нас не разработан инструмент такого учёта. Вот, скажем, небольшой пример. Напечатал Фазиль Искандер, один из авторов «Метрополя», аллегорическое произведение,— кажется, оно называется «Кролики и удавы», во всяком случае там шла речь об этих животных,— напечатал в «Континенте» в двух номерах, с продолжением. Так вот, не дожидаясь окончания, выступает эмигрантский критик по радиостанции «Немецкая волна» и ругает это произведение. Тут дело не в том, что он его ругает, а он ругает первую половину, хотя чётко объявлено, что окончание следует. Это типичный советский приём, который применялся ещё при Сталине, и, если помните, даже так бывало, что окончание вообще не печаталось после критики,— так было с повестью Юрия Германа «Подполковник медицинской службы». Или, скажем, выступает некий критик на страницах «Русской мысли», говорит о стихах Инны Лиснянской. Он критикует эти стихи, они ему не нравятся. Ну, я думаю, Инна Лиснянская — достаточно мужественный человек, она эту критику как-нибудь перенесёт. Но тут же в статье содержится весьма неэлегантный намёк на то, что, дескать, сама Лиснянская избрала себе тот общественный статус, который её так тяготит. Всё дело в том, что не она избрала для себя этот статус, а так ей повелела совесть. Есть такая порода людей, которые иначе поступить не могут, как им велит их внутренний голос. Нужно быть чрезвычайно осторожным с такого рода высказываниями, потому что они очень больно отражаются на авторах в России, и я думаю, что на Фазиля Искандера эта критика повлияла — в том смысле, что он решил всё-таки вернуться, хотя и с большими потерями, с большим, так сказать, уроном для его чести, но вернуться в советскую литературу и выступить с сильно обрезанным, изуродованным цензурой рассказом в «Литературной газете».

Недавно в Париже побывал Горбачёв, и французские политики ему преподнесли список, коротенький список, в котором были академик Сахаров, Щаранский и Ида Нудель. И, судя по сообщениям прессы, эти высокопоставленные уши всё-таки как-то вняли и что-то такое в себя впустили, потому что Горбачёв обещал поручить расследование неким компетентным людям. Это приятно слышать, это вселяет надежды, но обидно и грустно, что в

этом списке не было таких писателей, как Анатолий Марченко, Ирина Ратушинская, Леонид Бородин, Виктор Некипелов, Микола Руденко, Феликс Светов, Лев Тимофеев. Что же, их судьба — предпочтительней? Или за них некому было сказать слово? Западные политики говорят то, чего мы, собственно, добиваемся от них, чтоб они сказали. В свою прошлогоднюю поездку в Париж я разговаривал об этих писателях с парламентариями и с правительственными чиновниками Франции, но, видимо, этого было недостаточно, видимо, нужно долбить и долбить, и этот вопрос должен был быть подготовлен ну за неделю хотя бы до приезда Горбачёва, потому что забывают, забывают люди. Я думаю, нужно приложить все усилия, чтоб этот список был расширен по крайней мере за счёт тех имён, которые я перечислил, чтобы они были произнесены в уши советскому лидеру во время его встречи с Рейганом.

Процесс Тамиздата требует от нас огромной ответственности. Дело в том, что свобода — это не только величайший дар, но и величайшее бремя, которому мы не всегда соответствуем. И я это говорю и как редактор «Граней», который тоже ответствен в немалой степени за литературный процесс в эмиграции. Мы не всегда помним, что литература наша в конечном итоге едина; она хоть и разорвана в пространстве, благодаря тем или иным причинам нашей трагической истории, но тем не менее процесс этот единый, хотя бы потому, что един читатель российский. Россия из всех держав выделяется хотя бы уже тем, что она есть величайшая страна Читателя. Я думаю, что и литература в изгнании, и та литература, которая печатается в России, в лучших её образцах, это сообщающиеся сосуды, которые питают друг друга, соревнуются в том, чтобы сравняться в своих уровнях, и если один из этих сосудов высохнет до дна, то и другому сосуду также не остаться полну.

Благодарю за внимание.

Ответы на вопросы

Владимир Дмитриевич Поремский задал вопрос: не будет ли расшифровка того, что написал автор в Советском Союзе иносказательно, с применением эзопова языка,— литературным доносом из-за рубежа, если мы ска-

жем, что в данном произведении критикуется вся советская система и оно по существу скрыто «антисоветское»?

Мне по этому поводу вспомнилась апокрифическая встреча писателей с товарищем Сталиным. По-моему, там участвовал Алексей Толстой, который спросил: «Иосиф Виссарионович, как мы должны изображать нашу советскую действительность? Как она есть или как она представляется нам в будущем, как она отражена в партийных документах?» На что товарищ Сталин, вынув трубку изо рта, ответил так: «Пишите правду».

Этот его совет я бы адресовал и нашим критикам: пишите правду о том, что написал советский писатель или тамиздатский автор. Разумеется, существует жанр литературного доноса, и советская печать его хорошо знает. Много было таких произведений критической мысли, особенно в периоды присуждения Сталинских премий,— вдруг появлялись статьи, явно рассчитанные на то, чтобы данное произведение было вычеркнуто из списка. И это ещё безобидный пример, бывали и прямые доносы политического свойства. Я думаю, что это, в основном, касается советской печати,— доносы из-за рубежа сейчас, как мне кажется, не принимаются во внимание. И автор, обладающий громким голосом, может сказать: «Я отвечаю только за свой текст, а что там эти шавки про меня пишут, мне нет никакого дела». Может и так сказать: «Не знаю, не знаю, откуда вы это вычитали. И почему такой у вас интерес к вражеским голосам?» Словом, у него всегда есть средства для защиты. Когда я говорил о критике из «Немецкой волны» или «Русской мысли», я отвлекался от содержания этой критики, я говорил только о приёмах. В одном случае был использован недозволенный приём рассмотрения напечатанного произведения, окончание которого ещё ожидалось, в другом — говорилось об общественном статусе литератора. Всё это было, с моей точки зрения, нездорово, и я знаю, что такие вещи воспринимаются болезненно среди авторов, живущих в России.

Второй вопрос, заданный Владимиром Дмитриевичем,— как власть будет относиться к писателям, станет ли она больше применять кнут или пряник? Владимир Дмитриевич в перерыве мне сказал, что и кнут и пряник — два средства принуждения. Это, безусловно, так. Но мне всётаки хотелось бы его поправить: это, как минимум, четыре, а не два средства принуждения. Потому что можно

дать пряник, а можно его не дать, а дать соседу, твоему ненавистнику,— это очень обидно и неприятно. Можно дать кнута, а можно дать его не тебе, а соседу,— наоборот, приятно... Так что здесь вариации всевозможные, вплоть до чисто мазохистских, когда человек жаждет кнута, ему хочется, чтоб его обругали, чтобы Запад об этом услышал, чтобы войти в известность,— а ему не дают кнута, а его замалчивают, рангом не вышел. Все эти средства служат одному: заставить писателя сделать то, чего хочется родной партии.

Что касается Горбачёва, то я потому связал с ним относительные выгоды «деревенщиков», что новый лидер всё-таки по профессии агроном, и, поскольку он, видимо, будет заниматься реформами в деревне, ему необходимо привлечь этих писателей и дать им высказаться о деревне. Тем более что «недостатки» можно списать на Брежнева, на Андропова, на Черненко. Правда, профессия ещё ни о чём не говорит, он по другой профессии ещё и мой коллега — юрист, но вот к проблеме прав человека относится индифферентно. Думаю, что, заявляя себя реформатором, он какую-то незначительную свободу допустит, и она прежде всего коснётся писателей-«деревенщиков». Что же касается средств принуждения,— как пряник и кнут,— то это вещи неразделимые, и покуда стоит советская власть, они всегда будут находиться у неё в одном кулаке.

Заключительное слово

Хочу сказать только несколько слов, поскольку особенных возражений против содержания доклада я не встретил. Но некоторые мысли хотелось бы уточнить. Как говорит Солженицын, труднее всего провести среднюю линию. Но я всё-таки возьмусь за это, чтобы помирить Кублановского с Коржавиным,— учиться ли нам у Запада, или мы сами могли бы Запад кое-чему научить? Конечно, ориентироваться в поэзии на образцы Тамиздата как на эталон — не следует. Но что касается других жанров, скажем, критики, то мы примеры такого взаимопроникновения видим. Не знаю, как Коржавин относится к такому критику, как Лев Аннинский. Наверное, хорошо. Так вот что однажды мне рассказал Аннинский: «Я начал читать Бердяева, когда о нём здесь даже не слышали, вот

почему я был такой умный...» Видите, учёба и взаимопроникновение, или ориентация, всё же происходит. Поэтому мой тезис о сообщающихся сосудах остаётся в силе.

В прекрасной речи журналиста Владимира Жедилягина меня несколько покоробило упорное противопоставление свободы и родины. Оно мне напомнило споры в военной среде, которые возникали по мере того, как в обиход входили те или иные технические средства войны. Прошу прощения, что я говорю здесь о военных доктринах, но ведь и Жедилягин начал с генерала де Голля. Так вот, по мере появления этих технических средств появлялись и те или иные учения, или доктрины. Так, гросс-адмирал Рейдер доказывал, что основное слово в будущей войне скажет флот. Итальянец авиатор Дуэ, конечно, говорил: нет, решающее слово скажет авиация. Гудериан, естественно,— танки. Президент Кеннеди называл атомную подводную лодку «абсолютным оружием». Ворошилов с Будённым, ясное дело, ставили на тачанку, на доброго коня и вострую шашку. В конце концов сошлись на том, что главное — взаимодействие всех родов войск.

На какое слово отзовётся скорее русское сердце — на слово «родина» или на слово «свобода»? Не знаю; скорее всего, что и на то и на другое в равной степени, и одно без другого существовать не может. И родина без свободы плоха, и свобода без родины не лучше. И прежде всего, прежде чем говорить о России, прежде чем выражать ту или иную национальную идею, или концепцию, нужно получить элементарное право слова — для того, чтобы иметь возможность эту концепцию высказать.

В основном же я рад, что наш диспут пошёл по пути творческому, что здесь было высказано много интересных мыслей, и главным образом я чувствовал, что все участники нашего совещания глубоко и полно понимают свою ответственность перед теми нашими собратьями, которые находятся по ту сторону «железного занавеса».

Всех вас благодарю.

«Посев», 1985, № 12

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЯНВАРЯ

Академик Андрей Дмитриевич Сахаров на пороге семилетия своего заключения в Горьком становится персоной почти мифической, наподобие Железной Маски, загадочного узника Бастилии. Но про того хоть было известно — арестован по приказу короля, то есть личности, бесспорно, существовавшей. О Сахарове тоже было объявлено — по Указу Президиума Верховного Совета, но существует ли этот Президиум в натуре? Я в этом никогда не был уверен. Лишённый советского гражданства именно этим почтенным органом власти, коллегиальным президентом, я до конца дней обречён терзаться вопросом: неужто всерьёз это было — пятнадцать мужиков собрались, совещались, решали? Нам приходится ловить случайные крохи информации — будто бы удаления Сахарова из Москвы, под надзор милиции, потребовали военные, то есть маршалы и генералы, планировавшие оказание братской помощи Афганистану, но это когда ещё мы сможем проверить...

Может статься, сама причина — забыта или уже неясна или утерян листок с подписями голосовавших. Оттого и слышится этот невнятный лепет — будто освобождение Сахарова означало бы «распространение ядерного оружия». То есть, как можно понять, в придачу к тем мегатоннам, которых уже хватает пятьдесят восемь раз испепелить нашу планету.

Но вот в начале 1983-го чудом проникло на Запад открытое письмо Сахарова учёному коллеге, американскому физику Сиднею Дреллу, названное «Опасность термоядерной войны». И немедля четверо коллег советских, тоже академиков, выступили в «Известиях» с обвинениями автора в «нравственном падении», в «ненависти к собственной стране и народу», расценили его письмо как «человеконенавистническое», «призывающее к войне против

собственной страны». Это уже — существенно. Слышится по крайней мере хоть какой-то состав преступления.

Правда, читающему само письмо никак не покажется, чтоб Сахаров призывал к войне: всё наоборот, он от неё предостерегает, ищет, как её избежать; термоядерная война представляется ему «коллективным самоубийством», гибели не избежит никто, в том числе и страна-агрессор. Но и в самом деле, то, к чему он призывает Запад, звучит, на слух советского человека, как бы даже кощунственно, как бы и чудовищно. Разоружиться? Ни в коем случае, это было бы гибелью цивилизации. Напротив — довооружиться, восстановить равновесие боевых потенциалов — как в ядерном, так и в обычном оружии,— то равновесие, которое было утеряно в сладостном шуме разрядки, или «детанта». И только в этом случае переговоры о разоружении могут быть успешными. Да вот и подлинные слова Сахарова:

«Запад на этих переговорах должен иметь, что отдавать».

И ещё:

«Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты "MX", может, придётся Западу это сделать...»

Может ли такое, хотя и горестно, произнести патриот, интеллигент, противник войны, убийства? Всякий ли сможет — не знаю. Сахаров — смог. Потому что должен был. Ведь не Гитлеру он это говорит, и пора бы уже понять, что нет сейчас на Земле ни «наших», ни «ваших», но все мы на ней — возможные будущие погорельцы. Потому что и впрямь, говоря словами Сахарова, «начиная со второй половины XX века, человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории».

Насчёт особой ответственности наших правителей он знает, как никто другой. Наглядный урок её понимания преподал ему сам Никита Хрущёв, сказавший со всей большевистской прямотой: «Ваше дело, физиков, создать бомбу, а наше дело, политиков, как ею распорядиться». И распорядился — послать ракеты на Кубу. Поэтому и говорит Сахаров с полным, запредельным знанием, с фактами и цифрами в руках, со смелостью последнего отчаяния, отлично сознавая, что за такие речи, может быть, не сносить ему головы.

Кто установит, прислушался ли Запад к его призывам или сам пришёл к тем же выводам, но вот три года про-

шло, устанавливаются в Европе крылатые ракеты и «першинги», замаячила перспектива создания космической обороны, грозящей свести на нет все преимущества Варшавского блока,– и что же? Послышалось в ответ удвоенное, утроенное бряцание оружием? Нет, посыпались новые «мирные инициативы», которыми так умеем мы забрасывать непримиримого идейного врага, и наши лидеры опять поспешили в Женеву (едва не сказал – в Каноссу), из которой так недавно, хлопнув дверью, ушли. Само собой теперь разумеется – и принято полагать, что равновесие просто необходимо обеим сторонам. Тут-то она и забрезжила, последняя надежда выжить.

В чём же был виноват Сахаров? А в том, что был – прав. За удовольствие оказаться умнее и дальновиднее своих правителей приходится платить. Сахаров за это и платит – пока что шестилетней своей несвободой. Близко к тому, что заплатит и жизнью.

Заплатил же некогда другой провидец, военный учёный генерал Александр Свечин, за наше же ослепление собственной мощью, заведомой непобедимостью молодого «атакующего класса». В 30-е годы так легко сочинялись и пелись пленительные доктрины, что будущую войну поведём мы на территории агрессора, «малой кровью, могучим ударом», «своей земли вершка не отдадим». И только упрямый Свечин мрачно твердил, чтоб не тешили себя иллюзиями, война предстоит затяжная и многокровная, поначалу – на своей территории, и нужно готовиться к длительной и глубокой обороне. За подобную ересь неподатливого генерала отправили в ГУЛАГ, где он и скончался. А в 1941-м увидели мы оккупантов у ворот Москвы, а в 1942-м – на Кавказе и у Волги, и никакая правота умершего не помогла его воскресить. Да и кто о нём тогда вспомнил?

Извечная природа всякого неприятного для нас предвидения: вначале за него клеймят и казнят, потом – помалкивают, наконец – объявляют идею провидца само собою разумеющейся и даже банальной. Похоже, судьба академика Сахарова вступила во второй этап: правду о нём самом предпочитают скрывать, зато идеями его – торгуют напропалую. Когда «энергичный реформатор» Горбачёв сам призывает к равенству вооружений, к паритету, к одновременному «замораживанию» и даже – наконец-то! – к обоюдному контролю,– ведь это чистой

воды плагиат, всё заимствовано у Сахарова, который это высказывал, предлагал, внушал ещё в те года, когда Михаил Сергеевич только ещё окидывал честолюбивым взором ступеньки иерархической лестницы, только-только подумывал: «Я б в генсеки пошёл, пусть меня научат...»

А необходимость реформ, гласности, неукоснительного исполнения законов, свободы хозяйственной инициативы, честного признания наших слабостей и ошибок — не от Сахарова? не из его ли книг, статей и писем? Вот только проблему прав человека, открытости общества и прочих мерихлюндий никак не перенять Горбачёву, но ведь она — не отдельная в системе сахаровского глобального мышления, она входит органично необходимейшей частью в его концепцию спасения мира. Настанет время признать и её.

Есть основания думать, что и решение проблемы Афганистана придётся заимствовать у того же Сахарова. Ведь он не только первым нарушил позорное наше «единодушие», не только подписал в числе восьми смельчаков обращение Московской «Хельсинкской группы» — знаменитый документ 119-й, призвавший мировую общественность сделать всё возможное, чтобы остановить советскую интервенцию, но он ещё и разработал поэтапно, как выйти из этой авантюры, и даже — без «потери лица». Яснее, надёжнее, бескровнее люди, затеявшие авантюру, не придумают.

Похоже, идеи и предложения Сахарова пробивают себе дорогу к человечеству, даже к той его части, от которой что-то зависит. Остаётся в беспросветном пока тупике его собственная человеческая участь. Чем, в сущности, он защищён, Андрей Дмитриевич Сахаров, от произвола государственной громады? Мы думали — всемирной известностью. Принято считать: писателя защищают его книги, полководца — его победы, учёного — его открытия. Мы увидели воочию, какая это чепуха! Ни триждыгеройское звание, ни Ленинская премия (а Нобелевская — та вообще не в счёт) не помешали с ним поступить, как с любым из нас. Да хуже, чем с любым: какому ссыльному запрещены переписка, телефонный разговор, приезды к нему родных и друзей? Да и по сроку это не ссылка — сталинская «вечная» отменена, а новый закон не предусматривает больше пяти лет. Предлагают слово «депортация». Но к чему играть в слова, назовём происходящее

подлинным именем — медленное убийство. Убийство тела, мозга, души. И защищён-то он только тем, чего нельзя у человека отнять,— мужеством.

Это немало — если знать Сахарова. А я имел счастье знать его достаточно хорошо, чтобы судить не только об его интеллигентности, необычайной его мягкости и деликатности. Да он и доказал своё мужество этими шестью годами, доказал свою стойкость, непреклонность, неискоренимость самостоятельного мышления. Подвергаясь бесконечным унижениям, издевательствам, угрозам, рукоприкладству врачей, жестокостям насильственного кормления при голодовках, он остался самим собою, вполне оправдав гордые, но казавшиеся неисполнимыми слова Ремарка: «Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы».

Ко всеобщему удивлению, ему удаётся и побеждать. Нисколько не умаляя усилий государственных и политических деятелей, всякого рода гуманитариев, добивавшихся, чтобы жену Сахарова, Елену Боннэр, выпустили полечить сердце в американской клинике, я всё же не могу не сказать, что чашу весов в её пользу перевесили не столько их протесты, просьбы и хлопоты, сколько двести семь дней его голодовки. Двести семь дней, с двухнедельным перерывом!

Я думаю, он превзошёл своим мужеством все человеческие пределы. Но никому не дано одолеть пределы физических сил, предательство организма. Он истощён голодом и болезнями, измучен страхом за жену, истерзан «мильоном терзаний», которыми так умеет обласкать любящая наша родина-мать своего непокорного сына.

Человек, столько сделавший для всех нас, вправе надеяться на нашу солидарность. Мы же — не вправе от неё уклониться. Ни по лености, ни из страха, ни из желания задобрить могучую и опасную сверхдержаву. Может быть, не ради себя, но ради будущего, ради наших потомков. И не в том дело, что покроем себя перед ними позором, это мы как-нибудь переживём. Но если умрёт в несвободе Андрей Дмитриевич Сахаров, это будет означать нечто большее, чем просто уход из жизни одинокого измученного человека. Это вот что будет означать: если сегодня мир не сумеет или не захочет спасти своего великого гражданина, завтра — он не спасёт себя.

Радио «Свобода», 22 января 1986 г.

ВОКРУГ 64-х КЛЕТОК

Недавно в парижской газете «Русская мысль» попалась мне маленькая заметка, сообщение из Москвы — о том, что 15 «отказников» в дни партийного съезда держали голодовку; среди них — шахматные гроссмейстеры, экс-чемпионы СССР Борис Гулько и его жена Анна Ахшарумова. Не знаю других участников, не знаю и причин их упорного желания покинуть родину; думаю, они так же вески, как у этой блистательной пары шахматистов, добивающихся выезда уже восьмой год. Однако я заподозрил здесь ошибку — вполне объяснимую нашими коммуникациями с Россией, где о нас, отъехавших, даже говорят в прошедшем времени: «Он был... Она была...» И впоследствии мои сомнения подтвердились — Аня Ахшарумова в голодовке не участвовала. Насколько я знаю Бориса Францевича Гулько, он этого не мог ей позволить. Для его кодекса рыцарства это недопустимо — чтобы женщина, да ещё моложе его на несколько лет, разделяла с ним все мучения и опасности, выпадающие «отказнику». Он всё берёт на себя — и письма-протесты, и демонстративные выходы с плакатами, и, бывает, столкновения с дружинниками.

Мне довелось быть свидетелем его голодовки в ноябре 1982-го. Он лежал в постели, с восковым лицом, обросшим щетиной, с запавшими горящими глазами, даже говорить избегал, чтобы не тратить силы. Голодовка была — бессрочная, значит — смертельная, надо было растянуть её как можно больше. Аня всё же готовилась присоединиться к ней через три недели, но была надежда, что это не понадобится, ОВИР всё-таки уступит или хотя бы пообещает что-то членораздельное. Ту голодовку прервала, обессмыслила нежданная — и долгожданная — кончина генсека, незабвенного Леонида Ильича. Открылись тогда новые надежды — и новые ожидания. Несть им конца и по сей день.

А началось — с того же кодекса рыцарства, кодекса чести настоящего спортсмена, которого сразу и не разглядишь в Борисе Францевиче — таком мягком, уступчивом, спокойно-доброжелательном, как, впрочем, не распознаете вы жёсткий бойцовский характер в милой, прелестной, застенчивой Ане, с её обликом школьницы, сбежавшей с уроков. Свои многообещающие звёздные карьеры они поломали разом в тот злосчастный день, когда отказались подписать письмо, клеймившее невозвращенца Корчного. Расправляться с противником не на доске, сводить счёты за пределами 64-х клеток — увольте. И что же — уволили. С того дня закрылись для них заграничные поездки, международные состязания, остались — внутренние, и притом второстепенные, где можно бороться и побеждать, нельзя — развиваться и расти.

Банальная истина — диссидентами не рождаются, не становятся по доброй воле, диссидентов упорно и старательно делают. Сначала они, как видим, «неподписанты», затем — напротив, «подписанты» и «отказники», или — ещё один горестный неологизм — «рефьюзники»; и так естественно было им задуматься на скользкую тему прав человека, принять участие в Сахаровском сборнике, наконец — оформить свою оппозиционность, вступив в Московскую группу «Международной Амнистии». И всё-таки, наперекор судьбе, играть.

Весною 1984-го чудом дошло до меня, в Западную Германию, письмо из Москвы, с улицы Твардовского, 17. «*У нас всё по-старому,*— писал Борис Францевич.— *Немножко играем. В этом году я разделил в первенстве Москвы 2-е место, Аня — 3-е. После этого Аню допустили в международный турнир, тоже в Москве. Она взяла 2-е место, перевыполнила норму гроссмейстера*»*. Как будто всё

* *Примечание 1998 года:* В этом же письме Борис Францевич напоминал мне о нашей с ним договорённости. Накануне моего отъезда он просил передать в НТС, который виделся ему организацией боевитой и авантюрной, чтоб устроили ему и семье побег на самолёте. О таких попытках «солидаристы» рассказывали в своём журнале «Посев», и не сказать, чтоб относились к ним отрицательно. Условлено было, что я дам знать о времени и месте тайной посадки, куда готовы были прибыть Борис и Аня с маленьким сыном. По приезде в Германию я говорил об этом с лидерами НТС, я даже присмотрел самолёт — некий любитель держал у себя перед домом, на лужайке, двухмоторную машину, по виду лёгкий бомбардировщик времён второй мировой войны; с хозяином можно было договориться, чтобы он либо сам слетал,

хорошо, есть и успехи. Но в том же году — его письмо в Швецию, коллегам из сборной мира: «*Я лишён возможности участвовать в соревнованиях, годами — полностью, годами — частично*». И тут приоткрывается, какого мужества стоят эти успехи, какими унижениями сопровождаются, какими подножками, ударами ниже пояса. Стоит напомнить, как утеряла Аня Ахшарумова первенство Союза и новое звание чемпионки. Её противница, будучи в худшем положении, вдобавок ещё просрочила время, упал флажок на её часах. Но судьи и шахматная федерация распорядились — продолжать игру. Даже и для тех, кто знает лишь «е2 — е4», это против всех правил, точнее сказать — это новое правило, которое ввели специально для Ахшаруммовой, зная наперёд, что она наверняка не подчинится идиотскому произволу. Не называю её противницу — виновата ли она, что счастье свалилось ей в руки с небес? Да и у кого из вас, дорогие слушатели, хватило бы духу в этой ситуации встать и пожать руку настоящему победителю?

Долгие годы судьба моих друзей была в руках Анатолия Карпова. Что ему стоило, чиновному любимцу Брежнева и Политбюро, добиться, чтоб их отпустили с миром? Но Гулько никогда бы к нему с этим не обратился, и ещё вопрос, выполнил ли бы Карпов его просьбу. Как было известно в кругах шахматистов, существовало опасение, что, оказавшись на Западе, Борис Гулько может стать тренером и ассистентом Корчного, тогда чрезвычайно опасного претендента на мировую корону. В планы партийно-государственного чемпиона это не входило.

Много писали на Западе о внеигровой стратегии Карпова, об его многочисленной свите, включающей трене-

---

либо дал свою реликвию напрокат. Куда там, лидеры и слушать не хотели, подвиги в духе Маттиаса Руста их не увлекали. Всей боевитой авантюрности НТС только и хватало, чтобы десятилетиями поставлять «нашим американским друзьям» отважную туфту насчёт подпольных групп в России, увлечённых идеями «солидаризма» и в любой час готовых к восстанию по сигналу из Франкфурта. Джентльмены с развесистыми ушами отстёгивали на это хорошие деньги. Впрочем, сдаётся мне, что все они, вплоть до верхушки ЦРУ, не обманывались насчёт туфты, да надо же им тоже чем-то кормиться. Где они теперь, те повстанческие десяточки и пятёрочки, неужто всё по подпольям сидят? Хоть бы один выполз да в Думу, что ли, кандидатурку выставил...

ров, массажистов, телохранителей, личного повара и даже парапсихолога Зухаря, который должен был воздействовать на противника своим «силовым полем». Не писали — о вещах попроще и омерзительней. О том, сколькие мастера высочайшего класса вынуждены были делиться с чемпионом своими идеями и находками, чтоб только остаться в ранге «выездных», участвовать в мировых первенствах. По существу, вся сборная Союза противостояла Корчному в матчах в Багио и в Мерано. Тем удивительнее — подвиг Каспарова.

Ситуация была — как в рассказе Джека Лондона «Мексиканец», где юный тщедушный Ривера дерётся с могучим, опытным и бесчестным Уордом, которому подыгрывают столь же бесчестные судьи. Наши симпатии, разумеется, на стороне Риверы, сражающегося за винтовки для революции,— хотя, заметим, насчёт самой революции автор не питал иллюзий. Нет смысла и нам оценивать нового чемпиона в плане социально-политическом — насколько он либеральнее, прогрессивнее Карпова. Несомненно одно — это была победа шахмат над интригами и политиканством. Вероятно, помимо таланта, молодого задора, темперамента, ещё и сознание высшей правоты помогло противнику Карпова буквально восстать из поражения, переломить ход матча, преодолеть наконец и предательское решение судьи Кампоманеса оборвать состязание как раз на переломе. Не привыкши побеждать чисто, Карпов и проиграть не сумел достойно, прибег к очевидному подлогу, на прощанье выторговал себе матч-реванш, ни за какие заслуги ему не полагающийся, но ставящий под сомнение победу Каспарова. Жалкая, морально проигранная позиция! Но, может быть, и честная попытка вернуть родной партии её веру, что она вправе назначать чемпионов. Ведь известно школьникам: «Партия — вдохновитель и организатор всех наших побед». Стало быть, и на 64-х клетках.

Но вернёмся к Борису Гулько и Ане Ахшарумовой. Теперь-то, когда судьба мировой короны переместилась в страну «развитого социализма», какой резон властям держать их и не пущать? Какая тут логика? Хотя ещё в игровом возрасте, но уставшие, истерзанные душевно, выбитые из должного развития и режима, они ещё не скоро представят реальную опасность.

Опасность, может быть, и нет. Но ценность они представляют. Люди с именами, они к тому же зарекомендо-

вали себя в глазах советской системы хорошими, упорными врагами. А врагов не затем растят и воспитывают, чтобы ими разбрасываться. Это обменный фонд, это валюта, на которую покупается «разрядка» — то есть новейшая технология, электроника, уступки по части разоружения, а попутно — приятное впечатление от нового генсека.

Просто их время ещё не пришло. Мировая шахматная общественность помалкивает, ведь она так не любит смешивать спорт и политику — имея дело с державой, которая только тем смешением и занимается. И покуда это так, из ОВИРа — или какое там ведомство на самом деле распоряжается выездами? — будет слышно одно «красноречивое молчание». Или — ответ, ставший уже своего рода классикой: «Нецелесообразно».

Как говаривал Наполеон: «Отвечать следует коротко и неясно».

Радио «Свобода», 1986 г., 14 марта
«Посев», 1986, № 4

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Майским вечером 1983 года, едва приземлясь на Франкфуртском аэродроме, я попал в их круг — такой плотный, что Анатолий Гладилин, примчавшийся из Парижа для первого интервью, минут сорок не мог ко мне пробиться. Поздней он заметил: «Они окружили тебя, как ксёндзы — Козлевича. Видно, ты им очень нужен». Может, и впрямь ситуация напоминала «Телёнка» — не того, который бодался, а «Золотого», ильф-и-петровского. Но, измученный предотъездными неделями, нескончаемым расставанием, зверским таможенным досмотром, каким заботливая родина даёт нам напоследок доброго материнского пинка, я был тронут встречей. Дружеский ужин у председателя НТС Артёмова, приготовлены комнаты в тихом отельчике, телефона нет, адрес никому не сообщается, письма с приветствиями новому эмигранту приходят в «Посев», там же и встречи с корреспондентами — и не со всяким, а кто *нужнее;* свои переводчики, свои поводыри на первых шагах в неведомом мире.

На другое же утро — первое утро на чужбине — они предложили мне журнал: «Это наша мечта, чтобы вы приняли и повели "Грани"». Я ещё не знал, что они его не мне первому предлагали, помнил, как они мне писали в Москву: «Это Ваш журнал», просили консультировать тогдашнего редактора Н. Б. Тарасову — *что нужно для России,* и курьеры привозили оттиски — на моё одобрение, и что я ни посылал своего или своих друзей — печатали без возражений.

И всё же было о чём задуматься. «Ваш журнал» — это очень украшает речь и льстит и вселяет надежды, но он же ещё — и партии. Легко ли оно — редактировать партийный журнал? С другой стороны, разве у Твардовского был он свой? И партия нависала над редакторским столом, и собственный партбилет — слева, где сердце,— удер-

живал от слишком резких телодвижений, но как много он смог, успел. Ну, наконец, и партия всё-таки другая, совсем противоположная. И хотя известен закон, что любая оппозиция зеркально копирует своего противника, однако и законы имеют же исключения...

Ни все те ругательства, какими обкладывает «солидаристов» бесталанный советский агитпроп, ни их брошюрки и листовки, которых там, «за бугром», никто и читать не трудится,– облика НТС, конечно, не создают. Но когда из-под пресса ГБ – с непрестанной слежкой, подслушками и глушилками, обысками и допросами – видишь сами лица их курьеров, молодых идеалистов из Англии, Дании, Италии, Нидерландов, прекрасные лица *свободнорождённых,*– таким и представляется лицо этой партии, единственного политического объединения в российском Зарубежье. Любопытно, однако, что курьеры непрестанно меняются; за двенадцать лет редкие приезжали ко мне дважды: должно быть, со временем они составляют себе представление о Народно-Трудовом Союзе – и порывают с ним. Мне же теперь – всё больше кажется, что его вообще не существует – ни «Народного», ни «Трудового», ни «Союза».

НТС, конечно же, партия, как ни избегают они этого слова. Но какая-то странная партия. Её становой хребет, её ствол, разросшийся по всем континентам ветвями и побегами, составляет семейный клан – Артёмовы–Редлихи–Славинские–Бонафеде–Горачики,– объединённый перекрестными супружествами, кумовствами, крещениями, шаферствами и всех степеней родствами. Остальное – «второй сорт», батраки, служащие ему кто по совести, с искрой в душе, а кто потому лишь, что деваться некуда. Этим кланом несменяемо правит одинокий и престарелый, уже на восьмом десятке, Евгений Романович Островский-Романов, ласково и почтительно именуемый – «Романыч». Клан выдвигает его, поддерживает и, разумеется, давит на него, требуя своего, но лидерство его бесспорно, а слово весомо и непререкаемо, как оруэлловского Старшего Брата. Одной чековой книжкой, которую он цепко держит в кулаке, перемещаясь вместе с нею с одной должности на другую, такого авторитета не объяснишь; это действительно если не самый интересный, то самый живописный человек в НТС, олицетворение его и скрепляющий стержень; многие и думать боятся, что станется с организацией, если «Романыч» уйдёт.

Борис Прянишников (Серафимов), один из основателей «Посева» и «Граней», знавший «Романыча» в лучшие годы, так его характеризует в не изданной ещё книге: «...многогранен и сложен. С одной стороны, это энергичный, умный и толковый человек, отличающийся редким самообладанием и огромной силой воли. С другой стороны — эгоцентрик, скрытый и замкнутый... Властолюбив, вероломен и лжив до крайности... Если человек ему чем-то необходим, он с ним исключительно вежлив, обаятелен, предупредителен, даже задушевен; но завтра же он может повернуться к нему спиной, коль скоро надобность в нём миновала. Людей он, в сущности, не любит... Отношение к ним циничное и подчас жестокое... Мастер интриги, долго вынашиваемой в тайниках души... Одна из замечательных черт его — умение пользоваться чужими руками... Любит и ценит деньги, умеет их «делать» и знает их власть над людьми. В области духа и идей у Е. Романова интересов нет».

Я застал личность, уже изрядно потускневшую, в которой одни черты затвердели и выпятились, другие — смягчились или стёрлись. Но кто скажет, какие для политика мелкого пошиба важнее? Отыграв многие роли, нынче он, седогривый и седобородый, в амплуа «благородного отца». Забот ему всё прибавляется — клан оброс детьми и уже внуками, невестками и зятьями, которых нужно же «пристраивать». Один из зятьёв, с многообещающей фамилией Жданов, пристроенный руководить издательством «Посев», двух внятных фраз по-русски не напишет, а понятия его о литературе — как у того мистера Хиггинботама, который, читая произведения Мартина Идена, всякий раз укреплялся в убеждении, что только дураки могут платить за это деньги. Да, впрочем, не думаю, чтобы он вообще читал то, что издаёт. Считается, что это и не нужно ему, коли при нём издательский совет, а что старик Форд сам неплохо разбирался в автомобилях, на то вам ответят вполне серьёзно: «Это другое дело!» Любимейшее же их возражение: «Это *вам* так кажется», то есть они одни — держатели патента на Истину. Однако проблема возникла — не отцов и детей, а детей и пасынков — «третьей волны» эмиграции. Весь её цвет проследовал мимо, примкнули только послушные. От цирковых дрессировщиков знаю, что, к сожалению, как раз те пантеры и тигры, которые царапаются и куса-

ются, они-то и есть «артисты». «Третья волна» оказалась и непокорнее, чем ожидалось, и соответственно талантливее, энергичнее, профессиональнее и знает Россию. Никак не укладывается она в те рамки, что составились у них сорок лет назад. Так вот и ждали меня, как потом выяснилось,— на укрепление клана.

Простецки улыбчивый, мягко стелющий А. Н. Артёмов всё чаще приговаривал: «Вот когда вы вступите в НТС... Вот когда вы наш будете, как Галич...» В конце концов я заявил, что никогда ни в какую партию не вступлю, партийное мышление противопоказано писателю, да и что оно такое — партийное мышление? это — с понедельника всем считать белое чёрным, а красное — серо-буро-малиновым? потому что — инструкция вышла, генсек решил? Мудрый «Романыч» согласился: «Вы совершенно правы». И совсем подкупило, когда он сказал: «У вас — полный карт-бланш. С нашей стороны — три условия, точнее — пожелания. Чтоб не было фобий: русофобии, юдофобии... Второе — чтоб "Грани" не стали ареной счётов и эмигрантских склок. Ну, и чтоб не было критики НТС». Собственно, первые два — никакие не условия, они — из кодекса интеллигента, третье же — на редкость привлекательно, я не хотел даже упоминания НТС — помня, чем это грозит авторам в СССР.

Но вскоре — как говорится, «мягко, но твёрдо» — мне предложили в ответственные секретари влиятельную даму из клана, чуть не хозяйку его, «матку пчелиного улья» — в качестве Фурманова при Чапаеве (не называю её, так как пришлось бы раскрыть её псевдоним — М.Рубцова). В первые же дни она меня информировала, что «богомерзкий Лев Толстой за все свои дела (?) сейчас в аду лижет сковороды». Такая, значит, сотрудница. Комиссарствовала она неукротимо: «Ведь это мы не печатаем, не правда ли». Вопросительного знака в её интонации не слышалось. Зато как грозно он вырос, когда я предложил главы из нового романа «Континенту» (в «конкурирующий журнал»!): «А вы об этом сообщили Романычу?!» Ей не стукнуло в голову, что, пересылая в «Посев» из России «Верного Руслана», я не испрашивал разрешения ЦК КПСС. Сказывают, в годы былые эта дама, теперь пенсионерка, «свергала кабинеты». Должно быть, то были не чересчур сильные кабинеты, если падали от интриг дамы, катастрофически не разбирающейся в людях. С чего-то ей по-

казалось, что мною легко управлять (это не казалось Союзу писателей СССР); когда я упрямился, она раздражалась и насылала на меня Артёмова или «Романыча» — увещевать. Обиженным авторам она отвечала по-ленински: «Не ошибается тот, кто ничего не делает... Обидно, когда что-то прозёвываешь, но не вешаться же!» С последним я был совершенно согласен, а всё же попросил г-жу Фурманову уйти из «Граней» — за полной её профнепригодностью. «Романыч» и на это пошёл. Но роковой шаг был сделан. Я потревожил клан. Хуже того — разочаровал его. И клан — зашевелился.

Следующий мой номер, при новом секретаре, не мог выйти полгода. Опоздания сделались хроническими и прогрессировали, хотя все материалы сдавались по графику. Сейчас, в июне, когда пишу это, выходит лишь 139-й, первый номер года. Не таким ли способом советская цензура в годы Твардовского сбивала подписку на «Новый мир»? Сама картотека подписчиков — число их? профессия? возраст? страна проживания? — глухая тайна для меня, как многое в этом причудливом заведении, как бюджет «Граней» и штат сотрудников, как полагающаяся им зарплата и отпускные дни. Естественно, при смене редактора меняются и читатели, но если о новых ему знать не дано, то уж посыпавшиеся вдруг, как по команде, отказы (да, может, именно по команде) исправно кладутся ему на стол: «Ваш русскоязычный листок я не желаю больше видеть в своём почтовом ящике. Объяснять Вам, почему данный листок является плевком в русскую православную душу, я надеюсь, излишне» (Елена Ванина, член НТС). Сокрытие от меня рукописей, перехват читательских писем, содержащих похвалу журналу, анонимки, подбрасываемые под Новый год вместо поздравления,— кажется, чем ещё выразить редактору, что пришёлся «не ко двору»? Почему же нечем? Можно и саму комнату «Граней» запереть на ключ и не пускать заведующую редакцией, чтобы ни я к ней, ни авторы не могли дозвониться.

Совершил ли я ошибку, не поискав «худого мира» вместо «доброй ссоры»? Может быть. Но вот что бывает, когда такой ошибки не делают, а дают сесть себе на голову, вот о чём за год до моего приезда писала «Романычу» перед уходом (в монастырь!) несчастная затравленная Тарасова, отдавшая «Граням» три десятилетия жизни:

«Что касается... состояния моего здоровья, то оно сильно ухудшилось. И не только из-за общего постарения, но и в связи с тяжёлой рабочей обстановкой, которая складывалась постепенно и теперь дошла до кульминации.

Многочисленные поиски нового главного редактора для "Граней" без моего ведома и при том, что я не собиралась в то время оставлять журнал; постоянное вмешательство в редакционные дела нечленов редакции; принятие без моего ведома новых рукописей в "Грани" нечленами редакции; кардинальные переделывания... не только подготовленного мною для набора материала, но уже и набранного – тоже без моего ведома; наложение запрета на принятые редакцией рукописи – по всем разделам "Граней"; клевета, распространяемая обо мне как о редакторе председателем НТС А. Н. Артёмовым... грубое вмешательство в мою редакционную переписку – распоряжение Н. Б. Жданова не передавать адресованное мне письмо...»

Самое трагичное тут,– но и пикантное! – что плачется она в жилетку тому, кто всем ансамблем и дирижировал, при главном аккомпаниаторе – г-же Фурмановой. Помните? – «чужими руками...».

Между тем всё это уже и на меня надвигалось неотвратимо. Как ни следили я и мои помощники, но ушла в набор без моего ведома рецензия на «Ярмарку в Сокольниках» Ф. Незнанского (тоже член НТС). Маленькая случайность – неведомый рецензент подписался кокетливо латинскими инициалами «L. N.» – озадачила наборщицу, и она позвонила мне – так ли и набирать? Рецензию извлекли; она меня поразила не только своей беспомощностью, чудовищной грамматикой и безудержными комплиментами «писательскому дару» г-на Незнанского, но и такими вот блёстками мысли:

«Частный, не типичный случай отношений правоохранительных органов обнаруживает конструктивные, нравственно положительные силы, действующие почти на всех уровнях власти» (в СССР!! Но почему же – «почти»? – *Г. В.*).

«В романе возникает и властно захватывает позиция добра, возникает ярко очерченная этическая граница (?), как сущность той культуры (?), оторвать от которой (кого? что? от жилетки рукава? – *Г. В.*) так и не смогла советская власть».

«Нет обстоятельств, при которых нельзя было бы сделать доброе дело» (вызволить Сахарова из ссылки? избавить афганцев от «братской помощи»? — *Г. В.*).

Что это было — подвох редактору? Или — истинное кредо, которое хотели за моей подписью высказать? И кто эту ахинею заслал в набор? Как говорится — «с концами».

Но дальше пошло «крещендо». Стало ясно, что ничего за моей спиной сделать не удастся, за любой вставкой или вычерком я услежу; их требование сдавать весь номер целиком (и только директору Жданову) — нелепое, непрофессиональное, не способствующее ни качеству журнала, ни выходу его в срок,— я тоже разгадал: так удобнее тайному цензору, не бегать же ему в типографию за каждым материалом по отдельности. Наконец, и тон их писем ко мне переменился: «Как в общественном сознании, так и практически, “Грани” неизбежно останутся журналом НТС... Делать “Грани” возможно только совместно с НТС и в опоре на него». Вот это и называлось — «ваш журнал», это и называлось — «карт-бланш».

Третьего июня, с наивностью «небитого фрея» я предложил им: «До НТС мне дела нет, прошу только об одном — *не мешайте мне делать журнал “Грани”*. Вот единственный приемлемый компромисс с вами». Но встречно, датированное тем же днём, уже шло их письмо, объявляющее мне отставку: «Остаётся лишь искренне пожалеть, что Вы сочли возможным занять в отношении НТС столь нелояльную позицию».

Время подвести итоги. Из тех, кто дал себе труд вчитаться в программу «солидаристов», одни в ней находят непереваренный марксизм, другие — считают её устаревшей. Это не так, она всё-таки обновляется, вот уже поставлен крест на правозащитном движении, которому так недавно присягали в верности; оно «исчерпало себя бесперспективностью... не сумели перейти к иным методам борьбы», как пишет В. Рыбаков в № 6 «Посева», с той суровой решимостью, с какой он, вероятно, кидался, обвешанный гранатами, под машину тирана Брежнева; ищут теперь опоры «в конструктивных силах правящего слоя», то есть номенклатуры, не мучая себя вопросом — хочет ли она опоры на НТС. Но, по мне, программа любой партии, покуда она не у власти, гроша не стоит. Большевики нам не обещали ГУЛАГа и 66-ти миллионов жертв. И какая же партия не напишет на своём знамени

что-нибудь приятное и возвышенное? Это ведь только морские пираты честно предупреждали о последствиях, поднимая чёрный флаг с черепом и костями. Нужно не в программу смотреть, а на то, каковы они сами.

Что толку обещать демократию, когда ею не пахнет на Флуршайдевег, 15, во Франкфурте, где упомянутый зять рявкает на подчинённых, не исключая пожилых женщин, топает ногами и шваркает дверью, и трепещущие сотрудники, придя на работу, не о новостях из России осведомляются, а — в каком сегодня настроении Николай Борисыч. Хуже не придумаешь сочетания — советского бюрократизма с семейным предприятием. Что толку обещать отмену цензуры, когда у самих, живущих в свободном мире, она учреждена и материал за моей подписью не примет типография без директорской «Ж» на каждой странице; когда иной Тамиздат здесь под запретом — «не рекомендуется», к примеру, Саша Соколов, а за чтение Н. Решетовской или Д. Панина можно из партии вылететь и с работы. Что толку обещать «свободное развитие наций и народностей», когда в тех же брошюрках пишут: «русское дело может сделаться только русскими руками» (куда только отнесём Редлихов, Раров, Бонафеде, Брюно, Брудерера, Ламздорфа, баронессу фон Кнорринг?), и ведут учёт, сколько печатается в «Гранях» евреев и полуевреев.

Называют себя «духовными наследниками власовцев», «третьей силы», сражавшейся «против Сталина и Гитлера». Против Сталина — да, против Гитлера — тоже бесспорно, помогли восставшей Праге. Но не примут поздравлений с 9 мая — «это не наш праздник». Это как прийти на похороны и поздравить покойника с днём рождения. Почему ж так? Ведь всё же — кончилась кровавейшая война, и одним вселенским злодеем, одним тоталитаризмом стало меньше на земле. А что другой укрепился при этом, расширил свои владения — да, печально, горестно, и тем не менее, сознавая это, миллионы моих соотечественников отмечают в этот день *свою* победу, даже и те многие, кого не вытащишь на демонстрацию 7 ноября, действительно чёрный праздник России. Для «солидаристов», стремящихся задним числом «перевоевать» войну (в СССР тоже немало таких охотников, только с обратным знаком), это не довод. Их концепция войны проста, как помидор: весь народ встречал оккупантов хлебом-солью, и только немецкие зверства подогрели сопротивление, организо-

ванное чекистами. Отстаивали Москву и Сталинград, взламывали Курскую дугу и брали Берлин – «обманутые пропагандой». Толстовская «теплота патриотизма» – не из этого лексикона...

Вот странно: моё поколение, в большинстве с тяжёлым военным детством, готово понять трагедию власовцев – стрелявших, между прочим, не в Сталина, а в наших отцов и братьев! – готово и к Белому движению отнестись непредвзято, даже сочувственно, но тщетно нам ждать ответной готовности – понять и другую сторону выбора. Трагедия генерала Свечина или командарма 2-й Конной Миронова, пусть и того же Тухачевского, трагедия 30-ти тысяч царских офицеров и генералов, пошедших служить в Красную Армию,– это не тема для размышлений, это закрыто, другие персонажи истории волнуют воображение «солидаристов». Вот читаю в № 2 «Посева» рецензию В. Ламздорфа, замечательную в своём роде, восстанавливающую добрую память – кого же? – генерала Охранного отделения Герасимова и провокатора Евно Азефа. Этот совсем душка был, выданных им – жалел, просил не вешать. «И постепенно читатель,– уверен наш рецензент,– проникается уважением к этому умному и храброму человеку, рисковавшему жизнью в течение долгих лет, чтобы удержать Россию от крайностей...» Ладно, это положительный герой, кто же – отрицательный? По В. Рыбакову (тот же «Посев» № 6), «сталинский кинематографический сатрап» (!) Михаил Ромм, автор «Обыкновенного фашизма», любимый учитель Андрея Тарковского, Василия Шукшина, человек, показавший нам пока что самый высокий пример самораскаяния. Отчего предпочтительней для «Посева» облик двойного агента, не берусь сказать, но нужно же было – дойти до апологии стукачества и виселицы для революционеров, о которой не могли молчать Толстой, Короленко, Куприн, Леонид Андреев! К 1000-летию Крещения Руси следует, видимо, ждать реабилитации попа Гапона. Да, наконец, и Павлика Морозова почему опять не восславить, ведь цель великую имел паренёк, а к средствам, как нас убедил г-н Ламздорф, постепенно проникнутся уважением. Не вспомним ли знаменитое: всё нравственно, что ведёт к нашей победе. И начинай всё сначала...

К счастью, ничего этого не случится. Не ждут их в России, и не так уж тянет их туда. Это попросту «участок

работы», а могла быть Ангола или Камбоджа. А по склонности большинства людей преувеличивать значение своей деятельности, они тешат себя, что нынче НТС и популярнее в России, и многочисленнее, и лучше вооружён теоретически, чем были большевики в 1907—1908 годах, в «период шатания и разброда» (а что нет пока Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого и Владимира Ильича Ульянова-Ленина, так выдвинутся ещё, взрастим в своём коллективе!). Их послушать, так вся Совдепия пронизана «молекулярной сетью», в тайном членстве состоят и рабочие, перекидывающие брошюрку «солидаристов» от станка к станку (живо представим себе: от сверлильного к токарному, а от него к фрезерному), и колхозники, ловящие листовку с неба и тут же вступающие «самоприёмом» в НТС (понадеемся, что без помехи для посевной); есть даже целый город, так густо населённый энтээсовцами, что хоть завтра восстание поднимай (и не спросишь — какой же город? какой хотя бы области? это же дураку ясно — конспирация!). Многого тут хвачено через край, но для иных мозгов — хорошая пудра. И сами они, наверное, не врут, похваляясь, что деньги на их борьбу поступают из 19-ти стран. Потому-то, когда какой-нибудь Валентинов или Татьянин (публицисты из КГБ любят брать в псевдонимы имена своих жён) громит их в «Неделе» «Известий», под рубрикой «За кулисами диверсии», это — именины сердца, в такие дни копировальный аппарат дымится от перегрева, ксерокопии перепархивают из комнаты в комнату, и виновники торжества, раскрасневшиеся от гордости, размахивают ими, как ещё не привинченными орденами. Ведь это — сертификат, оправдание их работы, да и жизни самой. Всё те же Ильф и Петров, «Союз Меча и Орала», бессмертные «Рога и копыта»!..

Говорят об инфильтрации НТС гебистами. Вероятно, не без этого; был случай, когда за моим другом в Москве, которого благополучно посетил курьер, тотчас после этого установили слежку. А он человек стреляный, ошибиться не мог. Я попросил более никого к моим друзьям не посылать — и это мне тоже зачислили в «нелояльность». Но, сдаётся мне, и самый вопрос об инфильтрации становится как бы излишним: своя же новейшая установка «солидаристов» — пристроиться в ногу советской номенклатуре («конструктивные, нравственно положительные силы, действующие почти на всех уровнях

власти») — набрасывает на них такую смирительную рубашку, какую не могло бы изобрести самое хитроумное управление Лубянки.

Я полагаю, единственная и бесспорная заслуга НТС, да и того же Е. Р. Романова, что в труднейших условиях они основали издательство и журналы, печатали наш художественный и публицистический Самиздат, многих из нас — и самых разных — в пору «похолодания» поддержали, не дали нам заглохнуть. Никогда не забывая об этом, я и пытался сделать «Грани» — и надеюсь, 10 выпущенных мною номеров доказывают мои усилия — центром, объединяющим российских авторов по цензу таланта и мысли, всех, имеющих что сказать, независимо от партийных влечений и установок. Этого хозяева НТС не потерпели. Своей кастовой природы наши «солидаристы» преодолеть не смогли. «В области духа и идей...— помните? — интересов нет». И поскольку это так, политически они — битая карта. Никаких надежд Россия с ними связывать не может.

К счастью, и «Грани» и «Посев» — давно не единственное, и даже не основное, прибежище свободной литературы. Поэтому вынужденный мой уход — ни для меня не трагедия, ни для моих авторов. Но надвигающуюся трагедию самого НТС вскоре придётся ему осознать.

Георгий Владимов

12 июня 1986 г.
Нидернхаузен, Зап. Германия

«Континент», 1986, № 48
«Грани», 1986, № 140
«Панорама», 1986, № 273

НУЖНА «ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА»

Интервью журналу «Форум»

— Георгий Николаевич, три с половиной года назад вы были вынуждены покинуть Советский Союз из-за преследований КГБ. Но ваше решение эмигрировать было, по-видимому, связано и с литературными планами. Еще на родине начали вы писать роман «Генерал и его армия». Здесь, в журналах «Континент» и «Грани», были опубликованы отдельные главы. Как возник замысел романа? Почему вы обратились к теме второй мировой войны?

— Тема той далёкой войны ещё не остыла, и концепция ее не утвердилась. Я вообще думаю, что темы войны и ГУЛАГа перешагнут порог века, то есть и там будут волновать и задавать вопросы. Но прежде я хочу подчеркнуть, что не связывал свой выезд с литературными планами. Писать свободно можно где угодно, и какое-то время мне это удавалось. Просто есть какие-то приёмы, которые подпольный писатель должен знать. Наоборот, на Западе о России труднее пишется, оскудевает источник раздражения, который питал двигатели, внимание переключается на другое — на адаптацию к новой жизни. Это, в общем, нездорово для русского писателя, а никакими другими нам уже не стать — ни американскими, ни немецкими, ни английскими. Хотя делаются такие попытки, и заявления такого рода мы слышали — скажем, от Василия Аксёнова. Но он все-таки остаётся русским писателем в Америке, а не американским...

— А случай Набокова?

— Набоков, если не ошибаюсь, выехал в 19 лет, свободно владея английским. Стихия языка очень много значит, а у него их было две. Для нас же, если и выучим сносно иностранный язык, стихией, в которой мы можем плавать, дышать,— остаётся родной, русский. И замыслы

остаются — русские. Роман был задуман и начат там, здесь я его только завершаю. У меня так сложилось, что в молодости я зарабатывал деньги писанием книг за генералов. Тогда Воениздат затеял огромную серию «Военные мемуары», где всем боевым генералам дали высказаться. Я думаю, эта серия была предназначена не для раскрытия правды, а для сокрытия её. Всё, что у генералов накипело, о чём они жаждали рассказать, всё это постарались «канализировать», бушующее море заключить в цензурные берега. Ну, и поскольку сами генералы с пером не в ладах, приставили к ним литературных костоправов — из молодых писателей, критиков, журналистов. Так и мне довелось написать две книги за генералов. То есть они рассказывали, а я — «художественно оформлял». Конечно, рассказывалось в десять раз больше и в сто раз интереснее, чем попадало в книгу. Но, случалось, едва я хватался за карандаш, мои генералы бледнели: «Что вы, это не для записи! Это так, между прочим...» Они прежде всего сами себе стали цензорами. Бездну любопытного нарассказал мне и Петро Григорьевич Григоренко, но в его книгу, к моему удивлению, многое не вошло — тем более я озабочен, чтоб это не пропало. Можно и из самой серии кое-что извлечь — если читать и особенно обращать внимание на те места, где генералы сводят друг с другом поздние счёты: кто-то кого-то подвёл, не обеспечил прикрытие фланга, присвоил чужой успех и т. п. Вот тут мы улавливаем обрывки истины — из этих перекрестных обвинений. Работа, конечно, кропотливая. А гигантский военный архив, который находится в Подольске, недалеко от Москвы, практически закрыт для писателя. Требуется специальный «допуск». Для освежения памяти моим «авторам» нужны были документы, поэтому Воениздат выписывал нам пропуска — конечно, разовые — на какой-то определённый сейф. А любой из них — это клад. В особенности — материалы военной прокуратуры, трибуналов, донесения политотделов, «СМЕРШа», кляузы «особистов». Но вы не можете это сфотографировать или переписать в блокнот, на всё требуется обоснование — зачем это вам, почему интересует...

— Там есть и немецкие архивные материалы?

— Да, то, что захвачено в виде трофея и пограблено в архивах самой Германии. В общем, там всё есть, чтобы восстановить полную картину войны. Но приходится работать в условиях, в каких обычно работает кинематографист — каждый отснятый кусок он должен показывать. И ваша работа может прерваться на любом этапе — если кому-то покажется, что вы идёте «не в ту сторону».

— Но тем не менее у вас, чувствуется, накоплен большой материал.

— В основном, от моих «авторов». Но они ещё встречались друг с другом при мне, что-то совместно вспоминали, уточняли. Из этих-то рассказов, «сольных» и «хоровых», и выплыл сюжет, который мне кажется интересным и, в каком-то смысле, новым взглядом на войну — не на всю, конечно, но на какую-то часть её. Надо признать, что советская литература в общем достаточно выразила солдатскую правду войны, офицерскую правду — ведь авторы были на войне младшими офицерами, как Некрасов, Бакланов, Бондарев, Быков. А вот генеральская правда и была «канализирована» Военииздатом или отдана на откуп таким писателям, как Симонов, Стаднюк, Чаковский,— эти люди правду ценят на вес золота, поэтому особенно ею не разбрасываются. Клубки всевозможных интриг, которые сопровождали буквально каждую операцию, до сих нор не размотаны. Цензура к офицерской правде или к солдатской всё-таки снисходительнее. Потому что тяжесть войны, её грязь, кровь, пот, увечья, смерти — этого не обойдёшь, без этого не будет и лживой книги, никакой. Но когда речь заходит о многих тысячах людей, напрасно загубленных, о том, во что обходится генеральское или маршальское честолюбие, чванство, бессовестность, дурь, профессиональная необразованность,— тут цензура начеку. Об этом разрешается говорить проверенным товарищам, о ком заранее известно — они эти больные вопросы обойдут.

— Какой же эпизод войны вы исследуете?

— Именно эпизод. Вторых «Войны и мира» мы не дождёмся, масштабы были таковы, что не уместятся ни в какие тома. Я взял одну лишь операцию, из которой видно, что такое вообще операция, как она строится, какое в ней бывает столкновение интересов, страстей, чес-

толюбий, оплачиваемых всегда чужой и, притом, большой кровью. Показательна в этом смысле Киевская операция, то есть освобождение Киева осенью 43-го года. Там была сложная история с двумя плацдармами, из которых один был заведомо не нужен. Масштаб был грандиозный, а сколько участвовало исторических лиц: Жуков, Ватутин, Хрущёв, Черняховский, Москаленко, Рыбалко...

— Судя по всему, это была и одна из самых кровавых операций войны.

— Вот лишь одна страница этой истории: там впервые был применён массовый воздушный десант в составе нескольких бригад. Люди, с полной выкладкой, падали в воды Днепра или сыпались на немецкие походные колонны — и их расстреливали ещё в воздухе. В лучшем случае ветром относило к своим — и нужно было ещё доказать, что ты это не устроил нарочно, не бежал из боя. Вообще, много было сложностей. Дело в том, что Киев — самый большой город, который был отдан немцам. Это и самый большой приз, который мог достаться счастливчику-командарму. Можно себе представить, какая драка шла — кто будет брать? кому поручат? И вот, пока возились на южном, Букринском, плацдарме, месили там глину и заполняли овраги гниющими телами, негромкий, не обременённый наградами генерал Чибисов спокойно захватил плацдарм севернее Киева, у села Лютеж, и чуть было не взял Киев. Но уж до этого его не допустили! Кажется, это был единственный случай, когда командарма сняли *за успех*. Но нельзя же было не снять его — ведь он оказался чуть не в десяти километрах от города. В какое положение он поставил Жукова, Ватутина, Хрущёва!..

— Этот генерал Чибисов — прототип героя в вашем романе?

—Я беру только его ситуацию, но не его самого. Мой генерал, конечно, собирательный. Хотя фамилия похожая — Кобрисов, я её выудил там же, в Подольском архиве, из сводок. Кстати, фамилия оказалась главным недостатком генерала Чибисова. Было решено, что Киев, столицу Украины, должен брать командарм-украинец — Москаленко. Армию Чибисова отдали ему, и он с нею прошёл последние километры. Это был истинный представитель сталинской полководческой школы, людей

он за войну положил, сколько ни один другой генерал, за что и назывался — «командарм наступления». Это значит, единственная тактика: «Вперёд!». Никаких этих мерихлюндий — обходов, рокировок, тактических отступлений, только «Вперёд!». Ну, под Киевом и вовсе незачем было голову ломать насчет потерь. Ведь задача была — не просто взять его, но к седьмому ноября. Так вот, чтоб советский народ обрадовать к празднику, здесь его, этот народ, не жалели...

— Может быть, вот эта готовность идти на лишние жертвы ради какой-то там даты — это специфика не только нашей политической системы? Ведь и на Западе были операции, нужные только для того, чтобы удовлетворить честолюбие какого-то генерала или поднять национальный престиж. Взятие Парижа, например. Может, это вообще специфика войн?

— Я думаю, так, как в советской армии, это не проявлялось нигде. Вот я ввожу эпизод с Гудерианом — в главе, опубликованной в «Гранях». Любопытно, что первый приказ об отступлении был отдан грозным Гудерианом, истоптавшим гусеницами пол-Европы, мастером, виртуозом наступательных операций. Своё решение он принял в доме Толстого, в Ясной Поляне, где находился двадцать шесть дней,— может быть, самый дух этого дома повлиял, не знаю. И на следующий день, не зная об этом, другой генерал, Андрей Власов, принял решение наступать под Москвой, любой ценой наступать. Почему-то никто из историков не отметил этого совпадения. Но меня больше интересует здесь — противопоставление...

— ...которого я пока не вижу. Ведь они оба служат в армиях тоталитарных стран. Служат верой и правдой.

— И всё же закваска Гудериана, или «ментальность», западная, стало быть — «гнилая». Его отношение к личности солдата, к армии — христианское, у Власова же — типично советское. Гудериан позволил себе задуматься о людях — как им тяжко, холодно, страшно,— и в этот момент, поддавшись человеческим чувствам, он терпит поражение. Власов же, не задумываясь, бросает в пекло только что прибывших людей, уставших с дороги, не подготовленных душевно, да и не к нему направлявшихся,— и выигрывает. Однако война тем ещё чудовищна, что в ней

не выигрывает никто. То есть ты можешь выиграть, но останешься ли человеком? И наоборот, оставшись им — не проиграешь ли?

— Что вы думаете о Власове вообще? Советская пропаганда рисует его предателем, негодяем, здесь же он для многих — национальный герой.

— Писатель постигает человека, описывая его. Чтобы разобраться во Власове, я думал изобразить его в нескольких эпизодах, но вдруг почувствовал, что мой интерес к нему, по-видимому, исчерпан в одном этом эпизоде. Когда я сформулировал, что «минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы», мне стало ясно, каков он будет дальше во всём. Это человек момента. В нём были свойства, ценные для генерала,— авантюризм, дерзость, находчивость. Но он человек минуты, а не часа.

— Я немного о другом — не о характере, не о личности Власова, а о нём как о руководителе «Третьей силы».

— Я к этому и веду. Он под влиянием момента принял бремя руководителя «Третьей силы», заведомо неподъёмное для него. Составить армию из военнопленных — замысел, достойный Спартака. Но того, наверно, не волновало, во что одеть своих гладиаторов; в позднейшие века — форма сделалась вопросом нравственным. Это не просто прикрытие наготы, тут идеология, тут и национальный дух. Так вот, форма оказалась — немецкая, гитлеровская. Не случайно сам Власов от всякой униформы отказался, носил что-то неопределённое. Ну, а солдаты и офицеры были в немецком. Единственное отличие — нашивка с геральдическим щитом, с надписью «РОА», с цветами андреевского флага,— было утверждено г-ном Розенбергом. Итак, ты поставил свою армию под знамёна врага, назовём вещи их именами. Вот первое испытание, которого Власову было не преодолеть. Отсюда — погружение в апатию, метания, питьё, паралич воли. Но не забудем и его мученическую кончину, истинно генеральскую — он не отрёкся от своего войска, не покаялся, не «раскололся»...

— Ну, а сама идея «Третьей силы» в этой ситуации — в войне с Гитлером, против которого вместе с Советским Союзом были и западные демократии,— возможна ли и нужна ли она была?

— К сожалению, не спросили воюющий народ, как он к ней отнесётся. А он отнёсся так, что с власовцами, попадавшими в плен, расправлялись с большей ненавистью, чем даже с эсэсовцами. Поздно, а потому и безнадёжно было создавать эту «Третью силу» после Сталинграда, после Курской дуги, когда война уже повернула на победу, когда вся армия валом валила на запад и только одного хотела — скорее очистить землю от оккупантов. Вспомним толстовскую мысль, что война движется по законам, которые сама создаёт, и бессмысленно, самоубийственно противостоять этому движению.

— Эту мысль можно и расширить. На Западе, в эмиграции, иногда говорят, что это была война Сталина против Гитлера. Вероятно, вначале, когда войну планировали и развязывали политики, это и было так. Но, по Толстому, война против захватчиков создаёт свои законы и на каком-то этапе она неизбежно превращается в войну народную. Так и эта война превратилась в Отечественную, в народную войну против Гитлера — и не по воле Сталина, а сама по себе. В своём «Необходимом объяснении» вы сказали — и я согласен с вами,— что миллионы наших соотечественников 9 мая отмечают своюпобеду, а не победу Сталина. Но вот вас упрекнули: Владимова возмущает, что эмигранты не празднуют День Победы.

— Уточним: не эмигранты, а НТС, так сказано в их «Вынужденном ответе»*. Меня не возмущает, меня удивляет: если вы были «Третья сила», то есть ни то ни сё, но «вместе с народом нашим», как оно провозглашается в ваших манифестах, так отчего же это не ваша победа, если возлюбленный вами народ хотел её и добился? А что — как они вопрошают — «думали об этом миллионы заключённых в сталинских лагерях... что думали жертвы «СМЕРШа»... что думает порабощённая Европа»... Да что бы ни думали, но вряд ли поражение Гитлера было для них самым большим огорчением. Декабристы хотя и выступили против своего царя, но и на каторге не переставали гордиться, что изгнали узурпатора Бонапарта. Впрочем, сдаётся мне, этот «Вынужденный ответ» писан Романовым, бывшим редактором газеты в Днепропетровске,

* «Грани», № 140.

основанной с разрешения немецких оккупационных властей. Едва ли его газета претендовала на особое мнение, отличное от мнения г-на коменданта. Едва ли она призывала читателей к превращению войны в народную. Едва ли даже заикалась о какой-то там «Третьей силе». Тогда всё верно — это и впрямь не *их* праздник.

— Мы приходим к тому, что власовская «Третья сила» реально была лишь частью одной из двух сил — нацистской Германии. А энтэЭсовцы были идеологами власовского движения. Какую же идеологию они в это движение несли? Еще в тридцатые годы они себя объявляли противниками демократии и ратовали за «третью форму» — антидемократическую и антикоммунистическую, подобную в чём-то «солидаризму» итальянского фашизма.

— Ну, мы с моим генералом — я говорю о романе — в идеологические дебри не забираемся. Просто в той операции, что я описываю, был так называемый «Восточный вал», где немцы использовали русские соединения, батальоны. Они обороняли днепровские кручи. И перед генералом встаёт проблема: если эти батальоны окажутся у него в плену, кем он тогда будет для своих соотечественников — палачом? А он не может думать об этом, как любой другой советский генерал, то есть вовсе не думать. Он, Кобрисов, и сам был жертвою сталинских репрессий, затем, под Москвою, именно Власов своим наступлением спас его от гибели или от плена. Поэтому об этих несчастных русских Кобрисов думает нетривиально, он понимает их трагедию. Он спрашивает себя, можно ли их назвать изменниками или само это слово теряет смысл из-за массовости явления. Этого вопроса он так и не решает, но сами подобные раздумья опасны, они ведут к проигрышу.

— У Солженицына в «Архипелаге», в тех главах, что писались ещё в Союзе, власовское движение представлено как трагедия сотен тысяч людей. А в части пятой, говоря о власовцах и им подобных, Солженицын меняет ракурс, откровенно принимает сторону этого движения. Теперь это уже — героическое сопротивление сталинскому режиму. Для многих, для большинства — это была личная трагедия. Их можно понять, им сочувствуешь. Но идеология этого движения, на мой взгляд, ошибочна и даже преступна.

— Солженицын говорит, что плох был бы народ, если б не сделал попытки хоть издали погрозить батьке Сталину оружием. Но вся беда, что ни сам батько, ни его сподвижники не имели обыкновения ходить в штыковые атаки. И добраться до них невозможно иначе, как перебив энное число своих же неповинных соотечественников. В этом трагедия любого антиправительственного движения, трагедия гражданской войны.

— Гражданская война идёт между различными внутринациональными силами, власовцы же вынуждены были воевать на стороне чужеземной и, главное, античеловеческой силы.

— Вполне ли они понимали это «главное», то есть с кем они имели дело, и, прежде всего, сам Власов? Понятно, что, ища поддержки для формирования РОА, он должен был встретиться с кем-нибудь из высших чинов рейха. Но с кем же он встречается — с Гиммлером, рейхсфюрером СС! И вот его впечатления: «...думал увидеть кровожадного чекиста вроде Берии... а встретил типичного буржуа. Спокойного и даже скромного... Он из деревни, а значит, как я, крестьянин. Любит животных...»* Просто уши вянут!

Разумеется, ничего из этой встречи не вышло, она лишь скомпрометировала Власова в глазах немцев, как и встречи с Геббельсом, Розенбергом, Леем, фон Ширахом и другими будущими «героями Нюрнберга». А между тем был в Германии человек, и могущественный человек, в ком «Третья сила» встретила бы понимание и поддержку. Это был всё тот же Гудериан, в то время — начальник Генерального штаба сухопутных сил, фактически главный организатор обороны Германии. Власов с ним дважды встречался на полях боёв — когда выводил свою 37-ю армию из Киевского котла и в генеральском их поединке под Москвой; по исторической идее должна была бы состояться и третья встреча — личная. Да и естественно было Власову обратиться теперь к нему — как генерал к генералу. Но он даже не искал этой встречи, предпочёл жандарма, скромного любителя животных, а также и газовых камер Освенцима. Гудериан же только в американ-

* Вильфрид Штрик-Штрикфельдт. Против Сталина и Гитлера.— Франкфурт-на-Майне, Посев, 1975.

ском плену узнал с удивлением, что была такая — «Третья сила».

Почему об этой «невстрече» они бы оба могли пожалеть? У Гудериана, близкого к «людям 20 июля», был план, значение которого мы могли бы сегодня оценить: он хотел открыть фронты американцам, англичанам, французам, а все немецкие силы бросить на Восточный фронт, чтоб не пустить Советы в Европу. Вот в этом случае «Третья сила» имела бы хоть какое-то историческое оправдание, если бы даже и сражалась бок о бок с вчерашним врагом. Вспомним опять же Толстого, что народная война была лишь до границы России, а дальше пошла война политическая. Чувство народного возмущения и мести было бы вполне удовлетворено изгнанием Наполеона, незачем было его преследовать до Парижа, он пал бы и сам после неудачи вторжения. Точно так же пал бы и Гитлер, его сверг бы сам германский народ, при поддержке других европейских народов, но уже бы никто не делал из него мученика и героя. Вся картина итогов второй мировой войны была бы иная.

НТС заявляет о своём влиянии, о руководстве власовским движением. Вот их влияние и руководство: неразборчивость в людях и средствах и поразительная некомпетентность. Познакомясь с этими людьми, я увидел, что они и сегодня не в состоянии подняться до той мысли, которая владела немецким генералом ещё в 1944 году.

— Хочу немного отклониться в сторону. Вы как-то говорили о наличии «военной партии» в Советском Союзе. Вы, вероятно, хорошо знаете эту среду — среду профессиональных военных, генералов. Знаете их настроения. Я, честно говоря, совсем не верю в эту силу как в силу преобразующую, конструктивную.

— Генералы бывают разные — взять того же Григоренко, самую неожиданную фигуру Демократического движения. Они вообще люди неожиданные. Быть неожиданным входит в их профессию. Но она неотделима от военной ситуации. Если война в Афганистане ещё продлится, и так же неудачно, она может выдвинуть амбициозного генерала, который захочет полномочий и будет поддержан коллегами и армией. Итак, нужна ситуация — непопулярная война, она есть. И нужен генерал, от которого, кстати, и не потребуется роли преобразующей, конструктивной,

а только чтоб он обеспечил порядок. Всё остальное сделают другие, демократические, силы.

Такого героя делает обычно удачная операция в неудачной войне. Как «солдатских императоров» в Риме, как Бонапарта, как Брусилова или Троцкого. Важен ореол «спасителя» и чтоб у него хватило амбиции. Как прозаик я касаюсь и этого вопроса — в ситуации 1941 года, когда война ещё не стала народной, то есть популярной, осознаваемой всей нацией как дело каждого, и когда ещё могла удаться идея «Третьей силы», но — я это особо подчёркиваю — на *своей* земле и в *своей* воинской форме. Генерал со своей дивизией отступает от самой границы к Москве, они переходят из одного окружения в другое, но дивизия не редеет, а напротив, благодаря его умению и воле, обрастает людьми — потерявшими свои части окруженцами, которые хотят примкнуть к какой-то силе. И вскоре он оказывается во главе целой армии, способной на самостоятельные операции, с которой и немцы начинают считаться, предпочитают держаться поодаль. Люди лишены информации, им кажется, что они сейчас и есть — Россия, всё остальное — погибло, предано бездарной властью. И возникает идея — идти на Москву, захватить Кремль, сместить правительство.

— И вести войну против Гитлера?

— Это главная цель. Захватить ключевые посты, чтобы организовать оборону.

— Сомнительно, чтобы им удалось организовать в военное время всю страну.

— Тогда это не казалось сомнительным, такие настроения были. И потом, если удалось Берии с Маленковым, почему бы не могло удаться энергичным, толковым командирам во главе с опытным полководцем? Останавливают их не эти сомнения, а то, что прежде они должны взломать слабенькую оборону, что уже налаживалась на подступах к Москве, перебить своих соотечественников, таких же солдат или ополченцев...

— И помочь Гитлеру в этот момент ворваться в Москву.

— Не в этом дело. Этого они бы как-нибудь избежали. Это уже тактический вопрос. Главное в том, что идея

«Третьей силы» себя уже исчерпала к осени 41-го года. Они поняли, что силы — две. И третьего — не дано.

Любопытно, что Власов, герой зимней Московской битвы, остался с этими настроениями лета 41-го года ещё и в 43-м, и в 44-м, когда война уже перевалила некий хребет, гряду, пошла по своим законам — в сторону победы. Помните его знаменитое заявление, что он закончит войну по телефону? То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, ещё каким-то друзьям по академии, и они ему сдадут фронты. Тут мой генерал, настроенный если не сочувственно к Власову, то с желанием его понять, испытывает глубокое в нём разочарование. Как же не понимать простых вещей! Ну, можно ошибаться в Жукове, в Рокоссовском, но быть боевым генералом — и не знать, что такое война! Быть русским — и не знать России! Не представлять себе, как настроена вся воюющая масса народа, не видеть, что она сейчас на стороне Сталина, что сменился уже весь интерес нации, и питать запоздалые иллюзии... Назовём ли мы это трагедией или фарсом?

— Иллюзии Власова — это иллюзии минувшей войны. Беда в том, что кое-кто сохраняет подобные же иллюзии и сегодня.

— О да, я это наблюдал воочию — у господ энтээсовцев. Им всё мерещится, что если они сделают ставку на какие-то там «конструктивные силы», то их непременно пригласят в министры. Уже, как я слышал, и портфели распределены. Во Франкфурте, напротив «Посева», есть итальянский ресторанчик, там они посиживают, кушают пиццу и решают — отменят они колхозы или сохранят. Всякий раз приходят к выводу, что лучше сохранить.

— По-человечески их можно понять. Десятилетиями питались иллюзиями. Признать их ошибочными — значит признать и свою жизнь в какой-то мере пустой.

— Как у старых большевиков после XX съезда?

— Есть и разница. У большевиков жизнь оказалась пустой в нравственном смысле. Но партия-то их обладала реальной силой. У этих же нет ничего реального.

— В годы войны сила к ним прибыла немалая — до двух миллионов.

— Насколько я знаю, русских на стороне Германии воевало 400 тысяч. Много было ещё нерусских, недовольных решением национальных проблем в СССР.

— Ну хорошо — полмиллиона. Это пять-шесть армий!

— Да, это был их «звёздный час». Поэтому и отрекаться от своего военного прошлого им нелегко. Иногда спрашивают: «Почему у НТС не было своего XX съезда? Ну, заблуждались. В 30-е годы не верили в демократию. Но сейчас — почему не отказываются от своего прошлого?» Мне кажется — именно потому, что это был их «звёздный час». Трудно от этого отказаться.

— Двадцатый съезд, при всех разоблачениях, имел задачей подтвердить правильность пути, избранного в 1917 году. Здесь — нужна кардинальная переоценка, буквально со дня основания. Это отказ от самих себя. Они на это не пойдут.

— Почему же эта организация, отставшая от жизни на несколько десятилетий, да к тому же построенная на антидемократических принципах, пользуется поддержкой каких-то сил на Западе?

— Многие причины мне ещё не ясны, пусть о них скажут другие. Я же воздам должное НТС: ему удалось создать хороший художественный блеф о своём влиянии в России. О близости к конструктивным силам в СССР, чуть не на всех уровнях власти. Может, и есть они, эти силы, да даже наверно есть, но спросим: на кой им ляд НТС? Во имя чего компрометировать себя перед своими противниками этой связью? Чтоб получать литературу? Ценные указания? Но если трубить о чём-то громко и неустанно — поверят. Оценим и остроумную теорию «молекулярной сети», разветвлённого подполья из пятёрочек, десяточек, друг о друге не подозревающих, подчинённых только зарубежному центру — во Франкфурте или его живописных окрестностях. Правда, всё это знал ещё Достоевский, приступая к «Бесам». И правда, нечаевские пятёрки действительно существовали. А верится, однако. Точнее, не вникаешь в это, покуда тебя самого вдруг задним числом не объявят «московским представителем “Граней”», каковым ни я себя не считал, ни мои друзья. Отметим, кстати, как мало их тревожат судьбы тех остав-

шихся в России, кто носил мне свои рукописи. Главное, чтоб я числился «отстроенным». Обожают они эту кальку с немецкого: «ausgebaut». А доведись мне сгинуть в каком-нибудь пермском лагере, быть бы мне, посмертно, членом НТС. Не так ли они «отстроили» Юрия Галанскова? Наедине с адвокатом, Диной Каминской, он отрицал свою принадлежность к НТС; я вспоминаю, и Вера Лашкова рассказывала мне, что она была третьей в «воронке», когда их везли после суда, и из разговора Галанскова с Добровольским вынесла определённо, что членом НТС Галансков не был. Но поди разберись в этих чичиковских махинациях с мёртвыми душами — у них же «тайное членство», «самоприём», ритуал подписания и затем сожжения присяги...

Теперь скажу, что «молекулярная сеть» действительно «отстроена». Только не в России, а на Западе. Повсюду, куда только можно было проникнуть. Где только пахло деньгами. И люди, издавна связанные с НТС, строившие на отношениях с ним карьеру, а может быть, искренне видевшие в нём стойкого борца с тоталитаризмом,— те «друзья Союза», от кого зависели субсидии,— должны же признаться и начальству, и общественному мнению, что десятками лет вводили их в заблуждение, морочили головы. У многих на это хватит мужества?

— Необходимо общественное давление.

— Вы думаете, просто — раскатать этот снежный ком? Слишком мало информации выходит наружу. Потому что они превыше всего блюдут — единство рядов. Это настоящая ленинская партия «нового типа», вдобавок возглавляемая мощным семейным кланом. Значит, она стоит на двух китах: родственные связи и железная дисциплина. Ни тебе внутрипартийных дискуссий, ни фракций, ни левого или правого крыла. Любой критикующий элемент изгоняется. Мгновенно. От нескромных взоров, от малейшего любопытства они себя даже внутри оградили: «каждый знает только то, что ему поручено делать». Царствуют покорность и культ непогрешимости лидера. Сам принцип выборности перевёрнут: не лидеров избирают, а они себе — приближённых, как если б министры утверждали состав парламента. Как любой тайный орден, они имеют преимущество мира тоталитарного перед миром демократическим, к тому же и оправданное: какие могут

быть дебаты, какая там гласность, ежели конспирация! Здесь делают «Дело», посвятили себя «Служению», несут в Россию «Слово Правды» — всё возвышенно, с заглавных букв! Похоже и на то, что их деятельность не бесследна, есть «письма из России», «отклики с мест». Но перечитайте их подряд хоть в № 6 «Посева» — не покажется ли вам, что писаны они одной рукой, к тому же усталой, по одному шаблону: «Я с вами не во всём согласен, но ваши идеи меня заинтересовали, пришлите ещё литературы»?

— В течение почти трёх лет вы были главным редактором журнала «Грани».

— Два с половиной года. Ровно десять номеров.

— Да, десять номеров. На мой взгляд, это был лучший журнал в эмиграции. Это беда для читателей здесь и в Союзе, что вы теперь без журнала, а «Грани» — без вас. Ваш уход — это следствие вашего конфликта с НТС?

— Я не сказал бы, что это был исключительно мой конфликт. Это был наш общий конфликт, то есть «третьей эмиграции», с таким же, в сущности, тоталитарным духом, от какого мы настрадались на родине и с которым тем более не намерены здесь мириться. Боюсь, в НТС ещё не поняли, как глубока эта пропасть — между ними и «третьей волной». За неделю до увольнения позвонил мне председатель НТС Романов под псевдонимом «Рыбаков» (у него много псевдонимов, письма от издательства он мне писал под псевдонимом «Жданов») — сообщить, что вот, ходят слухи, будто меня хотят уволить, так как я отнесусь, не будет ли плохо с сердцем. Я спросил, учитывает ли руководство, к чему это приведёт, к какому возмущению в эмиграции. Он ответил уверенно: «Никакая эмиграция никогда ни вокруг чего не объединится». Но вот она объединилась! Шестьдесят четыре подписи в мою защиту — и вовсе не единомышленников, случай уникальный. Это — не из любви ко мне, скорее — из неприятия НТС, но мне отрадно сознавать, что и в нашем рассеянии, при всех раздорах и склоках, существует общественное мнение! Представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо», мы всё-таки сохранили.

— Недавно в интервью с Романовым было сказано: «Грани», мол, наш журнал, а Владимов его называл «мой жур-

нал». Это показательно: им не нужно, чтоб журналом руководил человек с талантом и независимыми взглядами, не нужна личность, а нужен тот, кто сольётся с партией: «Это наш журнал, партийный журнал!»

— Тот, кто брал интервью, А. М. Югов, выразился ещё прелестнее: «Вы делаете упор на существительное — "журнал", а он на прилагательное — "мой"». Господин Югов, не подозревающий, что «мой» — вовсе не прилагательное, а другая часть речи (какая — не скажу, пусть раз в жизни заглянет в грамматику), всерьёз считает, что для меня это существительное — «журнал» — было несущественно, коль скоро не думал я о партийности и о «товарищах по движению». Ещё один его крик души: зачем приглашать известного писателя, он захочет «и редактором стать всемирно известным, как Твардовский». И что тогда случится? Небеса обрушатся на Флуршайдевег, 15? Или, ещё ужаснее, он серых откажется печатать?

— *В самом деле, что предосудительного, если журнал несёт отпечаток личности редактора? Да, мы говорили: «Новый мир» Твардовского. Чем это плохо?*

— Я думаю, это непременное условие — чтоб видна была личность редактора. Творчество всегда — личностно. Но что касается «Граней», я как раз не чувствовал журнал «моим». Всё время приходилось идти наперекор. Больше года при мне комиссарствовала Артёмова, я о ней писал в «Необходимом объяснении». Доводилось и от «самого» получить партийную головомойку — под грифом «В порядке частной переписки», поэтому я не суть, а только стиль передаю: «На одном я всё же настаиваю — обязательно убрать... Статья с ложной целепостановкой... Это надо было вычеркнуть... Ненужная заумность, можно было устранить... Вредная вещь. Нарочито вредная... Вульгарно, грязный язык... Сексовые слюни... Шрифт прозы должен быть крупнее». Под Новый год, в виде поздравления, положили на стол партийную анонимку «Отзыв о "Гранях"», сляпанную из письма полуграмотного читателя. Много есть способов управлять редактором. Помню замечательный вопрос г-на Югова, когда я не принял его статью: «А почему это у нас нельзя редактору приказать?» Кажется, этот идеал уже достигнут.

— *А деньги, наверно, давали «под Владимова»?*

— Грант, естественно, выделен был «Посеву» или НТС, но с условием, что редактировать «Грани» буду я. Потом НТС это условие сумел обойти. Не знаю — как, это ещё выяснится.

— Что же всё-таки произошло? Как объяснить ваш разрыв?

— Наверно, не вас одного поразила мелочность их первоначальных объяснений. «Владимов сказал... жена сказала...», где-то не выступил, покинул стенд «Посева»... Лепет какой-то. И это для них, суровых бойцов, «пределы терпимого»! Затем, в своём бюллетенчике «Встречи», объявили, что я «вёл журнал против Союза»,— это как будто синоним той же «нелояльности», да ведь сами же от неё открещивались: «С политических позиций не было расхождений». Пишут, что я перессорился с десятками людей,— ложь, свойственная именно главарям клана: если их тронули — значит, десятки в обиде. В том же интервью объясняет Романов, что ошиблись во мне, мало у меня связей с молодыми авторами,— из этого видно, во-первых, как вдумчиво они читают то, что издают: в рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро» описано моё положение, это изоляция и блокада, редкие смельчаки меня посещали. А во-вторых, тут НТС попадает в свою же ловушку: где же была хвалёная «молекулярная сеть», почему не доложила, какие связи у предполагаемого редактора? И так же она их информирует насчёт «конструктивных сил»? О настроениях в армии или среди рабочих? Но вот и примирительный аккорд: всё дело в том, говорит основатель «Граней», что трудно совмещать журнал с собственным творчеством... Когда называют много причин, и таких разных, это верный признак, что хотят скрыть одну — истинную.

— Думаю, что вы очень не подходили друг другу — эта партия и вы. Вы их постоянно раздражали — и тем, как вели журнал, и тем, что́ говорили.

— Вы правы, причина проста — несовместимость. Или, как они выражаются галантерейно, моя «неколлегиальность». Я увидел организацию, насквозь коммерческую, которой интересы России чужды, а близки те принципы, что мы отвергли там, на родине. Но эта организация ещё и крайне опасна: она примазывается ко всем нашим начи-

наниям, будь то правозащитные группы или независимый профсоюз. «В этом развивающемся движении,— возглашает их вождь,— мы ищем своё место, мы даём туда себя!» И дают, и компрометируют, облегчая работу карателям и душителям. Ведь та же «молекулярная сеть» — это не просто, как сказал бы Остап Бендер, «четыреста первый способ честного отъёма денег», это тот враг,— пусть воображаемый! — без которого КГБ жить не может. Вы помните, какой подарок преподнёс НТС нашему «правосудию» во время процесса Галанскова, Гинзбурга и других, когда прислали этого Брокса-Соколова, нашпигованного брошюрками и с каким-то там «шапирографом» для изготовления листовок. Хороши судьи, которые этого десантника использовали для отягчения приговора, но хороши и те, кто его послал на явку — к людям, давно арестованным. И мы когда-нибудь слышали внятное объяснение, зачем это было сделано?

Наконец, я увидел, что «Грани», которые я веду, только прикрытие чудовищного блефа, на самом-то деле не нужен им хороший журнал. Я уже слышал упрёк: почему ж молчал до того, как уволили? Но я отвечу вопросом: «А за что же, вы думаете, уволили?» Вот они пишут в своём «Вынужденном ответе»: повёл «злобную кампанию». Значит — не молчал! Не захотел жить рядом с ложью. Слишком много выяснял — а это «неколлегиально». Да они должны были от меня избавиться — элементарный инстинкт самосохранения!

— Но как вы согласились с ними сотрудничать? Вы их плохо знали?

— Позвольте немного лирики. Вам нетрудно себе представить, что значит там, в Большой зоне, письмо из-за границы. С диковинными марками, в длинном таком конверте, каких в СССР, по причинам исторического материализма, не делают. Письмо оттуда, куда вы полвека не можете выглянуть, потому как — «невыездной». Или звонок телефонный — сквозь шорох подслушки и после вчерашнего обыска: «Ваша книжка вышла в Италии...» Это ведь такая отдушина! Или приезжает курьер — с этой книжкой, с Тамиздатом. Вы его усаживаете за стол, не знаете, как ублажить, не отпускаете без подарка — в России же не бывает иначе! — он вам подарил маленький праздник: общение с недоступным большим миром.

А здесь, по приезде, выясняется, что эти курьеры должны были писать отчёты: и сколько вы пили, и как реагировали на похвалы вашей книжке... Вы переписывались с загадочной незнакомкой Анастасией Николаевной, а она, оказывается, «по поручению держала связь». И переписка называется — «досье». Здесь называется, не в КГБ, смотрите «Грани» № 141, страница 278. Ну, и в КГБ тоже. И главный начальник этого учреждения... видите, я уже путаюсь, я имею в виду НТС... говорит, не смущаясь, что он всю переписку недавно перечитал, т. е. он читал адресованное не ему. В КГБ, в Лефортове, тоже не смущались: «Мы тут почитали с Иваном Кузьмичом. Любопытно, любопытно. Вы понимаете, с чем играете?» Вы это поймёте здесь — что были «ausgebaut», отстроенный «представитель»,— стало быть, ходили под статьёй 64 УК, предусматривающей, между прочим, высшую меру. Ну, здесь это не грозит, но тоже дают понять, что кой-какой «компроматерьяльчик» имеется. Не скажу — ужасно, скажу — уныло. И там у меня был судебный процесс с издательством, и здесь предстоит. То есть близнецовое тождество родной «Софьи Власьевны» с её «визави». Только то отличие, что «Софья Власьевна» всё же выказывает способность к омоложению путём хирургической подтяжки морщин,— здесь эта операция запоздала.

Было бы ложью, что мы совсем ничего не видим из Большой зоны. Коробят эти высокие словеса, революционные призывы из безопасного далека, но — пропускаешь мимо уха: ну, не стилисты, и нетерпение их гложет, зато — делают дело. И мы верим нашим товарищам, которые эмигрировали: читаю, к примеру, Коржавина — какие прекрасные люди в «Посеве»! Оно, правда, странно немного — читать похвалы «посевцам» в одноимённом журнале, но пишут же не сами, пишет Коржавин, которого я с 1956 года знаю. Да вот и Максимов, и Галич сотрудничают с НТС, выступают на «посевских» конференциях. В другое ухо гудит нам родная пропаганда, что НТС — идейный и злейший враг, от которого нас только и спасают славные «органы» — вот те самые, что вчера перелопатили вашу квартиру... Наконец, мы вообще абстрагируемся от партии, которая что-то там обещает, бездну всяких благ и свобод, реально — мы видим издательство, где мы многие нашли пристанище. Мы разделяем эти понятия — НТС и «Посев». Соединяют их — совпропаганда и КГБ. Но вот, в моём

случае, они себя сами объединили наглядно. И мы читаем риторический вопрос вождя: наступит ли в СССР такое время, когда «цензура станет суровей? И тогда мы сможем это реализовать»? Тут-то и проглядывает откровенный меркантильный оскал. Они «реализуют» наши беды!

Я в своих выступлениях предпочитал НТС не упоминать, и в номерах «Граней» за моей подписью вы этой комбинации из трёх букв не найдёте, но своим участием, своим редакторством, наверное, тоже служил приманкой для тех в России, кто ещё связывает с этой организацией какие-то надежды. Нам предстоит эти надежды развеять. Не отрицая некоторых заслуг «солидаристов» по части «реализации», мы всё же должны им сказать: «Россия — это наша страна, вы там ничего не забыли, и не ищите себе места, не давайте туда себя! Переключитесь на Чили, это вам ближе и понятней. А Россия — это рок, это судьба, участь, но не профессия. Не делайте из неё ремесло и источник дохода»...

Ну, а тем идеалистам, которых немало и в НТС, тоже должно быть ясно: партия нам вообще не нужна, в России к этому слову стойкая аллергия.

— *А тем более партия с таким прошлым в годы войны.*

— Да это уж им как-нибудь простили бы...

— *Вы думаете? Для меня это невозможно...*

— Если бы сами они своё прошлое восприняли как трагическую ошибку. Но они видят — неудачу. Ну, сорвалось, в другой раз будем умнее. Мне рассказывал Романов, как он уезжал из Днепропетровска в немецком танке и сквозь смотровые щели видел повешенных на деревьях. Рассказывает элегично, не чувствуя своего соучастия. А зритель со стороны дружественных танков фон Клейста тоже ведь соучастник...

— *Я думаю, что их военное прошлое навсегда должно оттолкнуть от них людей в России. Идеология власовского движения там не может быть популярна.*

— Это не безусловно так. Но позвольте на ваш тезис ответить романом. Одно могу сказать: пребывание в этом стане было для меня в известной мере и благом. Для писателя, как и для учёного, равноценны и положительный опыт, и отрицательный.

— Вернёмся к проблеме журнала. «Грани» в руках НТС погибнут. А между тем независимый литературно-художественный журнал необходим. Вы согласны?

— В «Гранях» всё только начиналось. Их сшибли на взлёте. А мог бы быть неплохой журнал, который бы представлял собою и определённую организующую силу, и служил бы даже мерилом, критерием для тех журналов, что выходят в России. Как, скажем, «Современные записки» двадцатых и тридцатых годов — их и в шестидесятых очень внимательно читали советские редакторы, там было на что равняться. А как важно это сейчас, при тех прорехах, что появились в «железном занавесе». Одно время мы удивлялись, что в стране появляются весьма смелые вещи,— как их пропустила цензура? Но она вынуждена была что-то противопоставить «гнилому Тамиздату».

— Особенно любопытной была ситуация в Польше накануне лета 80-го. Там существовала тогда масса самиздатских журналов, и подцензурные журналы вынуждены были печатать больше вольностей. Один польский журналист мне рассказывал, как его друг носил свою рукопись в подцензурный журнал. Ему предложили что-то убрать, что-то изменить. Он отказался: «Не берёте — не надо». И отнёс рукопись в литературное кафе, в этом же здании, отдал редактору самиздатского журнала. Там подцензурная печать была под прессом свободной печати. Хороший это пресс — давление свободы на несвободу. Расширяются пределы официально дозволенного.

— Это во-первых. Ну, и сам автор меняется. Он смелеет, если ему есть куда отступить, есть какой-то плацдарм. Нужно только переслать рукопись по «каналам». Я и сам этак протестовал — правда, в форме вопросительной: «Вы мой роман не издаёте, так что же мне, в “Посев” обратиться?» И когда автор начинает вести себя таким образом, начальство несколько пугается. Ему не хочется выпустить из рук «контролируемую литературу». Ну, с какими-то вольностями... Словом, независимый журнал нужен, и очень. Но всё несчастье, что эмиграция его не окупит. Какой бы прекрасный журнал я ни делал, я едва ли — подпиской или розничной продажей — соберу деньги на следующий номер.

— Да, это наша беда. Мы же работаем преимущественно для читателей в Советском Союзе...

— И журналы ему посылаем бесплатно.

— И дай бог, чтоб дошли. Сегодня журнального места для публицистов ещё хватает. А литературный журнал только один — «Континент». Явно недостаточно для писателей, оказавшихся на Западе, и для писателей на родине — тех, кто хотел бы опубликовать свои неподцензурные вещи.

— Всё упирается в презренный металл. Есть Америка — страна, в которой, как я её себе представляю, ещё сохранился некий идеализм, альтруизм, готовность помочь другим нациям. Эта страна создана эмигрантами, помочь другим эмигрантам — в духе американского народа. Промышленники, скажем, образуют благотворительные фонды не только потому, что надо что-то там списать с налогов, но и просто из человеческого идеализма. Только распоряжаются этими фондами правительственные чиновники, которым нужны «практические результаты». То есть примерно следующее: «Мы тут сколотили партиюшку. И уже успехи есть: одну советскую дивизию распропагандировали в Польше, другую на китайской границе, есть свои люди и в охране Мавзолея». А что может пообещать редактор? Что журнал будет спасать культуру, даст пристанище вольной мысли? И будут читатели в России — только неизвестно, сколько? Нет, это что-то аморфное.

Европа — более меркантильна, практична, бережлива. Европейский миллионер, расчувствовавшись, пожертвует двести марок, в лучшем случае. К тому же он не захочет поссориться с Советским Союзом, а ведь наверняка же в эмигрантском журнале будет что-то антисоветское. Я думаю, и при самых благоприятных обстоятельствах проявит себя принцип: кто даёт деньги, тот заказывает музыку.

— Мы прошли через коммунистический опыт. Это печальный опыт, но это опыт, которого не имеет Запад. Думаю, что возрождение ценностей «буржуазного мира» уже невозможно в России. Там будет что-то новое. О том, что, как и зачем должно меняться в стране, нужно и важно говорить. В Советском Союзе ещё не скоро позволят

открыто спорить о будущем. Сейчас это возможно только на Западе, в эмигрантских изданиях. В познании опыта эмигрантов из коммунистических стран должен быть заинтересован и Запад.

— К сожалению, не все понимают, что защищали бы самих себя, помогая эмигрантским изданиям и через них демократическим силам в СССР. Американцы, которые дважды в нашем веке умирали за свободу другого континента, осознают это лучше, для европейцев же главное — не ссориться с грозным соседом.

— *Один московский диссидент сказал недавно, что он не уверен в том, что западный мир (прежде всего Америка) заинтересован в демократизации Советского Союза. СССР потенциально — очень богатая страна. В случае демократизации это будет самая богатая страна в мире.*

— Она будет вне конкуренции, действительно.

— *Этот москвич полагает, что на Западе есть силы, которых существующий status quo устраивает.*

— Но СССР угрожает миру военной мощью. Демократизация бы его в этом дестабилизировала, «разложила».

— *Верно. Но вполне вероятна такая точка зрения: «Нужно сегодня, пока Советский Союз не вступил на путь реформ, превзойти его радикально в военном отношении. И тогда мы долго ещё не будем беспокоиться по поводу возможной советской угрозы». А демократизация нашей страны в этом случае не так уж и важна западным политикам. Вот такое мнение пришло из Союза. От человека, повторю, диссидентских взглядов.*

— Я хорошо знаком с таким движением, как «Международная Амнистия». Исключить чисто человеческий фактор — сочувствие угнетённым в чужой стране — невозможно.

— *Да, конечно. Я очень люблю людей из «Амнистии». Но надо признать, что большинство членов этой организации — люди левых или леволиберальных взглядов. Я как-то спросил, сколько сторонников партии ХДС—ХСС в немецких группах «Амнистии». Оказалось, почти никого. В основном социалисты, либералы, левые беспартийные христиане и «зелёные». Как раз приверженцы «классической» буржу-*

азной демократии неактивно участвуют в этом движении. Да и в Америке в «Амнистии» работают люди леволиберальных настроений. Кстати, эту организацию бьют с двух сторон. Советы утверждают, что это всё «агенты ЦРУ», правые на Западе называют их коммунистами. Но уж эмигрантам «Амнистия» не должна помогать — у неё совсем другая задача.

— Да и грешно было бы нам просить у неё помощи. И тем не менее есть нужда в «посадочной площадке» — для тех писателей в России, которым некуда нести свои рукописи. Говорят, поток их сейчас обмелел, но я думаю, советская литература — перед каким-то броском, новым взлётом, взрывом — и он непременно выплеснется на Запад.

— Вы думаете, на Запад?

— Безусловно. Клапаны не приоткроются больше, чем положено. И литература будет перехлёстывать цензурные рамки.

— Вы говорили, что война имеет свои законы, которые часто оказываются сильнее воли тех, кто эту войну начинал. Но подобным же может оказаться и процесс демократизации. Горбачёв и другие хотят только приоткрыть клапаны, чтобы чуть-чуть выпустить пар. Но пар этот, надеюсь, может сорвать крышку. Они не смогут её удержать.

— Коммунистическая диктатура держится на могучем инстинкте самосохранения, он ей вовремя просигналит: «Пора перекрывать!» Они освобождаются от геронтократического балласта, от тех, кто плохо служит своему классу. Хочется более зубастых, энергичных. Идёт смена поколений — но именно затем, чтоб сохранить суть. И после смены мы можем увидеть диктатуру ещё более жёсткую.

— Вы читали, наверно, беседу Горбачёва с писателями. Он же просит поддержки у общества. Он боится, что его могут сместить, если он не станет популярным.

— Были уже такие беседы. Была беседа Хрущёва с Твардовским. Никита Сергеевич тоже искал поддержки у интеллигенции, которую потом громил. Всякий лидер ищет поддержки, потом ему захочется воспевания. Мне

эта беседа показалась спекулятивной. И я бы на неё не пошёл. У литературы, извините, своя задача — не лидерам помогать сделаться популярнее, а выражать истину, как её понимает писатель.

— Но литература, пожалуй, самое сильное средство воздействия на общество. Особенно у нас на родине. И лидер, естественно, хочет, чтобы она с ним не враждовала.

— А для этого надо только одно — то, о чём попросил французский художник Гюстав Курбе, когда ему присудили государственную премию. Он её вернул со словами: «Правительство тогда исполнит свой долг перед художником, когда оставит его в покое». Я за то, чтобы лидеры нас ни к чему не призывали, а позволили бы литературе развиваться по её собственным законам. А пока происходят такие беседы и вызывают у писателей интерес, до настоящей «оттепели» ещё далеко.

— То есть, по-вашему, эта система ещё работоспособна?

— Да, поскольку она способна на некоторую перестройку, чтобы избавиться от одряхлевших частей и заменить их новыми. Но вся самостоятельность, которую при этом обещают обществу, это самостоятельность кошки или собаки, которую выводят на поводке. Весь эксперимент — на пять или на десять сантиметров отпустить поводок? А просто отстегнуть его — об этом и речи нет.

— Возьмём, к примеру, бунт «киношников». Он явно не был запланирован сверху. Он произошёл спонтанно. Да, номенклатура, карательный аппарат — это большая сила. Но не единственная. Есть ещё и сила общественного интереса.

— Незапланированные бунты и раньше происходили — тот же «Новый мир» Твардовского. Давали журнал, казалось бы, человеку проверенному, многократному лауреату, советскому патриоту, настоящему коммунисту — все похвальные слова со стороны власти можно было отнести к Твардовскому. А он произвёл этот одиннадцатилетний бунт, который мы называем эпохой «Нового мира» — и который закончился поражением.

— Этот бунт не завершён. Подавили «Новый мир» в 70-м, а и Владимов, и Войнович, и Некрасов — оттуда.

И «деревенщики» начинались там. Не будь Твардовского, и Солженицын мог бы не состояться. Эта эпоха не закончилась. Сегодня Залыгин ведёт «Новый мир», Бакланов «Знамя» — и все они ориентируются на Твардовского, все хотят быть, как «Новый мир» тогда. То, что было сделано в те годы, не погибло. И «оттепель» не прошла бесследно. После «оттепели», естественно, наступили «заморозки», общественную жизнь придавили, прижали, но завтра она опять возродится. Я верю в это.

— То, что сделано «Новым миром», правозащитниками,— уже необратимо. Но и номенклатура совершенствуется, она учитывает все уроки.

— Мне кажется, что она больше не сможет властвовать безраздельно. В ближайшее время, надеюсь, будет заключён какой-то компромисс между властью и обществом. Много больше будет позволено.

— То есть поводок отпустят на пятнадцать.

— Вы хотите идеала. Только в идеале человек может быть свободен. Но и здесь, на Западе, есть свой поводок — деньги. Сейчас речь идёт лишь о степени несвободы.

— Поскольку всё относительно, сравним эти две «оттепели». Ну, во-первых, несколько миллионов заключённых вышли разом из лагерей, теперь их выпускают по одному, по два. Кроме того, та «оттепель» была сюрпризна, были вещи неожиданные, мы о многом не думали, что это возможно. Здесь же — всё наоборот: большие ожидания, и после каждого шага, каждого телодвижения властей — разочарование. Ждали большего.

— Когда вы уезжали из страны, вы написали в письме Андропову, что верите в своё возвращение на родину. Что должно измениться, чтоб вы смогли вернуться?

— Возможно, будет найдена какая-то устойчивая модель, при которой командные высоты сохранятся у номенклатуры и всё же будет удовлетворительное производство благ для народа, чтобы он не чувствовал себя обделённым, несчастным, лишённым радостей. Такую модель, в конце концов, можно найти. Возьмём Германию или Швецию — здесь много элементов социализма, и тем не менее это страны демократические. Не нужна эта «грани-

16 — 3710

ца на замке», такая дорогостоящая, не будет массового выезда. А единичные или групповые и так происходят. То есть должна быть возможность свободного выезда и въезда. Должны быть освобождены все политзаключённые и закончена позорная афганская война. Для меня важен и чисто профессиональный вопрос — возможность печататься, где я захочу. И в советских изданиях, и в западных. Я хочу, чтобы власть, наконец, махнула рукой на писателей — чёрт с вами. Делайте, что хотите, без вас обойдёмся!

— *Верите ли вы, что нынешняя «оттепель» даст вам то, о чём вы сейчас говорили?*

— Хотелось бы верить...

Беседу провёл Владимир Малинкович

«Форум», 1987, № 16

ПИСЬМО АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

Признаться, для меня было неожиданностью, что Андрей Тарковский хочет показать мне на студии «Мосфильм» свою новую картину — «Зеркало». Мы не были знакомы с ним. В 60-е годы я состоял в редколлегии и худсовете Третьего мосфильмовского объединения, которым руководил Михаил Ромм, учитель Тарковского, но его-то самого я, кажется, лишь однажды видел мельком. Но и то сказать, «Мосфильм» — это целый город, где двое могут годами не встретиться.

Насчёт экранизации моей повести «Большая руда» он высказался в том смысле, что делать этого не следовало. Так передали мне. Я спросил — почему? Не ручаюсь за точность его ответа, полученного, опять же, из третьих уст: «А там снимать нечего, там уже всё снято». Было и лестно это услышать, и огорчительно, что автор «Иванова детства» моей бы прозой — как исходным материалом для фильма — не заинтересовался. Но, может быть, тем отчасти и объяснялось неожиданное приглашение, что он хотел услышать мнение прозаика, для его кино вроде бы не приспособленного. Так или иначе, позвонили из съёмочной группы «Зеркала», назвались — Машей, просили подъехать с женой к такому-то часу, нас встретят в вестибюле. А была весна 1975 года, уже по Москве поползло, что вскоре у меня что-то выйдет на Западе, какая-то повесть о лагерях, мой статус менялся круто, заказать для меня пропуск было со стороны режиссёра, всегда полуопального, шагом, сказать помягче, «несвоевременным».

В маленьком просмотровом зале мест на тридцать оказалось нас — не более десятка, считая режиссёра. Я-то думал — битком будет, яблоку негде упасть. Был, помнится, отец его, поэт Арсений Тарковский, была жена Лариса — большая, красивая, с малоподвижным лицом, чем-то мне напомнившая Надежду Монахову из горьковских «Варва-

ров», были две антикварные старушки, которые «знали Андрюшу с детства», о чём всем присутствовавшим сразу сделалось известно, были критик Игорь Золотусский с женой и ещё кто-то из съёмочной группы — около пульта. Впрочем, состав этой группы определился позднее. Больше, чем какой-либо другой фильм, «Зеркало» можно назвать семейным фильмом Тарковских. Звучал за кадром голос отца, читавшего свои стихи, в роли старой матери снялась мать Андрея, Мария Ивановна Вишнякова, первую любовь мальчика играла падчерица Оля, дочь Ларисы. Сыграла и Лариса — в эпизоде труднейшем, в партнёрстве с одной из самых больших наших актрис, Маргаритой Тереховой, готовой вполне, как кажется мне, к роли Марины Цветаевой, если б кто сподобился сделать сценарий. Не многие кинозвёзды выдержали бы такое партнёрство, Лариса «держала кадр» с нею вровень — что тоже говорит о воле и мастерстве режиссёра. Наконец, и сам он появлялся в кадре — правда, лица было не видно, а только руки, измождённые руки умирающего, распластанные на постели. Кто бы почувствовал тогда, что он, как было свойственно его дару, прозревает собственную, уже надвигающуюся, судьбу!

Обычно в таких студийных зальчиках принято переговариваться, обмениваться замечаниями, шутками, здесь — сразу повисла напряжённая тишина. Видевшие «Зеркало» помнят, наверное, испытанный ими шок — с первых же кадров вступления, когда женщина в белом халате, врач-логопед, громадным усилием воли, с каплями пота на лбу, заставляет заговорить, возвращает речь юноше, немому от рождения. Ему-то возвратили, а у нас — отняли. И я сидел, как будто вдавленный в кресло, а фильм рушился и рушился на меня глыбами. Всего-то раз мне довелось видеть его, но помню до сих пор его завораживающий, изматывающий ритм, то мучительно-замедленный, а то обрывающий сердце стремительными переходами. Пожар — из памяти детства — длится так долго, столько дают вам вслушаться, как трещат доски горящего сарая, что жаром пышет в лицо, всем телом ощущаешь опаляющую жестокость огня. И следом — чёрно-белые кадры фронтовой хроники, по праву и в полной мере авторские — ведь никто до Тарковского их не выбрал,— жестокие по-своему, хотя нет в них ни стрельбы, ни разрывов, ни падающих тел. А есть — штрафники, форсирую-

щие Сиваш, медленно, враскачку, бредущие болотистым месивом, вытягивая пудовые ботинки с обмотками. И не сразу отмечает глаз самое страшное — что они, по сути, безоружны, хоть каждый что-то несёт, прижавши к груди: кто мину для миномёта, кто — снаряд. Так они — всего лишь «подносчики», затем и погнали их через гнилой Сиваш? И ноша каждого из них — это и цена ему, цена немыслимым его мучениям... Говорят, вода — излюбленная кинометафора Тарковского, выражающая течение жизни. Пожалуйста, вот ещё вода, такой же холодный, до костей пробирающий кадр, но кажется, тут уже не до метафор. Трое солдат на плоту переправляют пушку-сорокапятку; валит мокрый снег, зыбь дохлёстывает им до колен, а пушке — до колёсных ступиц. И вот упавший неподалёку снаряд нагоняет волну, плот накреняется — и пушка валится, валится в чёрную воду, с плавающим в ней снежным крошевом. И до слёз жаль эту пушку, жаль, как живого человека, жаль и солдат, не сберёгших свою утопленницу,— что они теперь без неё, к чему были все мучения переправы? Но я, однако, увлёкся: говоря словами Тарковского, здесь рассказывать нечего, уже всё рассказано, и этот рассказ лишь при конце его, при зажёгшемся в зале свете позволяет наконец перевести дыхание.

В коридоре — Тарковского сразу же обступили плотно, говорили наперебой, он отвечал устало, рассеянно и был очень напряжён; меж чьих-то голов я видел, как дёргается ус и на впалой щеке вспухают и разглаживаются желваки — в странно-чётком ритме, как будто совпадая с ударами сердца. А я всё не мог пробиться к нему, пожать руку, сказать несколько слов. Но вот вопрос — каких именно слов? Я тогда был храбрее, сейчас — не смог бы их сочинить. Прочтя, скажем, «Анну Каренину» или «Смерть Ивана Ильича» и повстречавши тотчас автора, что б вы ему сказали? «Гениально, граф!»? Или — ничуть того не лучше: «Потрясён, Лев Николаич, нет слов!»? Наверное, сама ситуация уберегла меня от неизбежных банальностей, какими могло бы начаться и на том закончиться наше с Андреем Тарковским знакомство. Заждавшись своей очереди и чувствуя себя несколько чужеродным в этом кругу своих, я ушёл потихоньку, не прощаясь.

Я не предполагал, что мой незаметный уход огорчит Тарковского, воспримется так, что фильм не понравился мне. А положение с «Зеркалом» складывалось худо, уже

год, как фильм не мог выйти на экраны, начальство всё не давало визы печатать копии, всё раздумывало, каких потребовать купюр или пересъёмок, и время от времени автор вот так, «для избранных», показывал единственный студийный экземпляр,– который, между прочим, любой коллега-режиссёр мог заказать для себя да что-то и перенять, в порядке «творческого заимствования»; не так же ли было с «Андреем Рублёвым», к выходу уже слегка «состарившимся» в каких-то деталях, в блистательных находках? Что я мог, узнав обо всём этом? Только одно – написать ему, высказать то, что не удалось при встрече. Не знаю, сохранилось ли моё письмо в семье Тарковских, и не берусь его воспроизвести, черновика или копии я не оставил, да, кажется, их и не было. Зато сохранился быстрый его ответ – рукою, явно не привыкшей к машинке, прекрасным почерком живописца или поэта, только не нашего века; таким почерком могло б быть написано лермонтовское «Как часто, пёстрою толпою окружён...», когда бы не отсутствие твёрдых знаков и ятей. Чудом этот ответ уцелел при обысках – а могли и спереть, не занеся в протокол. Перед выездом на Запад, в видах пристрастного таможенного досмотра, я его оставил у надёжного человека. Недавно мне привезли это письмо из России.

Вот оно:

«*21 апреля 75*

Уважаемый Георгий Николаевич!

Я был тронут и обрадован Вашим письмом. И, в особенности, потому, что привык к настороженному (правда, не всегда агрессивному) восприятию того, что я делаю.

Что же касается «Зеркала», то тут на меня бросились почти все без исключения коллеги, пытаясь меня осудить и даже призывая спасать меня от самого себя и вызволять из тупика, в который я попал.

Не мне Вам объяснять, что такое эти коллеги. Ну, да Бог с ними!

Мне особенно приятно Ваше письмо тем, что «Зеркало» я делал, как исповедь – максимально искренно и без позы. И если Вам наша работа показалась близкой, то в этом не только заслуга авторов, но и тех, кто серьёзно относится к окружающим.

Чувство достоинства понятие обоюдное, построенное на взаимном уважении и на уважении самого себя.

К сожалению, кино у нас — расхожая монета и серьёзно заниматься им неприлично. Всё равно как работать в пивнушке и не воровать при этом.

Мысли эти невесёлые, работа в кино омерзительна. Вы поймёте,— Вы сталкивались с этими людьми.

Я с удовольствием ушёл бы из него, но я ничего больше не умею путём делать.

Я не берусь сказать Вам, чем именно тронуло меня Ваше письмо. Видимо, тем ещё, о чём Вы умолчали. Ибо между строк Вы заставляете находить в Вашем письме многое, что оказывается общим у нас с Вами: и Бунин и оценка жестокости и о мере искренности и о структуре вещи. Надеюсь, мы сумеем поговорить, ежели даст Бог увидеться.

Позвольте поблагодарить Вас за всё. Может быть, для Вас этого письма мало (как действия), мне же оно помогает выжить.

А. Тарковский».

Ответ — несомненно, большого человека, искреннего и великодушного, без малейшей рисовки и позы, не боящегося открыться ближнему — в сущности, случайному, с которым ещё двух слов не сказал,— как трудно ему жить и работать. Я писал разным людям — к сожалению, не всегда достойным,— за многих вступался (из коих иные мне этого простить не могли и при случае хорошо мстили), но не часто дано мне было узнать, что мои слова, наспех, сумбурно изложенные на бумаге, оказали и прямое действие, кому-то хоть в малой степени помогли справиться с жизнью, облегчили её тяготы. И этого — достаточно. Не помню, я, кажется, писал, что готов где угодно выступить в защиту фильма «Зеркало»,— Тарковский этой жертвы не принимает, ему не нужно чьей-то Голгофы ради него, хватит и того, что сказано, это и есть — действие. Но не забуду, что в мои трудные дни сам он, не колеблясь, за меня вступился.

После наших с ним встреч в Москве и в эмиграции, пусть долгих и обстоятельных, после многих телефонных бесед и элегичных застолий, я всё же не берусь сейчас, даже коротко, обрисовать этого сложного, но и очень определённого человека, всегда чётко формулировавшего и свою мысль, и своё отношение к жизни и к людям. Тарковский — это целая планета, с замысловатой, но и весьма точной орбитой. Стану придерживаться его письма, тех мест, которые могут быть не поняты или поняты превратно.

Вот, скажем, о Бунине. Я упоминал его рассказ «Журавли», говоря о том, как порой действует в искусстве загадочное, не поддающееся формулированию, к примеру — выкрик внезапной неизъяснимой тоски в словах мужика, загнавшего лошадей, разбившего бричку и лежащего на земле, раскинув руки, лицом к небу: «Эх, барин, журавли улетели!» Однако не столько Бунин свёл нас друг с другом, сколько Толстой, наша к нему любовь и то, что мы оба считали его высшим художественным гением в русской прозе, у которого как раз всё просто и объяснимо. Я не слышал от Тарковского, чтобы какую-то вещь Толстого он хотел бы экранизировать. «Прозу и нельзя,— говорил он,— экранизировать адекватно». (Это, к слову, подробно и достаточно убедительно доказывается в книге Льва Аннинского «Толстой и кинематограф».) Но и без того Толстой определённо присутствует во всех его фильмах, начиная с «Иванова детства»,— явно из «Детства» Толстого стеклянно-прозрачные сны Ивана, да, может быть, и само название. Практически же — как тема — его занимал уход старца из Ясной Поляны, бегство от тесноты и суеты мира. Возможно, он искал сценарий или сам хотел написать, во всяком случае — собирал, коллекционировал малейшие подробности. Как-то я заметил ему, что вот Толстой всю жизнь боялся железной дороги, ненавидел её, для Анны Карениной избрал орудием самоубийства, а вышло, что сам умер в нескольких метрах от ближайшего рельса, в домике станционного начальника. Тарковский тотчас зажёгся и быстро спросил, может ли он использовать эту мысль. Использовать не успел, но тема ухода всё же нашла воплощение в его последней картине «Жертвоприношение», в судьбе Александра, поджигающего свой дом.

В самом ли деле Тарковский «с удовольствием ушёл бы» из кино — он, более, чем кто другой, для кино родившийся? Думаю, эта фраза лишь передаёт глубину его тогдашнего отчаяния, в других обстоятельствах он высказался иначе: «Для меня кино не профессия, это моя жизнь, и каждый фильм для меня — поступок». Как же, в таком случае, понимать частые его признания, что он не знает, что такое кино? Да так же, наверно, как зачастую не знаем мы, что такое наша жизнь и к чему приведёт тот или иной наш поступок. Это ощущение своей беспомощности, неумения, незнания азов посещает и писателя перед

каждой следующей вещью, какой бы она ни была по счёту. В любом другом деле, кроме искусства, мастер по крайней мере знает, каким инструментом он воспользуется,– художник ещё должен этот инструмент создать – и создаёт его параллельно с самим произведением: стиль, интонацию, структуру вещи, все те вспомогательные ухищрения, что называются грубо «приёмами». Он движется ощупью, часто без плана и не по чертежу; ещё Писарев как-то заметил, что хороший писатель, художник действует, как плохой портной: там обрежет, там подошьёт. Девятнадцать раз перемонтировалось «Зеркало» – какой уж там план, какой чертёж! Что Андрей Тарковский не знал всех возможностей кино и своих собственных возможностей, это именно свойственно большим художникам; ремесленник-то как раз всё, что нужно ему, знает заранее и рассчитал наперёд.

А вот омерзительность самого «кинопроизводства» – она и в Москве была, и оставалась на «свободном» Западе. Там – омерзительное давление идеологии, стоголовой цензуры, здесь – омерзительное давление честной отработанной халтуры коммерческого кино, всех этих до смерти ему ненавистных погонь и битья машин, ежеминутной пальбы, полицейских с «кольтами» и наручниками, техничного мордобоя, техничного – и не более того – секса, ну и непременно – денег, плотными пачками в чемоданах. И он страшился всерьёз, что, если очередной его фильм – «Ностальгия» – не будет иметь коммерческого успеха, какой же продюсер станет вкладывать деньги в следующий? Деньги, разумеется, нашлись – в Шведском институте кинематографии,– и он поставил «Жертвоприношение», и нашлись бы они на его «Гамлета» и ещё на десяток фильмов Тарковского. Но другая опасность подкралась к нему – изнутри, и, может быть, стала главной причиной его болезни: гнетущее сознание, что он никому не нужен в России, при всех его международных наградах и премиях, при его мировой известности.

Здесь оговорюсь: это сознание не в эмиграции возникло, оно прочитывается в его московском письме, на чужбине – оно только ещё усилилось и обострилось. Тарковский-художник в «Ностальгии» спокойно и мудро поведал о себе, о том, почему невозможно ему жить на родине, какая она есть, и почему невозможно без неё. Тарковский-человек – срывался оттого, что не было ответа на его

письма Андропову или Черненко, на его мольбы выпустить к нему за границу его близких. А кто же их, высочайших, настраивает против него, подсовывает им решение? Конечно же, Ермаш, хозяин советского кинематографа, кто уже столько крови попортил ему, Тарковскому. Его громы и молнии против этого Ермаша мне, право, больно было слышать. Боже, да кто он, этот Ермаш? Даже не Бенкендорф! К сожалению, конфликт художника с мафиозной партийной мразью по эту сторону смертного рубежа в большинстве случаев кончается в пользу мрази. Да не затем же рождается художник, чтобы противостоять её слаженному напору или глухой обороне. За ним остаётся — последняя победа, только слишком часто — посмертная. Близких к Тарковскому выпустили — однако не раньше, чем выяснилось, что положение его безнадёжно...

И ещё одно, последнее — о коллегах. Он дважды и трижды возвращается к ним и говорит уверенно, что я этих людей знаю. Да, знаю. И над засыпанной парижской могилой хочется мне назвать поимённо их всех, кто не только не защитил своего собрата, но годами занимался глупым и злым делом — спасал художника от его дара, тайной его свободы.... Но — не стану этого делать, не нарушу воли покойного, всё им простившего, отмахнувшегося: «Ну, да Бог с ними!»

И правда, Андрей, Бог с ними! Ты возвращаешься в Россию своими великими фильмами — и оказывается, ты не только нужен ей сейчас, но и тогда был нужен, когда сам в это не верил. Вот пишет в ярославскую газету Андрей Кардин, тоже Андрей, тридцати одного года, инженер, создатель весьма ощутимых, материальных ценностей: «Тарковский был одним из главных наших помощников в ежедневной борьбе за собственное “Я”, за совесть, красоту и Родину... Рассказывайте о нём чаще, рассказывайте о нём больше, пусть его имя будет всегда “на слуху” — это нужно молодым...» И, кажется, приходит к нам сознание, как мы были расточительны и жестоки со своими гениями, с национальным достоянием.

Счастье — запоздало. Но не ты ли мне говорил, убеждая больше себя самого: «Ну что ты, Жорж! Ну кто нам внушил, что мы должны быть счастливыми? Были бы — покой и воля...»

«Русская мысль», 6 января 1989 г.
Радио «Свобода»
«Искусство кино», 1991, № 1

К 70-ЛЕТИЮ ДЖЕРОМА Д. СЭЛИНДЖЕРА

Так получилось, что последняя моя критическая статья была о романе Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Он только появился тогда в 11-м номере «Иностранной литературы» за 1960 год, и внимание читателя занимало новое имя, открытое для нас прекрасной переводчицей Ритой Яковлевной Райт-Ковалёвой. В ту зиму в «Новом мире» вылёживалась моя первая повесть «Большая руда», и чем-то же нужно было скрасить томительное ожидание — может быть, совсем далёким от Курской аномалии и трагической истории шофёра Пронякина. Сколько помню, статью о Сэлинджере мне не заказывали, и на стол Твардовскому легли сразу две — моя и ещё одного критика, называть его не буду, скажу лишь, что от его статьи Александр Трифонович пришёл в сильнейшее негодование: «Я не понимаю, он кто, этот Сэлинджер? Он писатель или недоучившийся марксист?» В набор послали мою статью — «Три дня из жизни поколения»,— но, как известно, в «Новом мире» любили менять названия, избегали обобщать — чтобы, как говорилось, «не дразнить гусей», поэтому назвали «Три дня из жизни Холдена», а больше не поправили запятой. Кстати, и «Большая руда» — название новомирское, дал его Б. Г. Закс, но я уже свыкся и не меняю. По выходе статьи — в февральском номере 1961 года — я получил от Райт-Ковалёвой тёплое письмецо, из которого следовало, что это именно та награда, какую она ждала от нашей критики за свой многотрудный перевод. В свою очередь, её письмо было наградой мне.

Как ни относиться к России, а не отнять у неё звания великой страны читателя. И сколькие западные авторы встречали у этого читателя приём куда радушнее, чем у себя дома! Сдаётся мне, и Сэлинджер с его романом нашёл у нас аудиторию более благодарную, чем в своей

Америке. Мне встречались потом убийственные отзывы о нём коллег-американцев — чем-то он сильно их раздражил, потревожил тихие заводи литературного истеблишмента. В России же — дотоле неизвестный Сэлинджер даже потеснил тогдашнего кумира — Хемингуэя.

Не тонкость отделки и не изящество построения делают роман «Над пропастью во ржи» тем, что он есть: одной из самых беспощадных, остро жалящих книг. Она идёт к вам путём бесхитростным и кратчайшим, без модного тогда «подтекста», ходами предельной откровенности. Секрет казался так прост, что один молодой тогда писатель, из родоначальников «исповедальной прозы», даже заявил — и это всю литературную Москву облетело,— что, если б ему позволили писать сленгом, он бы такое написал за неделю. Много недель прошло, а что-то не написал пока. Но поймём и простим его бахвальство: за ним проглядывало сознание, что невозможно у нас напечатать книгу о том, как тяжко молодости жить посреди затопляющей лжи, показухи, сплошной липы,— о чём предоставил высказаться Сэлинджер 16-летнему школьнику Холдену Колфилду.

Холден пишет вам — или рассказывает — из туберкулёзного санатория, куда он попал в результате своих злоключений. Он не актёрствует, не выставляется напоказ, не сочиняет сюжетов из своего «дурацкого детства», обходится без «всей этой давид-копперфильдовской мути», а просто рассказывает о трёх днях своей жизни — суматошной, безалаберной и невыносимой для него, меньше всего рассчитывая понравиться вам — и больше всего он нравится вам этим и заставляет ему поверить. Эти три дня выбраны как будто случайно, ничего особенного в них не происходит — ну попёрли юного лодыря из аристократической школы Пэнси; ну пальто украли; ну забыл в метро «идиотское снаряжение» фехтовальной команды. Его несчастью не сразу и подберёшь имя. Просто он оказался внезапно вышибленным из своей респектабельной обыдёнщины и остался наедине с собою, словно бы повис над гигантским, бурлящим и пустынным Нью-Йорком, где только «жуткий холод» и «кругом — ни души». И несчастье стало предельным, достигло красной черты на шкале.

Несчастье Холдена родилось вместе с ним, с его невесть как сформировавшейся душой, чистой и бесконечно мягкой, ранимой, отзывчивой даже просто на челове-

ческую улыбку,— несчастье естественного человека, принуждённого жить неестественной жизнью, приспосабливаясь к морали преуспевающих дельцов, «маклеров-удавов», «хлюстов», «жулья», «смазливых ублюдков», «остроумных болванов», «распутных сволочей», «всяких психов» и «двоюродных подонков», от которых нет спасения и на кладбище, потому что страшно представить себе, «как миллион притворщиков явится на мои похороны... а вокруг одни мертвецы и памятники». Это всё — из словаря Холдена, это его, так сказать, пафос отрицания. Где же «программа положительная»? Чем жить ему в жутком одиночестве?

«Понимаешь,— говорит он единственному любимому существу, сестрёнке Фиби,— я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И моё дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Вот и вся моя работа. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему».

Какой-то взлохмаченный стиль этой книги, пронзительная, щемящая интонация буквально нас ошеломили, и многие из писателей моего поколения прошли школу Сэлинджера. Мне он подал мысль написать весь роман «Три минуты молчания» от первого лица, и может быть, кто из читателей отметил родственность Холдену 25-летнего Сени Шалая, повествующего о своих злоключениях в туманном Мурманске и на борту сельдяного траулера. Меткий глаз Твардовского это углядел. Относясь настороженно к заимствованиям у иностранцев, он всё же одобрил мой опыт, хотя воспротивился жанровому определению. «Роман от первого лица — это не в традиции русской литературы,— сказал он при обсуждении.— Назовите мне хоть один». Кто-то из редколлегии назвал ему такой роман — «Подросток» Достоевского. И он кивнул удовлетворённо: «Иностранцы-то и наше перенимали!»

К тому времени — год 1969-й — к Сэлинджеру стали понемногу остывать. В том уголке нашей души, что был отведён чужеземной литературе, поселился Фолкнер. Изредка появлялись рассказы Сэлинджера — «Ловится рыбка бананка», «Выше стропила, плотники!», «И эти губы, и глаза зелёные»,— в них он подтверждал свой класс, и

порою слышались мотивы «Над пропастью во ржи», это обещало сильное продолжение, но его не было. Десять лет спустя после романа Райт-Ковалёва рассказала мне, что Сэлинджер давно ничего не печатает, живёт уединённо, недоступен для прессы, жена к нему никого не пускает. Похоже, он продолжал жизнь Холдена — и значит, не в сленге была вся сила, а в том, что такую книгу нужно было своей судьбой выстрадать. Года два назад в газете «International gerald tribune» промелькнуло, что Сэлинджер затевает судебный процесс против публикации его частных писем. Можно было понять, что он по-прежнему ревниво оберегает свою одинокую суверенность, но, видимо, интерес не пропал к нему, если письма его представляют ценность.

Сегодня Джерому Сэлинджеру 70. В этом возрасте, вероятно, трудно ждать от писателя чего-то ошеломляющего. Но не будем спешить, мы ведь не знаем, что находится у него в столе.

Радио «Свобода», 1 января 1989 г.

ТРАГЕДИЯ ВЕРНОГО РУСЛАНА

Интервью газете «Московские новости»

В февральском номере журнала «Знамя» печатается повесть Георгия Владимова «Верный Руслан». С автором, который живёт сейчас в западногерманском городке Нидернхаузене, беседует писательница Елена Ржевская.

— Георгий Николаевич, наверное, у писателя-эмигранта к публикации на родине отношение особое?

— Я думаю, это знак, что твоя страна обойтись без тебя не может и не хочет, ты остаёшься частицей её культуры, её духовной жизни. Когда позвонил мне Григорий Бакланов — сообщить о своём решении, спросить моего согласия,— было отрадно, что меняется отношение к «отщепенцам» и что «Руслан» ещё не состарился. Не скажу, что он обижен вниманием на Западе: не единожды он выходил на русском и других языках и продолжает издаваться; проникал он малыми дозами и в Россию, звучал — сквозь глушилки — в эфире, но всё это несравнимо с открытым широким выходом к читателю-соотечественнику, кому и адресована была в первую очередь эта повесть.

— Помню её ранний вариант — это ещё был рассказ. Было странно, что к теме сталинских лагерей обратился молодой писатель, автор «Большой руды», сам как будто не пострадавший...

— Я-то не нахожу странным, что занялся этой темой. Не много, я думаю, наберётся семей в Союзе, которые бы не ощутили хоть издали дыхание ГУЛАГа. Мою мать в 1952 году арестовали «за разговоры», готовилось и на меня дело, да смерть Сталина его пресекла. Дело это тянулось из 1946 года, когда я, 15-летним суворовцем, прочтя постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», явился на квартиру к Михаилу Зощенко выразить ему сочувствие. (Следователя очень интересовало, почему ж

я Ахматову не посетил,– это бы, наверное, облегчило ему «оформление». Но я тогда не читал её стихов.) В 1956–59 годах я работал в отделе прозы «Нового мира» и читал почти все «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Наслушался и устных преданий от бывших узников – больше всего, конечно, от матери. Словом, созрел вполне. И для меня не было сенсацией появление «Ивана Денисовича», но было сигналом, что ворота лагерной темы открылись.

– Почему, имея богатый выбор, вы избрали главным героем – собаку?

– Этого героя я долго искал. Найти героя – это много, это уже половина дела. Он, с его судьбой, выражает философию вещи, все остальные работают на него. Пусть я консерватор, но мне чужда так называемая «полифоническая проза», где автор беспристрастен к своим персонажам и первенства никому не предоставляет. Мне кажется, нет главного героя – нет и центральной идеи.

– Но может и сама авторская идея стать таким героем, как у Толстого в «Войне и мире»?

– Я думаю, там она всё же персонифицирована. Не в Платоне Каратаеве, как, верно, думалось автору, даже не в Кутузове, а в Наташе Ростовой. Все основные события вертятся вокруг неё, на её судьбе отражаются; говоря словами Толстого, он любит в ней и «мысль семейную» – о роли и предназначении женщины, и даже «мысль военную». Взять тот эпизод, где «графинечка» Ростова велит выбросить с подвод фамильное добро и предоставить их раненым офицерам. Это немало, это и есть народная война, которой Наполеон не ждал в России...

Возвращаясь к теме ГУЛАГа – кто мог быть его героем? Я представлял себе такую гипотетическую фигуру, которая бы увидела в этом чудовищном предприятии некий высший смысл и целесообразность, осуществлённую утопию. Бывает, ретивый приверженец разоблачает идею сильнее, чем все ниспровергатели. Но такую фигуру мы не найдём среди жертв, они в этом смысле антигерои. Едва ли и среди палачей найдём, эти в достаточной мере были циники, ведали, что творили. Разве что люди верующие могли принять свои страдания благостно – как испытание, ниспосланное свыше. Но тут для

автора таилась опасность — соскользнуть к оправданию ада. И вот как-то писатель Н. Мельников, новомирский автор, вернувшись из Темиртау, где прежде был «сталинский курорт», поведал мне среди прочего о конвойных собаках, которых почему-то не расстреляли, как того требовала инструкция, а просто выгнали. Оголодавшие, не бравшие еды ни из чьих рук, они продолжали нести службу: завидев демонстрацию или иную пешую колонну, сопровождали её и всех выходящих заталкивали в строй. Вот так я нашёл своего героя.

— *И как же сложилась судьба рассказа?*

— Рассказ получился в духе язвительной, но чересчур прозрачной сатиры на бериевца в собачьей шкуре. Новомирцы отнеслись к рассказу, в общем, доброжелательно, просили только поубрать излишний антропоморфизм, побольше «особачить» героя. Но мне ещё предстояла встреча с Александром Трифоновичем Твардовским, который себя с гордостью — и по праву — называл «квалифицированным читателем». К этому читателю я сам обратился со всеми сомнениями. Он взял на прочтение часа полтора и потом сказал: «Что ж, мы это можем тиснуть. Я как главный редактор не возражаю». Вот это «тиснуть» меня убило. «Но вы же вашего пса не разыграли,— сказал А. Т.— Вы же из него делаете полицейское дерьмо, а у пса — своя трагедия!»

— *И если бы не разговор с Твардовским, то, может быть, прошёл бы тот рассказ...*

— ...за который мне сейчас, пожалуй, было бы неловко. Но никаких советов он не давал мне. А.Т. вообще не вмешивался никогда в замысел автора, но лишь оценивал. Он говорил на редколлегиях: «Автор о своих героях знает в тысячу раз больше, чем мы все, здесь сидящие». Мне хватило его мнения, чтобы я рукопись забрал, и надолго. Постепенно я пришёл к тому, что никаких аллегорий быть не должно, только собака, простодушный, обманутый нами зверь. И сама собой получалась — трагедия.

— *Это, наверное, и самое трудное было — проникнуть в собачий разум, постичь её «мировоззрение»?*

— Да, потому что внешнюю сторону — собачьи повадки, приёмы дрессировки — это я знал. Я в детстве, до вой-

ны, занимался в кружке юных собаководов, мы готовили наших питомцев в подарок пограничникам; самый смышлёный получал кличку Ингус и направлялся славному Карацупе. Не знаю, куда они там направлялись и какой ещё проходили «спецкурс» — может быть, и конвойный. Я был знаком с цирковыми дрессировщиками, укротителями, видел их работу на репетициях. Но сверхзадача была — увидеть ад глазами собаки и посчитать его — раем.

— Вторая дата, проставленная вами,— год 1965-й. Уже видна вся безнадёжность увидеть повесть напечатанной.

— Да, покуда я её «особачивал», сняли Хрущёва, и ворота лагерной темы закрылись наглухо. Новый вариант я упрятал подальше и постарался забыть о нём. Только в 1974-м, когда мне предложили издать повесть на Западе, я её достал и ещё раз переписал.

— Этот вариант, уже третий, и появится в «Знамени»?

— Опять же, с небольшой авторской правкой. Спустя годы всегда найдётся что поправить.

— Анатолий Приставкин пишет в «Неделе», что повесть «Верный Руслан», её появление на Западе явились причиной нападок на вас. Так ли это?

— Так могло ему показаться, потому что все беды моих коллег с этого начинались. Но со мной было, скорее, наоборот. Тогда Московскую писательскую организацию возглавил ненадолго С. С. Смирнов, автор «Брестской крепости». Он не требовал от меня покаяний, он добился, чтобы вышел мой роман «Три минуты молчания», который семь лет не издавали, призывал меня «вернуться в советскую литературу». Он был последним из тогдашнего руководства, кому было не наплевать, что уходят писатели в эмиграцию. После его смерти стали уже просто выталкивать. Атмосфера сделалась удушающей. И я вышел из Союза писателей. Нападки начались из-за моего слишком буквального следования уставу союза. Звание литератора обязывало меня защищать людей, несправедливо преследуемых, выступать и против государственных решений, грозящих моей стране последствиями непредсказуемыми. Назову для примера ссылку академика Сахарова и Афганистан. Весь набор гонений, обрушившихся на меня само-

го,– отключение телефона, угрозные письма, слежка, обыски и прочее,– я описал в рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро». Видно из названия, как я к этому всему относился, пока не забрали пишущую машинку...

– Я думаю, происходящий сейчас в Советском Союзе процесс перестройки не может вас не волновать. Но как вам видится из вашего далека – достиг ли этот процесс порога необратимости?

– В известном смысле все исторические процессы необратимы: они оставляют по себе память. Необратимой была и хрущёвская «оттепель», очень многие забыть о ней не смогли и к «застою» не приспособились. В первых интервью на Западе, в 1983-м, я говорил, что демократическое сознание с его стремлением к открытости, гласности, раз возникнув, уже не может умереть, это как отменить закон Архимеда или всемирного тяготения. Говорил и о том, что на смену 70-летним придут руководители из моего поколения, минуя 60-летних. Так оно и вышло. Михаил Горбачёв – 1931 года рождения, на 11 дней меня младше, в годы високосные – даже на 12. Но я понимаю, что процесс этот долог, тяжёл, мучителен для живущих в Союзе, и мне по поводу всего происходящего не хочется ни зубоскалить, ни впадать в эйфорию. Возможен ли рецидив, новый «застой»? Я не исключаю. Но он был бы ещё нетерпимее и оттого – кратким. Другого пути, чем стать открытым обществом, не на словах, а на деле самой демократической страной в мире, история не предлагает.

– Вы уехали в 1983 году в возрасте 52-х лет, без достаточного знания языков, и то была ваша первая поездка на Запад. При таких обстоятельствах адаптация к новой жизни трудна необычайно...

– Я и не рассчитывал адаптироваться. Кёльнский университет пригласил меня на год читать лекции о русской советской прозе. Оформлявшие выезд сказали мне, что возвращение зависит от того, как буду себя вести. Но указ о лишении гражданства был подписан через месяц. Право, я ещё ничего и не успел натворить. Читая лекции, говорил, что лет через пять в СССР начнутся перемены... Адаптация и сейчас в мои планы не входит. Знания языков, английского и немецкого, хватает мне и на самое необходимое – магазин, парикмахерская, бензоколонка,–

и на то, чтобы сравнить жизнь иную с жизнью в России. Хватило бы меня адаптироваться к тому, что там сейчас происходит. Столько приходится читать! И не только новости, но и «Доктора Живаго», «Пушкинский Дом», «Жизнь и судьбу», «Факультет ненужных вещей». Я их читал в Москве, но знаете, они как-то по-другому читаются на страницах московских журналов. Что же до так называемых «бытовых условий» — не из комфортной сытой Европы, где даже слишком слышен процесс жевания, объяснять моим соотечественникам, что чересчур больших усилий и не требуется, чтобы держаться «на плаву». Мне довольно, что есть где печататься, есть возможность работать спокойно, не перепрятывая рукопись и архив, как приходилось в Москве.

— В связи с этим традиционный вопрос: что вы сейчас пишете из прозы? Печатались в эмигрантских журналах и передавались по радио главы из романа «Генерал и его армия». Это и есть тот роман, о котором ходили слухи, что он — о Власове?

— Вот из-за этой гиперболы, невесть кем пущенной, и приходилось прятаться. Генерал и его армия — это не Власов и не РОА. Мой генерал — вымышленный, хотя и не без опоры на прототипа, он командует армией, захватившей Днепровский плацдарм под Киевом осенью 1943 года. Но воспоминания — его и людей из его окружения — протянуты к другим периодам войны, в том числе и к Московской битве, и там есть генерал Власов — в одном эпизоде, когда он решает продолжить наступление, несмотря на первые неудачи. Маршал Жуков в своих мемуарах высоко оценивает действия 20-й армии в декабре 1941 года — и при этом не называет имени командующего. Но так не пишется история. Кроме того, ситуация в романе предлагает моим читателям задуматься о трагедии тех, кто оказался по другую сторону фронта, повернул оружие против своих. Слишком часто люди, взявшие себе право говорить от имени родины, называли предателями тех, кому сами же причинили зло и кто этого зла не вытерпел. На высшем суде — а такой суд лежит в компетенции литературы — и те и другие должны по крайней мере сидеть на одной скамье подсудимых. В составе же суда, стоит добавить, не только автор, но и читатели.

— Будут в романе и другие исторические лица?

— Маршал Жуков, генерал армии Ватутин, генерал-лейтенант Хрущёв. Из немцев — Гудериан, Манштейн. Другие фигуры по разным причинам закамуфлированы, но знатоками угадываются.

— Будет и Сталин?

— Тоже в одном эпизоде, может быть, самом трудном. То есть сравнительно легко набросать портрет невысокого рябоватого человека с трубкой, кавказским акцентом и «тигриными глазами» (у него как раз были не тигриные, взгляд тигра неуловим), труднее понять причины его не только материальной, но и духовной власти над людьми того времени. Мне кажется, при оценке этого человека мы находимся в плену известной формулы: «гений и злодейство несовместны». Формула эта прекрасна — для своего века...

— Рассчитываете ли вы напечатать этот роман и на родине?

— Заранее не рассчитываю — в том смысле, что не стараюсь кому-то угодить, к чему-то подладиться. Но надеюсь, как в своё время насчёт «Руслана». Как и на то, что рано или поздно вернусь в Россию.

«Московские новости», 22 января 1989 г.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1. Как Вы оцениваете феномен «литературы зарубежья»: замкнутая ли это система, часть ли советской литературы или она принадлежит культуре страны, в которой живёт писатель?

Термин «советская литература» я всегда понимал лишь как знак принадлежности к литературам народов, населяющих СССР. Идеологического содержания, как ни пытался, я в этот термин не мог вложить, то есть не понимал, чем принципиально отличалась бы такая литература — в лучших своих образцах — от русского наследия XIX века или от западной классики. Впрочем, спор на эту тему увлёк бы нас чересчур далеко. Если же говорить о русской литературе, она, конечно же, принадлежит и культуре той страны, где волею судеб оказался писатель, поскольку она входит в состав мировой литературы и поскольку издатели отбирают для перевода те или иные произведения, сообразуясь с интересами и вкусами своего читателя. Не знаю, правомерно ли говорить о «замкнутой системе» применительно к литературе русского зарубежья, если она, физически отъединённая от родного ствола, продолжает плодоносить, питаясь накопленными соками. Так отрубленная ветвь тополя или ивы цветёт побегами — и, бывает, весьма буйными,— не укоренясь и даже не соприкасаясь с землёю. Разумеется, это цветение не беспредельно, и оно зависит от возраста и размеров обрубка. Я прожил в России 52 года, и, надеюсь, какое-то время мне будет о чём сказать. Предметом же интереса и темой писания остаётся жизнь в России, какой я её знал и представляю себе сейчас. Сидя за письменным столом в германском Нидернхаузене (крохотный городишко близ Висбадена, ведущий, однако, свою историю чуть не с XII века), я вижу перед собою своего, российского читателя и адресуюсь к нему, хотя, признаться, материально завишу от западного.

Одним из главнейших богатств переселенца — и одновременно сильнейшим препятствием к его переселению в иноплеменную культуру — является язык, оказывающийся чем-то гораздо бо́льшим, нежели просто средством выражения мысли. Оставим в покое музыку, красоту языка — этого предостаточно и у других народов. Но при чтении словарей нельзя не заметить, как, в сущности, мало слов имеют полный и точный эквивалент в чужом языке, не говоря уже об идиомах или устойчивых сочетаниях («взять поезд», «ответить письмо» и т. п.), а иные так и вовсе не имеют эквивалента. Протасов в «Живом трупе» у Толстого говорит: «Это больше, чем свобода, это — воля!» — но как растолковать англичанину, чем одна «freedom» (или пусть «liberty») больше другой «freedom»? С другой стороны, чарующие зелёные глаза героини мало впечатлят жителя Борнео, у которого в лексиконе 37 определений зелёного цвета. Язык оказывается самим существом мышления писателя, стержнем его индивидуальности, то есть наиболее ценного в искусстве, наконец — твердью под ногами. Вот почему проигрывает в переводе любая русская книга — и тем больше проигрывает, чем лучше она, чем гуще в ней атмосфера, воздух жизни,— и почему так редки и безнадёжны попытки влиться в «туземную» литературу. Примеры такого рода (Иосиф Бродский, пишущий некоторые свои стихи и статьи по-английски) единичны и составляют скорее исключение.

Типично же «эмигрантская литература» пока, на мой взгляд, не имеет примеров, достойных рассмотрения в качестве феномена. Даже у авторов, состоявшихся только в эмиграции (Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов, Юрий Милославский, Дмитрий Савицкий, Саша Соколов) и частенько пересыпающих свои тексты англицизмами и галлицизмами, преобладают всё-таки российские мотивы. При этом я не исключаю прекрасный роман из жизни эмиграции, но его автором мог бы быть и писатель, имеющий прописку в Москве и билет ССП в кармане,— может быть, он имел бы даже преимущество свежего взгляда со стороны.

Таким образом, я не нахожу принципиальной разницы между произведениями, создаваемыми в метрополии и за пределами её. Разнятся лишь прижизненные судьбы авторов и судьбы их книг. Но подозреваю, школьнику XXI века будет трудно усвоить это различие и вспомнить о нём, отвечая на экзамене.

2. Что из написанного Вами — в Советском Союзе или в эмиграции — наиболее Вам дорого?

Всякому автору дороже последнее его произведение, но, поскольку роман «Генерал и его армия» ещё не закончен, скажу о другом романе — «Три минуты молчания». Он дорог мне, как родителю — изболевшееся, исстрадавшееся дитя. Я выстрадал этот роман сначала боками и всей шкурой, плавая матросом рыболовного траулера по трём морям Атлантики — Баренцеву, Норвежскому, Северному, затем — когда всю меру правды, какую там постиг, пытался втиснуть в романную форму. Наконец, это был последний роман, напечатанный в «Новом мире» Александром Твардовским,— я храню страницы с его пометками и запись его выступления на редколлегии, и мне дорого, что он нашёл мой роман «вещью достойной», которую нельзя не напечатать, хоть и предвидел все последствия этого шага для журнала. Последствия не замедлили — от Москвы до самых до окраин раскатывались залпы критических батарей, ведших огонь на уничтожение, и вот как ложились снаряды: «В кривом зеркале», «Ложным курсом», «Сквозь тёмные очки», «Мели и рифы мысли», «Разве они такие, мурманские рыбаки?», «Такая книга не нужна!», «Кого спасаете, Владимов?» Ни одного сколько-нибудь дельного замечания я не нашёл, чтобы использовать при подготовке книжного издания, зато увидел стремление вытолкнуть автора из советской литературы — и даже теперь, спустя 20 лет, не забывается это. Между тем в 1969 году «застой» уже наблюдался визуально и подступала проблема эмиграции, но ни из одной статьи не извлёк я ответа на свой прозрачно поставленный вопрос: так что же делать нам — спасаться ли каждому, кто может, на своём плотике или всем оставаться на палубе, спасать всё судно — и только так сохранить себя? Впрочем, возможно, и сама постановка этого вопроса вызывала накал страстей. Так или иначе, но «Три минуты молчания» — в сущности, героико-романтическая вещь о «трудовых буднях» советских моряков, об их мужестве и благородстве в часы смертельной опасности — не издавалась книгой семь лет. Но существовал потрёпанный новомирский комплект, и библиотекари обращали моё внимание на обрез журнала, где пролегала интенсивно тёмная полоса — мои страницы, захватанные пальцами многотысячного читателя. Вот и такая, «дактилоскопическая», оценка дорога мне, и я горжусь ею, как премией.

3. *Что, на Ваш взгляд, было самым ярким событием в мировой литературе последних лет?*

Коль скоро спрашивается об одном событии, я, поколебавшись насчёт «Реквиема» Анны Ахматовой, всё же — как прозаик — предпочту назвать публикацию в Советском Союзе романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Жизнь этого романа сложилась мучительно, даже трагически, а судьба оказалась завидной и окрыляющей. Уничтоженный не то что до последней копии, но до последней копирки, он восстал из пепла — чем так наглядно подтвердилась красивая, но небесспорная гипотеза Михаила Булгакова о неподверженности горению бумаг, достойных называться «рукопись». Ещё интереснее другое: по прикидке начальства такой роман мог быть напечатанным в России лет через 200—250,— ан вышло на порядок ниже, в 10 раз скорее. И не то отрадно, что и начальству свойственно ошибаться, но что история наша пошла энергичнее, что восстанавливается прерванная связь времён, вправляются вывихнутые суставы века. В самом деле, напечатай мы «Жизнь и судьбу» в 1960—1961 годах, уже б не такой сенсацией выглядел «Один день Ивана Денисовича» — я говорю о сенсации политической, в литературном отношении «Иван Денисович» всё равно остался бы явлением замечательным. Наконец, ещё один урок нам: произведения литературы не сотрясают землю и не обрушивают небо — что, между прочим, и утверждалось всеми здравомыслящими и «инакомыслящими»,— но проделывают другую работу, гораздо более ценную и в которой мы сейчас так нуждаемся: пробуждение мысли, раскаяния, а отсюда и возрождение, возврат к утерянным ценностям. При всех моих претензиях к роману Гроссмана, он такую работу проделывает с большей мощностью, нежели тысячи вышедших за это время книг — с благополучной жизнью и никчемной судьбой.

4. *Следите ли Вы за литературной жизнью в СССР? Какие из недавних публикаций привлекли Ваше внимание?*

За литературной жизнью в СССР слежу внимательно, насколько это посильно живущему вдали от т. н. «культурных центров» эмиграции — Парижа, Лондона, Мюнхена; выписываю «Новый мир», «Знамя» и «Литгазету» — хотя сия последняя меня дважды хорошо огрела (статья-

ми неизвестного мне Б. Иванова). Впрочем, второму огреву я даже обрадовался, поскольку при первом назван был «битой картой», к которой естественно было бы уже не возвращаться. Помогает следить эмигрантский телефон — при удручающей дороговизне международной связи мы переговариваемся из страны в страну, с континента на континент чаще и дольше, чем переговаривались в Москве, к тому же ещё перебрасываемся бандеролями, так что ни одна сколько-нибудь заметная новинка не бывает упущена. По ним судим мы если не о глубине объявленной перестройки, то о широте наступающей гласности.

«Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Пушкинский Дом» Андрея Битова, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского — для нас, ясное дело, не новинки, я их читал, ещё живя в Москве, но «Зубр» Даниила Гранина — это новое и смелое слово, особенно дорогое сердцу изгнанника. Крутая судьба Н. В. Тимофеева-Ресовского доказывает, что родина — понятие не только территориальное, родина и там, где человек работает ради её будущего, как бы к этому ни относились не в меру ретивые, сверхпринципиальные соотечественники.

Я рад успеху моего сверстника Анатолия Приставкина, который своей повестью «Ночевала тучка золотая...» перешагнул, можно сказать, в другую весовую категорию, рад и за моего старшего друга Владимира Дудинцева, своими «Белыми одеждами», после долгого молчания, повторившего на новой ступени свой же нравственный подвиг предыдущей «оттепели». Всё это вещи, написанные энергично и ярко, отмеченные гражданским темпераментом и новизной мышления. Думаю, тех же достоинств и повести Бориса Васильева «Жила-была Клавочка» и Анатолия Генатулина «Непогодь». К сожалению, критика в СССР прошла рассеянно и мимо «Клавочки», и «Непогоди», тогда как они заслуживают внимательнейшего рассмотрения как замечательные трагедийные воплощения темы «застоя».

«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, может быть, и сенсация для советского читателя, но не для эмигранта, располагающего куда более обширной информацией. Вообще, на мой взгляд, писатель тогда может сильнее себя выявить, когда пишет о вещах, всем известных,— именно потому так трудно высказать нечто новое о том, скажем по Чехову, «как Иван Иванович полюбил Марью

Ивановну». Роман Рыбакова — наводящий на грустные размышления пример того, что книга в СССР может быть обязана своей популярностью лишь затруднённому доступу ко всем арсеналам мировой культуры.

Не пройти мимо «Смиренного кладбища» Сергея Каледина, которое, как мне кажется, вызвало даже некий шок и в России, и в зарубежье. Спокойно относясь к некоторым излишествам натуралистического свойства, я, однако ж, не могу не сказать, что вещь эта — и хорошо написанная, и поднимающая неизведанный пласт жизни — всё же слишком расходится с духом и традицией русской литературы, всегда предоставлявшей герою выбор. Без нравственного выбора нет героя. Нет их и в повести Каледина, есть персонажи «физиологического очерка», низринутые в обстоятельства кромешного «дна» и бессильные хоть чуть над ним приподняться, заслуживающие, разумеется, нашего глубокого сожаления, но от которых нам нечего взять в своё сердце и разум.

Повести Валентина Распутина «Пожар», Виктора Астафьева «Печальный детектив», роман Василия Белова «Всё впереди» мне представляются несколько ниже предыдущих книг этих же авторов, но не хочу злоупотребить приглашением высказать оценки, выскажу главное своё беспокойство — об отсутствии нового значительного имени, большого оригинального прозаика, начинающего не старше тридцати, как начинало моё «четвёртое поколение», ныне рассеянное по всему свету. Может быть, всё та же прерванная связь времён не даёт поднять головы следующим за нами, а ведь писатели не являются в одиночку, они приходят целыми генерациями и перенимают эстафету, а уже затем выдвигают своих лидеров. Всё же я верю, надеюсь, что вот-вот он явится, наш новый Толстой, и скорее всего — из солдат, отведавших Афганистана.

«Иностранная литература», 1989, № 2

СРЕДНЯЯ ИКОНА

Уважаемый «Континент»!

Помнится, года полтора назад Кронид Любарский мрачно посетовал, что «бесцензурная русская проза третьей эмиграции не произвела ничего, кроме жалкого подобия литературы». Как можно понять, сердце независимого редактора «Страны и мира» щемяще стосковалось об утраченном благотворном воздействии цензорского досмотра,— но, конечно, не только о нём. Жалкость нашего прозябания, глухо намекают нам, порождена оторванностью от родных корней, истоков, почвы; если что и оживит угасающее Зарубежье — приток свежей крови из метрополии. Может, оно и так, но ведь эмигрантские журналы никогда и не отворачивались от изгнавшего нас отечества, всегда — и в первую очередь — открыты они для российского Самиздата. И можно только приветствовать, когда в наши заросшие ряской журнальные заводи заплывают оттуда крупные лещи, залетают красавцы селезни. Вот и № 59-й «Континента» украсился вдруг 26-ю рассказами Владимира Солоухина, россыпью «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»,— такого подарка нам ли не оценить, не принять руки, протянутой «поверх барьеров»! Тем более что дебютант «Континента» — не какой-нибудь отщепенец или неудачник, ему открыты двери всех столичных редакций — кроме тех, разумеется, куда он сам отвращается войти. В литературной табели о рангах он у верхнего предела, а кто в этом сомневается, тому он сам гордо напомнит: «Я тоже если не генерал, то почти генерал». Кому и по какому поводу он это говорит, речь впереди, а покуда опустим ложноскромное «почти». Генерал! Без сомнения, генерал!

И поначалу даже кажется излишним, когда нам то и дело дают почувствовать, в каких сферах обретается и

вращается это литературное светило: с крупными деятелями печати, «кадрами ЦК ВЛКСМ», он пьёт пиво и ест воблу в Домжуре, инструкторы ЦК КПСС посвящают его в свои мужские похождения, случалось ему побеспокоить звонками заместителя предсовмина РСФСР Качемасова и министра Фурцеву, а из квартиры Ивана Стаднюка поздравить с Крещеньем пенсионера Молотова; в длительных зарубежных турне общался он с советскими послами и лидерами соцстран, по градам и весям США его сопровождает переводчик госдепартамента, с иноземными достопримечательностями знакомит ответственный сотрудник советского консульства. Когда однажды в нашем посольстве не узнали Солоухина и охранник потребовал документы, это было такое «чепе», что написался отдельный рассказик («Наконец-то родное...»).

Вся ли уже визитная карточка или что-то мы упустили? Да ведь Владимир Алексеевич упустить не даст! Извольте познакомиться, кто у него на свадьбе в 1953-м были гостями: со стороны невесты муж её сестры — теперь, стало быть, свояк Солоухину,— Евгений Александрович Неручев, «чуть ли не начальник орловской тюрьмы», со стороны жениха — тот самый «кадр ЦК ВЛКСМ», с которым пиво и воблу... Вся анекдотическая соль рассказика («Обознался») состоит в том, что оба эти гуся вместе учились пять лет в высшей школе КГБ, и по каким-то идиотическим правилам этого заведения им нельзя в обществе выказывать знакомство друг с другом; тюремных дел свояк это правило нарушает, «кадр» ему где-то в туалете делает внушение... Негусто для сюжета, но ведь это как светская хроника, в ней не то важно, кто и что сказал, а — титулы приглашённых. Нам бы, конечно, страсть как хотелось узнать, чему же там, чёрт дери, учат целых пять лет в этой «высшей школе КГБ»,— обращению с импортной подслушкой? организации «наружного наблюдения» топтунами, под видом влюблённой парочки или распития на троих? или как расколоть диссидента, не прибегая к «недозволенным средствам»? — и в кои-то веки выпало автору узнать эту жгучую тайну из первых рук, но, к сожалению, этим с нами не спешат поделиться. Впрочем, создаётся представление о свадьбе, а ещё больше — о женихе. Чуден мир русского писателя на переломе XX века, диковинно его окружение, благоуханны и питательны родные корни, истоки, почва...

Задумаешься: а к чему бы это автору, как в песне Галича поётся, «окликать стражников по имени»? Из одного тщеславия? Но, право, после министра Фурцевой, с которой был «в общем знаком», или посла в Венгрии Андропова, с которым «общались мы, общались», тюремщик в чине подполковника уже как-то не смотрится. К тому же ко всей этой номенклатурной фауне автор относится без почтительного благоговения, скорее благодушно-насмешливо. С удовольствием подмечает их человеческие слабости, мелкие грехи; под его пером предстают люди понятные и безобидные, ничуть не страшные. Люди как люди. Похоже, весь сокровенный смысл этого «окликания» — если есть хоть какой-то смысл,— втянуть и нас в общение с ними, исподволь к ним приручить, дать пообвыкнуться в их кругу.

Здесь оговорюсь: проникнуть в закрытую, чуждую нам среду и вытянуть на свет божий эти хари и маски, нарисовать точные, беспощадные их портреты — задача, достойная писателя. Да только портреты — неполны, и неполны заведомо. Для автора Андропов — властный, но и тактичный дипломат, разве что слишком подмявший ничтожного Матиаса Ракоши, но была же у него и главная заслуга — аргументированный доклад, призвавший обойтись с венгерским народным восстанием, «гремя огнём, сверкая блеском стали». Добродушный пенсионер Молотов — это тот, кто своим «металлическим скрипучим голосом» объявил, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», но ещё и участник сговора с Гитлером и Риббентропом, но ещё и ненавидимый миллионами зэков Вячик Карзубый, наподписавший на пару с батькой Усатым сотни групповых приговоров к ВМН*.

И сподобил же автора бог указать точную дату, когда поздравляли Вячика с Крещеньем: 19 января 1980 года. Трёх недель не прошло, как свалилась на южного соседа наша братская помощь, и война ещё не стала рутиной, гундосый Леонид Ильич ещё не разобрался, где у Кармаля имя, а где фамилия, и обращался к нему: «Дорогой товарищ Бабрак!» Только что отзвучал в эфире протест Сахарова, вся же остальная страна примолкла в «единодушном одобрении». В гостях у военного писателя Стаднюка, наверное, говорили и об этой войне, и верилось,

* Высшая мера наказания.

поди, двум патриотам, что она тоже закончится победой отечественного оружия, иначе — с какого вдруг пьяну в такие дни стали названивать Молотову? Тут знакомый скрипучий голос был ко времени и к застолью. «Дело... враг... победа...» — только и вспомнилось Солоухину, когда держал трубку. Увы, на сей раз дело было неправое, «враг» и до сих пор не разбит, победа осталась за тёмными оборванными босыми душманами.

И не скажешь, что это не рана душевная для Солоухина. В рассказе «Фантастический разговор» беседует он со старым знакомцем Андроповым, теперь уж генсеком и главой государства, испрашивающим у него совета, как добиться любви народа. Почему именно у Солоухина? А вот: «Считается, что вы стараетесь быть допустимо правдивым». Так скромно себя похваливши из высочайших уст, Солоухин выкладывает выношенное: послать подальше Фиделя, эфиопов и прочих нахлебников, сократить расходы на космос, пресечь колониальное разграбление наших недр и богатства духовного, сделать рубль конвертируемым, вернуть названия старинным городам, освободить народ от унизительной пропагандистской жвачки и т. п. Ну а первым делом — «прекратить эту нелепую и дикую возню в Афганистане... Пусть афганцы сами решают свою судьбу». Программа обстоятельна и стройна, а генсек снисходителен и задумчив. Он не стучит кулаком по столу, но тихо соглашается: «Ну что же, может быть, я так и буду действовать»

«Надо ли говорить,— заключает автор,— что от неожиданности я на этой его фразе проснулся». Говорить не надо, мы уже в середине рассказа догадались, что нас разыгрывают. Но не то интересно, где Солоухин заснул, интересно — когда он проснулся. Этот рассказ достигает читателя посредством вольной независимой прессы, когда уже последний наш солдат, взяв шинель и каску, унёс ноги с Афганщины, и сами афганцы решают свою судьбу, а безоглядно смелые наши публицисты решают уже другое — что нам делать со своими «афганцами», с теми юношами, которым и погордиться нельзя своей боевой доблестью, и не найти себе места в жизни. Другие песни поёт эпоха, и среди них едва различишь самую нехитрую, без труда отстукиваемую одним пальцем на фортепьянах, которая приходит на ум, когда читаешь таких смельчаков: «Чижик-пыжик, где ты был?»

Но позвольте, но была же и другая Россия, которая не только водку пила на Фонтанке или пиво в Домжуре, но и не смирялась со своей бесправной участью, протестовала открыто, жертвовала своей свободой ради свободы ближних и дальних. Был же и по поводу афганской «возни» знаменитый 119-й документ Московской группы «Хельсинки», подписанный поначалу восемью безумцами — в их числе одним литератором*,— затем ещё тремя, ещё четырьмя. Разумеется, и эту Россию Солоухин не обходит вниманием, двадцать лет спустя посвящает ей полустраничный рассказик «Демонстрация по-московски» — это о тех, кто вышел на Красную площадь в августе 1968-го. Этой демонстрации Солоухин не видел, описывает явно с чужих слов, и главный его интерес составляют не сами демонстранты — внук Литвинова и жена Даниэля,— а реакция публики:

«— Иван, глянь-ка, руки прочь от Чехословакии. Знать, напал кто-то на неё. Кто же?

— Немцы, наверное, кому же нападать?

— А может, американцы?

Пока ротозеи судили и гадали: кто же напал на Чехословакию, подъехал «воронок», и обоих демонстрантов забрали».

Отметим, как живо схвачены мастерским пером эти ротозеи, среди которых, конечно, не обошлось без Ивана, а главное, как они удачно рифмуются с мужичками из «Мёртвых душ», критически оценивающими колесо чичиковской брички: доедет оно до Москвы или не доедет. Но на самом деле ротозеи могли видеть исход не столь мирный — «подъехали — забрали», а как при этом ещё и метелили кулаками и ботинками, как выбивали зубы, а допрежь того они видели, что демонстрантов было не двое, малость побольше. Честь нации, запятнанную нападением на другую страну, может спасти и один человек; к нашей гордости, она была спасена семижды, и одна из этой семёрки, состоящая в редколлегии «Континента» Наталья Горбаневская, могла бы и обидеться — если не за себя, так за других, хотя бы за покойного Вадима Делоне.

Впрочем, не станем сильно корить Солоухина, что не вник в детали чужой борьбы, довольно он был поглощён и собственной. Оно и правда, жизнь в советском отечест-

---

* Вашим слугой покорным.

ве так устроена, что на самых разных уровнях и в самых что ни на есть мелочах требуются изрядные усилия и мужество, чтоб отстоять своё достоинство и суверенность. Взять хоть «Историю с перстнем» — разве не хватала Солоухина за палец товарищ Афанасьева, курирующая московских писателей со стороны МК КПСС, не требовала отчёта, зачем он носит кольцо с профилем «Николашки»? Разве не собиралось по этому поводу закрытое писательское собрание? Не клеймил монархиста комсомольскими виршами седовласый Степан Щипачёв? Не внушал с глазу на глаз парторг Аркадий Васильев: «...ты одновременно носишь два профиля: на пальце — профиль Николая II, а на партбилете — Владимира Ильича. Так что выбери уж, пожалуйста, один из них...»? Проникнемся мучениями выбора, но признаем и парторгову правоту. Когда у Высоцкого «на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка анфас», это соседство не столь антагонистское.

Но главный бой пришлось выдержать, главные силы души тратились, когда предложили сотрудничество с «органами». У Солоухина сложилось впечатление — «из многих разговоров с людьми из среды московской интеллигенции»,— что это «в некие времена предлагалось если не всем, то почти всем, за редкими исключениями». Это, конечно, не так, и в некие времена, и теперь сколько угодно людей мечтают о такой чести, да им её почему-то не оказывают. Чтоб понять — почему, и нужно, по-видимому, окончить высшую школу КГБ. Солоухину эту честь оказали (в чём я ещё не вижу урона) — и вот перед ним извечная коллизия: писатель и тайная служба. Извечный, почти патологический интерес — увы, зачастую взаимный. Откуда это к нам тянется — от Бенкендорфа? Или ещё из древности, из Греции, или Рима, или от египетских папирусов? Вот и выпала редчайшая возможность задать вопрос напрямую, и не кому-нибудь — генералу: «А почему, собственно, так хочется вам знать, о чём говорят писатели на своих собраниях — если не из простого читательского интереса? Ваше дело — шпионов ловить и диверсантов, вот и займитесь своим прямым делом, а мы — своим. Когда же наконец перестанет Бенкендорф заниматься делами Пушкина?» Вместо этого Солоухин «качает права», напоминает — пусть не без достоинства — о своём ранге: «...мы с вами должны говорить почти на равных (?), мы с вами люди одного уровня (?!). А что вы мне предлагаете

теперь? Быть рядовым безымянным агентишкой. Мальчишкой на побегушках! Почему вы должны быть генералом, а я у вас на побегушках, на мелком осведомительстве? Я тоже если не генерал, то почти генерал».

Такой ответ, возможно, оценил бы и похвалил Фаддей Венедиктович Булгарин, но уже не Клим Иванович Самгин, «пустая душа»; он по крайней мере задался вопросом: «Почему — я?» Всё великое достоинство русской литературы, такими трудами и жертвами завоёванное, рушится в солоухинской гордой тираде. Ему кажется, что он говорит жандарму: «Я не ваш, и я не холоп!», но на самом деле он только набивает себе цену. «И прекрасно! — мог бы сказать жандарм.— Ну а если не рядовым, не безымянным, а, напротив, именитым и в звании полковника, да пусть и генерала? Если не агентишкой, а — агентом, агентищем влияния? Если не на побегушках, а, скажем, в международных турне — вправлять мозги Западу, перевороты в сознании совершать, наш образ жизни пропагандировать, революционную нашу перестройку?» Как тогда, Владимир Алексеевич? Можно и по рукам? «После этого разговора,— сообщает он,— меня ни разу не потревожили». И правильно, чего ж тревожить по мелкоте, а по-крупному — все конвенансы соблюдены, цена назначена и торг, по существу, состоялся, препятствий к сатанинскому сговору — не нашлось...

Если продолжить разговор о достоинстве русской литературы — и не одной русской,— если охота нам постичь «ментальность» такого явления, как Владимир Солоухин, обратимся к его, так сказать, «бэкграунду»* — может быть, внесёт дополнительный штрих рассказ «Старичок с интеллигентным лицом», может быть, что-то нам разъяснит. Признаюсь, тема его слишком чувствительна для грубых прикосновений, а я, наверное, и не вправе касаться по возрасту. Но всё же окунёмся в воздух лета 1942 года, постоим перед комиссией, решающей судьбы 18-летних новобранцев — кого в какую часть направить, в какие войска, на какой фронт. Немцы уже под Сталинградом и на Кавказе, пали Ростов и Новочеркасск, приказ 227 за шаг назад предписывает расстрел на месте. И можно понять как дивную удачу, когда цитата из Блока — «Я не первый воин, не последний»,— невзначай произнесённая

---

* Истоки, происхождение, биографические данные.

голым Солоухиным, вдруг заставляет одного из членов комиссии, старичка с седенькой бородкой и в золочёном пенсне, вскинуть голову и всмотреться в стоящего перед ним юношу и решить его судьбу иначе, занести в другую графу, где лишь одно место ещё вакантно. Да, в тот блаженный миг это можно было почувствовать как избавление от казни. Но 47 лет прошло, и, может быть, как-то иначе оценит свой выигрыш постаревший новобранец? Было известно, что войну Солоухин отслужил в Кремле, в «красивых охранниках», и всегда казалось — он о той службе говорить избегает, тяготится ею. Но вот оказывается, он её и сейчас воспринимает как сказку, а того старичка в пенсне — добрым волшебником из этой сказки:

«Надо знать, что значил в те дни Московский Кремль для всех советских людей, что олицетворял, какой был овеян дымкой, легендой, славой, чтобы понять применительно ко мне, деревенскому парню, новобранцу, обречённому на почти стопроцентную скорую гибель, это выражение “как в сказке”. Да, как в сказке, я шёл по брусчатке Московского Кремля в его замкнутом, отделённом от всего мира пространстве, в его недосягаемости от всех тогдашних военных лишений, бед и невзгод, включая тяжёлые ранения, плен и смерть...»

Да, это не ахматовское «Я была с моим народом — там, где мой народ, к несчастью, был», не ностальгия Виктора Некрасова по Мамаеву «бугру», Василя Быкова — по белорусским простреляным лесам, не тоска слёзная поэтов-фронтовиков по окопному братству. Что замечательно у Солоухина — полная откровенность чувств; радость его чиста и не стыдлива, она не нуждается в оправдании, что и в Кремле, если на то пошло, «мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу»*, ведь родного генералиссимуса нужно же было кому-то охранять. Любопытно, однако: с такой позиции — как посмотреть на добровольца, избравшего иной удел? Глядя по-стрелецки промеж зубцов кремлёвской стены, можно и посмеяться над придурковатым Хемингуэем, трижды по собственной воле отправляющимся воевать на чужой континент, выходящим на утлой моторной яхточке в океан чуть не острогой таранить немецкие субмарины. «Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните званье своё!» Да, соглашаешься, что

---

* Из песни на слова Солоухина.

едва ли три процента сохранилось тех мужчин образца 1924—25 годов, но отчего-то, кусая себе пальцы, жгуче завидовали им следующие поколения, которым не выпало этой страшной статистики. Может быть, оттого, что уцелевшие вернулись с кровавых полей с таким громадным опытом, которого ничем не заменишь и переоценить невозможно, он сделался едва ли не главной составляющей их таланта, духовным стержнем всей остальной их жизни. Так не сыграла ли с Солоухиным фортуна пусть весёлую и забавную, но не такую уж добрую шутку? Впрочем, дело хозяйское. Но если вы не знали до сих пор, что такое русский патриотизм,— узнайте, господа. Это и по сей день переживаемое радостное волнение, что миновала меня чаша сия, что не я, а другие, как воины царя Леонида при Фермопилах, «в землю эту легли, честно исполнив долг...».

Недавно по радио «Свобода» критик-энтээсовец М. Назаров объявил нам, что своими последними произведениями, опубликованными в эмигрантской печати, Солоухин «мужественно покаялся в своём прежнем коллаборантстве с властями». В первую очередь, надо думать, имелось в виду его живейшее участие в том позорном судилище над Борисом Пастернаком в октябре 1958-го. Судить по «Старичку с интеллигентным лицом», автор не из тех, кому бы хотелось хоть что-то из своего прошлого переиграть, он слишком ценит себя и любит. Впрямую — нисколько он не покаялся, мужественно воздержался, ну разве что однажды признался нехотя иностранцам, что вылез тогда на трибуну «по глупости»,— но и это неверно, поступок был вовсе не глупый, а своевременный и обещавший хорошие дивиденды. Покаяния же косвенные, «своими произведениями», можно к чему угодно привязать, к тому, что яблоки в детстве воровал из чужого сада.

Надо признать, защищается Солоухин изобретательно: не причисляя себя к почитателям Пастернака, он обвиняет тех из них, кто промолчал, не вступился за «своего»; коснись беда, например, Астафьева, Алексеева или Распутина, он бы, Солоухин, «из последних сил, ползком, зажимая в зубах столовый ножик, пополз бы на то собрание...». Как-то так получается (и слава богу!), что беда не касается Алексеева с Распутиным, из-за чего янычарские подвиги Солоухина остаются в области обещаний, в угрожающем резерве; впрочем, пришлось мне наблюдать в недавнюю «эпоху застоя», как он и его друзья ни полз-

ком не поползли, ни ножиком не погрозили за своего (Л. Бородина). Не требует признаний, что Пастернак ему был чужой,– но в таком случае отпадала и нужда участвовать в травле. Можно понять, когда страх выталкивал на трибуну почитателей, единоверцев подсудимого; в том и состоял режиссёрский замысел, чтобы «своя своих побивахом», но от противника или от нейтрального никто этого не требовал, их молчания никто бы и не заметил. А вот этого-то и не хотелось – чтоб не заметили!

Сказывают, покаяние – дело интимное, зачастую на людях упорствует человек, оправдывая свой малопристойный поступок, а в душе – осуждает. Но кажется мне, эти рассказы, или очерки, или эссе, как их ни назови, хоть арабесками, в отношении Владимира Алексеевича Солоухина не дают оснований для такого подозрения, в них много игривого самолюбования, самодовольства, но так мало нравственной боли. И ни в одном из этих опусов, охватывающих десятилетия жизни автора, его обвинение, укор или сожаление не обращаются к себе, любимому. А иной раз мелочь какая-нибудь проливает свет и на интимное, сокровенное в области духа. Довольно пустой рассказик «Бархатный пиджачок», содержащий лишь ту информацию, что автор собрал богатую коллекцию русских икон, имеет, однако ж, примечательную концовку: «Надо ли уточнять, что на одну среднюю икону в Париже можно купить несколько тысяч бархатных пиджачков». Тут даже не в том дело, что наш православнейший коллекционер знает меновую стоимость своего духовного богатства, а в том, что мы до сих пор знали икону крестильную, венчальную, фамильную, чудотворную, а теперь вот узнали от Солоухина, что бывает икона *средняя*...

Письмо моё разрослось в рецензию, к чему я отнюдь не стремился, а только хотел объяснить, почему не могу поздравить журнал с чересчур значительным приобретением.

Ваш

Георгий Владимов.

Нидернхаузен, Зап. Германия

«Континент», 1989, № 60
Радио «Свобода»

МОСКВА, 1993,
или
КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ

Эту странную, наделавшую много шума, киноповесть Александра Кабакова под названием «Невозвращенец», появившуюся в 6-м номере журнала «Искусство кино», редактор Константин Щербаков отнёс к жанру антиутопий, жёстких и трезвых предупреждений нам — сегодняшним. О чём же? «О том, что может произойти, если нам не удастся справиться с существующими в нашем обществе деструктивными, антиперестроечными процессами... об опасности, не считаться с которой мы не имеем права, которую должны исторгнуть, изжить».

Опасность и в самом деле нешуточная. По сюжету, некие деятели из легко угадываемого ведомства, которым надлежит всё знать заранее и предостерегать руководство, командируют героя-рассказчика в будущее, притом в не столь отдалённое, в год 1993-й, и вот какие новости он приносит оттуда: «Безоружный имел не много шансов дожить до утра на московских улицах». Это всего лишь четыре года тому вперёд — в то время хотя бы я всё же надеюсь побывать в Москве, а пистолет провезти едва ли удастся, поэтому естественно моё любопытство: какие же силы будут грозить моему существованию?

Во-первых, какие-то «угловцы». Их истребительные отряды устраивают облавы около винных магазинов, так вот непонятно — что они истребляют: спиртное или потребителей его? И почему — «угловцы»? Будь это Ленинград, я бы подумал, что это шпана, обитающая в районе Пяти Углов, но тут Москва — наверное, вожак у них — пахан по фамилии Углов? Затем — «бензинщики». Вряд ли это те, кто торгует левым бензином «за любую половину государственной цены», у автора они — «одурелые» и по возрасту 12-летние, так что всего скорее обольют и подожгут. Ещё есть — пикеты с нарукавными повязками «свиты Сатаны» и в кошачьих масках. Кто такие и что

пикетируют — неясно. Ещё — «неуёмные автоматчики». Что поливают они и кого из неуёмных своих автоматов? А «отвоевавшие в Трансильвании десантники» — им что, воевать уже опротивело или всё тянется рука к оружию? И снова — истребительные отряды, на сей раз истребляющие, по-видимому, всё, что ни попадётся глазу.

Если мало вам этого, дорогой читатель, тогда восточного облика люди, с чёрными бородами до глаз, возьмут вас в заложники и устроят кровавую баню с отрезанием голов — чем бы, вы думали? Сапёрными лопатками. Приоритет генерал-полковника Родионова опровергается датой, которой нет оснований не верить: май — июнь 1988-го. Антиутопия Александра Кабакова предвосхитила 9 апреля нынешнего года в Тбилиси, отнесёмся же к ней с должным вниманием. Упомяну ещё боевиков из «Сталинского союза российской молодёжи», подрывающих взрывчаткой памятник Пушкину,— непонятно, с какой стати, ничем не мешал никогда сталинистам бронзовый Александр Сергеевич, разве что собирал вокруг себя диссидентов, а затем «неформалов», так ведь они и на пустыре соберутся. Ну и наконец — вооружённые кольями витязи в чёрных поддёвках, устраивающие свои облавы — погромного свойства. Подтверждением арийской чистоты служит у них необрезанность и знание наизусть «Слова о полку Игореве». Второе — несколько странно: те, кто спрашивает пароль, должны же его сами знать, но знатоки «Слова» — люди весьма образованные, интеллигентные. А впрочем, после «Русофобии» Игоря Шафаревича нас в этом смысле не удивишь.

Все эти силы, враждебные человеку, смертельно опасные, вольно рыскающие по обезлюдевшей, полутёмной, полуразрушенной Москве, игнорируя патрульные танки и бронетранспортёры,— а может быть, и под эгидою их,— эти силы находятся между собою непонятно в каких взаимоотношениях: то ли враждуют друг с другом, то ли поддерживают и дополняют, а ведь знать это бедному обывателю — жизненно важно, чтоб хоть как-то между ними лавировать. Право, 70 лет назад ему это было всё же яснее — чего от красных ждать, чего от белых, чего от петлюровцев или махновцев. Время было пёстрое, но какая-то логика в действиях разного рода стихий всё же ощущалась; ну хоть было известно, что «налево застава,

махновцы — направо», а не наоборот; может, поэтому-то «и десять гранат — не пустяк». Об этой логике в Москве 1993 года можно лишь мечтать. И тут одно из двух: либо сам автор не представляет себе отчётливо природу тех сил, которые он взялся описывать, либо он старается как можно сильнее напугать читателя вакханалией смертоубийства, чаще всего — безмотивного, от всеобщего озверения и ненависти.

Вот из машины, старенького «мерседеса», перевёрнутого взрывом гранаты, вытаскивают двоих, мужчину и женщину, аккуратно расстреливают из тяжёлого пулемёта — и не лень же таскать его повсюду, когда «калашниковы» есть! За что расстреливают? «Афган»,— объясняет рассказчик своей спутнице. То есть эти восемь убийц в беретах — несчастные наши «афганцы», из «ограниченного контингента». У них же самих объяснение простое: «Стой, сука! Ворюга! Торгаш!» Понять можно только так: натерпелись парни, душа горит, фобия у них к частной собственности. Но любопытно — а как же относится к ней рассказчик?

Есть в этом вселенском энтропийном ужасе своего рода оазис, некая отдушина — в виде питейного и закусочного заведения, принадлежащего моложавому еврею Вальке, «по последней моде одетому во всё сшитое у лучших крестовских портных». Объяснить «крестовских» не берусь, но, наверное, достаточно, что они «лучшие». Вальку рассказчик называет «артельщиком», а его кооперативное кафе — «шикарным ночным кабаком». Здесь можно посидеть в уюте, без риска быть ограбленным или разрубленным шашкой времён гражданской войны, здесь обслуживают — лакеи, а развлекают — музыканты и певица рок-шантана «Весёлый Валентин». А что за публика? «Поэт, за последние годы не написавший ни одной короткой строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами Выравнивания с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитьё после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии ЭЙДСа они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке...» Не кафе, а вместилище греха, а почему не врываются сюда со своими тяжёлыми пулемё-

тами поборники уравниловки или — по-тогдашнему — «Выравнивания», читатель легко догадается. Откупился от них весёлый Валентин. Коррупция кругом, рука руку моет. Нет на них на всех — железной руки.

Это, собственно, и высказывает случайная спутница рассказчика, жительница Днепропетровска с малороссийским выговором, описываемая как «комбинация панночки и модели из хорошего журнала», но чаще называемая «захватчицей». Всё-то вожделение бедной «захватчицы» — купить себе в Москве сапоги, а для этого раздобыть талонов, ради них она и сама многократно рискует жизнью и может при случае на своего спутника автомат навести, прямо в лоб. Именно ей и принадлежат в киноповести ключевые слова:

«Ото из-за таких гнид началось всё! Жили как люди, всё было нормально, мужик по шесть тыщ «горбатых» за хороший день зароблял, а вам всё было плохо! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нём в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачёв угодил!..»

И слышится нам унылая правота сторонников Нины Андреевой: «При Сталине войну выиграли, порядок был и цены снижали, при Брежневе — хотя бы стабильность и военное превосходство, а чего вы добились со своей оголтелой гласностью? Никто никого и ничего не уважает, пустые прилавки, мясо по талонам, мыла нет, стирального порошка...»

Приемлет ли эту правоту сам автор? Не скажу, что совсем не приемлет, хотя в его политических симпатиях и антипатиях разобраться мудрено, да он и не склонен к ясным ответам. Но вот иногда, по небрежности ли пера или из личной неприязни к происходящему в стране, дело доходит до политических обвинений на грани абсурда: когда людям, скажем, объявляют, что они подлежат уничтожению «по специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий» и что утверждено это «на собрании неформальных борцов за Выравнивание».

Может показаться: разгул демократии, её излишества, разброд и шатания — и есть та опасность, которую «должны мы исторгнуть, изжить». Короче, тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». А можно ли было,

спрошу я, нарисовать картину страшнее, чем у Александра Кабакова? Я думаю — да, и, как ни странно, это была бы картина, обратная энтропии, картина не разрушения, а созидания, консолидации, наведения и укрепления порядка. Всё началось бы с чеканной фразы какого-нибудь деятеля, не обязательно перепоясанного крест-накрест пулемётными лентами, но с металлом во взгляде и в голосе: «Караул устал». Затем приступили бы к делу славные ребята — горячие сердца, холодные головы, чистые руки,— и мы бы услышали об усилении и усилении классовой борьбы, а напоследок — фразу венчающую, реквием этак миллионам шестидесяти: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Понадеемся, что такая антиутопия не повторится в нашей истории даже как фарс.

Киноповесть «Невозвращенец», предназначенная скорее для чтения, нежели для фильма по ней, не принадлежит, на мой взгляд, к значительным художественным явлениям, однако ж затрагивает она проблему, всех волнующую. Чем и когда закончится «перестройка» в России, к чему приведёт нынешняя ситуация? То и дело мы слышим, что история дала нам последний шанс, что вот этот год — уже последний,— правда, мрачным этим прогнозам уже сроку больше, чем год. И правда то, что, к счастью, порою — к горькому счастью, многое из предсказанного антиутопией Кабакова уже не сбылось и навряд ли сбудется.

Сапёрную лопатку он предугадал, хотя совсем в других руках она оказалась, но главного он не предвидел — поведения убиваемых ею. Спасаясь от её рассекающих ударов, люди, естественно, побежали, но не как животные на бойне, почуявшие кровь,— есть много свидетельств, как утаскивали с собою, пытались спасти женщин и детей — вовсе не родственников, а чужих, посторонних... А как достойно, рыцарски себя повели тбилисские милиционеры, безоружные, голыми руками защищавшие своих сограждан от озверелых спецназовцев, фалангистов генерала Родионова. Впрочем, зачем же брать лишь ситуации экстремальные, возьмём неожиданную сплочённость наших шахтёров, показавших вполне на уровне давно сложившейся польской «Солидарности», что есть и в Союзе республик рабочий класс, а не одни спившиеся люмпены. Вспомним спокойно-дипломатичные, но и неотступные

шаги народных фронтов Прибалтики. Вспомним 26 марта, день выборов, хоть отчасти похожих на выборы, когда миллионы и миллионы вдруг увидели, к своему удивлению, что они умнее и сильнее, чем сами себе казались. Нет, наш народ заслуживает оценки много лучшей, чем она содержится в киноповести «Невозвращенец». У меня впечатление, что Александр Кабаков свой социальный прогноз сделал чересчур умозрительно, как бы провёл и проанализировал лабораторный эксперимент: что-то из колбы испарилось, что-то осело на стенках, что-то в осадок выпало, и он поспешил записать результат. А жизнь живая не помещается в колбе и оказывается сложнее, полнее и неожиданнее самых решительных предсказаний.

«Русская мысль», 8 сентября 1989 г.

ПИСЬМО ЛЬВУ АННИНСКОМУ О «ВЕРНОМ РУСЛАНЕ»

Опубликовано Л. Аннинским со следующим предисловием:

«С согласия Георгия Владимова я решаюсь опубликовать его письмо ко мне, полученное в отклик на мою статью о повести «Верный Руслан»,— статья опубликована в № 8 «Литературного обозрения» за 1989 год.

Я думаю, что читатель имеет право на это письмо,— не только потому, что написано оно замечательным писателем (Владимов, правда, предпочитает более тонкое определение: «хороший писатель»), и вовсе незачем ждать, когда всё это со временем опубликуют в каком-нибудь томе литературной переписки,— но, главным образом, потому, что посвящено это письмо глубинным и неразрешённым вопросам нашего бытия: откуда в нас зло? кто в нашем зле виноват? что нам с этим злом делать? — и т. д. по традиционному катехизису русской классики.

Чтобы читатель не затруднялся в частностях,— прокомментирую некоторые из них заранее. «Отписывал мне 16 мая 75-го» — ещё до отъезда Г. Владимова за рубеж я в письме к нему развивал свои идеи касательно «Руслана». «Не на одни эпиграфы, но и на подзаголовки» — эпиграф к «Руслану» — из Горького: «Что вы сделали, господа!» Подзаголовок: «История караульной собаки». Полуболотов — герой повести Михаила Кураева «Ночной дозор». Митишатьев — герой романа Андрея Битова «Пушкинский Дом». Матрёна — героиня рассказа Александра Солженицына «Матрёнин двор». Живой — герой одноимённой повести Бориса Можаева. Остальные персонажи ясны из контекста.

Критики, писавшие о «Руслане»: Абрам Терц (Андрей Синявский) — в «Континенте», А. Латынина — в «Литературной газете», Нат. Иванова — в «Огоньке», Александр Архангельский — в «Новом мире». Наташа — литературный критик Наталья Кузнецова, печатающаяся в зарубежных изданиях.

Прочие частности: о курсантской «проговорке» повествователя, о «малосущественности» горьковской ссылки на «господ», испортивших «зверя», и даже об украинцах, которых я от Владимова «защитил»,— более или менее следуют из главного несогласия, которое Г. Владимов безошибочно ощущает сквозь нашу старинную взаимную приязнь. Я бы сформулировал это так. Есть двойствен-

ность в строении и в замысле повести. Это история собаки, написанная по законам реализма, и это размышление о лагерном охраннике, написанное по законам аналогии. Примирить эти два плана, при всём законном читательском желании, невозможно. Если их примирить, исчезнет и сама бездонная, тревожащая загадка повести. Загадка, уходящая в саму реальность: как это так получилось, что светлая мечта, зародившаяся в лучших умах человечества и воплощённая в России людьми несомненно героического склада,— обернулась такой практикой, о которой мы теперь не можем вспомнить без стыда и ужаса? В сущности, над этим бьётся Г. Владимов в своей повести. С мыслью об этой загадке я и предлагаю читателю вникнуть в его интереснейшее письмо.

Л. Аннинский»

Дорогой Лёва,

спасибо за журнал — и, конечно, за статью.

Понимаю, сколь было сложно после Абрама Терца, хотелось же и подальше него шагнуть. Но ты, собственно, и был дальше — ещё когда отписывал мне 16-го мая 75-го. Ему, для подкрепления публицистического пафоса, всё-таки понадобился «честный чекист», «строитель коммунизма», положительный советский герой в «итоговой вариации», четверолапый Павка Корчагин, у тебя же было — без аллегорий — «ощущение неотменимой трагичности живого существа, обречённого своей судьбе». Из чего, между прочим, я заключаю, что ты, в отличие от некоторых, не на одни эпиграфы обращаешь внимание, но и на подзаголовки. Ведь писано было городу и миру: «история собаки»,— не видють! Латынина даже посетовала, что недостаточно жёсткий с героя спрос, не как с Полуболотова,— а того не заметила, что Полуболотов-то живздоров, а псу в первой же сцене вынесен смертный приговор, и всё далее происходящее — только отсрочка исполнения. Повесть и писалась с тем ощущением, которое ты поймал и обозначил,— что Руслан свою смерть таскает с собой неразлучно, как если б ему под шкуру зашили ампулу с ядом, с антабусом, неминуемо должным когда-нибудь, при каком-то случае, его убить. Химический же состав токсина — хоть ты почему-то упорно с этим не соглашаешься — именно то, чему мы его научили и в чём он оказался первым учеником.

Дорого автору и другое твоё восприятие, что я не держу читателя лагерными ужасами, но вся суть — «в по-

стоянном вывороте жизненной ткани с “добра” на “зло” и обратно»; и весь ужас — «что из элементов добра магическим образом составляется зло», что «выстроился тот тоталитарный лагерь... ещё и на честности и правде! Ещё и на положительном Руслане...». Кажется, ещё чуток, и мы поймём удивительный — и печальный — парадокс русской литературы: всё норовят авторы представить нам героя «положительно прекрасного», а сволочная действительность не даёт ни в какую, и поэтому Гоголь своё дитя в печке спалил, Достоевский — никого лучше эпилептика не нашёл, а твой покорный слуга взял и собаку восславил, которую к тому же «следовало отстрелить». Прошу не понять так, что я себя каким-то боком встраиваю в ряд с великими, это Абрам Терц делает, а я — просто для наглядности, для примера.

«Верный Руслан», возможно, и не великая книга, но — хорошая. Может быть, даже очень хорошая. (Почему-то не принято у нас говорить «хороший писатель», а ведь какой прелестный и точный комплимент!) И читать её, судя по твоей статье, будут ещё долго. Если столько мыслей и темперамента она возжигает у критика, ещё не вечер для неё. И не абсолютно исключено, что и Л. Аннинский к ней ещё вернётся, как некогда к «Большой руде».

Есть, однако, вещи, с которыми трудно мне согласиться. У тебя получился занимательный, былинной красоты зачин, будто сперва слух пошёл, что надвигается из восточной глубинки грандиозный и актуальнейший сюжет, и выходили на него разные добры молодцы — покуда не взялся Владимов. Было всё немножко не так, скорее — наоборот. Сперва Владимов написал, и новомирские машинистки распечатали, отрезав верх страницы с именем автора, и оттого и пошёл слух о «новом шедевре» Солженицына (кинорежиссёр Марлен Хуциев, знакомясь с ним, ляпнул даже об его «лучшей вещи — про собаку», на что бывалый зэк никак не отреагировал, смолчал), а позднее рассказ этот сделался бродячей легендой, которую использовали всяк по-своему 12 авторов, в том числе Яшин. Но, кажется, он не стихи написал, а тоже рассказ, и это было объявлено журналом «Москва», и пришлось Б. Заксу туда звонить и разъяснять. Щепетильный Яшин своё тотчас забрал и, по-видимому, уничтожил. А я, таким образом, был 13-м, кто приступил — по второму за-

ходу — к собственному сюжету. И ежели больше других преуспел, так потому, что не всем на пользу чужое. Пушкин, как нам известно, дарил Гоголю сюжеты — «Ревизора» и «Мёртвых душ», но он не дурак был дарить пушкинское, дарил — гоголевское.

Что о «рыданиях, выдаваемых за кашель», не зэк рассказывает, а суворовец — может статься, ты и прав, но в силу твоей язвительной привычки искать не там, где автор говорит, а где он проговаривается или оговаривается. С поезда спрыгивает всё-таки зэк (и тот же Солженицын в одном частном письме признал, что написано о лагере «изнутри, а не снаружи»), но ты прошёл мимо вокзальной сцены, как и многого ещё, что не слишком удобно ложилось в концепцию. Вот Наталья Иванова — та не прошла, движется как-то в фарватере с автором, пока что всех параллельнее. Достоинство это или изъян критика, я уж не разбираюсь, так как давно отпал от этого жанра. Но если мне и хотелось публицистического разговора в критике, так именно такого, как в № 21 «Огонька» — о свободе, и на что мы её тратим, и кто нам на сей счёт смеет указывать. Если б меня ещё при этом не переслаивали так насильственно с моим Митишатьевым — Войновичем! Как они друг с другом соотносятся, Руслан с Чонкиным, уму непостижимо, ведь они живут в разных измерениях, каждый по своим правилам игры. Я говорю о тех правилах, которые обыкновенно объявляются автором на первых же страницах, а то и в первых абзацах: скажем, садится посреди деревни самолёт, и собираются мужики вокруг, и какой-то мальчик вдруг палкой лупит по плоскости, то бишь крылу. Ни в одной российской деревне никакой мальчик ни при каких обстоятельствах не ударит палкой по самолёту (да в те годы, начало 40-х!) — стало быть, это не простая деревня, а какая-то необыкновенная, деревня Войновича, где всё возможно, «что и не снилось нашим мудрецам». Но если мы эти правила игры приняли, эту палку проглотили, то проглотим и Чонкина, которого в природе не было. Не было никакого «русского Швейка» — так его аттестует западная реклама; нечто из области чувашского Фадеева и ханты-мансийского Ильфа-Петрова, сомнительное и несуразное, ибо что оно такое — Швейк? Солдат маленькой страны, втянутой в большую чужую войну. Но наша Отечественная ни для кого чужой не была,

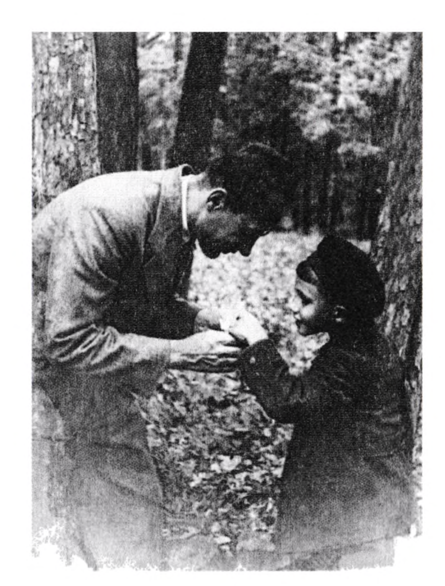
даже для дезертиров, уклонявшихся от неё всё-таки с чувством греха и вины. Да, впрочем, русский характер всякую войну примет, как свою, кто бы её и ради чего ни затеял, потому как — надоть! Надоть его (немца, чехословака, афганца и др.) мордой об землю, больно много воображать начал!..

Кстати, дорогой Лёва, насчёт «поворотного 1966 года» — оно, конечно, «Привычное дело» вещь замечательная, волшебная, но с той поправкой, что и Ивана-то Африкановича этого прекрасного — тоже не было! Существовал он — как воплощение принципа, что если даже и не было, так следовало придумать. Да если б был он — не было бы трагедии Василия Ивановича Белова, не писал бы он «Всё впереди», а снова и снова прибег бы к своей бесконечной Тимонихе. Но вся эта «деревенщина» — исключая, может быть, Матрёну, шукшинских «чудиков» и можаевского Живого,— существовала лишь в головах изобретателей, в чертежах и эскизах, натурные же образцы — не работали, и в конце концов это выявил, сам того не хотя, Распутин со своими святыми старухами. Мы с тобой знаем, что пуще всего они мечтают перебраться в квартиры с газом и унитазом, но, согласно Распутину, они так свою «почву» любят, что даже полы моют перед затоплением Матёры. Это и не самим придумано, а заимствовано частью из «Поэмы о море» Довженко, а частью из «Гибели эскадры» Корнейчука, где боцман приказывает драить палубу перед затоплением родного линкора. Я немножко плавал и немножко знаю военных морячков, они бы этого боцмана взяли за шкирку и выкинули за борт. Правда, тогда бы не было великой драматургии.

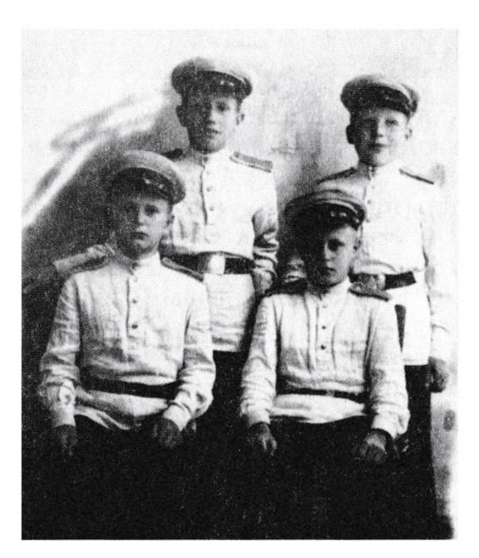
«А Руслан — был»,— как утверждает (надеюсь, справедливо) в № 7-м «Нового мира» Александр Архангельский. Кто таков, не знаю. Говорят, молодой, лет тридцати. И по молодости — отважный (т. е. не битый ещё), отдал мне предпочтение перед Булгаковым. Как, впрочем, и ты. Выслушал это дело Максимов и сказал: «Что ж, это правильно. Всё-таки “Собачье сердце”, при всём блеске, при всех достоинствах — фельетон...» Не решусь ни оспорить, ни согласиться насчёт жанра, но, честно признаться, вещь эта коробит меня. За что, собственно, оскорбили пса,



Георгий Владимов.
Фото Наталии Моисеевой.



С отцом Николаем Степановичем.
Харьков, 1936 г.



Г. Владимов (верхний слева) с товарищами
по Суворовскому военному училищу
Филипповским, Громаком и Баталиным.
Кутаиси, 1944 г.



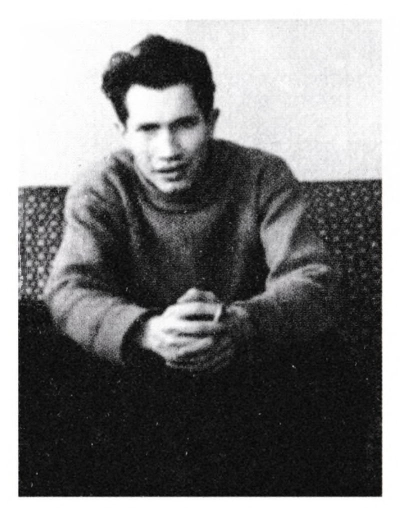
Г. Владимов с матерью Марией Оскаровной.
Новый Петергоф, 1946 г.

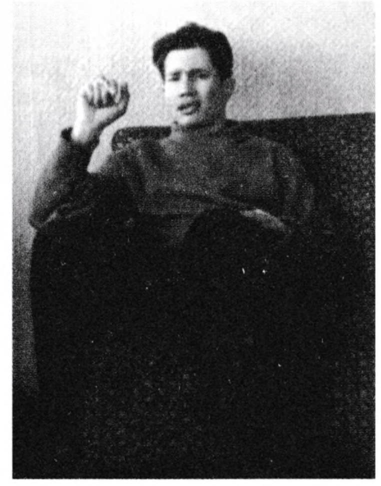


Выпускник Ленинградского суворовского
военного училища.
Ленинград, 1948 г.



Студент юрфака Ленинградского государственного университета. Ленинград, 1953 г.

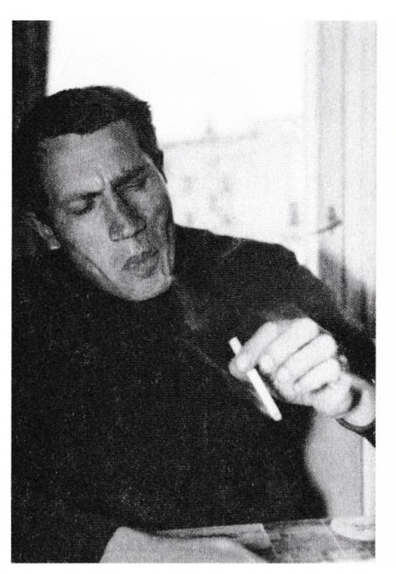
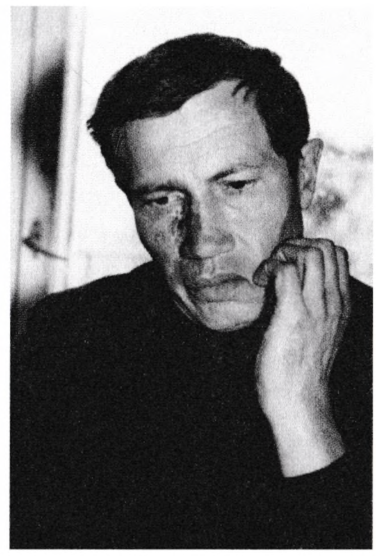




В редакции «Литературной газеты». Москва, 1959 г.

С женой Ларисой Исаровой. Москва, 1960 г.

Соавторы коллективного романа «Смеётся тот, кто смеётся»
Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер,
Георгий Владимов. Москва, 1963 г.

Дома на Малой Филёвской, 16, после выхода в «Новом мире» романа «Три минуты молчания». Лето 1969 г.

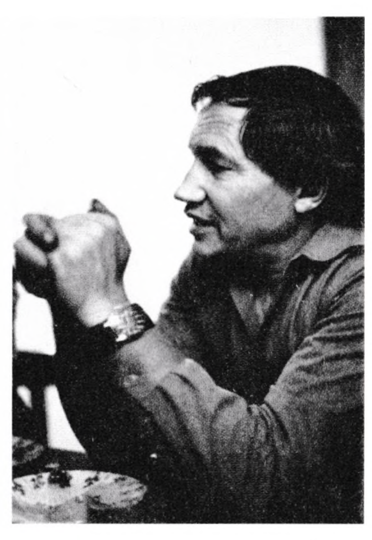
На съёмках фильма «Большая руда» с режиссёром Василием Ордынским. Губкин, 1964 г.



На Рождественском бульваре перед отъездом А. Зиновьева в эмиграцию. Слева направо: поэт В. Лён, О. М. Зиновьева, Венедикт Ерофеев, А. А. Зиновьев с дочерью, Г. Н. Владимов, Н. Е. Кузнецова. Москва, 10 августа 1978 г.



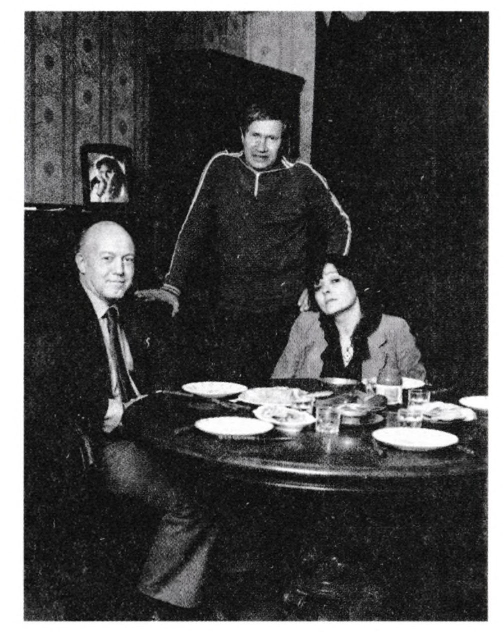
Наталия Евгеньевна Кузнецова.
Москва, начало 1980-х гг.



Москва, начало 1980-х гг.



С женой Наташей. Москва, 1980 г.



Б. А. Мессерер, Г.Н. Владимов,
Б. А. Ахмадулина. Москва, 1982 г.

На даче у Беллы Ахмадулиной. На снимке (слева направо):
Н. Кузнецова, А. Битов, Л. Хмельницкая, И. Лиснянская, С. Липкин,
Б. Ахмадулина, Г. Владимов, Б. Мессерер. Переделкино, 1982 г.

26 мая 1983 года. Последний взгляд из окна.

Отъезд в эмиграцию. У подъезда дома на Малой Филёвской с соседями и друзьями. 26 мая 1983 года.

За два часа до отлёта. Провожает Рой Медведев.

Перед барьером. Шереметьевская таможня. 26 мая 1983 г.

Первый приезд в Россию после эмиграции.
В Доме литераторов. Ленинград, 1990 г.

В Нидернхаузене. Лето 1994 года.

На вручении премии Букера. Слушается решение жюри. Слева направо: сэр Майкл Кейн, Джон Кроуфут, Георгий Владимов, финалист Олег Павлов. Москва, 4 декабря 1995 г.
Фото Наталии Моисеевой.

Георгий Владимов и Станислав Рассадин, председатель жюри 1995 года.
Фото Наталии Моисеевой.

Первое интервью...

...и первые поздравления. На снимке (слева направо): Н. Кузнецова, А. Вознесенский, Г. Владимов, Елена Боннэр, дочь писателя Марина.
Фотографии Наталии Моисеевой.



Г. Владимов с дочерью Мариной. Москва, 18 февраля 1998 г.

представили его сердце вместилищем наших пороков, гнусностей и мерзостей? Сказывают, Михаил Афанасьич котов уважал, но в собаках он явно не разбирался: они таковы, какими мы их иметь желаем.

Тут я подползаю к «подсунутому долгу» и как господа испортили зверя. Почему же это «малосущественно» и чем мешает моим объяснениям «тёплая кровь, сочащаяся из “тяжёлой добычи”»? Это же не так надо понимать, что было травоядное милое существо, а мы его пристрастили к пище мясной. Нет, был зверь, но — заключивший договор с Человеком. И там было — любить хозяина, защищать его, даже ценою своей жизни, но не было — «пасти двуногих овец», это вставлено задним числом, жульнически. И всё же он взялся выполнять и этот пункт, вот в чём он обманулся, в чём его трагедия, а наша — вина. Можно было бы написать эпизод, где бы на охраняемую колонну напали посторонние (с целью, скажем, освободить её, такое тоже случалось) — и он бы своих зэков тоже защищал ценою своей жизни, да, собственно, и делает это — в «собачьем бунте». Тогда бы, может быть, яснее стала суть чудовищной подмены.

Кстати, на гнилом Западе не менее остроумно приспособили пса служить «добру» — искать наркотики в автомобилях. Он всё отлично унюхивает, даже в бензинном мотоотсеке, но потом хозяину-пограничнику приходится долго вырывать у него из клыков пакет с героином. И вдруг догадываешься с оторопью, что ведь пёс этот — наркоман (точнее — «наркодог»), таким его нарочно сделали господа. И значит, во спасение наше дни его сочтены и полны мучения, адского наркотического голода. А ты говоришь — малосущественно.

Письмо у меня затягивается и растекается в стороны, «мысию по древу»*, а главное всё не формулируется. Может быть, оно в том состоит, что мы никого не имеем права втягивать в свои грязные, полоумные, кровавые игры. Хоть от этого воздержимся — и на том Суде немного заслужим прощения.

---

* Кстати, в «Слове о полку Игореве» так и сказано. Многие исправляют на «мыслию по древу», образ несуразный, никак не сочетающийся с «шызым орлым под облакы». Между тем, «мысия» по-древнеславянски — белка.

Хотел ещё про украинцев огрызнуться, да вспомнил, что ты не ездишь на машине, а то бы знал, что самые беспощадные орудовцы — с хохлацким выговором. Так что тут моя маленькая месть. А голод на Украине я сам пережил в возрасте полутора лет, я же из Харькова.

Надеюсь, у тебя всё хорошо, ты полон замыслов и не слишком измучен перестройкой. Наташа, как и я, кланяется тебе и всем твоим и желает всяческого благополучия.

Обнимаю тебя,
твой *Г. Владимов.*

30 октября 1989 г.

«Литературное обозрение», 1990, № 3

ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

На смерть А. Д. Сахарова

У меня в руках — не слишком толстая синяя книжица — «Сахаровский сборник», составленный друзьями Андрея Дмитриевича к его 60-летию. Свой последний круглый юбилей он справлял в горьковской ссылке, и мы принесли в подарок ему — кто статью, кто прозу или стихи, кто просто изъявление любви, сострадания и утешения. Есть и собственные статьи юбиляра, а на обложке — его портрет: лицо чуть тронуто улыбкой, лоб высок и светел, всё выражение — не совсем обычного для него гордого спокойствия. Лицо президента, которого не удостоилась иметь Россия.

Этих фотографий мы раздали тогда больше пяти тысяч, люди брали опасливо, разглядывали с удивлением: «Так вот он какой...» — и непременно оставляли себе. Недаром этого лица боялись, оно могло свести на нет кампанию «всенародного осуждения». Помню, в конце 70-х готовился очередной том Большой энциклопедии на букву «С», где не миновать было поместить статью о Сахарове. Но это ещё полбеды, статью можно и причесать, а вся беда, что академику, хоть и опальному, но полагалась по чину фотография. Согласовывали этот вопрос с цензором, и вот что он ответил: «Исключений делать не будем, портрет дадим, поскольку издание идёт за границу, переводится в Англии, за него платят валютой. Но — надо подобрать самое неудачное фото». Перебрали — и неудачных как-то не нашли, всякое фото Сахарова посвоему интересно. «Ну, тогда,— сказал цензор,— сделайте соответствующую ретушь». Однако и ретушёр, мастер своего дела, справлявшийся с таким, к примеру, заданием: «У академика Лысенко убрать фанатизм»,— здесь отступился, сказавши: «Поразительное лицо! Чем его больше ретушируешь, тем оно лучше. Прямо — портрет Дориана Грея!» Собрался экстренный совет издательства, на

нём остряки внесли и такое предложение: «Перепутаем портреты — вместо Сахарова дадим, скажем, академика Пилюгина, в следующем томе извинимся мелким шрифтом, а портрета всё-таки не дадим». В то маразматическое время это обсуждалось всерьёз, но цензура всё же не одобрила. Какой выход нашли энциклопедисты, наш советский человек, я чувствую, уже догадался. В той части тиража, что идёт за границу, фото Сахарова дать, а которая советскому подписчику — совершенно верно, там ещё текста добавить. Как раз уместится фраза: «В последние годы С. отошёл от научной деятельности».

Я привёл лишь один из тысячи уколов, какими вынуждали его замолчать. Запрещали не только упоминание его имени, запретили учебник физики для техникумов, составленный отцом и только доработанный сыном. Смирись, гордый человек! Разве мало тебе изматывающей слежки, угроз твоим родным и друзьям — и угроз сбывающихся, мало негласных обысков, перлюстрации и пропажи писем и дневников, мало, что врываются с оружием то арабские террористы из «Чёрного сентября», то пьяный капитан МВД с пистолетом Макарова, мало бессудной и бессрочной ссылки с милицейским постом у дверей, персональной глушилкой для твоего транзистора, съёмки скрытой камерой и вечной подслушки, психотропных инъекций и насильственного кормления через зонд? Всё он принимал со стоическим терпением — как должное, как неизбежное, но никогда не равнодушно. Я видел его раздосадованным и во гневе, видел отчуждённым, погружённым в себя, и с чего-то вдруг необычайно оживлённым, распевающим частушку, видел презрительно-спокойным у стен суда, когда дружинники, призванные никого не пускать на наши открытые процессы, хором ему скандировали по команде: «Нам стыдно за академика Сахарова!» Я только не видел его растерянным от очередного подарка судьбы. Кажется, лишь однажды он сильно удивился — когда в служебной машине, которая дважды в неделю его подвозила в физический институт, замки в дверцах залили эпоксидной смолой. «Чего они добивались? Чтоб я опоздал в свой институт на семинар?» Искренне он не понимал этого вклада славных чекистов в отечественную науку. Что и говорить, эти проказники нам соскучиться не давали, трудились ребята с огоньком, во всякую свою затею вкладывая много души, весёлой выдумки. Испытав,

что такое сахарный сироп, залитый в бензобак, я преклоняюсь перед их неистовой энергией. Вот чего не понять мне — как при стольких уколах, ударах, подножках, при всех волнениях и мучениях, как удалось ему дожить до его 68-ми? И чего, наверно, не понять будет следующим за нами поколениям, и никто не сможет объяснить — как огромная могучая страна позволила всё это проделать над своим великим сыном, у которого только и было заботы — её благо, её процветание. Может быть, главная наша потеря — что мы потеряли себя.

Ничем другим, как общим безумием времени, нельзя объяснить, почему коллеги-академики не только его не поддержали,— хотя им за это не грозили ни тюрьма, ни голод,— но дружно стыдили его и клеймили; почему выступали против, взбадривая «народный гнев», и такие люди, мнением которых, несомненно, он дорожил — Чингиз Айтматов, Василь Быков, Дмитрий Шостакович. Я не затем привожу эти имена, чтобы свести поздние счёты, тем более что один упомянутый сам уж давно в могиле, я лишь хочу показать, какие против него брошены были мощные резервы, лучшие силы нации, и какую же надо было проявить ответную силу души, чтобы не отступить, не сдаться, нести и дальше взваленную на себя ношу.

Его окружала горстка друзей и единомышленников, дышавшая разреженным воздухом высокогорья, воздухом плацдарма, от которого стена страха отделяла сегодняшних трупоедов, сочинителей геройских автобиографий, нестеснительно рассказывающих, как и они помогали Сахарову в его правозащитной деятельности. Но у меня сейчас стойкое впечатление, что не так он и нуждался в помощи этой горстки, не столько он от неё, сколько она от него черпала уверенность и силы, и не будь её, он всё равно проделал бы свою гигантскую работу, которая сегодня кажется неподъёмной.

В дни похорон телекамеры показывали нам лик народа — угрюмый и скорбный и заметно растерянный. Можно было прочесть на этих лицах: «Как же мы раньше не знали, какая мы сила? И как позволили вот этого человека замучить?» Похоже на то, что целая страна виновна перед этим одним. Но если б это было так, нам, пожалуй, не на что было бы надеяться. Из числа виновных следует исключить тех, кто по крайней мере безмолвствовал, когда призывали клеймить, и сейчас укоряет себя

за своё безмолвие. Тех, кого всё же не задурили, кто не дал себя отравить сильнодействующим ядом печатной лжи, кто продолжал хоть втайне сочувствовать неукротимому академику и видел в нём воплощённую мечту о народном заступнике, российском Робине Гуде. Приходилось мне слышать в те годы, как бросает в сердцах совсем уже отчаявшийся: «Нет на вас академика Сахарова... Сахаров знал бы — не допустил... Одно мне осталось — к Сахарову пойти...» И шли сами, и посылали ходоков к порогу его квартиры, что, между прочим, было немалым подвигом для них, а ему — поддержкой. Слышал я и легенды о нём — они ведь не только о нём говорили, но и о тех, кто их сочинял или пересказывал.

И когда сейчас — не в Москве, где его хоронили, а в Ленинграде или Новосибирске — собралась на траурный митинг 50-тысячная толпа, это многое говорит об этой толпе, свидетельствует в её пользу. «Из-под каких развалин говорю, из-под какого я кричу обвала!» — так писала Ахматова о себе, так можно сказать обо всём народе, который сегодня высказал своё истинное отношение к Андрею Сахарову и заставил высказаться своё правительство.

Нам приходилось слышать и читать о конформизме Сахарова в его последние годы, о том, что в горьковской ссылке с ним что-то сделали, с его обликом и душой. Что ж, бывает, твоя позиция совпадает с позицией руководящих, и только несамостоятельный мыслитель может стыдиться этого. Но вот какая судьба у него — последний телекадр, изображающий его живым, запечатлел непримиримую схватку между ним и генсеком — тем самым Горбачёвым, который, по мнению многих, становится уже тормозом для собственных смелых начинаний. Не думаю, чтобы он вытаскивал Сахарова из его ссылки с расчётом его приспособить, он просто не мог иначе, кто бы тогда поверил в его «перестройку»? А выйдя — впрочем, ещё и не выйдя,— первое, что сделал непокорный арестант, нагрузил своего освободителя длиннейшим списком, кого следует освободить с ним заодно. Он остался бойцом, вызывающим у одних зависть к победителю, у других — раздражение столь многогранным деятелем, которого бы им хотелось укоротить, указать ему его место. На недавнем пленуме Союза писателей российских новый редактор журнала «Москва» Владимир Крупин вот как доблестно осадил зарвавшегося академика: «Конечно, он в ору-

жии массового уничтожения понимает больше, чем я. Но думаю, что я понимаю больше, чем Сахаров, в литературе». Оценим и хлёсткость удара, и понимание трагедии физика, давшего в руки государству сверхоружие, а затем добивавшегося его запрета. Признаем также, сколь продвинулись мы за 20 лет в своей профессиональной самостоятельности: бывало, знатные сталевары учили Твардовского, как ему вести «Новый мир», теперь — образованнейший читатель Сахаров не вправе высказаться в защиту редактора Ананьева. Но кажется мне, слово «литература» в данном случае эвфемизм, заменяющий слово «политика», а слова «не суйся в нашу политику» Сахаров уже слышал, слышал от Брежнева, а ещё раньше — от Никиты Хрущёва: «Ваша задача — бомбу сделать, а нам, политикам, не мешайте её применить, если понадобится».

Никому из своих противников Сахаров теперь не помеха, но думаю, очень скоро они спохватятся и остро почувствуют его отсутствие. Поймут они, какой груз государственности тащил он один, заменяя собою целый синклит. Ведь он не только возмущался и протестовал, но как истинный учёный всякий раз предлагал конструктивные решения. Не в том его заслуга, что он афганскую войну назвал преступной, это несложно было сформулировать, но он предлагал и поэтапный план её наименее болезненного окончания — в письмах главам государств, постоянных членов Совета Безопасности. Приняли бы мы вовремя его план, сколькие тысячи вернулись бы домой живыми и невредимыми.

Что же касается оружия массового уничтожения, есть и такое парадоксальное мнение, с которым, верно, не согласится Крупин со товарищи, что оно сослужило человечеству неплохую службу, от него сильно поубавилось имперских амбиций и пришлось задуматься, как вообще-то дальше воевать, если так тесна Земля наша, что, размахнувшись, себе же попадёшь по голове. Раньше и лучше многих это осознал Андрей Сахаров — и выступил против СОИ, космической защиты от ракет, коль скоро она, не будучи стопроцентно надёжной, порождает иллюзию, что воевать всё-таки можно. Согласимся мы с ним или нет, но признаем, что и его мысли о многопартийности или конфедерации автономных государств в границах Союза, равно и экономические идеи, разрабатывались не для украшения парламентского красноречия, а чтобы

нам избежать распада и катастрофы похуже Восемнадцатого года.

Андрей Сахаров ушёл не как Твардовский, исчерпавший все возможности диалога с властью, нет, он пал на полдороге, в разгаре битвы, когда ещё не ясно, кто кого. Заменить его — невозможно, некем, не видно такой фигуры, которая могла бы в ближайшие годы занять его место. Разве что соединённый, коллективный разум сможет это сделать, но верится в него, честно говоря, с трудом. Слишком талантливые мы фракционеры и разъединители связей, слишком редки среди нас — собиратели, каким и был этот мирный воитель, обо всём земном шаре думавший праведник, человек на все времена.

Надежда после его ухода едва лишь брезжит. Но я посчитал бы себя плохим другом и единомышленником Андрею Дмитриевичу Сахарову, если б не постарался эту зыбкую надежду тем не менее высказать.

23 декабря 1989 г., к 9-му дню

Радио «Свобода»
«Русская мысль», 5 января 1990 г.

КАКОЙ ЗЕФИР СТРУИТ ЭФИР

Недавно по радио «Свобода» в трёх пространных передачах программы «Поверх барьеров» московская поэтесса Татьяна Щербина поведала нам о своих былых отношениях с КГБ. Её очерк или эссе так и называется «Моё поколение и КГБ» — этим подчёркивается массовость вовлечения очередной генерации в тайную службу, в то засасывающее болото, откуда не каждый выбирается несломленным или незамаранным,— так что перед слушателем вполне вырисовывается облик новейшей Настасьи Филипповны: «...из такого ада чистая вышли...»

Не утомлю читателя примерами дурновкусия, восторга от собственной добродетели (за 1000 рублей не отдалась!), засорения эфира матерщиной, в женских устах крайне неприятной и подозрительной,— речь моя не об этом. Слушатель искушённый — скажем, участники Демократического движения, к которым и я имел честь принадлежать,— этот слушатель едва ли поймёт, какой интерес был у гебистов к такой экстравагантной, но в целом скромной особе. Ни «Хроника текущих событий», ни мемуары правозащитников, насколько мне известно, диссидентское или полудиссидентское имя «Татьяна Щербина» в историю не подхватили. Да, собственно, за воительницу она себя и не выдаёт, скорее за случайную жертву всеобщей «охоты на ведьм». Но тогда ещё более странны те сведения, что она сообщает о себе, о своих друзьях и знакомых, ну и о «них», сотрудниках госбезопасности.

«Они» будто бы говорили ей: «А вы ничего не боитесь!» — и следует подтвердительная декларация о Щербинином бесстрашии. Мне, право, завидно: такого комплимента ни я, ни мои друзья не удостоились от наших преследователей — наверно, знали они, как нам на самом-то деле страшно, да ведь и сегодня противостоять им — не в шашки играть... И простите мою дотошность, но хо-

телось бы знать обстоятельства места и времени; общение советского человека с КГБ всегда как-то регламентировано и как-то же называется: то ли это допрос у следователя, то ли обыск — у тебя или у соратника твоего, то ли доверительная беседа на явочной квартире или в гостиничном номере (так красочно описанная у Войновича). Хотелось бы и подлежащее уточнить: «они мне говорили» — такой оборот в среде правозащитников не проходит, «они» имя и фамилию имеют, звание, должность — и обязанность представиться собеседнику. Так вот, где, когда, кто говорил Татьяне Щербине, что она ничего не боится? И — по какому поводу? Может быть, она листовки расклеивала — против диктатуры КПСС? Или демонстрировала — за свободу Сахарову? Судить по рассказу, всего только прошлась по улице с Константином Азадовским.

Далее, они её спрашивали, почему проваливаются их сексоты, по каким признакам их различают. Этот вопрос, сказал бы я, знак доверия высочайшего. Не знаю диссидента, кому бы его задавали. Знаю, что всякий разговор о тайной агентуре, о стукачах гебисты пресекают, у них нет «осведомителей», у них — штатные «помощники», так нам разъяснил недавно шеф Крючков. С чего вдруг такая откровенность с поэтессой из андерграунда, можно сказать — с богемой? Ну подумайте, можно ли задать такой вопрос, не назвав, кто именно провалился,— и, значит, провалить окончательно бедного NN, насчёт которого были пока что одни подозрения? И какого же ответа ждали от Щербины, каким опытом она могла поделиться? Она сама кого-нибудь выявила, разоблачила? Или она кажется всевидящей, проницательной? О нет, она себя такой не рисует, она — наивная, она «дурочка с мороза», она сама настрадалась от своего легковерия.

Вот так, с мороза, она попала в салон «мадам Икс», который оказался то ли явочной квартирой, то ли прослушиваемым и просматриваемым притоном, куда и слетаются, как мухи на липучку, легковерные, приманенные хлебосольным гостеприимством и интересной во многих отношениях хозяйкой. Такие салоны есть и в Москве, и в Питере, и рассказу о них ничуть бы не повредило, а лишь поспособствовало украшению, если б Татьяна Щербина нам назвала эту «мадам Икс», сообщила бы, «где эта улица, где этот дом» и что же там в действительности про-

исходило, помимо того, что пили виски, закусывали икрой и друг дружку подозревали.

Признаться, плохо понимаю, какая и кому польза от того, что мы бросаем в эфир псевдонимы — и иногда давно раскрытые. Ведь, скажем, легко узнаваем этот Барашкин, литератор, который на следствии «потёк», а выйдя из тюрьмы, печатно клеймил Василия Аксёнова (также и Юза Алешковского) и прочих, кто его склонил «на путь предательства», т. е. публикаций за границей. С фамилией, производной от мелкого рогатого скота, был такой — Евгений Козловский, автор повести «Красная площадь», опубликованной в «Континенте», и каялся он в «Московской правде», и его уже назвал в недавнем интервью Аксёнов, и я называю — в февральском номере «Юности», в беседе с Анной Пугач. К чему теперь конспирировать с «мадам Икс», Барашкиным или иным каким персонажем, которого автор называет загадочно: «ну, предположим, “Питон”»?

Особенно поразило меня, что Татьяне Щербине было известно заранее, чего ни Аксёнов не знал, ни я, ни другие жертвы этого Козловского, которым он приносил на отзыв свои рукописи и у кого под этим предлогом проводили потом обыски. Оказывается, некий Саша, «агент из Союза писателей», ей сообщил, что Барашкина скоро посадят,— и никого она не предупредила, хотя бы, к примеру, Виктора Ерофеева, с которым была знакома и кто мог бы дальше оповестить «метропольцев», меня, Владимира Кормера, да, наконец, и самого Барашкина-Козловского! Я не знаю, был ли он засланным провокатором, как Щербина подозревала, или же он просто слабый человек, сломавшийся на следствии, убоявшийся лагерного срока, но, может быть, предупреди его кто о готовящемся аресте, он бы как-то иначе себя повёл, отшатнулся бы от среды людей, где ему было не место, где он по своей слабохарактерности мог только навредить. Да и не одними же прагматическими соображениями должны мы руководствоваться, когда какой-нибудь новый Клеточников нас о чём-то предупреждает. Представим себе, кто-то шепнул нам, что точится топор на о. Александра Меня, и мы умолчали об этом — ведь это считалось бы соучастием в убийстве. Так не могу ли я считать Татьяну Щербину соучастницей моего изгона в эмиграцию? — ведь при том обыске, из-за Козловского, и добыли у меня гебисты

доказательства моей «антисоветской деятельности», после чего могли на выбор мне предложить — Запад или Восток — и представить к лишению гражданства.

Наверно, имело бы смысл предложить Татьяне Щербине ответить в тех же «Барьерах» на вопросы, которые я здесь изложил, но это, разумеется, не в моей компетенции, моё дело — лишь высказать суждение. Ещё ни одна передача радио «Свобода» так не возмущала меня, не казалась столь кощунственной — по отношению ко многим людям, в их числе — жестоко пострадавшим, а то и погибшим. В беседе с Кириллом Хенкиным по случаю его 75-летия высказалась Татьяна Щербина в том смысле, что все мы, утаивая истину, не называя имён — из опасения судебного преследования или по излишней щепетильности,— «участвуем в этой машине», в игре, навязанной нам КГБ. Думаю, что она права, что и станция «Свобода» в этой игре участвует, предоставляя микрофон гостье из Москвы для её завлекательного щебета — если то, что она говорит, действительно только щебет.

«Русская мысль», 28 июня 1991 г.
«Столица», 1991, № 51-52

ТРИ ОШИБКИ ЗАГОВОРЩИКОВ

Насколько я могу судить из своего далека: по меньшей мере, три ошибки заговорщиков позволяют считать их затею заведомо проигранной. Они делали ставку на непопулярность Горбачёва и думали, что народ либо одобрит его свержение, либо останется к этому равнодушен. Они не поняли, что президент на вершине своего могущества и президент, подвергшийся незаконному аресту,— это два разных президента. Первого можно ругать и проклинать, второй вызывает к себе сочувствие и ощущение, что каждый из нас оскорблён лично.

Вторая ошибка — Ельцин. Они не позаботились его изолировать, поскольку надеялись на конфронтацию между ним и Горбачёвым, на их соперничество, на то, наконец, что Ельцин не забыл и не простил той давней обиды, когда Михаил Горбачёв отстранил его от власти. Борис Ельцин показал себя человеком чести и настоящим большим политиком, а не дешёвым игроком. Он проявил и благородство к свергнутому сопернику (чувство и несвойственное, и, пожалуй, неизвестное путчистам) и необычайную решительность. Поэтому сейчас он главная фигура происходящего — ему принадлежит всё внимание и восхищение мира.

Третья и самая большая ошибка путчистов — народ, для которого шесть лет перестройки и гласности не прошли даром. Оказалось, никакое насилие не способно было создать нового человека, как это удаётся за такой короткий срок с помощью свободы. Этот новый человек не остался равнодушным и не поддался страху. Он не укрылся дома, на кухне — он вышел на улицы и площади, он упирается безоружными ладонями в танковую броню, и танки этого не выдерживают и отступают.

Заговорщики проиграли свою игру. Но именно потому, что они плохие игроки, не нужно обольщаться, что их затея кончится быстро. Хороший шахматист не дожидается, когда ему объявят мат. Плохой — играет свою безнадёжную партию до последнего.

Я видел удручающий кадр — как тащат из люка молоденького танкиста. Это ни к чему доброму не может привести — лишь к разжиганию взаимной ненависти, чреватой обоюдными жертвами. В этот роковой час не забудем, что мы единый народ, единая нация, и значит, есть у нас надежда договориться, достучаться до сердца этого обманутого солдата, у которого так мало времени для размышлений и так велика ответственность. Убедите его, подскажите ему правильное решение, но пусть он его примет сам. Поверим ему — он покажет себя гражданином, для которого не напрасными оказались эти шесть лет свободного дыхания.

21 августа 1991 г.

По телефону

«Московские новости»
(специальный выпуск),
24 августа 1991 г.

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...

Из цикла «Вечера на хуторе близ Лубянки»

Как всегда, без лишней спешки, на почтовых с колокольцами, доставили мне из Москвы номерок «Литературной газеты» от 16 октября, и в нём — вот репримaнд неожиданный! — новую порцию откликов всё на ту же, июльскую, *дореволюционную*, статью Аллы Латыниной «Когда поднялся железный занавес...»*.

Грешным делом, не думалось, что «Литгазета» останется так верна своему обещанию, ведь столько событий произошло — и каких! Отлязгали гусеницы путча, и уже полузабыты жертвы его; ещё сколько-то пере-переименовано городов — и среди них «колыбельный» Ленинград; ещё сколько-то идолов сворочено с пьедесталов — и среди них особенно настрявший Железный Феликс; и выдраны самые зубы Дракона (а впрочем, и новые должны отрасти, если из привычного КГБ простым амёбным делением образовалось три неизвестных); уже наконец и сама Латынина, не перенеся оглушительного успеха своей статьи, поспешила отречься (в ответе Войновичу) от того, что и принесло успех: «С чего Вы взяли, что я призываю Вас жить в Москве? Мне решительно всё равно, где живёт русский писатель: в Париже, Мюнхене или на Луне» (Знаем, как Вам «решительно всё равно», так и поверили!); а дискуссия-то всё продолжается — «о роли и месте писателей русского зарубежья в сегодняшнем нашем литературном и общественном процессе» — и только вырисовываются в туманной дымке новые повороты темы...

Распечатать пакет новых откликов предоставлено Владимиру Максимову. Как до него Юрий Милославский, щелчка по носу, предназначенного всей «третьей волне»

---

* «ЛГ», № 29, 1991; дискуссию вокруг статьи см.: «ЛГ», № 33, 37, 41, 44.

эмиграции, он определённо не заметил. Милославский, помнится, уверял, что «статьи, подобной нынешней, латынинской, дожидался давно» и что она — «только начало осознания и самовразумления» (?!). Максимов солидно ему поддакнул и, к сожалению своему, признался, что «вынужден согласиться как с пафосом, так и с доводами этой статьи». Пафос и доводы эти сводятся к вопросу: «Почему мы должны вас слушать, если вы не возвращаетесь?» — как же понимать вынужденное согласие? Что добровольно умолкнет столь ценный для всех нас, живительный голос? Или что его обладатель решил-таки вернуться на свой Бескудниковский бульвар? Мимоходом и комплиментами обменялись: Милославский попросил не путать эмигрантскую элиту, «в которой творчески существовали и существуют Иосиф Бродский и Владимир Максимов», с прочим болотом, которое он называет не очень внятно «комсомольско-молодёжной и космически-оптимистической пустотой». Максимов, знающий толк в «обоймах», тандем с нобелевским лауреатом оценил и, в свой черёд, объявил Милославского «одним из самых талантливых прозаиков эмиграции». Как сказал поэт: «Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдёт!..»

Отклик Наталии Ильиной, эмигрантки ещё «первой волны», возвратившейся в Союз в конце 40-х годов, называется «Из-под одного сапога» — так обозначено общее наше, обеих дискутирующих сторон, происхождение. «Тем, кому этот сапог одинаково ненавистен,— вот пафос этой статьи,— кидаться друг на друга не следует». Что ж, коли нет для примирения иной основы, примем хоть эту. Примем и следующее важное свидетельство: «Уже приходилось читать в нашей прессе статьи, где перечёркивается всё, что делали писатели, никуда из СССР не уезжавшие. Намекается, а то и говорится прямо, что те, кто на площадь не выходил, в тюрьме не сидел, в самиздате не участвовал, а легально публиковал свои произведения,— пособники режима». Ценно тут, что источником этого вздора называется *наша пресса,* т. е. советская, хотя, честно признаться, не безгрешны были и эмигрантские издания. Тем не менее, когда из пределов покинутого отечества доносились проклятия «отщепенцам», «предателям», «агентам ЦРУ», обзываемые в целом не торопились в отместку «сбросить с корабля современности Юрия Трифонова, Василя Быкова, Фёдора Абрамова, Бориса

Можаева, Владимира Тендрякова», не отрекались от «Нового мира» Твардовского. Если и находились исключения, коллеги-эмигранты им не аплодировали и, как правило, ставили их на место.

Однако ж, истинно гвоздевым материалом пакета следует признать его третью составляющую — статью Светланы Беляевой-Конеген под названием обманчиво-скромным и кокетливо-отстранённым: «Совершенно абстрактные рассуждения о “врагах отечества” и “честных советских гражданах”». Содержащаяся в ней концепция представляется мне радикальным вкладом в исследования «благородной болезни» всякого сопротивления, нашего Демократического движения в частности, равно и феномена эмиграции, не без рекомендаций, как к этому феномену относиться. Короче, здесь что-то новенькое, достойное подробного рассмотрения.

Читатели «Двенадцати стульев» помнят, наверно, предмет зависти Эллочки-Людоедки, интеллектуально продвинутую Фиму Собак, которая даже знала слово «гомосексуализм». Светлана Беляева-Конеген несравнимо богаче: помимо излюбленных ею «социума» и «андерграунда», у неё в запасе «институциональные воплощения», «креативные начала», «реляционные структуры», «институализированные системы», «фундирование зла» и бог ещё знает сколько всяких там «идентификаций» и «самоидентификаций». Как у кого, а у меня при словах «социокультурный менталитет» тотчас разбаливается голова и начинает казаться, что неприличные обороты Юза Алешковского предпочтительней. Если же не пугаться и разгрести ложкой эти ингредиенты социологического свекольника, обнаружится дно неглубокое и не очень чистое. Разгрести я попробую с помощью попутного комментария, только попрошу читателя о терпении. Перевести упомянутую концепцию на язык родных осин можно, да жалко — утратятся некоторые прелести учёного стиля, причудливые одеяния раскованной мысли.

Итак: советская власть не может жить без врага — «сопротивленца», «диссидента», «нарушителя социалистической законности» — и она «этого преступника сознательно, искусственно создаёт, выращивает, нежно лелеет и холит». В сущности, это главная и даже единственная цель всех исправительных заведений — тюрем, лагерей, колоний — «порождение и воспроизведение преступника».

Примем оговорку автора: понятия «враг», «преступник», «преступление» она употребляет «абсолютно отвлечённо, не наполняя их каким бы то ни было "отрицательным" или "положительным" морально-этическим содержанием». Это понятно: если бы наполняла, ей бы пришлось либо в стан гонимых себя поместить, либо — совсем уж открыто — гонителей. Спросим только: а на кой он ей, Софье-то Власьевне, «преступник», зачем так уж надрываться его выращивать? — если тем более «склонность к радикальной оппозиционности в крови у нашей интеллигенции» (что так и пёрло в глаза при награждениях Брежнева.— *Г. В.*)? Ну, наверно, для того нужен, чтобы на нём показывать силу карающей длани — и тем нагонять страху на обывателя, да и ему самому было бы на ком срывать досаду на свою треклятую жизнь. Так подумает читатель — и ошибётся. Отвечать следует: «преступник» и его «преступная деятельность» нужны для «подходящего "созидательному" началу противовеса».

А противовес — зачем? Тут объяснения автора воспаряют в бескислородные высоты метафизики (о которых народ выражается порою грубо: «Без поллитры не разберёшься», «Чёрт ногу сломит» и т. п., а саму метафизику обзывает эвфемизмом тоже на букву «мэ» и с окончанием «-логия»). Оказывается, в обществах демократических, где Церковь занимает подобающее ей положение, воплощает общественную духовность, там абсолютному злу нет опоры, или, как пишет г-жа Беляева-Конеген, оно, «скажем, в образе Дьявола, никак не фундировано. И у члена такого общества нет в результате счастливой возможности ощутить себя в той или иной форме носителем подобного рода миссии». То есть втайне мечтают люди нет-нет да выступить «в образе Дьявола», а Церковь, а вера — не позволяют? Как же с атеистами, с агностиками, с теми, кто по тем или иным соображениям в церковь не ходит,— это они-то и совершают реальные преступления, составляют, говоря языком статистики, основную «группу риска»? Боюсь, статистика нас тут не поддержит... Но окунёмся в общество наше, «мифологическое», как его называет г-жа Беляева-Конеген,— насчёт зла у нас полный ажур, оно «изначально метафизически фундируется», граждане сверх головы рады «добровольно принять на себя функцию носителя этого зла» (Ну, злоумышленники по природе! — *Г. В.*) и живут припеваючи «с ощущением мета-

физической и культурно-социологической оправданности этой функции, этой своей миссии, этой своей роли врага...». Ещё одно скрипучее усилие мысли — и уложим в свои извилины едва ли не главный постулат: «мифологическое общество фактически изначально конституирует присутствие внутри себя как некоего мифологического протагониста, так и его антипода, врага. Причём оба этих мощных начала присутствуют в сознании буквально каждого члена такого общества».

У этой развилки остановимся, призадумаемся: почему же одних граждан «мощное начало» склоняет к конформизму, влечёт предпочесть любовь к начальству и вообще сделать «социалистический выбор»,— за что им перепадают кое-какие блага, вроде ускорения в карьере, доступа в закрытые распределители, увлекательных заграничных странствий,— другие же неблагоразумно лишают себя «высочайшего наслаждения духовного совокупления с массами честных, законопослушных граждан» и избирают «более склизкий» путь сопротивления, диссидентства, изобилующий неудобствами и неприятностями, вплоть до ранней кончины (а не правда ли, как этим «более склизким» эпитетом г-жа Беляева-Конеген пополнила словарный фонд публицистов с Лубянки! — *Г. В.*)? Ответа на этот вопрос мы не дождёмся; под тем предлогом, что тут «чистая наука», из рассмотрения исключаются такие мерихлюндии, как честь, совесть, боль за отечество, стыд за сограждан, и напротив, бесстыдство, алчность, жажда власти, обогащения за счёт ближнего и прочая, прочая,— и только академически бесстрастно констатируется, что избравшие второй путь «попадают в другую мясорубку (а первый-то — с икрой, с балычком, с Парижем — разве тоже «мясорубка»? — *Г. В.*) — в не менее жёстко институализированную систему “сопротивления режиму”, со столь же жёсткой этикетностью поведения и столь же малой их индивидуальной подвижностью, индивидуальной “свободой”». Не совсем ясно тут, о какой «жёсткой этикетности» речь (если не о правилах конспирации, да и те не выдерживались, увы) и почему закавычены «свобода» и «сопротивление режиму». Хочет ли сказать г-жа Беляева-Конеген, что сопротивление только изображалось? Но тогда она никакой культуролог, ибо, скажем, поднять над собою «возмутительный» транспарант — это и сопротивление, и одновременно изображе-

ние его. Хочет ли она сказать, что правозащитники принуждали друг друга к акциям протеста или ущемляли в своей среде индивидуальную свободу – ну, например, свободу скрыть от товарищей вызов в КГБ или о чём была там беседа или допрос? Но тогда пусть ответит: а кто ущемляет нашу свободу прихватить в гостях серебряные ложечки?

Итак, этот-то взваленный на себя добровольно «пудовый груз вины», этот вожделенный статус «врага» попытались отнять у эмиграции, *когда поднялся «железный занавес»*, и она, «понятно, ухватилась за него обеими руками», из-за чего оказалась «наиболее консервативной частью русского общества». Передовая г-жа Беляева-Конеген её не шибко за это корит (всё же задубелые консерваторы предоставляют гостям из Совдепии и микрофоны, и свою печать), она находит «естественным и простительным», когда «в столь сомнительной ситуации», т. е. вдали «от эпицентра сегодняшних событий» бедные троглодиты апеллируют «к прежним заслугам правозащитной деятельности». Из всего предыдущего изложения никак не предполагалось слово «заслуги»; в терминах социокультурной кулинарии, с приправами от Зигмунда Фрейда, это называлось компенсацией чувства «вины» и оправданием себя «во вражеском качестве». И вообще, я надеюсь, у читателя не осталось сомнений, откуда взялось на Руси великой и в прилегающих республиках Демократическое движение – оно было искусственно выращено Софьей Власьевной для её надобностей, ею нежно взлелеяно и выхолено, так что все эти диссиденты, вы меня извините, фигуры дутые и насквозь придуманные. Вот только одно неизвестно: «долго ли ещё прилично будет размахивать этим ветеранским удостоверением?» Это и составляет главный вопрос всей статьи, и не последним его следовало ставить, а даже вынести в заглавие.

Ради него и взялась Светлана Беляева-Конеген объяснить подписчикам «Литгазеты» то, в чём она, скажем помягче, малость некомпетентна, от чего она ещё более далека, нежели эмиграция от «эпицентра». И не скажешь, что она совсем не права; просто она со своими открытиями опоздала на целую историческую эпоху.

Она, естественно, начитана и наслышана, что система тоталитарная без врага жить не может, да только не учла одной необходимой поправки: своего врага эта система

предпочитает выбирать сама. Продвинутый автор «Литгазеты» кое-что знает, конечно, о временах, когда фабриковались дела шпионов, диверсантов и вредителей, когда высасывались из пальца террористические центры, заговоры и партии, с планами покушений на любимых народом вождей,– вроде «заговора Таганцева» с Николаем Гумилёвым в составе или «Партии возрождения России» с о. Павлом Флоренским во главе,– когда острова ГУЛАГа перенаселялись людьми действительно невиновными, вполне лояльными, славившими Сталина и родную власть вплоть до расстрельной стенки,– эти времена миновали ещё до рождения г-жи Беляевой-Конеген. Последним таким фабрикатом было, наверное, «дело врачей», а может быть, и «английского шпиона» Берии, но после XX съезда, после хрущёвских разоблачений власть уже не нуждалась выращивать врагов искусственно, они уже вырастали сами, враги настоящие, без кавычек, враги сталинского тоталитарного режима и его метастазов, враги несвободы. И с ними-то власть уже и не знала, как ей быть. Ведь казалось бы, если мало было «врагов внешних», вроде ЦРУ, и хотелось ещё внутренних иметь, кто лучше подошёл бы для такой роли, чем ядерный физик Сахаров и генерал Григоренко! Какой сюжет в руки шёл – с передачею сверхсекретов Пентагону, с разоружением Родины «перед лицом агрессивного блока НАТО»! Ан почему-то всеми силами от этого сюжета отпихивались, другой сочинили – что мятежный академик целиком находится под воздействием жены, угнали в бессудную и бессрочную ссылку, где он не мог общаться с иностранцами – и значит, поставлять компромат о глобальном заговоре, чистое алиби! Генерала же – лишили звания и поместили в психушку (где никак не мог оказаться Тухачевский, иначе бы разрушилась «вся правда» об измене в верхушке РККА). Такое намеренное и очевидное снижение ранга противника ни на каком сленге не означает «нежно лелеять и холить». Сколько усилий прилагали эти противники, чтобы добиться статуса политзаключённого, то есть сами себя предлагали в идейные враги,– и сколько было ответных ухищрений упечь мерзавца по любой не политической статье: за хулиганство, за попытку изнасилования, за нарушение общественного порядка, за операции с валютой. Высшим же достижением считалось – добиться раскаяния, отказа от завиральных убеж-

дений. Скажи только, что бес попутал, и вали на все четыре стороны! Похоже это на «выращивание врага»?

О «преступной деятельности» диссидентов, о «нарушениях социалистической законности» пишет г-жа Беляева-Конеген с той же «точностью до наоборот». Преступницей и нарушительницей оказалась сама власть, в чём диссиденты её и уличали, ввергая во гнев и исступление. Какой был главный мотив плакатиков, реявших над молчаливыми демонстрациями? «Уважайте собственную конституцию!» А чем, в сущности, была ненавистная, непереносимая «Хроника текущих событий»? Простым перечнем нарушений, совершаемых в тюрьмах, в лагерях, в ссылке, на «химии», на воле. А в чём состояла простая и гениальная идея Юрия Орлова, основателя «Хельсинкской группы», доведшая власть предержащую уже до остервенения, до горючих слёз? «Вы взяли на себя обязательства по правам человека — ну а мы берёмся вам в этом помогать». Ну, можно ли было предвидеть это *воинствующее законопослушание* — и как было руке не срываться, не наказывать вечных обвиняемых, вдруг заимевших неслыханную наглость — обвинять!

Но что же мы всё про кнут, ведь были и пряники. В том же 41-м номере «Литгазеты» Павел Басинский, в заметках о творчестве Анатолия Приставкина, приводит честное его признание: «Не был бунтарём». И что же, Союз писателей укорил будущего лидера «Апреля» в недостатке гражданской активности? Удостоил премии в 1978 году. Почему не в предыдущие, ведь он в Стеньки Разины и Емельки Пугачёвы не рвался никогда? А дело, я думаю, в том, что 1978-й был «годом процессов» — Юрия Орлова, Александра Гинзбурга, Анатолия Щаранского,— кой-какие писатели и поварчивали в полтона, а некоторые и взбунтовывались, поэтому тихо сидевшие котировались особенно высоко.

Ну и совсем безнадёжных в смысле исправления выталкивали за рубеж отчизны — с расчётом, что там их голоса либо умолкнут, либо звучать будут в треть силы. Расчёт не оправдался: если и убавилось голосовой мощи у изгнанников, то намного усилилось в отчизне внимание к ним, больше, чем того хотели изгонители, а с ними заодно — что поделаешь, но это так! — Алла Латынина и примкнувшая к ней Беляева-Конеген. По крайней мере, их статьи слишком гармонируют с тем дьявольским рас-

чётом. Ради чего берутся они развенчать, занизить перед читающей публикой облик диссидента, правозащитника, ещё — по их же неприязни судя — достаточно высокий? Я не вижу со стороны обеих дам личной причины так уж быть недовольными горсткой полубезумцев, чьи массовые сборища (к примеру, в 60-летний юбилей Сахарова) все набивались в одну двухкомнатную квартиру. 70—80 человек на всю Москву — ну пусть бы и размахивали своими «ветеранскими удостоверениями», нешто все пути перекрыли новобранцам (кстати, размахивающим своими «андерграундными» куда резвее)? Да, видно, не в числе суть: чувство не самое доброе вызвал бы и один, вставший во весь рост, тогда как уже все нашли, что гораздо удобнее на коленях или в полупоклоне. Наверное, лучше меня объяснит это чувство вчерашний диссидент, а ныне президент, Вацлав Гавел:

«Это нам хорошо известно по истории: тот, кто сопротивлялся, не чувствует такой потребности сводить счёты, как тот, кто молчал. Потому что тот, кто молчал, мстит за своё унижение и задним числом улучшает свою позицию перед самим собою и Господом Богом».

И это, пожалуй, ещё снисходительное объяснение удручающего парадокса: казалось тогда, соотечественники будут горды, что не все мы в глухую постыдную пору были студенистой, местами киселеобразной массой, разминаемой пухлыми пальцами бровеносного маршала с его 18-ю килограммами орденов, но попадались и твёрдые вкрапления, даже и колючие, находились смельчаки, хоть и малым числом, а спасшие достоинство нации, не позволившие счесть её всю покорным быдлом,— но вот миновала та пора, пришла другая, и открылся унылый «пейзаж после битвы», с крепкоклювыми птицами, сидящими на ветвях в нетерпеливом ожидании, когда же поверженные перестанут шевелиться. А они всё шевелятся, всё размахивают какими-то регалиями, снова и снова переживают свой «склизкий путь» по брусчатке Красной площади к Лобному месту, где на одну минуту они развернут свои жалкенькие плакатики, а в следующую минуту будут схвачены, избиты, брошены в «воронок». Вспоминают они погибших несломленными — Анатолия Марченко, Василя Стуса, Юрия Галанскова, Олексу Тихого, Валерия Марченко, Юрия Литвина, Юри Кукка. Думалось ли, что когда-нибудь нам будет предложено поско-

рее забыть об их прахе? А ещё и не до такого доживём — когда те трое, что на Садовом кольце Москвы своими телами, своими жизнями задерживали бронемашины, рвавшиеся к Белому дому,— Усов, Кричевский, Комарь,— стараниями нетерпеливых культурологов сделаются персонажами чёрного юмора.

Такого эффекта Алла Латынина, ясное дело, не добивалась, всё происходит само собою, являются последователи, подхватывают саднящую тему, ненароком приобнажают нехитрую подоплёку зачина. Так науськанный «малолетка» выдаёт подспудные намерения «пахана», сохраняющего вид непричастности. Разумеется, Латынина не допишется до бестактностей, до склизких удостоверений, она это же самое выскажет тоньше, изящнее, по-королевски отвесит Войновичу «низкий поклон за социальную активность» и с лёгкой иронией выговорит ему насчёт истории «Идиота»:

«Но г-н Катков, публикуя роман, не вразумлял публику, что, дескать, роман особенно хорош тем, что Достоевский двадцать лет назад стоял на семёновском плацу в одежде смертника. И Достоевский не настаивал».

Всё же от критика с литературоведческим уклоном не ждёшь элементарного школьного неприготовления урока. И учили-то нас, что нельзя рассматривать творчество писателя в отрыве от его биографии, и Достоевский-то как раз настаивал — в том же «Идиоте» устами князя Мышкина рассказывая о чувствах смертника перед эшафотом. А Каткову и не было нужды вразумлять публику, она и без того всё знала об авторе. Тогда, видите ли, была немножко другая публика. Такая, что и сорок с лишним лет спустя продолжала чтить и боготворила жён декабристов за их подвиг, искупивший поражение мужей и высоко поставивший в российском обществе понятия чести, гражданского достоинства, мирного, но и убийственного, неповиновения казарменной тирании. Если б то было не так, не вдохновился бы Н. А. Некрасов в 1871 году на поэму «Русские женщины».

А напоследок я скажу... Надеюсь, простит мне Белла Ахмадулина, что помещаю эти её слова рядом с неаппетитным императивом, выдвинутым Аллой Латыниной нам в назидание: «...я хочу, чтобы наши соотечественники наконец сообразили: котлеты отдельно, а мухи отдельно». Боюсь, соотечественники этого не сообразят, это

в России идеал недостижимый — ни в столовках общепита, ни метафорически, в сердцах россиян. Для них всё-таки много значит, что стоит за книгой и чего она стоила автору. Что был бы глубоко чтимый Латыниной Солженицын без «мух», то есть без восьми лет его неволи?

Признаться, неловко мне углубляться в полемику с Латыниной, имея перед нею весомое преимущество: я-то знаю, а она не знала, пиша статью в июле, что и как произойдёт в августе. Возможно, от иных своих утверждений она бы сейчас отказалась. Она так едко высмеяла Владимира Буковского за его призыв к всеобщей забастовке, а между тем это было первое, о чём вспомнила Елена Боннэр в утро 19 августа и к чему призвал Ельцин. Тому же Буковскому на его шутку о танке, застрявшем в тюменских болотах, она попеняла как будто резонно: «А если танк застрял под окном твоего дома?» Случилось именно так — или почти так,— и она могла убедиться, что танки в мирное время вводятся в города вовсе не для разрушения домов, а с целью даже противоположной: чтобы обывателю в доме уютнее сиделось и не тянуло бы его на площади и проспекты. Если этот соблазн победить, то всё обойдётся,— разве что назавтра введут цензуру и воцарится вместо гласности госбезопасность. Не знаю, убедилась ли Латынина и в том, что есть всё-таки сермяжный смысл выйти из дома. Страшен танк движущийся — и для меня, признаюсь, устрашающими были те кадры, где бесконечная их колонна втягивалась в Москву по шоссе, двигаясь неспешно по осевой и даже не мешая всякому иному движению, точно и впрямь «знали истину танки». Но, остановясь, утихнув, грозная махина делается частью городского пейзажа, и через какой-нибудь час её экипаж, в силу простых человеческих надобностей, вынуждается к общению с теми, кого он прислан усмирять. И тут для взаимопонимания и умиротворения больше сделают мальчишки и женщины (неоценим вклад хорошеньких девушек!), чем батальон ополченцев с автоматами Калашникова и арматурными прутками. Так что житейский опыт Буковского породил не совсем пустую шутку,— они таки застряли! — хотя и тут Латынина, всё видевшая своими глазами, вправе съязвить, что это «смешная картинка, особенно если рассматривать её на телеэкране».

Я о другом хочу — и меньше всего о том, возвращаться эмигрантам или не возвращаться. Я нахожу некоррект-

ным, что на общественное обсуждение выносится вопрос, должный решаться каждым в одиночку, без участия заинтересованных посторонних.

От одного из своих утверждений Алла Латынина, верно, не откажется и сейчас, тем более что оно уже подхвачено другими, сделалось летучим, да и звучит красиво: «История России будет свершаться в России».

Что тут возразишь? Можно бы напомнить, что долгие годы, числом аж в две Отечественных войны, она свершалась в Афганистане, как некогда под Мукденом и в Цусимском проливе, но это возражение слабое, ибо театр военных действий, тем более зона оккупации — территория спорная и в какой-то мере тоже Россия.

Есть возражения посущественней. На первый взгляд — на прослух — вроде бы это применимо и к любой другой стране: «История Англии будет свершаться в Англии». Ан нет, англичанин так не скажет, что-то крепко засело в его сознании ещё со времён, когда над владениями его родины ни на час не заходило солнце, да и вообще для европейца всё абстрактнее делается пограничная стража. Это наша исконная черта — подобные заклинания, да с глубоким придыханием, будто у нас всё не так, будто история Мадагаскара свершается на Цейлоне, а Франция шагу не ступит, не озаботясь узнать мнение Замбии. Ещё раз начинаю торжественно: «История России...» — и чувствую заранее, что никак не поставится точка, всё лезет запятая, а следом какое-нибудь «но».

«...свершается в России», но — очень не лишними оказываются американец Буш, спешно покидающий своё ранчо и ещё в полёте на свой КП созывающий советников — обсудить вопрос о перевороте в Москве, и англичанин Мэйджор, и немец Коль, согласно заявляющие, что знать не хотят никакого ГКЧП. Не оттого ли, сверх похмелья, тряслись руки у Янаева, не потому ли поспешил с заявлениями, что скоро увидим Михаила Сергеевича?

«...свершается в России», но — что именно свершается, жители этой страны и оба президента узнают от лондонской Би-Би-Си и мюнхенской «Liberty».

«...свершается в России», но — не без хлеба, выращенного фермерами в Айове, не без мяса бурёнок Аргентины, не без масла от Европейского Сообщества и миллиардов долларов, выпрошенных... да у кого только не выпрошенных! Кощунственно, бестактно об этом напоми-

нать? Но, может быть, если бы тем, у Лобного места, дали не минуту постоять, а час, да вчитались бы в их плакатики, то не было бы нынче многочасовых голодных очередей, не пришлось бы по миру идти с шапкой и не отшатывались бы от нас, не посторанивались другие народы и государства?

Так вот — напоследок. А будет ли свершаться в России история? Сможет ли свершаться, если каждый десяток лет мы от неё отрекаемся, если каждое следующее поколение будет считать первейшим своим делом развенчать и забыть не самых худших людей из предыдущего, кое-что сделавших и немало отдавших, чтобы иметь нам сегодня неоценённое благо — свободное дыхание, чтоб мы хоть обсудить могли, где и что у нас болит? Сказано одним из героев Толстого: «От человечества требуется немногое — ценить своих гениев». С гениями туго у нас, но герои-то, слава те, господи, не перевелись. Нельзя ни от кого потребовать героизма, но научиться его уважать — можно? С досадою отталкивая, тесня ветеранов, мы себя обрекаем быть в свой черёд вытесненными каким-нибудь новым беспамятным «социумом» из «андерграунда». Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем вечное поражение, а всю Россию отдаём позорной участи — надолго остаться навозом на пашне истории. И всходы с этой пашни достанутся не россиянам — кому-то другому.

Если только будут всходы...

«Русская мысль», 6 декабря 1991 г.

«ПРАВДА БЕЗОБРАЗНА. МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЕЁ С МОЛИТВОЙ И МУЖЕСТВОМ»

Предновогодние ощущения

Волею моих гонителей я оказался в лучшем положении, чем большинство моих соотечественников, не подвергшихся изгнанию. Парадокс дополняется тем, что я нахожусь в стане побеждённых, кто в далёком 1945-м был нами и союзниками разгромлен и принуждён к безоговорочной капитуляции, а сегодня вправе судить нас, победителей: отчего же так бездарно мы воспользовались своей победой в сравнении с тем, как они — своим поражением? Но никто не судит, не злорадствует; похоже, всё происходящее в бывшем Союзе рассматривается как свалившееся несчастье, в котором старшее поколение видит отчасти и свою вину. Правда, этот немецкий комплекс не очень увязывается с тем, что мы спустя 20 лет после войны жили лучше, чем спустя 45, но покаяние и не ищет логики, оно жаждет искупления добром.

Красивейшая дорога на Висбаден вьётся среди садов; на обочине, как водится по всей Германии, торгуют с лотка овощами и фруктами владельцы окрестных хуторов. Это раза в полтора дешевле, чем в магазинах, и к ним выстраиваются автомобильные очереди. Часто торгуют муж и жена, сильно пожилые, управляются они тремя руками — свою левую он в 1943 году оставил в Новороссийске. Кивая на подколотый рукав, он с печальной усмешкой так подытожил свою войну: «Никому не советую». Иной бы, наверно, имени Новороссийска слышать не мог. Но оказывается, у него нет проблем, куда адресовать продовольственные посылки — разумеется, туда, в Новороссийск, ведь этому городу он, тогда 19-летний, причинил ущерб.

Вспыхнувшую год назад кампанию «Сердце для России» не нужно поджигать вновь, она ни на день не затухала. Побеждённые не забыли, сколько в своё время помогали им и сколько усилий они сами приложили, вытаскивая из ямы свой истерзанный, всеми проклинаемый

Vaterland, и кажется им, что такие же усилия прилагают сейчас и русские, которым просто не везёт. Постигни они всю пропасть нашего уныния и апатии, может быть, у них опустились бы руки. А впрочем, это ведь немцы, у них всё не как у нас.

Считается, что пожертвования выгодны, они снижают сумму налога. Для кого-нибудь это так, но преимущественно энтузиасты пожертвований — женщины лет 70-ти, как раз из тех, кто не дождались с фронта своих мужей, братьев или отцов, или же их мужчины умерли преждевременно от ран и контузий; эти фрау Маркс или фрау Кальтенбруннер (никаких аллюзий, просто весьма распространённые в Германии фамилии) жертвуют из своих сбережений и ничего не выгадывают, кроме морального удовлетворения и, может быть, чувства, что в своей старости они кому-то нужны.

Возникающая при этом связь в достаточной степени духовна. Недаром же она нуждается хоть в подобии личного контакта. На почте, заслышав русскую речь, подходят, спрашивают адреса наших друзей или родственников. Не хочется посылать на деревню дедушке, узнать бы по крайней мере, что его зовут Константин Макарыч. Но имеем ли мы право благодетельствовать кому-то не за свои деньги? В сущности, мерзкий гешефт — стоять раздатчиком при чужой кормушке, и тяжко представить себе отчаяние тех, кто не обзавёлся приятелем за границей, который бы дал адресок. Сообщаем координаты церквей, детских больниц, почерпнутые из «Русской мысли», общества «Милосердие». Охотнее всего записывают всё же адреса церковные, европейский опыт говорит, что так надёжнее.

Сильно огорчают и расхолаживают жертвователей слухи, что где-то на полдороге к голодным ртам эти продукты перехватываются чьими-то загребущими руками и потом ими торгуют по бешеным ценам. Может быть, спрашивают у нас, требуется содействие Интерпола или «голубых касок» ООН или русские сами организуют охранную службу? Не хочется огорчать их ещё сильнее — что слухи эти не беспочвенны, такой перехват у нас дело привычное, едва ли не природное, по крайней мере он был главной причиною смертей в сталинских лагерях, а охранников нужно ведь тоже кормить — и притом усиленно. Вся беда, что в нынешней России всё проблема, всё нужно начинать сразу и с нуля, от шпилей высотных зданий до асфальта, да глубже ещё, до стремительно дряхлеющего метро.

Понятно и детям, что вся эта «гуманитарная помощь» — капля в море, 300-мильонный народ она не накормит. Не устроят нас, не остановят сползание к пропасти и государственные мильярдные вливания, а лишь сотрудничество с Западом на равных, приток частного капитала, море капитала, которое слилось бы с морем нашей ответной инициативы. Вопрос в том, как этот могучий капитал привлечь. Слава богу, он индифферентен к идеологии и не знает национальных и религиозных границ, он течёт туда, где есть малейший дефицит. Он не страшится и не избегает риска — но в какой-то мере оправданного. Как чёрт от ладана, он бежит от нестабильности.

Удручающее впечатление нестабильности возникает у каждого, кто смотрит на карту Союза и знает, что на безбрежных этих просторах, больше не виданных нигде, люди призрачно владеют жалкими клочками земли, нарезанными с таким дьявольским математическим расчётом, чтобы никак они себя не почувствовали вольными хозяевами. А ведь сейчас живут, может быть, последние люди в нашем отечестве, которые ещё тянутся к земле, знают, как с нею обращаться, и хотели бы только быть уверены, что завтра, послезавтра её не отнимут. Мы всё твердим афоризмы, как важно для народа кормить свою армию, чтобы не пришлось — чужую, тогда как, напротив, армия могла бы нас всех накормить. Мы ломаем головы, куда пристроить избыток отставных офицеров, а между тем из армейцев, как давно известно, выходят прекрасные фермеры, вот из этих, толстобоких, пышущих энергией майоров и подполковников, только дайте им землю навечно и сколько возьмутся они поднять, не исключая и наёмного труда. Перестанем бояться слова «батрак», поляки его не испугались. При всей ностальгии по бывшему Союзу, которая многих из нас грызёт — признаться, и меня, родившегося в Харькове, теперь для Москвы иноземца,— уже как будто проклёвывается сермяжный смысл этого распада. Есть надежда, что поутихнут национальные распри и станет возможным раздельный старт. Вот провела земельную реформу Армения, а могла бы она на это замахнуться, если бы при замахе пришлось поворачивать громоздкое туловище «Союза нерушимого республик свободных»?

Ощущение нестабильности, воистину пугающее, возникает и при виде нашего доморощенного бизнеса. Я думаю, народный инстинкт не ошибается, питая к нему

застарелую классовую ненависть, которую не перешибить увещеваниями, что пора бы нам воспылать приязнью к людям богатым и благополучным, поскольку они нас всех мечтают сделать такими же. Они к этому нисколько не стремятся и даже наоборот, находят несказанную прелесть в неравенстве (что, кстати, очень заметно и в среде эмигрантов), и мне трудно понять тот восторг и умиление, с какими наши газеты пишут о вновь возникающих биржах, агентствах, клубах миллионеров. Узнаём, к примеру, для назидания ленивым и неповоротливым, что один смекалистый малый свой первый миллион сколотил, будучи 20 лет от роду. Странно, что нет 10-летних, ведь комбинаторские способности проявляются уже в детстве. А впрочем, близко и к этому, внесло свою лепту умиления и восторга одно почтенное издание для отрочества и юношества, поместив статью под названием: «Миллионер — всем ребятам пример». Кажется, инфляция обесценила почётное звание, а то ведь любопытство сжигало: с чего это они — миллионеры? Все эти биржевики, брокеры, маклеры, дилеры, агенты, коммивояжёры совокупным усилием — произвели хоть один гвоздь? Сколотили хоть табуретку? Ясно же, что процветает у нас бизнес не производственный, вторичный, снимающий пенки с молока, уже кем-то надоенного от чужой коровы. Знаем из курса политэкономии, что прибавляет товару ценности перемещение его в пространстве, но знаем и из статистики криминальной, что всякое перемещение — преудобнейшая сфера для тёмных махинаций. Такой промежуточный комбинационный бизнес — может быть, более элегантный — цветёт и на Западе, он вполне допускается, но волнует и притягивает к себе внимание только налоговых инспекторов, а в целом почтения не вызывает. Промышленник — да, банкир — да, это фигуры уважаемые в обществе, но не те жучки, не те непрошеные посредники, которые используют любую неувязку в законе, любую несостыкованность со здравым смыслом, любое разъединение человеческих связей.

Недавно по германскому телевидению показывали документальный фильм из жизни охотников на тигров. Это не про мистера Уилсона из прозы Хемингуэя *, это про трёх иссохших 40-летних стариков-бенгальцев в набедрен-

* Из рассказа «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера».

ных повязках. Раз семьдесят в году они выслеживают владыку джунглей на его любимой тропе, ставят замысловатые силки, в которых он последовательно запутывается и оказывается распятым пригнутыми верхушками деревьев. Тогда его аккуратно пристреливают, не повреждая шкуры. Мало радости смотреть на всю процедуру, как из прекрасного живого рыкающего зверя, хлещущего себя хвостом во гневе, получается глупое на вид чучело со стеклянными глазами и капроновыми усищами. Не менее печальны убогие хижины охотников и особенно их дети: они голы, грязны, покрыты струпьями; отцы едва могут их прокормить, но учить в школе не могут. Сколько же платят тигродобытчикам за их труды? Главному следопыту, он же стрелок и чучеловед, 60 долларов. Двум его ассистентам — по 30. Итого 120 долларов. Чучело тигра в Нью-Йорке продаётся за 8 тысяч. Это столько прибавила ценности товару его транспортировка? Нет, это столько прилипло к жадным рукам, может быть, и не притронувшимся к полосатой шкуре. И неужто вот этот бизнес по-бенгальски — наш преимущественный удел? «Россия,— сказал Пушкин,— вошла в Европу, как спущенный корабль: при стуке топора и при громе пушек». Войдёт ли она сегодня лишь при шуршании пересчитываемых зелёненьких купюр?

Есть, наконец, нестабильность возрастной преемственности, смены поколений. Всегда была и всегда будет проблема отцов и детей, но, кажется, никогда ещё они не были отгорожены друг от друга стеною такой ненависти, такого презрения. Инициатива, как водится, исходит от младших, старшим не по силам эту стену пробить. Отчасти даже смешно, когда шестидесятникам, то есть тем, кто себя проявил впервые в начале 60-х годов и кому сейчас и по возрасту 60 или около, когда им бросается обвинение, что они проиграли всё, что могли. Между тем именно и только они держат сегодня на плечах атлантово небо ответственности за страну — это и в политике, и в хозяйстве, и в искусстве, коли оно ещё не сплошь переродилось в коммерцию. Новые же поколения явно не способны в ближайшем будущем это бремя перенять, да, кажется, и не хотят перенимать, уклоняются под любыми предлогами, и вся-то ненависть, скорее всего, происходит от боязни, что им это бремя навяжут нести. Не выдвигаются когорты новых лидеров, исключая одиночек — и если, конечно, не считать 20-летних миллионе-

ров... Одно время казалось, целая генерация лидеров явится из «афганцев», но между ними и обществом пролегла пропасть отчуждения, которую разве что нескольким генералам удалось перешагнуть, в сущности — тем же шестидесятникам. Мы и в этом больны, и только быстротекущие изменения дают надежду на исцеление.

Хочется верить, что в новом, 1992 году нам если не решить, то хоть приступить удастся к тем проблемам, которых я здесь позволил себе коснуться. Станем ли мы наконец нормальной страной, как о том мечтают и столько говорят публицисты? Я так не думаю, нормальная страна — это Дания, и зачем нам ею быть? Но я надеюсь, благодаря тому, что уже произошло и происходит в России, она наконец перестанет быть полигоном для исторических экспериментов. Не будем отчаиваться, но и заблуждаться не будем: в лучшем случае, если что-то удастся с реформами, если развяжется всеобщая частная инициатива и воспрянет энергия общества, всё равно ожидают моих соотечественников тяжелейшая зима и весна, не самое благодатное лето, и только к осени, с новым урожаем, наступит облегчение.

Пишущий эти строки сознаёт, что его рассуждения — сплошное дилетантство, от которого специалисты камня на камне не оставят. Однако ведь и они, специалисты, не больно преуспели пока со своими проектами, столь противоречащими друг другу, что кажется, экономике у нас в разных институтах обучают по-разному. И никому в конце концов не возбраняется высказать свои, пусть ничего не значащие, предновогодние ощущения.

«Правда безобразна. Мы встречаем её с молитвой и мужеством»,— сказал один государственный деятель США* в труднейший для этой страны час. Как видим, и у других стран, весьма преуспевающих, бывают такие часы. Нынче он бьёт над горестной нашей землёй, и пусть крики ненависти и боли заглушит слитная молитва и не покинет нас мужество в наступающем високосном, может быть, и последнем таком тяжёлом. Других годов, не високосных, слишком долго не было на Руси.

Нидернхаузен, Германия

«Московские новости», 5 января 1992 г.

---

* Дж. Эдгар Гувер.

«ЕЩЁ НЕ ПОКРОЮТСЯ ЦВЕТОМ ДЕРЕВЬЯ...»

Не знаю, многим ли читателям бросилась в глаза маленькая заметка в «Московской правде» за 23 июня, под заголовком «А “Память” снова против...»? Заголовок — уже и не привлекающий внимание; право, давно не тянет узнать, против чего нынче «Память», равно как и за что она. Между тем событие, описанное в заметке, не совсем заурядное.

Речь шла о Покровском соборе Марфо-Мариинской обители, что на Большой Ордынке, решением Московской мэрии возвращённом Русской Православной Церкви. «В прошедшее воскресенье,— пишет корреспондент Д. Семёнов,— должен был состояться крестный ход, освящение храма. Рано утром у ворот обители собрались прихожане, священнослужители. Но войти в храм им не удалось: их не пустили крепкие парни в чёрных рубашках...»

Помилуйте, прошедшее воскресенье приходилось на 21 июня, ещё продолжалось великое противостояние в Останкине, близ телецентра. Где должна была находиться «Память»? В гуще боёв, на линии огня, жидомасонов рубить в капусту. С чего это её отряд оказывается в Замоскворечье? Может быть, открытие «второго фронта»? Но какая удивительная перемена флага: «Память» — против верующих! Это уже не просто сенсация; это, если угодно, заявка на самый короткий анекдот. Ах, недаром сказано умным человеком: «Мир не так прост, как нам кажется. На самом деле он ещё проще». На самом деле на этот же Покровский собор в центре Москвы претендовала ещё одна православная церковь — зарубежная. Её прошение было отклонено, визы мэра Лужкова русские иностранцы не получили — и можно понять их огорчение. Марфо-Мариинская обитель, основанная великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, сестрой императрицы, особо отмечена и в русской литературе, Бунин её избрал

местом действия для рассказа «Чистый понедельник». Так вот, чтоб эту жемчужину заполучить, зарубежные наши братья во Христе, гости Москвы, и прибегли к услугам легионеров «Памяти». Я оставляю без рассмотрения, оказывались ли эти услуги на общественных началах или же были достойно оплачены (что не составило бы изнурительного расхода при нынешнем соотношении рубля и доллара), но сама оккупация храма, после того как 70 лет он был для верующих на большом амбарном замке, оккупация уже не по воле чекистов и комсомольцев, но по заказу священнослужителей — вот суть новейшего анекдота, и — прескверного.

Есть разные суждения насчёт необходимости иметь в России вторую церковь, тоже православную или ещё православнее. Человек внецерковный, что называется — светский, я не отважусь разбирать их расхождения, только позволю себе два робких замечания.

Зарубежная церковь обвиняет церковь отечественную в сотрудничестве с властью, с её тайными службами, в оправдании гонителей православия; это в достаточной мере так, и это — омерзительно. Однако ж, вина коллективная начинается с вины отдельных людей; о них, наверное, и следует говорить прежде, чем обо всей церкви. И при этом не должны же быть забыты и те её бесчисленные мученики, те слуги Божии, кто предпочли умереть в подвалах и расстрельных дворах ЧК или ГПУ, на воркутинской пересылке, во льдах Колымы, но от веры не отреклись и свой пастырский долг исполнили. И до последних лет мы таких неустрашимых и непреклонных имели — хотя бы вспомнить о. Глеба Якунина или вот недавно убиенного о. Александра Меня. Зарубежная церковь такой судьбы и такого выбора не знала — и что же, все обвинители без греха? В их составе, наверное, не найдётся агентов по принуждению, но никак не исключим агентов платных и даже бескорыстно-идейных. КГБ не такое ведомство, чтобы обойти своим благосклонным вниманием хоть одну зарубежную епархию, хотя бы один приход.

Со своей стороны, и Московская патриархия имеет претензии к зарубежникам — по поводу, например, предпринятой ими канонизации расстрелянной царской семьи, причисления её к лику святых мучеников. Да, многим из нас трудно согласиться, что не приняты во внимание

вины и прегрешения самой императорской четы и её окружения, приведшие к падению России, облегчившие захват власти Ленину и большевикам. Меня ещё и тем коробит эта канонизация, что отказано в мученическом венце четырём спутникам семьи, не покинувшим её и принявшим смерть вместе с нею: доктору Боткину и слугам — Анне Демидовой, Труппу и Харитонову. А ведь они могли купить себе жизнь даже без особенного урона для совести, отрёкшись не от государя, нет, от «гражданина Романова», как он тогда именовался, сам отрёкшийся от престола. Но — не купили. Мне скажут, этот расстрел в Ипатьевском доме в Екатеринбурге имел значение символическое, как начальная жертва среди бесконечных других, выпавших народу России после октябрьского переворота. Но чем же повредило бы этому символу — и разве, напротив, не укрепило бы его,— если бы рядом с царём и его семьёй и предстали святыми мучениками так называемые «простые люди», представители этого самого народа? Да, не много в этой выборочной канонизации — я бы сказал, элитарной,— истинного демократизма и человеколюбия.

Однако все подобные рассуждения лишаются смысла, когда обвинитель берётся доказывать своё силою не аргументов, а бицепсов, когда находится такой, с позволения сказать, пастырь, который не пускает верующих на порог храма, оттесняет их куда-то на задний двор, за ворота обители, опираясь на штурмовой отряд. Понадеемся, что этот пастырь, покуда неведомый, хотя бы не из германской епархии. Было бы особенно удручающим, если бы в этом малодостойном инциденте каким-то боком поучаствовала Германия, которая сама так мучительно изжила заболевание «коричневой чумою».

Обратим же взоры на отечественных исполнителей «заказа», на штурмовиков в чёрных рубашках, что так оперативно явились по вызову — «рано утром», так сплочённо и бестрепетно выступили против неорганизованной толпы земляков и так легко опрокинули — в центре столицы — сопротивление милиции. Чьи они слуги? Кто пошил им эти добротные ладные гимнастёрки, опоясал ремнём с портупеей? Чем они кормятся — посреди всеобщей бескормицы? В чьих тренировочных залах они наращивают свои бицепсы и крутые плечи? И какие невидимки дёргают за ниточки, руководя их причудливыми

телодвижениями? Когда-нибудь — и может быть, очень скоро — обо всём этом будет сказано во всеуслышание. Корреспонденту «Московской правды» Д. Семёнову это, по-видимому, настолько хорошо известно, что даже и вопроса не вызывает. Его другое волнует — и тут перо прямо-таки вздрагивает в его руке.

«Самое непонятное,— пишет он,— позиция "Памяти": ведь, судя по их лозунгам, они за всё "исконно русское". Или они считают, что настоящая Россия сейчас на Западе?»

Вот именно, что судили до сих пор *по их лозунгам,* а теперь будем — по делам их. Главарю (или фюреру?) «Памяти» Васильеву сейчас бы пальцы себе кусать — хуже не могла себя разоблачить «Память», чем преподнеся верующим этот испорченный праздник, по существу осквернив храм, в который они 70 лет ждали вернуться — и не смогли. И если теперь г-н Васильев и его присные станут утверждать, что они за русский народ, за бедный, обманутый, оболганный, обокраденный, ограбленный и прочая, прочая, тут я их перебью и скажу, как Станиславский:

— Не верю!

Где же для них, однако, сейчас *настоящая Россия?*

Всё чаще слышу о русском фашизме — прежде, казалось, невозможном в России,— и вертится на языке дурацкий эстрадный куплет:

— А как у вас дела насчёт картошки?
— Насчёт картошки?
— Насчёт картошки.
— Она уже становится на ножки...

Похоже, однако, что это уже пройденный этап. Наш родной отечественный гитлеризм не то что на ножки стал, но уже и палку взял, и зашагал — стройными колоннами, центуриями, во всём красивом: чёрная гимнастёрка, рубашка белая с галстуком, сапоги, и на рукаве — свастика: цвета красного, слегка стилизованная, но вполне различимая. Да, постарался дизайнер. И уже, поди, приветствие отработано: щёлканье каблуками, с выбросом руки вперёд и вверх. Всё путём. «Хайль Стерлигов!» — или кто там у них поглавнее? И съезды свои они устраивают не на задворках, а в Колонном зале Дворянского собрания, в первом присутственном доме государства Российского.

После останкинских бурных дней — с палаточным лежбищем, пикетами, «коридором позора» для работников телевидения, когда так наглядно обозначилось новое для России явление, обескураженная Елена Бокшицкая (известный кинокритик) по радио «Свобода» обратилась к своим коллегам с горьковским знаменитым вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» Вопрос её — скорее риторический, не могла же она сомневаться, что её коллеги — не с теми, кто поднимал плакат «Убей жида!» — но почему же они молчат, почему не вырвут, не растопчут эти плакаты, не укротят несколько десятков разгулявшейся шпаны? Коллеги от ответа уклонились — и наверное, разумно препоручили разгонять шпану профессионалам из ОМОНа, обошлось без лишней крови и возможных смертей. Да ведь не в плакате «Убей жида!» вся опасность, он представляет собою крайность, притом нижайшего пошиба, от которой идейный фашист открестится, назовёт провокацией. Елена Бокшицкая, сдаётся мне, ошибочно полагает, что самый облик фашизма так неприглядЕн, само слово «фашист» уже так скомпрометировано, что произнеси его только — и «наши» застесняются, убоятся, разойдутся по домам. В том-то и дело, что не застесняются и не убоятся.

Да, для многих фашизм существует под псевдонимом — «порядок», «твёрдая рука»,— но не для всех. А послушаем-ка самого заливистого из наших соловьёв, Александра Проханова (из его интервью журналу «Страна и мир», сдвоенный номер за март—апрель с. г.): «Важно, чтобы государство сохранилось. Причём, какие силы приведут к созданию этого государства, по существу действительно уже безразлично. Пускай даже фашизм будет, потому что если можно построить великое русское государство ценой фашизма, я бы и на это пошёл. Фашизм можно будет преодолеть со временем — лишь бы было построено государство».

Что тут добавить? Браво, Проханов! Сказать по-нынешнему — хайль! Трудно ли понять, какое «великое государство» имеется в виду? Всё тот же «союз нерушимый», да вот развалившийся в одночасье. Непонятно только, зачем же его, фашизм, преодолевать со временем, чем он плох, если вот сгодился бы собрать империю — по камешку, по кирпичику?

Словом, не старайтесь вызвать к фашизму рвотный рефлекс. Для сплотившихся в центурии он упоительно

притягателен. Велик соблазн для молодого мужчины (да когда глядит на него молодая женщина!) — строй, подчинение дисциплине, единство сердцебиения. Посреди развала, хаоса, энтропии мы с тобой — порядок, воля, власть. И с нашим атаманом не приходится тужить. А ещё больший соблазн — быстрое, и кардинальное притом, решение всех вопросов. Чем развязывать долго и нудно запутанные узлы — разрубим их македонским ударом меча. Ни у кого помощи не прося — и ни от кого не завися,— сами себя за волосы выдернем из кризисов, стрессов, апатий и уныний, из вечной исторической обиды. Как Германия после Веймара.

Семьдесят два часа берёт Владимир Вольфович Жириновский на всё про всё. И будет вам Российская империя — с Польшей, с Финляндией, даже Аляска вернётся. Ну, поостыв, назначает четыре месяца, ну — семь. Всё равно — секунда в масштабе истории. И всего-то просит человек один мильярд долларов — и он у власти. И ведь похоже на правду: сойдя к нам неведомо с каких небес, наобещав с три короба, в том числе радикальное подешевение водки, семь миллионов голосов огрёб. Да столько вся Германия потеряла на фронтах за четыре года нашей с нею войны!

Явно, не избежать нам сравнения с Германией и с тем человеком, кто кредит доверия к нему оплатил 60-ю миллионами жизней, своей собственной тоже. Скажем прямо, нашим анпиловым, макашовым и баркашовым далеко до него. Он не стращал, как Невзоров, он, что называется, вдохновлял и влёк за собою, он не опускался, подобно Жириновскому, обещать подешевение шнапса, но насчёт сроков выражался ещё туманнее, хоть и поэтично: «Ещё не покроются цветом деревья...» И залы едва не рушились от оваций. Разве что выходя, спохватывались немцы: «Постойте, это когда же они покроются? В апреле? А сейчас у нас февраль... Что же, всего через два месяца всё образуется?» Да кто же не прощал ему такие мелочи! Нельзя же понимать так буквально... Ну, не в эту весну, так в следующую. Всё-таки была у него харизма, некая магия, что ли, которую пыталась если не разгадать, то запечатлеть на киноплёнке упрямая Лени Рифеншталь — и столько её потратила на него, сколько ни одному актёру не досталось за всю историю кино. Почти каждую неделю можно его видеть по телевидению — и всё

новые поколения немцев силятся понять, чем же он взял когда-то не самую дремучую и отсталую страну, с чего так восторженно ревут при его появлении глотки юнцов, а девы, толпясь под трибуной, тянут руки к нему и плачут, вот уже за полвека всё плачут от невозможной любви. Не понять ли этого нам, умилявшимся лучистой улыбке Ильича, так радевшего об архиширочайшем применении расстрела?

Говорят нынче, всматриваясь в Жириновского: вот и над Гитлером тоже смеялись, а что потом вышло? Я бы не сказал, что так уж смеялись. Не сильнее, чем над любым другим политическим деятелем на Западе. Когда рисуют карикатуры и сочиняют анекдоты — это не называется «смеются», это — популярность. Смеются — это когда не слушают, а его слушали, и очень внимательно.

Не одними обещаниями он кормил свой народ, но в самом деле дал ему чувство преодоления исторической обиды, покончил с хаосом, с инфляцией. Даже одним строительством автобанов, всю страну пересекающих, он бы остался в памяти. Сотням тысяч людей он дал работу, на Западе эти слова — «дать работу» — дорого стоят. Автобаны эти имели, конечно же, стратегическое назначение, но ведь и гражданское тоже. Недавно отмечал 50-летний юбилей концерн «Фольксваген» — и что же, кинохроника показала честно: без него, без Адольфа, не обошлось, это он с доктором Геббельсом на заводском полигоне благословляет «народную тележку», награждает конструкторов. Трудненько не признать заслуг даже и величайшего преступника, если и поныне исправно служат дороги, проложенные по его инициативе, и катят по ним миллионы «фольксвагенов», которым он дал первый старт, и ещё действует трудовое законодательство, разработанное по его идеям, защищающее работника от произвола предпринимателей, вполне социалистическое, между прочим. Ну, и наконец, всего за шесть лет создана армия, перед которой затрепетала Европа...

И как было бы славно обойтись без другой чаши весов, на которой 60 миллионов, печи Освенцима и Дахау, «окончательное решение» еврейского вопроса. Но на каком-то этапе история делается вроде бы невнятной, както неожиданно обнаруживают себя немцы втянутыми в войну. Поначалу не очень большую, скорее — прогулку. Всего-то и нужно для нашего процветания — покорить

одну малую державу. Да, ну и ещё одну, такую же. И ещё две маленьких и одну большую. А там и рукой подать до главного врага, до Англии. Большая — оказалась Советским Союзом. Видом — огромна, но до её столицы всего-то ходу восемь недель. Так сказал он, Заратустра с чубчиком набок и усиками лопаточкой.

Нам, собирая империю вновь, насильственно пригоняя друг к другу разорванные, сочащиеся кровью куски, нам и втягиваться не придётся, мы уже воюем, языки пламени вспыхивают и перебегают с места на место, как на огромном пожарище. И хуже всего, что состояние войны делается привычным, мысль о ней уже не пугает. А фюреры наши — даже и не представляют себе, что же они станут делать на второй день своей власти. Если недостаёт у нас разума и воли погасить войну в Карабахе, в Южной Осетии, в Приднестровье, что же будет, когда сойдутся в драке Россия и сестра её Украина, не поделивши Крым или всё Чёрное море? Как это некогда поучал Никита Хрущёв интеллигенцию: «Украина — это вам не жук на палочке!» Истинно так, Никита Сергеевич, не жук, равно как и любая из братских республик, охваченных такой пылкой любовью к соседям, какой история не знавала. Так что война, которая разгорится на просторах Содружества, пожалуй, затмит обе мировые.

Наши чернорубашечники, ясное дело, сгинут в ней наравне со всеми, а тем немногим, кто останется жив, придётся скитаться по чужим материкам, искать приюта хоть у какого завалященького диктатора, но и там жить под чужим именем, сделав себе пластическую операцию. Впрочем, их судьбы не так тревожат меня, как участь многих доверчивых, обездоленных, голодных, ухватившихся за последнюю надежду, которых они потащат за собой в бездну — сначала обманом, затем угрозами, напоследок — насилием.

Всё ищет немецкая мысль: а было ли неизбежным для Германии так развоеваться — на всю Европу, на полшара земного? И где тот час, когда ещё не поздно было остановиться или свернуть с гибельной тропы? Может быть, когда запылала «хрустальная ночь»? Нет, уже поздно было. Или когда была объявлена уголовным преступлением «нелюбовь к фюреру»? Или когда аплодировали взахлёб лозунгу «Пушки вместо масла»? Ищут и не находят, точнее — никак не сойдутся во мнении. Я же думаю —

поздно стало, когда он сказал: «Ещё не покроются цветом деревья...» — и зал взревел от восторга.

Однажды в Москве, на Садовом кольце, наблюдал я картинку: парнишка на хлипком мотороллере, из соображений аэродинамических, пристроился за кормою грузовика, звероватого «ЗИЛа-130», прозванного в народе «социально опасным», и при торможении у светофора едва не подъехал под его борт, чудом не снёс голову себе и сидевшей сзади подружке. Ни он, ни она этого не осознали, только рассмеялись. Могучий орудовец не торопясь сошёл с тротуара и, ставши над ними, спросил громовым голосом, от которого вздрогнули многие водители и пешеходы на площади Восстания:

— Хошь смерти?

И величественным жестом указал на грузовик:

— Езжай за ним.

Вот так, ни тебе штрафа, ни долгих нотаций, а коротко и доходчиво. Ничего лучшего не смог бы я сказать своему народу, когда алчущий власти обещает ему скорейшее спасение России и, главное, совершенно безболезненное:

— Хочешь смерти? Ступай за ним!

«Московские новости», 2 августа 1992 г.
Радио «Свобода»

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ

Кинорежиссёр Станислав Говорухин, автор нашумевших фильмов «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», обратился по радио «Свобода» с горестным словом упрёка к нашим демократам и патриотам. К тем и к другим одновременно — чем, я думаю, только пуще разобидел обе стороны. Ибо — кто же в России стерпит подобное смешенье? Без размежевания мы не можем. Помимо того что мы просто люди, мы же ещё и западники либо славянофилы, мы левые или мы правые, мы за красных или за белых, мы авторы и читатели «Нового мира» Твардовского или — кочетовского «Октября», в ресторане творческого союза мы за столиком либо с Тютькиным сидим, либо с Пупкиным, и не дай бог перепутать их; ну, а нынче мы — или демократы, или же патриоты. А если хочется быть и тем и другим сразу? А тогда — вот какие дела: демократы твою статью отвергают, к патриотам после этого сунуться — уже как-то сердце не лежит. «Вот такая,— сокрушается Говорухин,— у нас сегодня гласность».

А она ещё и не такая у нас. Это он ещё не видел обложку журнала «Столица», номер 27-й, там говорухинскую голову присобачили к туловищу какого-то ряженого штурмбаннфюрера из Марьиной рощи либо из Филей — может быть, Васильева, может, кого другого,— а сверху нависают с ухмылками дебильные физиономии рядовых чернорубашечников. «Станислав Говорухин,— гласит надпись,— это — Россия, которую Вы отыскали?»

Редко встретишь вопрос точнее — и чтобы в нём содержался и ответ. Долго надо было скитаться в поисках истины, чтобы отыскался еженедельник, счастливо освобождённый от какого бы то ни было почитания авторитетов и заслуг, готовый любого оплевать — со всей раскованностью вольного издания и рептильной угодливо-

стью перед подписчиком: а вот мы его как! И вы думаете, где-нибудь написано, хотя бы крохотным шрифтом, что это — фотомонтаж? А ведь тысячи людей поймут буквально, что уже появляется Говорухин на митингах со свастикой на рукаве. Так, резвяся и играя, обозвали — фашистом. За что?

Станислав Говорухин тоже очень хотел бы это знать. И мне пришлось дважды читать его объяснения, почему он счёл нужным посетить Русский национальный собор. Кажется, достаточно — послушать захотелось, кое-что понять,— нет, он снова оправдывается, что и был-то там коротко, с поезда на поезд, и в президиуме не сидел, и не выступал. Право, на третий раз ему уже и верить перестанешь. Да всё дело не в том, что ему не верят. Его — не хотят услышать. Ведь так удобно считать, что ты уже определился, выбрал себе стан по душе, *занял позицию.* А он, мятежный, всё хочет понять, отчего это он ещё вчера, после успеха «Так жить нельзя», был почитаем и любим, а нынче — выходит, как в цыганском гадании у Ильфа и Петрова: вот был у вас друг-блондин, так он и не друг оказался, и не блондин, а большая сволочь.

Ведь у нас, право, имеющего успех так привечают, как нового жеребчика в табуне: сперва бурные восторги, все им любуются, треплют ему холку и кормят сахаром, ну а потом, конечно, пробуют взнуздать и оседлать. И горе ему, если не поддастся сразу, если выкажет норов,— таких нагаек отведает, что век не забудет.

На горе себе Станислав Говорухин оказался не столь податливым, как ожидалось, ну и крупнее, чем того хотелось. Даже сама эта антиговорухинская кампания, разыгравшаяся вокруг его последнего фильма, свидетельствует всё же в пользу автора. Насчёт «Интердевочки» никто особенно глотки не драл. А тут, по-видимому, такие струны задеты, что прямо из-под сердца демократа, в нашето посткоммунистическое время, исторглись такие милые, полузабытые слова: фильм — «вредный» и «лживый». Это Баткин Леонид в «Литгазете», в споре со Львом Аннинским.

Я фильма не видел и судить по чужим описаниям не хочу, но всё же могу себе представить достаточно верную документальную летопись николаевской России без Кровавого воскресенья и Ленского расстрела. Потому что эти деяния Николая Второго — если, конечно, это его дея-

ния,— для него-то как раз не характерны, а если б были характерны, то Ленину, пожалуй, не представилось бы возможности прокричать: «Есть такая партия!» Поступки свидетельствуют пусть и о злой воле, но всё-таки воле, которой этот царь не отличался, а скорее напоминал того персонажа из рассказа Хемингуэя «Мадридские шофёры», который был парнем неплохим, даже симпатичным, и как шофёр обладал лишь одним недостатком — не умел водить машину. Таким его представили нам достаточно согласно и Горький, и Солженицын.

Кроме того, никогда не мешает, выдвигая упрёки автору, хотя бы прочесть внимательно заглавие. «Россия, которую мы потеряли» — это не та Россия, которую постарался бы нам изобразить исследователь объективный. Ни Кровавых воскресений, ни Ленских расстрелов, ни прочих «свинцовых мерзостей», о которых писали русские классики, мы как раз не потеряли, они легко и вольготно перешагнули в наш послеоктябрьский обиход и расцвели замечательно. Что же до Станислава Говорухина, то он самим названием лишь заранее очертил свою задачу, оговорив себе право быть субъективным и даже сентиментальным, идеализируя и оплакивая потерянное. Здесь, даже и не разделяя вполне его чувств, я всё-таки на стороне Говорухина, помня о том, что судить художника следует по законам, им самим над собою признанным. И я против оголтелой нетерпимости, против той «либеральной жандармерии», как её называли в XIX веке, которую, к сожалению, мы не потеряли, бережно перенесли через порог 1917-го.

Мои читательские контакты с Говорухиным расстраиваются там, где он становится неожиданно податлив, а его нравственное чувство — расслабленно снисходительным. Недавняя останкинская эпопея всё-таки требует оценки жёсткой, не избегающей и таких — пусть и набивших оскомину — слов, как «сборище фашистов» и проч. Уж тут — ничего не поделаешь, все признаки налицо. «Эко, хватили! — возмущается Говорухин.— Старики со старухами, а их было больше половины,— фашисты! Пока воевали с нацизмом, поднимали страну из разрухи, подтягивали животы, напрягали последние силы — фашистами не были, а на старости лет записались? Да, многие держали в руках антисемитские лозунги. Задуренные головушки: вбили им в головы — во всём виноват между-

народный сионизм. Ну так и разбирайтесь с теми, кто вбил, а людей пожалейте!»

Какое странное, какое зыбкое и натянутое оправдание! Будто и впрямь не понимает Говорухин обыденности фашизма, его «обыкновенности», которую открыл нам другой режиссёр, Михаил Ромм. Это ведь и есть опора фашизма — вовсе не фанатики, не безумцы, не экстремисты, вернее — не только и не столько они, как именно среднестатистический обыватель. Где они были и как себя вели, эти старички и старушки,— ещё, впрочем, не в этом звании, а дебелые дамы и зрелые мужи,— когда хватали Солженицына и Сахарова, бросали правозащитников в лагеря и психушки? И это не они требовали, чтоб жену ссыльного академика вышвырнули из электрички? Мне вот, к примеру, на моей Малой Филёвской улице, по поводу обысков и прочих гонений не они ли бросали вслед: «А не надо было бороться за свободу!»? Если и сейчас они ничего не поняли — значит, напрасно прожили жизнь.

А не лукавит ли Станислав Говорухин, когда говорит о «задуренных головушках», о «тёмных массах»? Откуда у нас темноты столько — при всеобщей грамотности? И что же это за народ у нас такой, которому что хочешь можно в головы вбить, задурить, раскачивать его то вправо, то влево, а он мотается, как ромашка в проруби, не выказывая ни своей знаменитой мудрости, ни просто здравого понимания вещей? Ей же богу, если этот люд всерьёз подозревает в растущей дороговизне козни сионизма, тут дело безнадёжное — и зачем говорить о «великой душе великого народа»?

Не думаю, что Станислав Говорухин утратил остроту социального видения — просто предпочитает кое на что закрыть глаза и вообще «не дразнить гусей». Он ступил на опасную тропу — решил быть самим собою, но ещё не усвоил, что тут одно спасение: делать своё дело, «хвалу и клевету приемля равнодушно». Так и хочется сказать ему: «Не обращайте вниманья, маэстро! Эта публика, что нынче на Вас ополчилась, очень хорошо чувствует, есть ли у Вас интерес её слушать. И покуда он есть — не Вы над ней властвуете, а она над Вами».

Увы, маэстро в одночасье переродиться не может. В интервью «Мегаполис-экспрессу» он говорил, как ему «было интересно узнать, что думает по поводу фильма

“правая” пресса, но она молчит...». И добро бы, та «правая» пресса его пленила своей элитарностью, изысканно тонким вкусом, так нет же, вот что сейчас он говорит о ней в своём «Ответе демократам и патриотам» по радио «Свобода»: «Вот не нравится вам газета “День”. Скажу откровенно, и я не очень доволен... Полистал я его, что ж, со многим согласен. Но язык! Но тон! “Временное оккупационное правительство Гайдара”, “банда Ельцина” — что это?»

А не то ли выходит, что расхождение — как у Синявского-Терца с бывшей советской властью — «чисто стилистическое»? И тогда можно сформулировать отчетливее: беда не в том, что не устраивает Говорухина ни левая, ни правая пресса, что он одинаково презирает и оголтелых демократов, и задубелых патриотов. А беда в том, что он всё ещё хочет нравиться, во что бы то ни стало, и тем и другим и жаждет вернуть себе вчерашнюю их любовь. Желание понятное. Но на этом пути подстерегает художника поражение.

«Русская мысль», 21 августа 1992 г.
Радио «Свобода»

НАДО ЛИ БЫЛО ИДТИ К БЕЛОМУ ДОМУ?

Год назад, в третий день путча, дозвонились ко мне в Нидернхаузен из «Московских новостей», предложили высказаться о происходящем. Основываясь только на том, что я слышал по радио «Свобода» и видел на телеэкране, я сказал о трёх ошибках заговорщиков, которые, на мой взгляд, обрекали хунту на провал её предприятия. Право, сейчас неловко говорить, но этот провал обозначился для меня уже утром 20-го, и это не подтверждалось никакими фактами, а только смутным ощущением, что события не развиваются крещендо, топчутся на месте, и ситуация сегодняшняя не страшнее вчерашней. По-настоящему страшны были самые первые кадры, где длинная танковая колонна втягивалась в Москву, двигаясь медленно и непреклонно по осевой линии шоссе, не мешая иному движению, к своей намеченной цели. «Это всё,– подумалось,– вот и конец второй "оттепели"». Я, как и хунта, недооценил москвичей, я подумал, что они эти танки воспримут как надлежало – угрюмо, но молча. И горько устыдился, когда увидел горящие глаза, оскаленные кричащие рты, вздёрнутые кулаки. Голыми ладонями и ботинками люди упирались в броню, и заводские ребята очень толково совали арматурные прутки меж гусеницей и катками, и я осознал как одну из самых больших потерь моей жизни, что не нахожусь в этой толпе, стремительно преобразующейся в народ, великий народ, с которым по привычке обошлись, как с быдлом, чьего мнения не удосужились спросить, действуя от его имени.

Позднее говорили о странностях этого путча, о том, что не изолировали Ельцина, Яковлева, Шеварднадзе, не перерезали телефонную связь с Вашингтоном, Форосом, военными базами, в Белом доме горел свет, лилась вода из кранов, исправно урчала канализация. Мне бы хотелось здесь защитить профессиональную честь Язова и Крюч-

кова — они не презрели азбуку государственных переворотов, они сделали всё по науке, но по науке былых времён, когда сделанного оказалось бы достаточно и не потребовалось бы ни провода резать, ни арестовывать Ельцина, а куда было бы элегантнее, чтобы он сам приковылял на полусогнутых и принёс бы присягу ГКЧП. Убеждён, на месте Язова мог быть, предположим, даже маршал Жуков, на месте Крючкова — Серов с Абакумовым, они бы не сделали большего, чем требовалось, а требовалось ввести танки в город и объявить что душе угодно, ожидая от населения одного ответа — единодушного одобрения.

Говорят, танкисты не знали дороги и осведомлялись у прохожих — да не всё ли равно было, на каких площадях им стоять? Ещё говорят, они останавливались послушно перед красными светофорами — правильно, они в столицу вошли, которую считали своею, как олицетворение порядка, а не анархии.

Вообще, многие недоумения объясняются просто неграмотностью, недопониманием назначения танков на улицах города, где они в последнюю очередь оружие, а в первую — демонстрация силы. Поэтому безразлично, были при них боекомплекты или не было, боевое применение вполне исчерпывалось грозным видом, рёвом и лязганьем, ну и вонючим дымом из выхлопных труб. Ни о чём большем речи не шло, из Отечественной войны известно, что пускать танки по городу гибельно для них, и всякий военачальник этого избегал, здесь преимущество — у пешего с гранатой или «коктейлем Молотова», не то что в открытом поле. Да и как их использовать против своих, если остановившуюся, затихшую громадину тотчас же облепляют, с молодыми танкистами заговаривают старые фронтовики, «афганцы», солдатские матери — и вот первое чудо: танкисты отвечают! Они отвечают так робко, точно впервые встретились лицом к лицу со своей, и в то же время чужой им, страной. Важнейший обезоруживающий момент наступил, когда полезли на броню девушки, среди них — немало хорошеньких.

Среди них полно было проституток, мрачно уверяет Эдуард Лимонов. Ах, как сильно уязвляет нас этот парижанин, мы даже зарделись от смущения. Да пусть назовёт хоть одну революцию, хоть какое широкое народное движение, где бы не приняли участие жрицы любви — и ещё какое деятельное! Пусть внимательнее рассмотрит

в Лувре знаменитую картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ»; не похоже ли, что фигура в центре — вовсе не метафора, а вполне реальная дама, играющая свою коронную роль, а некоторый, выразимся изящнее, непорядок в верхней части её туалета имеет назначение прагматическое — приободрить оробевших мужчин? Делакруа, сын Талейрана, знал своих французов и знал природу революций — лучше, чем их успел постичь Лимонов.

Ещё один умник дописался до такого ехидства, что «дело свободы защищало лишь политически активное меньшинство, причём в основном из молодёжи»,— как будто в истории когда-нибудь было иначе. А какое же, интересно, меньшинство? Оказывается, подсчитано: «вокруг Белого дома сгруппировалось около ста тысяч человек — это из более чем восьми миллионов москвичей». Да ведь это — восемь дивизий, что и составляет как раз обычную мобилизационную норму: по одной дивизии от миллиона граждан.

Хватает попыток преуменьшить масштабы путча и тем принизить значение победы. Вот мы узнаём, что трое погибших — Комарь, Кричевский, Усов — зря задерживали бронемашины, которые, если на плане посмотреть, не приближались к Белому дому, а удалялись от него. Но не достаточно ли того, что нашлись у нас юноши, которые, защищая парламент и президента, допускали возможность своей гибели — и всё же не ушли, не уклонились, приняли судьбу такой, какой она им предстала?

Принижение — участь многих революций, не только нашей Августовской. Имеет хождение версия, что не было героического штурма Бастилии — точных деталей не помню, а суть та, что её охраняли отставные старики, чуть не инвалиды, со ржавыми алебардами, а в камерах содержались шестеро или семеро мошенников и карманных воришек. Героики и впрямь маловато, и тем не менее французы отмечают день Бастилии как большой национальный праздник — исходя, наверное, из того, что самое важное, интересное и значительное в истории совершается не на площадях и не под сводами дворцов и тюрем, а в сознании людей. И значит, наибольшую цену имело то, что толпа вообще осмелилась штурмовать королевскую тюрьму. Бастилия пала не тогда, когда отнимали ключи у охранников, а когда кто-то сказал: «Идёмте штурмовать Бастилию!» — и его не осмеяли, не сочли помешанным, не свели куда следует, но — пошли за ним.

Теперь утверждают, что штурм Белого дома и не предполагался. Вот говорит Янаев в телепередаче «Момент истины», что он ещё 20-го заверил Ельцина по телефону, что никакого штурма не будет. Может быть, и заверил, да почему же Ельцин должен был поверить лжецу, оповестившему весь мир о болезни Горбачева? И что другое мог бы пообещать заговорщик, замышляя прямо противоположное? Во всяком случае, люди, проведшие ночь на 21-е августа у стен Белого дома и внутри него, вспоминают об этих часах как о сильнейшем жизненном переживании, говорят о незабываемых чувствах единения, братства, о чувстве гордости — за то, что они, которыми 70 лет только помыкали, решились умереть, но отстоять своё право самим выбирать себе судьбу и решать судьбу своей родины. Такие чувства не могли быть пережиты понарошку, с заведомым знанием, что всё — только игра, а на самом деле ничего страшного им не грозит. Нет, они действительно были охвачены жертвенным воодушевлением, некой баррикадной эйфорией, и если существует передача душевной энергии на расстояние, то, может быть, эманация соединённых ста тысяч воль остановила где-то на дальних подступах готовящийся штурм,— а вовсе не так было, что подразделение КГБ «Альфа» прикинуло количество жертв и свои возможные потери — и решило воздержаться от кровавой бани...

...И вот миновал с той ночи год, и кинорежиссёр Станислав Говорухин, который *не хочет больше быть трусливым интеллигентом* (так и называется его интервью «Мегаполис-экспрессу»), вдруг заявляет: «...повторись сегодня августовский путч, я бы ни за что не пошёл защищать Белый дом».

Тут я спрашиваю себя: это не тот ли самый Говорухин, о котором писал мне из Москвы тогда же, 21 августа, Лев Аннинский: «Полдня полной неизвестности (но уже начал себя готовить к худшему, к цензуре и прочему), наконец с четырёх 20-го прорезалось Московское радио. Единственная ниточка контринформации... Говорухин в эти качающиеся полдня, когда неясно ещё было, чья возьмёт, по этому единственному радио сказал: «Кто сейчас не выйдет на площадь, тот — говно!» Радиокомментатор подхватил: «Станислав, я с радостью пропускаю ваше крепкое слово в эфир!»» Да, Говорухин — тот же самый, но что же

с ним произошло за минувший год? Отчего такая разительная перемена: «...ни за что не пошёл бы защищать Белый дом»? И с ним ли одним это произошло?

Было бы просто и соблазнительно всё объяснить пушкинской формулой: не требует нынче Говорухина к священной жертве Аполлон, а тогда — потребовал. Но ведь не об одной говорухинской душе тут речь, это его устами вся Россия спрашивает: во имя чего они были — наше самоотвержение, наша решимость умереть за свободу? Что мы приобрели за этот год? С распадом Союза не утихла, как можно было ожидать, взаимная вражда, не погасли национальные войны, а только прибавилась проблема проживающих в новых «заграницах», не в своей республике; только дошло до предела нетерпение — когда же уберутся к чертям наши гарнизоны; и как разделить Черноморский флот — тоже не решено, и на очереди решать с Крымом. От разрыва хозяйственных связей ещё опустился рубль, ещё взлетели цены. К рынку не приблизились, зато пополняются ряды миллионеров, делающих свои башли «из воздуха», вошли в моду изобильные презентации и отлаживается рэкет. Всё безнадёжнее упадок здравоохранения, народного образования, культуры, нравов. Зато вот, читаю, открылась в Москве первая школа стриптиза, наконец-то наши девочки научатся грамотно раздеваться. Наиболее одарённые шагнули за рубежи, овладевают искусством «фотомоделей» и «порнозвёзд». Да не богини тут горшки обжигают, наши Наташи их потеснят. Ну, а в отечестве обесцениваются у демократов последние акции, такие высокие на 21-е число августа, самое слово «демократ» почти заменило матерщину, и скоро одесский этикет обогатится проклятием: «Чтоб тебе жить при демократии!» А насчёт принципа основополагающего, цементирующего общественное бытие, то надвигается неотвратимо старинное зэковское: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Так стоило ради всего этого идти защищать парламент, президента? Неужели навечно это нам — «победитель не получает ничего»? Может быть, утешимся, что был в нашей юдоли этот праздник, сладостный сон, и возвратимся, побегавши на воле, с повинными головами в стойло? Переждём до лучших времён, а там, бог даст, начнём всё сызнова?

Боюсь, в обозримом будущем не предоставит нам история другого такого счастливого шанса, как тот, что вы-

пал в апреле 1985-го, с перестройкой, с гласностью, с нерешительным, но таким, гляди-ко, авантюрным, вывёртливым Горбачёвым. Триста лет ждала Россия демократии, лучшие умы об этом мечтали, а теперь мы сдадим отвоёванную траншею, политый кровью плацдарм?.. Да, кстати, и кандидатура уже намечена, кому наши позиции занять. Наш возможный будущий президент ожидает своего часа — где бы вы думали? — в «Матросской тишине». Нет, это не бузотёр Язов, сам себя обозвавший старым дураком, не крючкотвор Крючков, воспрявший духом и посылающий Ельцину грозные манифесты, это человек уравновешенный и вдумчивый, не чуждый поэзии, пишущий стихи под нежным именем «Осенев». Корреспондент «Правды» уведомил Анатолия Ивановича Лукьянова, что очень многие хотели бы его выдвинуть в президенты республики, и взял у него обстоятельное интервью, которое можно рассматривать как предвыборную программу.

Проведя год в тюрьме — наверное, безвинно, допускаю, что не был он ни членом ГКЧП, ни «духовным отцом заговора»,— какие же выношенные истины он нам поведает? Ну, сразу скажем: Анатолий Иванович, как и Нина Андреева, принципами тоже не поступается, он был и остаётся идейно-алмазным коммунистом. Более того, возможный президент не мыслит себе, чтобы при этой должности не быть ещё и генсеком. Пример Горбачёва — всем наука: «потерять партию значило лишиться последней опоры в обществе», обречь себя «на политическое небытие» (в котором, по логике, сейчас обретается Борис Ельцин? — *Г. В.*). Лукьянов же, напротив, считает разумным и необходимым, если партия, «придя к власти, по-своему "срастается" с государством, расставляет своих людей на ключевых участках управления» (а парламент возражать не будет? Зачем же, там ключевыми тоже будут свои.— *Г. В.*). Конечно, «семь десятилетий функционирования КПСС как единственной правящей партии» — это, для Анатолия Ивановича, многовато (а одно десятилетие, один год — не много для единственной? — *Г. В.*); «никто не отрицает тяжелых деформаций», но ведь «партия, как известно, сама начала освобождаться от этого наследия, предложив изменения в Конституции, приняв новый устав, развивая все формы внутрипартийной демократии». В этом сознании — нет божьего мира без партии, трава не растёт, не поют птицы, а демократия быва-

ет только «внутрипартийная». И какая знакомая мелодия: партия сама признала. Всё забываем об её святом праве — самой грешить и самой же каяться, не допуская к этому посторонних (кому она ломала судьбы и кости).

Что касается государственного устройства, то нам «придётся на новом витке повторить путь, который проходили республики, создавая Союз в двадцатые годы». Слышу, как от «нового витка» содрогаются сердца грузин, чеченцев, украинцев, молдаван, а напоследок и прибалтов. Пусть не волнуются, будет вот что: «обновлённый Союз», который «впитает в себя весь положительный опыт советской федерации, дружбы народов...». Надо полагать, у Анатолия Ивановича есть в загашнике идея, как собрать разбежавшиеся республики и удержать их от нового разбегания и как в дружбу обратить взаимную ненависть и отталкивание.

В организации власти Анатолий Иванович — против парламентаризма, «скопированного с каких-то заморских моделей», которого «Россия не воспримет» (а мы и подзабывать стали, что ведь это ж партия решает, что «Россия воспримет», а когда «народ нас не поймёт».— *Г. В.*), в крайнем случае надобно «освоить эти заморские рецепты на наш, российский лад». К примеру, насчёт президентства: «для системы Советов более характерен коллективный глава государства, позволяющий ограничить тенденции к авторитаризму». Так ведь был уже коллективный президиум, и ничуть тенденции не ограничивались. Это ничего, ещё попробуем, будет у нас «президентская республика особого советского типа».

По части экономической Анатолий Иванович — непререкаемый социалист, не по душе ему «прокапиталистические ориентации», «насильственное насаждение капиталистических общественных отношений», и он полагает, что «именно здесь должно быть главное поле действия коммунистов»; ну ещё допускаются «партии социалистической ориентации». Понадеемся, они нам наладят капитализм, какой надо. Только один вопрос: может быть, опустим для всех этих нововведений «железный занавес»? Пожалуй, оно надёжнее?..

Часто спрашивали защитники гэкачепистов и сами они: зачем было им переворот совершать, когда и так они обладали полной властью? А бывает ли она, полная власть? Всегда ведь хочется большей, и зачем-то же по-

надобилось консулу Бонапарту 18-е брюмера, полномочия императорские. Вот и Анатолий Лукьянов нам приоткрыл, зачем было 19 августа. Чем больше вникаешь, тем решительнее приходишь к выводу, что судить Анатолия Ивановича не нужно, ни на каком суде он себя не раскроет больше, чем этой предвыборной декларацией, не поведает ярче, какие ослепительные истины несли танки на броне своих башен. Отпустите же его, пусть идёт домой — нянчить внуков, лечить сердце, писать стихи, только даст слово не заниматься политикой. Я не спрашиваю, как могли его выдвинуть в председатели Верховного Совета, но как избрали в народные депутаты, кто голосовал за него? А впрочем, он ведь из тех «оптовых», кого КПСС выдвигала списочно. И всем своим номенклатурным сознанием и поэтической душой он тянет нас в уютное прошлое, в застойную брежневиану.

Но — подзабыл он диалектику, дважды не войдёшь в одну реку, и не будет уже той брежневианы — с дешёвым хлебом и молоком, с рыбой нототенией, которая не дожила до коммунизма, будет брежневиана голодная и вконец обнищавшая, притом не избавленная ни от одной сегодняшней болезни, только вот говорить о них станет запретно. Так что нет нам пути назад, и возвращаться некуда. Только вперёд. И при этом — сейчас или никогда. Иначе — ещё на триста лет уйдёт Россия на дно, погрузится в трясину бесправия, духовного рабства, убогого прозябания.

Монархисты, фашисты, «памятники», национал-патриоты, коммунисты, да и многие демократы — все тянут её туда, ещё, по счастью, разрозненными усилиями, ещё не единым целенаправленным рывком. Но когда же нибудь они сговорятся, и вновь войдут танки в столицу, но теперь уже ведомые другими танкистами, приученными не отвечать на вопросы, и под командою других язовых и крючковых, которые ужо распорядятся, кого похватать и какие обрезать провода. Разве что пробьётся жалкий радиописк, потянется ниточка контринформации. И чей-нибудь голос призовёт идти защищать демократию, которая ведь выше демократов, никогда не равна им и по-прежнему остаётся для нас недосягаемой мечтой.

Что же, не откликнемся? Не выйдем на площадь?

«Московские новости», 23 августа 1992 г.
Радио «Свобода»

К 60-ЛЕТИЮ ВОЙНОВИЧА

Дай бог вспомнить, когда я впервые услышал имя — Владимир Войнович. Кажется, в самом начале 1961 года, и притом в контексте не очень для меня приятном. В те поры должна была выйти в «Новом мире» моя повесть «Большая руда», её поставили в номер 2-й, февральский, когда мне как раз исполнялось 30. И вдруг уведомляют автора, что в номере 1-м, январском, печатается повесть некоего Войновича «Мы здесь живём», и тоже о шофёре, так что моя, естественно, отодвигается, иначе же будет «перебор». Номер 3-й — уже заполнен, пойдёт в 4-м, апрельском. Помех вроде бы никаких, но на моё кривое счастье 12 апреля полетел Гагарин, и мою «Большую руду» из готового номера пришлось выдирать крючьями. Ведь у меня там шофёр падает с машиной в карьер, ломает себе шею, нехорошее какое-то сопоставление с полётом в космос, какой-то даже неприятный намёк. А что у нас в номере 5-м? Майские праздники, плюс день большевистской печати, плюс День Победы, тоже нельзя омрачать. В 6-м — Виктор Некрасов, которому скоро должно было исполниться 50, и рядом с его мрачной «Кирой Георгиевной» нужно дать что-то жизнеутверждающее. Тут неожиданно образовалась брешь в 7-м, разобиженный редакторскими придирками Тендряков забрал рукопись — и на её место, с божьей помощью, втиснули меня...

Я рассказываю об этих курьёзах, чтобы напомнить, на каком свете мы жили, от чего зависело наше литературное счастье, на каких ниточках болтались наши судьбы, при этом тесно и причудливо переплетаясь. Покуда я изнывал в ожидании, некоего Войновича, с которого всё началось, со страстью лупцевали в критике — и разумеется, поделом, не перебегай другим дорогу. Впрочем, на нём лупцевание сказалось мало, ко мне в Доме литераторов подошёл знакомиться человек ничуть не забитый, полный

энергии и жизнелюбия, с улыбкой во всё лицо, даже до странности, непозволительно весёлый для этих стен.

Повесть «Мы здесь живём» — из жизни целинников — ещё не показала всех возможностей Войновича; мне кажется, в неё было попросту мало вложено своего, автобиографического; скорее это была заявка, обещание на будущее. И вот, в году 1963-м, в том же «Новом мире», он это обещание исполнил — рассказами «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра». Стало ясно — пришёл писатель, без которого уже нельзя себе представить современную русскую прозу, со своей темой, своими героями, своей манерой письма. Тогда же отчётливо проступили коренные черты его стиля — как бы даже бесстилевая простота, безыскусственность изображения, что ему и придавало подлинность. И конечно, юмор — не от громоздкого острословия, как нынче принято, но извлекаемый из самой ситуации, в которой не каждому дано увидеть смешное, а ему, Войновичу, дано в избытке.

Тем летом 1963 года в Ялте, в писательском Доме творчества, я наблюдал явление редчайшее: трое писателей, сойдясь, говорили о четвёртом за глаза одно только хорошее. «Талантище!» — подытожил Григорий Поженян и достал вторую поллитру. А Виктор Некрасов, показав нам открытку от Войновича, заметил, что он путешествует где-то неподалёку, так почему бы ему, мерзавцу, не заехать в Ялту и не выпить с нами по рюмочке? Те дни вылились в сплошной праздник общения. Путёвки у Войновича не было, но, разумеется, устроили его и спать, и есть, ну и попито было тоже хорошо — всё почему-то ночами, лишая собратьев наших по перу сна и покоя. Однажды так разгуделись на террасе, что собратья не вытерпели и накатали «телегу» в Литфонд — на предмет нашего выселения. И пожалуй, «телега» возымела бы действие, но жалобщики допустили промах. Не полагаясь на силу собственных имён, они пожаловались, что мы не давали спать больному Маршаку. На что расположенный к нам Самуил Яковлевич возразил самым резким образом, что именно в указанную ночь он спал как ребёнок.

Помню ещё, на крутом извилистом спуске к морю, в кромешной тьме южной ночи, Войнович вдруг стал рассказывать, со смущением в голосе, мне и спутницам нашим о своём новом замысле, который уже давно его занимал. То была история солдата Чонкина, хотя имя то-

гда не называлось; возможно, ещё не было найдено. У меня к этой вещи отношение сложное, я всё же больше ценю «Расстояние в полкилометра» и в особенности «Путём взаимной переписки»,— возможно, от ностальгии по молодости. Роман-анекдот о Чонкине снискал себе, как известно, много противников, но и страстных его почитателей тоже хватает, и как ни покажется странным — именно среди фронтовиков-окопников. Как бы то ни было, огромный успех романа представляется мне заслуженным, и отрадно то, что эта вещь в творчестве Войновича как бы заглавная, в которой имя героя так смыкается с именем автора, что они уже навсегда неразделимы. «Это какой Войнович,— спрашивают,— это который Чонкин?»

В подобных случаях воистину трагично, если книга не издаётся на родине автора, а появляется в «чужеземии». Винить ли сейчас в этом Твардовского, переживавшего каждый месяц своего редакторства как предпоследний? Я знаю только, что книга, коль скоро она издана где бы то ни было, создаёт новую реальность, и она круто меняет положение автора. Так Чонкин, одним своим нежелательным для властей появлением, изменил всю судьбу Войновича. Раньше меня начав публиковать свою прозу в «Новом мире», он раньше меня и выбыл из авторов его, мне же ещё удалось накануне крушения напечатать «Три минуты молчания». А после крушения — пристанища на родине нам не нашлось.

Логично нам было оказаться в кругу диссидентов, подписывать бесчисленные обращения к мировой общественности, часами выстаивать у неприступных стен, за которыми судили инакомыслящих. Из нынешнего дня это покажется лёгким занятием. Да, разумеется, полегче, нежели подсудимому за барьером, но ведь многих из вас, нынешние ниспровергатели, мы около тех стен не встречали. Из сегодняшнего дня многое и вовсе не видится — так, лондонский корреспондент «Литгазеты» Михаил Озеров, оповещая читателей об учреждении в нашей стране филиалов «Международной Амнистии», ни словом не упомянул маленькую Московскую группу «Эмнести», в которой состояли и мы с Войновичем. А ведь она просуществовала десять лет и была единственной группой «Амнистии» в государстве тоталитарном, где одно её существование было вызовом.

Я не знаю, как рассматривать сейчас нашу вынужденную эмиграцию: как закономерный итог всех издевательств и гонений или как неожиданное везение, чтоб нам сохраниться от распада. Дороги в отечество заново нам открыты, но ведь всё смешалось в нашем доме, из которого уже и гнать никого не надо, из которого сами бегут.

Но если смотреть на наши пути с колокольни поколения, генерации, так нам, шестидесятникам, положа руку на сердце, решительно повезло. Нам повезло родиться в начале 30-х и войну пережить рано повзрослевшими детьми, повезло, что смерть батьки Усатого и начало хрущёвской «оттепели» пришлись на лучшие наши годы, слегка за двадцать, а когда пришло время куда-то нести свои сочинения, оказались готовы принять их журнал «Новый мир» и образованнейший его редактор Александр Трифонович Твардовский, с гордостью себя называвший «квалифицированным читателем». Ну и не только он воспитывал нас 11 лет в своём журнале, как в лучшем университете, но вся плеяда, вся его команда. Один Сац чего стоил, Игорь Александрович Сац, ходячая энциклопедия и всегдашний ровесник молодым, к тому же отчаянной храбрости человек — по-моему, единственный, кто отваживался сесть к Войновичу на мотоцикл пассажиром.

Нам повезло вступить в литературу, когда слово ценилось так, что за него назначались в зависимости от его качества тюремные сроки, когда встречалось со вниманием каждое новое имя и едва ли могло удержаться надолго имя случайное. Повезло, что ещё не было такой пропасти между поколениями, ещё жила преемственность и старшие передавали свой опыт с такой же охотой, с какой младшие внимали каждому их слову. Поэты группировались вокруг Ахматовой, Пастернака, Антокольского, прозаики — возле Паустовского и Катаева, нашими старшими друзьями были Владимир Тендряков и Виктор Некрасов. Они с нами пили водку и были участливы к нам, но и суровы по гамбургскому счёту, и нам бы в голову не пришло сказать, предположим, Виктору Платоновичу, старшему нас на 20 лет и на целую Отечественную войну: «Уйдите и уступите место нам». А место-то было куда теснее нынешнего. Те, кто так говорит сейчас, не представляют себе, какая зияющая пустота открылась бы там, где ещё стоят шестидесятники, и что стало бы с новыми поколениями, в одночасье лишёнными этой стареющей опоры.

Сегодня чуть младшему моему сверстнику — 60. Пожелать ли ему прожить ещё столько же? В нашем случае это, наверно, отдавало бы фальшью. Когда два жизнерадостных идиота, мы с Войновичем, соревновались у меня дома, выжимая над головою двухпудовую гирю,— казалось, так будет долго-долго и нам не предстоят ни инфаркт, ни операция на сердце. Когда же всё это есть в наличии, жизнь слишком долгая несколько теряет свою заманчивость. Но я всё-таки пожелаю товарищу литературной молодости: не подводить итогов окончательных, а только предварительные, не смотреть на это 60-летие как на некий рубеж, или предел, или вершину, за которой последует уклон и ничего другого, а рассматривать этот юбилей как начало нового, столь же трудного, но и славного, десятилетия. Только и всего.

Поздравляю тебя, Володя.

Радио «Свобода», сентябрь 1992 г.

К 70-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ ПОЖЕНЯНА

Лёгкий укор послышался мне в словах Юрия Соломонова*, выступавшего по радио «Свобода» на прошлой неделе по случаю 70-летия Григория Поженяна. Вот вы, шестидесятники, отмечаете юбилей своего ровесника Войновича и совсем упустили, что в эти же сентябрьские дни другому вашему коллеге грянуло на десять лет больше. А ведь он, судя по вашим же воспоминаниям, был вам не чужд и к вам тоже не безразличен.

Укор, делать нечего, я принимаю, но хотел бы привести два смягчающих мою вину обстоятельства.

Ну, во-первых, откуда, при нашей разобщённости, мы узнаем, кому там сколько грянуло? Мы ведь друг другу в паспорта не заглядываем. А заглядываем, открою секрет, в произведение доктора-слависта Вольфганга Казака, называемое «Энциклопедическим словарём русской литературы с 1917 года»**. Так вот, поэта Григория Поженяна с его 70-ю годами в этой энциклопедии нет. Но пусть не огорчается, этот словарь, кажется мне, славен не только теми, кто туда попал, но и кто не сподобился. Начать с того, что нет Леонида Андреева, ни сына его Даниила, а из поэтов — Александра Вертинского, Николая Глазкова, Анатолия Жигулина, Евгения Рейна, прекрасных женщин — Вероники Тушновой, Юлии Друниной, Вероники Долиной. Надо ли продолжать? А зато есть Аля Рахманова — знаете такую? По-русски ни строчки не написала. Говорят, в новом издании многие пробелы заполнены, да есть ли досуг — гоняться за новыми изданиями?

Понадеяться на память? Но в далёком уже 1964 году был я на дне рождения у Поженяна — и поразился хлебосольству хозяина: столько было гостей — писателей, актё-

* Зам. главного редактора «Литературной газеты».
** Изд-во OPI, London, 1988.

ров, бывших однополчан, что это не мог не быть юбилей — ранний, 40-летний. Сдвинутые столы не помещались в самой большой комнате малогабаритной квартиры, но Гриша справедливо рассудил, что гипотенуза всегда длиннее катета, и столы вытянул по диагонали. Крайний уполз в кухоньку и там упёрся в газовую плиту. Тридцати лет с того дня ещё не прошло, но я запоздало соображаю, что отмечался тогда всего лишь рядовой 42-й год — впрочем, наверное, не рядовой, а как-то он рифмовался с годом 42-м века, когда юный Поженян, участник диверсионной группы, вместе с нею погиб и воскрес из мёртвых, оставив своё нестираемое имя на мемориальной доске.

Это первое легендарное, что мы о нём слышим, и ещё о том, что он был награждён посмертно. Ходят легенды и повеселее — например, как его исключали из Литературного института с формулировкой: «за пособничество в организации беспринципной групповщины на семинаре разоблачённого эстета и космополита Антокольского».

— Чтоб вашей ноги здесь не было! — сказал ректор.

Гриша сделал стойку на руках и так вышел из его кабинета. А кто, вы думаете, первым у нас запретил коммунистическую партию? Ну, вообще-то президент Ельцин, но в малом масштабе — опять же Гриша Поженян. В середине 60-х годов он выступил в ипостаси кинорежиссёра, поставил на Ялтинской студии фильм «Прощай» — о моряках-черноморцах, которые на крохотных торпедных катерах конвоировали суда, вывозившие раненых и детей из осаждённого Севастополя. С новой профессией Гриша справлялся вполне, но как-то его спросили, почему в съёмочной группе не функционирует партийная организация. Рискуя фильмом и выказывая застарелую неприязнь к политрукам и комиссарам, Гриша сказал:

— У меня коммунисты будут работать в подполье!

«Сочиняет он или правда?» — спрашивает Юрий Соломонов. Но какое мне, собственно, до этого дело? Не любо — не слушай. Но я, к примеру, так же любуюсь красотой домысла, как и живописностью факта, положенного в основу. Кроме того, не только он рассказывает, но и другие о нём. Чтобы о вас легенды складывали, надо же личностью быть, наподобие Дениса Давыдова, поэта и гусара.

И потом, рассказывает он и такие истории, в которых сам выглядит далеко не выигрышно. Таков его рассказ, мною слышанный, об югославском ордене. Когда поссорились Иосиф Виссарионович Сталин с Иосипом Броз

Тито, велено было нашим фронтовикам, кто имел югославские награды, с презрением их вернуть «предателям дела социализма». И как ни отлынивали фронтовики, военкоматы их вытаскивали из всех укрытий. Пришлось и Грише вернуть свой, да ещё подписать гнусное коллективное отречение. Ещё печальнее вышло продолжение. Когда помирились Никита Сергеевич Хрущёв с Иосипом Броз Тито, стукнуло Грише в голову испросить обратно тот орденок. И пришла бумага из югославского посольства, а в ней одно короткое слово, как хлыстом по морде: «Нет». Гриша об этом рассказывал, посмеиваясь смущённо, как наблудивший.

Не раз мне хотелось ему сказать слогом XIX века: «Зачем ты, Гриша, не прозаик?» Но он-то лучше знает — зачем. Он мастер устного рассказа, а это жанр и редкостный и неуловимый. Настоящая проза не пересказывается, но тут случай обратный — не записывается произносимое. Недостаёт живого портрета рассказчика, его голоса, его опережающего смеха едва не до слёз, всей его особой посадки в долгом застолье.

Это из Гоголя, из Рембрандта с Кустодиевым, как Гриша сидел в ресторане Дома литераторов, заголив до локтей могучие руки молотобойца. Никаких иных дел у него здесь не было, кроме как хорошо посидеть, не спешил он с портфелем в присутственные кабинеты, ни с кем не назначал деловых встреч, а сидел монолитно, монументально, не отвлекаясь от самого важного на свете — душевного общения. И как-то не чувствовалось, есть ли у него дом, семья, где его ждут и станут укорять за протяжное отсутствие. И насколько он предан мужской дружбе — а это как будто предполагает обтекание острых углов,— настолько же он умеет осадить наглеца, отшить прилипалу, стукача, коими кишит писательский клуб, сказать самую жестокую правду в лицо — без долгих притом нотаций, а удивительно лапидарно. Один из самых остроумных и находчивых людей, каких я встречал, он и мастер фразы, отточенной до афоризма.

Как-то в Ялте молодой тогда писатель, из зачинателей «исповедальной прозы», мне поведал с гордостью, что он и его друг уже так усовершенствовались в писании, что обходятся без помарок. Вот как рука написала, так и несут в редакцию. Помню, мы с Гришей загорали на воде, в полусотне шагов от берега, возлежа на надувных матрацах,

и не без зависти я рассказал ему, что вот, живут же люди, пишут сразу набело и не мучаются правкой. Он ответил сразу, то ли от солнца щурясь, то ли морщась от досады:

— Старик, они же не знают, что такое эпитет!

Явно, он пожалел их, не знающих сладости мук, с которыми Пушкин, как свидетельствуют рукописи, искал, к примеру, определение для светского нахала. Слово «нахал» и без того сильно, чем его можно ещё усилить? Подошло пятнадцатое: «перекрахмаленный нахал». Пусть, кто хочет, попробует найти лучшее.

Лет уже больше двадцати я не видел Григория Поженяна. Избрав себе путь, отдельный от Союза писателей, от его угодий и привилегий, я, может быть, больше всего жалел о возможности как-нибудь заглянуть в тот ресторанный зал, увидеть лишь нескольких, кого неизменно хотелось видеть, среди них — Поженяна, с его неторопливым приглашающим жестом — разделить его одиночество, послушать новые стихи, которые он читал всегда энергично, без распева, и не дольше, чем их умещалось между двумя возлияниями. Его литературный и гражданский путь был неразличим для меня в тусклых сумерках безвременья. И казалось, он погас, искромётный Гриша. Как вдруг долетела до меня его вспышка.

Есть в истории русской поэзии чёрная дата, столь же скорбная, как дни дуэлей Пушкина и Лермонтова,— 30 октября 1958 года, день гражданской казни Пастернака. Спустя 30 лет один из её участников, Владимир Солоухин, благополучно переживший умученного раскаянием Бориса Слуцкого, вдруг объявил, что острого желания отмыться как-то никогда не испытывал, по крайней мере — был не более виноват, нежели те 500 в зале, что наблюдали экзекуцию молча.

Тотчас раздался яростный, срывающийся голос Поженяна — да, я так воспринял его открытое письмо, как произнесённое срывающимся голосом поэта, потрясённого наглостью и притворством коллеги. А между тем атака могла и захлебнуться, противник был опытен и хорошо себя защитил, в оправдание выставив образы евангельские: «...распятие Иисуса Христа связывается в сознании человечества не столько с именем Каифы, первосвященника иудейского, настаивавшего на смертной казни, сколько с именем Пилата Понтийского, промолчавшего и умывшего руки».

На первый взгляд убедительно: что взять с Каифы? Он добивался смерти идейного врага, чья вина была для него бесспорна. Пилат же — вины за Иисусом не находил и имел власть спасти его от распятия, но, избегая неприятностей по службе, проявил — по слову Булгакова — наихудший из наших пороков: трусость. В области этики нет поэтому проблемы Каифы, есть — проблема Пилата.

Чтобы эту защиту опрокинуть, следовало найти иную систему образов, и Поженян её нашёл: «Вы не желаете каяться и обвиняете в трусости своих коллег... пытаетесь, да, да, уравнять топор, взметнувшийся над плахой, и ошеломлённую безмолвием толпу». Слово «палач» не произнесено, однако же слышится за строчками. И тут, чувствуя, что оппоненту и без того досталось, не забыв, что разговаривает как-никак со сверстником, однокашником по Литинституту, да и не безнадежным же циником, Поженян переходит вдруг на «ты», чем наносит последний пронзающий укол: «Я бы всё это не написал, если бы не надеялся, что тебе будет больно, а может быть, и стыдно. Так, возможно, начнётся очищение».

Тяжко ссориться под старость, когда всё меньше времени для примирения, но этот поступок нельзя было не совершить. И он, Поженян, имел на это столько же права, сколько и сказать о генералах, «распоясанных, словно в балагане», топотом и хлопаньем изгонявших с трибуны Сахарова:

Разве был бы я опасным и опальным,
Если б эти генералы воевали!

Оглядывая его неспокойную, неугомонную жизнь, по-своему трагичную, но и счастливую, исполненную рыцарского достоинства и терзаний души, богатую приключениями, путешествиями, драками, застольями, удачами и ударами судьбы, я ищу эпиграф к этой жизни и нахожу — в древнейшем завете античных моряков: «Плавать необходимо, жить — не так уж необходимо». Толкуя расширительно, поставим красоту и важность поступка, деяния выше драгоценного инстинкта самосохранения.

Ну а что до моих запоздалых поздравлений, то полагается мне, Гриша, выпить за тебя штрафной. Будь счастлив — как умеешь.

Радио «Свобода», октябрь 1992 г.

СМЕНА КАРАУЛА

В журнале «Москва» произошла, как теперь выражаются, смена караула. Ушёл от редакторства Владимир Крупин — по причине, которую его преемник, чрезвычайно партийный господин*, изложил так: «В ведении дел необходима определенная жёсткость, резкость. Мягкость, заведомая расположенность Крупина к незнакомому человеку оказались словно бы излишними». Дубоватый стиль этого порицания вдогонку, вместо полагающейся благодарности и похвалы, выдаёт нетерпеливое желание побыстрее выпроводить предшественника и даже помочь ему справиться с лестницей. Юмор ситуации состоит в том, что сам же Крупин и пригласил жёсткого и резкого преемника в журнал — заведовать отделом прозы, так что его, Крупина, мягкость и заведомая расположенность к незнакомому человеку оказались для чрезвычайно партийного господина вовсе не излишними. Будем надеяться, он наделён ещё какими-нибудь талантами, необходимыми главному редактору, помимо жёсткости и резкости.

«Литературная газета» уход Крупина восприняла с видимым сожалением и поместила в номере от 14 октября его пространное интервью. Опустим его собственные объяснения отставки, они определяются этикой, которая у писателей называется «цеховой». Интересно мне — сегодняшнее настроение Крупина как человека и писателя, за которым видится некая общность называющих себя «патриотами». Название не очень удачное, так как на него претендуют и «демократы», с которыми «патриоты» не желают иметь ничего общего. Владимир Крупин — тот себя даже называет врагом демократии; для меня это ново и огорчительно; мне кажется, он отчасти утратил чувство юмора, которым в достатке обладал. Но тут я должен сделать небольшое отступление в прошлое.

* Л. И. Бородин.

В «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года», сочинении доктора Вольфганга Казака, мы с Крупиным связаны одной строчкой, где сказано, что он работал редактором в издательстве «Современник» и это место потерял из-за выхода в свет повести Г. Владимова «Три минуты молчания», год 1977-й. Здесь и дата ошибочна, и всё было немножко не так. Крупин был редактором двух моих книжек и проявил к ним высшую редакторскую добродетель — не поправил ни слова. В то свирепо цензурное время он посчитал занятием недостойным «вычёсывание блох» из произведений автора, на 10 лет его старше, и предпочёл просто общение. 20 с лишним лет назад в Сочи постучались ко мне в номер цирковой гостиницы, где я обретался по блату, и возник на пороге крупноразмерный, большелобый светло-русый малый, вятским своим говорком представился, что вот назначен ко мне редактором, выхлопотал себе командировку, а следом объявил, что первый раз сегодня увидел море. Была вторая половина ноября, купаться поздновато, но хорошо бродилось по серой гальке опустевших пляжей, дышалось влагой прибоя, посиживалось и попивалось в полупустых злачных местах, вдали от того гадюшника, что зовётся Центральным Домом литераторов.

Володя Крупин был весь глаза и уши, жадно вбирал, впитывал всё относившееся к писательскому ремеслу, к образу писателя, который он примерял к себе, а заодно и присматривался, с кем ему быть, в каком стане. В то постновомирское время пути демократов перекрывались, оставался один — в Тамиздат, и слышался знаменитый спор: что лучше — одна строчка правды, напечатанная в России, или тысяча их, но за «железным занавесом»? Крупин тяготел к строчке, и этот выбор нельзя было не уважать. Очень достойно он встретил все неприятности, когда у меня напечатали на Западе «Верного Руслана» и когда я вышел из Союза писателей. Ни к тому, ни к другому он отношения не имел, но так принято в нашем отечестве, что редактор отвечает за своего автора — недоглядел, не отговорил, не сигнализировал. Самого Крупина тогда принимали в союз, и всевозможные парторги начали копать, не я ли давал ему рекомендацию. Я, разумеется, не мог этого сделать в предвидении публикации «за бугром», я сделал хитрее — попросил Бориса Можаева, тогда заседавшего в приёмной комиссии, позаботиться о моло-

дом даровании. Борис Андреевич приехал ко мне поздним вечером за книжкой Крупина — с невыразительным названием «Зёрна», обещал вернуть; не вернул, конечно, и правильно сделал — ни одной бумажки не дали мне провезти через таможенный контроль. А бывший мой редактор по поводу всего неотвратимого, что происходило со мной, написал мне прощальное горькое письмо, где были такие строки: «Я думаю, что это тоже не выход. Людям, издающим Вас, чужды наши боли, а тираж до России не доходит».

Не совсем так было, кое-какой тиражик до России доходил, а до меня в Германию доходили вещи Крупина: «Живая вода», «Сороковой день», «Тринадцать писем к жене», но расставание казалось окончательным, на всю оставшуюся жизнь, и неожиданный его звонок показался чудом. Осенью 1987 года, вырвавшись в Финляндию с Битовым и Маканиным, он позвонил. Был полон энтузиазма, звал в Россию, помню его слова: «Мы сейчас говорим всё, что хотим».

Он и сейчас говорит, что хочет, но энтузиазма нет и в помине. То, что случилось в стране, обступило его, как Хому Брута в церкви, сонмищем страхолюдных чудищ, и в каждой строчке своей исповеди он причитает, брюзжит, гневается, кому-то грозит и снова жалуется, не видя, куда бы уйти. «Я всё больше радуюсь одиночеству. Но в одиночестве особенно обострённо думается об ужасах современности, о том, как легко обманывать людей, особенно русских, используя их доверчивость...» Это о себе он говорит, обманутом светом свободы, который оказался болотным огнём гниения. И нет пути назад бывшему члену КПСС: «Коммунизм — главное враньё мировой идеологии. Его лозунг о царстве справедливости на земле лжив: жизнь на земле страдание, и другой никогда не было и не будет». Но и демократия — «для России совершенно чужда. Это снова рай из-под палки. Сейчас не социализм, не капитализм, сейчас сволочизм, царство блуда, телесного и нравственного... Ворьё, жульё, проститутки — вот кто счастлив при демократии... Жизнь стала полна страха, человек не защищён, защищены только денежные воротилы. И что толку говорить, если никто не слышит? Ну обличим мы воровство — оно усиливается, ну упрекнём мы правительство во вранье — оно отмахнётся. Россия затаилась, она больше не хочет жертв».

Собеседница Крупина, Елена Грандова, то и дело — и весьма удачно — ловит его на противоречиях. Действительно, взять два любых его утверждения — они же не стыкуются. «Россия затаилась», но: «вся страна превращена в Гайд-парк, недержание слов из говорильни парламента растекается повсеместно». Или вот ещё: «Россия созрела для ненасильственных преобразований, ничего с нею за 70 лет не случилось...» В то же время — «сволочизм, царство блуда...». Как же не случилось? А вот, оказывается, в чём дело: «это знак любви Божией к России... кого Бог любит, того и наказывает». Так уж потерпим, коли так, что же мы плачемся?

Разумеется, легко изловить писателя на противоречиях, Толстой весь в них и даже выговорил себе такое право: «Я не птица — петь одну песенку». Но как-то оно густовато для одной газетной полосы, и к тому же, ругая демократию, приписывают ей грехи, в которых она неповинна. Собеседнице диковинно слышать от писателя о «развратных книгах» Рабле и Боккаччо, всего лишь «пропагандистов блуда». Ну, пусть они такими представляются Крупину, но не при демократии они писали свои богомерзкие сочинения, и не при демократии мы печатали переводы их. И почему же одни переводы? Патриотическое сознание не позволяет назвать «солнце русской поэзии» — Пушкина, да и Лермонтова тоже; неужели бы они от своих фривольностей стали отпираться?

Ища спасения от ужасов современности, Крупин говорит о бегстве к природе, возлагает надежды на самосовершенствование, на то, что «человек, понимая греховность, избавляется от неё. Да ещё надо крепить семью, в ней спасение. Да ещё не смотреть телевизор...». Но это всё средства индивидуальные, а как обществу быть, России? Тут надежды — на полузабытые земские собрания, смысл которых — так уж видится Крупину — благо народа. Ну и должна же быть — вы угадали! — рука потвёрже, «власть жёсткая, но не жестокая, строгая и справедливая. Такому правительству народ поверит».

Но если вы думаете, что это вывод окончательный, то вот ещё информация к размышлению: «В чём спасение? В понимании, что нет системы, к которой можно приспособить, приучить, пригнуть Россию». И твёрдая рука, стало быть, не пригнёт, что же тогда поможет? А вот что: «Ничего не сделать без понимания определяющей роли

религии в России. Можно и в монастыре погибнуть, и в бардаке спастись, если душа откроется Богу, а сознание — вечности».

Если бы так, Владимир Николаевич! А то ведь вот какое противоречие обнаруживает статистика и перечёркивает Ваше ехидное замечание, что «при хороших демократах всё подорожало в сто раз, а при плохих коммунистах картошка стоила десять копеек». Нельзя, конечно, сосчитать всех верующих в стране, но можно — посещающих церковь. Так вот, при коммунистах было их 11 процентов от всего населения. Ныне же, при демократах, напротив того, число неверующих уменьшилось до тех же 11-ти процентов, вот какое совпадение. А картошка подорожала в триста раз. А жизнь полна страха. А человек не защищён. А кругом сволочизм и царство блуда. А счастливы одни валютные воротилы. И льётся кровь. И никто никого не слышит.

Кажется, среди всех свобод, вдруг свалившихся на Россию, всего досаднее Крупину — свобода вероисповедания. Это, считает он, «не заслуга новой власти, а её вынужденный, но и коварный ход. В гонениях вера крепнет, в поблажках слабеет... Православию стало ещё тяжелее». Гнетёт и коробит Крупина, что «иконы рядом с алкогольным пойлом, кресты на продажу у ног иностранцев», а пуще того, что «всем почёт и место — католики с экрана не слезают, все секты, все раскольники вышли на улицу, кришнаиты... кто угодно».

Что иноверцев нечего баловать, это ясно. А вот как добиться, чтоб вера православная заново окрепла? Поблажки отменить, вернуться к гонениям? Но мы слишком многого ждём от Крупина — логического ответа. А он нам декларирует: «Россия живёт по своим тайным законам». Это — которые умом не понять? Они самые: «Мы в России, которая доселе никем не понята и самими русскими до конца не постигнута». Что ж, это извечная наша задача, об этом написаны и ещё напишутся курганы книг, но, может быть, для начала постигнем хотя бы суть демократии, которую Крупин вполне отождествляет с демократами, а это явления не совпадающие, подчас далёкие друг от друга. Под демократов слишком часто у нас рядятся наскоро перелицованные «гомо советикусы», перекрасив-

шиеся коммуняки, совки; понимаю, что они сильно раздражают Крупина,– как, впрочем, и мой слух не ласкает, каким тоном говорит он, скажем, о Ельцине:

«Ельцин врёт много, уже проврался... такое ноздрёвское: цен не повышу, лягу на рельсы. Не лёг. Самое противное – многократно хвалился, что ему Буш звонит по два раза на дню. Бог с ним».

Помилуйте, Владимир Николаевич, это кто же Вам позволил так о высочайшем в государстве лице? Где Вы такого духа-то дерзновенного набрались? Ну, Вы-то ещё ладно, а вот Проханов Александр иной раз такое загнёт, так пройдётся забористо,– невольно подумаешь: вот бы он так про Леонида Ильича, что б с ним было! Да в те-то года он победоносное советское оружие славил, а чтоб против власти – да боже упаси! Так вот, это Ельцин же вам и позволяет, это демократия, проклятая и благословенная, которая себя не защищает, как мы привыкли, чтоб власть себя защищала, а если б она той власти уподобилась, то перестала б быть демократией. Просто мы сами должны понять: не по-джентльменски это, господа, пользуясь благами демократии, её же и хаять. Если у наших правителей хватает ума и терпения не преследовать нас за дерзость, должно же и у нас хватить ответного благородства – не ругаться. Ведь глупо это – как сук рубить, на котором сидишь.

Казалось бы, это более всего относится к писателям, которых гласность освободила от ненавистного языка раба Эзопа. Но нет, возражает Крупин: «Я всегда говорил то, что думал». Свидетельствую – говорил. У меня дома. Вот эту исповедь возмутительную какая б газета не переправила куда надо? Вместе с тем гласность принесла урон – притом урон профессиональный. «Что толку говорить, если никто не слышит?» И как перенести, если дорогие Крупину авторитеты – Астафьев, Белов, Распутин – подвергаются не то чтоб остракизму, но неуважению, злословию, даже клевете. С «вершин писательской власти» – выражение Крупина – они скатились чёрт-те куда, до положения Чехова или Бунина, ещё не выбранных в академики. А кто и моральную травму пережил – как Юрий Бондарев. Составив себе имя военной прозой, потерпел поражение на выборах в Сталинграде, где воевал. Говорят, получил 15 процентов голосов. Признаться, и мне мало радости, что писателя обскакал на выборах в Вер-

ховный Совет комсомольский секретарь, но цеховая солидарность всё же не заставит меня ругать избирателей, которые, наверно, почитали этого писателя, послушали его речи, да и показали нам, что народ умеет не только безмолвствовать и водку пить и не так чужда России демократия, как это представляется нашим патриотам.

«Сейчас писатели,— говорит Крупин,— потеряли уважение к себе, и по этому случаю идёт вселенское нытьё». Возможно, нытьё самого Крупина происходит оттого, что его книги и книги его коллег не так бойко расхватываются или вовсе не издаются; это печально и требует самого пристального рассмотрения, но никак не подталкивает к выводу, что «не надо бы писателям лезть в политику. Писателей будут изгонять из политики, и это очень хорошо». Не продолжаются ли тут самооправдания отставки редактора? Подозрительно звучит: «...хорошо, когда изгоняют». И, словно бы себе в осуждение: «В политику писатели идут от тщеславия, от желания мелькать, быть на виду».

Кажется, Черчиллю это принадлежит: «Война – слишком серьёзное дело, чтоб доверить его генералам». Почему же судьбу страны, государства вверять одним политикам? Хотя бы судьбам самой литературы довольно уже зависеть от милостей партийных функционеров, умеющих «чижика» стренькать на фортепьянах или попеть дуэтом народные песни. Сам же Крупин видит пользу в парламентских речах Василия Белова, а я бы напомнил о замечательной речи Юрия Власова против империи КГБ. Писательский голос должен звучать в парламенте, как звучал голос Андрея Сахарова. Был ли он политиком – не знаю, в этой ипостаси я его как-то не воспринимал, видел – мыслителя, свободного, без каких-либо шор на глазах, не связанного групповыми амбициями и никому не навязывавшего своё мнение как непреложную директиву; напротив, его мягкость и заведомая расположенность выслушать ваше любое мнение, пускай вздорное, могли покорить самого упрямого оппонента. Если эти свойства оказываются «как бы излишними» в парламенте, я бы вослед Василию Белову назвал его «палатой мордов». Если в журнале – я бы на такой не подписался.

Вот здесь я бы себе же задал вопрос: имея власть вмешаться в судьбу писателя, поспособствовать ей, как бы я поступил в отношении Владимира Крупина? Отвечу: я

бы его пригласил редактировать журнал. Да уж, при всех его противоречиях, несуразностях, предубеждениях, при всём нытье, но и со всей болью о народе, о том, что в стране сегодня делается, со всей его искренностью, без какого б то ни было двоедушия. Собеседница, Елена Грандова, называет его человеком совестливым и ранимым. Это правда, и это-то и делает его сумбурную исповедь событием, какое не часто разворачивается на страницах «Литгазеты». Мне кажется, он ушёл из журнала «Москва» — или его ушли — в самый интересный для него момент: может быть, накануне того, чтоб написать свою наиболее значительную книгу, если только она уже не пишется. А журнал — в особенности традиционный толстый журнал в России — тоже произведение художественное, которое не рождается из заведомого знания, как надо и что надо, но из желания узнать и понять. При этом и наши ошибки и заблуждения могут быть плодотворными. Если б Колумб не ошибался, он бы не поплыл туда, где и наткнулся на неведомый материк. Я имел случай видеть, как рождалась настоящая слава журнала «Новый мир» в 60-е годы: это происходило по мере того, как его редактор из самого искреннего коммуниста, обеспеченного со стороны идейной «всепобеждающим учением», превращался в живую рану России. И утолением печалей и мук было любимейшее детище — журнал. Когда отняли его, то как будто отъединили аппарат кровообращения. Исход был скоропостижный.

Я куда как далёк от того, чтобы даже сравнивать нынешнюю «Москву» с тем «Новым миром» — ни по силе воздействия на общество, ни по значению в нашей истории,— но гибель, умирание в чём-то ведь уравнивают малых и великих, по крайней мере так должно смотреть на это христианину. Если и не гибель грозит журналу «Москва», то всё же крутая перемена статуса может стать роковой.

Вспомним, что этот журнал, принадлежавший двум, друг другу противостоявшим, даже взаимно враждебным, писательским организациям — Москвы и Российской Федерации,— задумывался как нейтральный, в котором писатели могли бы и помириться, избавленный от участия в идейных схватках, поэтому, кто б им ни руководил, иной раз удивлявший приятными неожиданностями. На его страницах могли соседствовать Анатолий Иванов

с Виктором Некрасовым, Лев Никулин с Паустовским, Софронов и Тендряков, попадались, кроме стихов Егора Исаева, нет-нет да Осипа Мандельштама и Максимилиана Волошина. В 1966 году — время гнусное, суд на Синявским—Даниэлем — не «Новый мир» Твардовского, а «Москва» нас удивила и обрадовала да хоть и порезанными «Мастером и Маргаритой». И если я не ошибаюсь, так именно здесь в раннюю пору новой «оттепели» приземлился первый скворец из эмиграции — набоковская «Защита Лужина».

И так бы и плыл себе этот кораблик — не то чтобы вовсе без руля и ветрил, но весьма прихотливо,— пока не решили его задействовать как боевую единицу. Снабдили локатором, установили орудийные башни. И вступил эскадренный миноносец «Москва» в строй однотипных кораблей, примкнул заединщиком к «Молодой гвардии» и к «Нашему современнику». А с его капитаном, всё же ухитрявшимся лавировать и тем сохранять «лица необщее выраженье», поступлено по сюжету дедушки Крылова:

Ты, прима, будешь втора.
Теперь у нас пойдёт уж музыка не та,
У нас запляшут лес и горы!

А вот как не запляшут, господа, и всё коварство затеянной вами перестройки обнаружится очень скоро, когда она обернётся монолитным единообразием? Бедному читателю придётся выбирать из трёх ощетинившихся крепостей, одинаковых, как полицейские будки.

Время нынче суровое, боевое, и, может быть, прав новый редактор, перехвативший журнал у Крупина: пора кончать с этой мягкостью, заведомой расположенностью к незнакомцам и с прочими мерихлюндиями, а сразу показывать длинные жёлтые клыки. А ещё бы славно — провозгласить и на обложку вынести: «Долой литераторов беспартийных, долой литераторов-сверхчеловеков!»

Ох, как знакомо и как скучно. А ведь всё к этому идёт, господа.

Радио «Свобода», октябрь 1992 г.

НЕ ПЕРЕКОВЫВАЮТСЯ МЕЧИ НА ОРАЛА

В номере 4-м (сентябрьском) газеты «Петербургский литератор» помещено интервью с Игорем Буничем, экспертом и историком нашего военного флота, излагающим свою точку зрения на его дальнейшую судьбу. Военный флот, поясняет Бунич, всегда строится и действует в рамках определённой доктрины его использования, наш советский — создавался «*в концепции срыва ракетного удара с американских подводных лодок и поражения авианосных соединений противника*».

Он представлял собою единое целое, хотя географически и распределённое по разным, омывающим наши берега морям, и ориентировался «*на решение глобальной задачи в Мировом океане в случае военного конфликта с США*». С утратой этой доктрины флоту, созданному энергией его главнокомандующего, адмирала Горшкова, назначено — умереть.

Главкома Горшкова Бунич называет великим адмиралом. Мне тем приятнее с этим согласиться, что адмирал был моим неравнодушным читателем. Прочтя в «Новом мире» две части романа «Три минуты молчания», Сергей Георгиевич в нетерпении узнать, чем же там дело кончится, прислал в редакцию за вёрсткою третьей части своего адъютанта. Это говорит о том, каким азартным человеком он был в свои почти 60 и с какими, поди, упорством и страстью проводил в жизнь свою всепланетную доктрину. Но я бы не поставил ему одному в заслугу, как делает Бунич, создание нынешнего флота, я бы не избег по крайней мере упомянуть его предшественника, адмирала Кузнецова Николая Герасимовича, который был главкомом ещё с довоенных времён, а в 1956 году за строптивость был Хрущёвым отставлен и на две ступени понижен в чине. Насколько известно, одним из первых он заговорил о «разумной достаточности» — стало быть, угля-

дел признаки опасности, обернувшейся нынче — трагедией.

Военный флот — едва ли не самое дорогое удовольствие для государства, особенно когда вплетаются соображения *престижа.* Некогда Англия почитала долгом иметь флот, превосходящий два любых чужих, но вынужденно отступила. Большевики — не такие люди, чтобы отступать. С тех пор как военные моряки составили самую надёжную силу революции, наш флот не мог бы пожаловаться на невнимание к нему, на скупость отпускаемых ему средств и качество поставляемого человеческого материала.

Странным образом, и Кронштадтский мятеж не явился тут помехой, а даже напротив, ещё сильнее привлёк внимание к опекаемому, хоть и носился Ильич с идеей этот взрывоопасный флот расформировать и заменить архинадёжными морскими частями ВЧК—ГПУ. Флот у нас сделался предметом культа, шефствовал над ним Ленинский комсомол, кузница кадров — тех самых, по О. Бендеру, кого девушки любят: «молодых, длинноногих и политически грамотных»,— о краснофлотцах лучшие песни слагались, а в кинофильмах они были героями заведомо положительными, уже при одном появлении знали мы: этот, в тельняшечке, в бескозырочке или в мичманке, не подведёт. Короче, ни денег, ни любви на Красный флот не жалели. Так что не вчера и не десять лет назад выявилось как бы излишество в нашем отношении к разрастающемуся стаду «левиафанов».

В детстве ещё, суворовцем, побывал я на двух боевых кораблях. Летом 1944 года в Батуми — на крейсере «Ворошилов», и там услышал, что противника на Чёрном море у него нет, а сюда, на Батумский рейд, он отведён, чтоб поменьше было неприятностей от немецкой авиации. Помню на палубе, в кормовой части, обширную латунную заплату, в некотором роде мемориальную плиту: надпись по кругу удостоверяла, что сюда угодила 250-килограммовая бомба. Она пробила верхнюю палубу и две-три промежуточные и взорвалась в мучном складе. Взметнувшееся облако муки, накрывшее весь порт, вынудило немца воздержаться от дальнейшего прицельного бомбометания. Кажется, тем и ограничились боевые действия крейсера «Ворошилов», постройки 1940 года. Рядом стоявшему однотипному «Молотову» (будущему «Славе»)

и того не досталось совершить. Я говорю только о кораблях, экипажи — сошли на берег и сражались в качестве морской пехоты.

В 1947 году в Кронштадте побывал я на линкоре «Октябрьская революция» — и тоже услышал, что нет у него противника на Балтике и вообще в морях европейских. Корабль был не новый, постройки 1914 года, бывший «Гангут», и готовился ему на смену монстр ещё устрашительней, тем не менее «Октябрина», как её ласково звали, с «Парижанкою» («Парижской коммуной») исправно хаживали на учения. Можно представить себе, сколько обе дамы спалили нефти. Не сказать чтобы наши дредноуты, старые и молодые, не пригодились в войну, они своей артиллерией прикрывали блокированный Ленинград, поддерживали наступление, но в большинстве случаев — стоя на якорях. Великого Трафальгарского сражения с немецким флотом — история как-то не удержала.

А нынче, после мирных соглашений, не стало у нас противника во всём Мировом океане. Какая же теперь будет доктрина? «*Сейчас*,— говорит Бунич,— *я вижу единственную задачу для поделённого Черноморского флота — охранять рыболовные суда России и Украины*...» Не хочется огорчать Бунича, но я и этой задачи не вижу. Ну разве что подерутся россияне с украинцами, так разнимать их. А охранять — от кого? Мы ходили на траулере в Северную Атлантику за две тысячи миль безо всякой охраны, и никто не напал на нас. Правда, норвежские крейсера патрулировали вдоль зоны запрещённого лова, но небольшие, с нашими мастодонтами и мамонтами не сравнишь.

Какое-то время назад в «Литгазете» Григорий Поженян отстаивал право России на Черноморский флот. Я ценю его гражданскую смелость и чувства фронтовика, но спор идёт не по поводу Севастопольской бухты или завода крупнотоннажного судостроения в Николаеве, теперь принадлежащих Украине, и президент Кравчук не о флоте хлопочет, не нужен военный флот Украине, и не под силу ей содержание его и прокормление, а есть думка такая — на металле заработать, по весу, миллионов пятьдесят долларов. Не слишком совру, сказав, что едва ли это цена одного эсминца.

А что же противники наши, с которыми тоже не сошлись у Трафальгара, как они себя чувствуют? Согласно

Буничу, *«положение у них ещё хуже, чем у нас»*. Хуже – навряд ли, но, наверное, они свою безработицу, надвигающуюся на судостроителей, как-то трепетнее ощущают.

«Ходили слухи,– говорит Бунич,– *что наш флот строился благодаря американским взяткам. Американские фирмы давали взятки на строительство наших кораблей, чтобы получить заказы от правительства США на строительство авианосцев для нейтрализации советской угрозы...»*

Думаю, это из области баек, на валютные взятки можно дач понастроить, но едва ли хоть один крейсер. Просто человеческое сознание пытается как-то заземлить, материализовать незримую чудовищную зависимость интересов. Американцы строили, потому что строили мы, а мы – потому что американцы... Когда эта связь распалась, начался для флота его скорбный путь.

Сказывают, нет горше для моряка, чем увидеть винты своего корабля. Не только винты, а и внутренности можно увидеть в доках судоразделочных фирм Европы и Японии. Отсюда, удобно разрезанные, отправляются наши прекрасные корабли в последнюю свою гавань – мартеновскую печь.

А на что другое они бы сгодились? Верно говорит Бунич: *«Нет корабля без задачи»*,– что, впрочем, справедливо и для танка, и для самолёта, и для орудия,– недаром же столько типов их производится. В своё время прожужжали нам уши подводной лодкой «Северянкой», которую, снявши торпедные аппараты, подарили учёным для океанических исследований,– где она, та подлодка, что-то не слышно, а строют специальные субмарины-малютки.

Корабли надводные – тяжеловаты для морских прогулок, и не обратишь их в плавучие гостиницы, слишком тесно в жилых кубриках и боевых постах. Разве что открыть на них спецдома отдыха для сильно ностальгирующего плавсостава. Ну и, конечно, пяток–десяток оставить для киносъёмок. Только о чём фильмы снимать? О великих морских сражениях, которых не было?

Равным же образом и танк, снявши башню, не приспособишь для пахоты – его дизель, разработанный для стремительных атак, топлива сожрёт за четыре трактора. И реактивный «МИГ» ничем другим стать не сможет, как только тренажёром для обучения – летать на реактивных же «МИГах». Усвоим же хоть на будущее: конверсия – это

бред, не перековываются мечи на орала. Созданное воевать — не послужит для мира. Да ещё и разделка в копейку станет, точней сказать — в цент. Боевую машину придётся до винтика разбирать, до последнего транзистора — может, оно дешевле новые изготовить?

Вместе с Буничем проникаясь трагедией многих тысяч людей, высочайших специалистов, остающихся не у дел, без какой-либо другой профессии, часто и без крова, я всё же не могу разделить его печального оптимизма. «*Этот-то флот погиб,*— говорит он,— *но, без сомнения, верный своим вековым традициям, как Феникс, но не из пепла, а из металлолома, возродится в рамках новой задачи... Которой,*— добавляет он,— *пока не видно*».

Так что же, печалиться нам или радоваться, что её не видно? А покуда — деньги, истраченные на оружие, вылетают в трубу, и это буквально так: в выхлопную трубу танка, в реактивное сопло истребителя, в дымовую трубу красавца крейсера, величаво идущего в переплавку. На прощанье можно его украсить традиционным флажным сигналом: «Погибаю, но не сдаюсь!» А можно и другой поднять: «Так проходит земная слава».

Но, право, не хочется иронизировать по поводу столь неожиданной и бесславной гибели нашей великой армады. Ведь мы ради неё страну ограбили, мы наших людей урезывали в хлебе и в жилье, утесняли в самых насущных потребностях, в более или менее сносном существовании, мы в плавающее железо обратили их энергию, их разум и чувства, их единственные жизни.

И только одно остаётся нам в утешение — что всё-таки не сошлись мы с людьми другого материка в самоубийственной грандиозной мясорубке у какого-нибудь Трафальгара.

«Русская мысль», 6 ноября 1992 г.
Радио «Свобода»

СТО ТЫСЯЧ «НЕ»

Казалось бы, с премией Букера всё улеглось. Отрыдали поклонницы Людмилы Петрушевской, отпраздновали и отзавидовали друзья и поклонники Марка Харитонова; первый опыт присуждения иностранной премии русскому автору при участии русских его коллег — завершился. Что к этому прибавить? И стоит ли возвращаться?

Но — посчитала должным Алла Латынина объясниться по радио «Свобода» и в «Литгазете»*, чем руководствовалось возглавляемое ею жюри при выборе победителя, и всё не даёт мне покоя — а может быть, и не только мне — один её не очень стройный пассаж: «Премия — это всё же литературная игра, праздник. Праздник не отменяет будничного течения времени, но меняет местами иерархию предметов». Помилуй бог, когда из-за чьей-то литературной игры меняется иерархия предметов, это серьёзно, к этому не останешься равнодушным и десять лет спустя, не то что полтора месяца.

Наверное, лучше бы награждали сами англичане. За свои деньги можно себе позволить любое удовольствие, можно роман Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» объявить классикой русского постмодернизма и вообще романом века. И мы бы не возражали. Но коль что-то зависело и от нас, то берут сомнения: не испытаем ли мы когда-нибудь в будущем неловкость, какую, верно, ощущает Нобелевский комитет при имени своего первенца, Франсуа Сюлли-Прюдома? Знаете такого? Или — только и помните, что первый нобелиат? Сомнения такого рода — а они есть у многих — верный признак, что жюри всё же не представило нам бесспорного победителя.

Помнится, первым прозаик Борис Хазанов нас уведомил, что Марк Харитонов — человек скромный, а роман

* От 16 декабря 1992 г.

у него — «на подготовленного читателя». Первое приятно было услышать, второе — не сулило больших наслаждений от чтения. Твардовский в таких случаях говаривал: «Это — на читателя волевого. А рассчитывать надо — на безвольного. Чтоб не смог оторваться». От «Сундучка Милашевича» я отрывался, не сказать чтоб сильно перенапрягаясь. Случайно оказался у меня номер «Дружбы народов», прислал Лев Аннинский со своей статьёй, там же была и первая часть «Сундучка»; дочитав до слов «окончание следует», за второй я не стал охотиться. Если жюри меня упрекнёт, как это я берусь судить, прочтя половину, я им скажу, что они наградили — треть. Как выясняется из интервью автора, этому «Сундучку» предшествовали две повести с теми же персонажами, и не исключено, что история Милашевича ещё далеко продолжится. «Интересно было бы,— говорит автор мечтательно,— написать целое собрание его сочинений». Можете себе это представить? В оправдание жюри скажу, что роман этот обладает счастливой особенностью: в любом месте можно в него погрузиться и в любом — выплыть.

Сюжетная его основа состоит в том, что некий Лизавин постепенно, шаг за шагом — как палеонтологи воссоздают по косточкам силуэт звероящера — открывает миру безвестного писателя, Симеона Милашевича. Сам Харитонов явно в него влюблён и с отменной скромностью называет писателем «замечательным». Я позволю себе усомниться. Я думаю, что писатель — заведомо средний, и другим он быть не может — как говорят, по определению. Открыть большого писателя не удастся — по той причине, что он в этом не нуждается. Большой писатель не мог бы укрыться ни в каком уголке России, ни в снегах Гренландии, ни в зарослях Гвианы. И никакая власть не властна сделать его безвестным, если он только заявил о себе. Она может убить его, но не закрыть — ни с помощью врагов его, ни даже друзей.

Тут мне напомнят, что литература занимается не только лицами значительными и что «все мы вышли из “Шинели” Гоголя». Но ведь Акакий Акакиевич Башмачкин — существо-то вовсе не среднее, он — тишайший, нижайший, но, значит, в своём роде выдающийся. Ведь он у всех решительно вызывает интерес! И кто бы ещё смог так привязаться к своей мечте, чтоб вместе с нею умереть! Скажете, есть что-то жалкое и смешное в этой смерти,

которой миллионы людей благополучно избежали бы. Но те же миллионы не сочли бы обязательным умереть из-за того, что не они первыми достигли Южного полюса, а Роберт Скотт умер, узнав, что его опередили, и мы же его не считаем личностью заурядной, а гибель его — жалкой и смешной. Что же касается жизни и творчества среднего писателя... да не беспокойтесь вы о средних, о них всегда найдётся кому побеспокоиться, а нам бы с нашими великими как-нибудь разобраться. В столетие Марины Цветаевой мы не укажем, где её могила, куда положить цветы, а к двухсотлетию Пушкина всё ещё не будем знать, кто были те шалуны, что писали ему гнусные письма, подтолкнувшие к дуэли.

Алла Латынина считает свой выбор «не случайным». К сожалению, это не единственное «НЕ» в её аттестации романа. Он, извольте оценить, *не* антисталинский, *не* антиленинский, *не* антикоммунистический, *не* антисоветский, он вообще *не* политизированный и потому *не* востребованный — ни в брежневские годы, ни в эпоху «перестройки», его автор *не* был диссидентом, *не* входил в конфронтацию с режимом, однако и *не* приспосабливался, *не* пытался найти общий с ним язык, из-за чего «*не* раскрыл свой потенциал», «*не* обеспечен мировой известностью», «оказался *не* у места в литературном истеблишменте» и никому *не* нужным в нынешней «тусовке»*. Сто тысяч «НЕ». Просто какой-то паралич мнения. И что-то мне это подозрительно напоминает: может быть, рекламу старинного средства от облысения: «рощению не препятствует, выпадению не способствует», или анкету моего верного Руслана: «не имел, не состоял, не привлекался...», предмет зависти многих советских граждан, которым в иные годы и хотелось бы так устроиться, чтобы *не* высовываться, *не* возникать, *не* дышать...

Как известно, Алла Николаевна не жалует диссидентов, хотя они сами никогда никого не упрекали в благоразумном помалкивании и бездействии. Мой единственный упрёк: она могла бы быть точнее в терминах и не смешивать диссидентство с политизированием. Правозащитное движение — не политическое, оно не добивается что-либо изменить в системе, оно противостоит произволу. Политику — привносили не в меру горячие головы,

---

* Курсив мой.— *Г. В.*

а ещё провокаторы — отечественные и заграничные, но главное требование правозащитников — «Уважайте собственную конституцию!» — разве было призывом к её изменению? Между тем поощрять аполитичность — это как раз политика, поскольку ставится задача переменить систему ценностей, эту самую «иерархию предметов».

Но что же там, за частоколом «НЕ», в области «ДА»? Видно, не одного меня это занимало, если двое из пяти — к чести жюри — предпочли Петрушевскую. Предпочли пищу мясную вегетарианской, мастерство жёсткой мужественной прозы — трактату о провинциальной философии, которую сам Харитонов называет «женственной основой бытия». Но тут произошло нечто странное. Читаю у Латыниной: «Эллендеа Проффер заявила, что готова пожертвовать своей любимой Петрушевской в пользу Харитонова, лишь бы победитель был один». Приблизительно так это можно прочесть: «Вообще-то я была за Буша, но раз выбирают в президенты одного, то я голосовала за Клинтона». Ещё страннее выразился Битов, он «сказал, что кандидатура Харитонова слишком бесспорна и потому такое решение скучно, и выдвинул идею пары: Петрушевская—Сорокин, в крайнем случае Петрушевская—Харитонов». Так наш победитель был для Битова даже и не вторым кандидатом, а третьим, и то лишь в паре, на половинку премии? Может быть, постигнем смысл в речах Андрея Георгиевича, произведя рокировку: «скучно — и потому бесспорно»?

Ну и остались бы эти двое при своём мнении, сохранили бы достоинство неуступчивых судей, зачем было их склонять к «общему знаменателю»? Ведь их инакомыслие уже бы не помешало Харитонову, когда за него высказались трое: профессора Джон Бейли и Андрей Синявский, ну и сама Латынина, председатель. Но мы же — советские, мы же должны англичанам показать наше «морально-политическое единство», самое ценное, что у нас есть. И потом, без этих двух отщепенцев решение выглядело бы как-то неубедительно. Взгляды британца, Джона Бейли, россиянам решительно неизвестны, Алла Николаевна — та горою за «НЕ», Андрея Донатовича — лета к суровой прозе не клонят, всё больше — к «литературной литературе», исповедует он (противоположно, скажем, Сергею Аверинцеву) первичность книги по отношению к жизни. С другой стороны была Эллендеа Проффер, издательница, праг-

матичный знаток русской словесности, сделавшая для неё — вместе с покойным Карлом Проффером — сколько ни одно другое русское издательство в зарубежье. И был Андрей Битов, прозаик безусловный, к тому же написавший свой «Пушкинский Дом» почти на таком же материале, с героем-литератором. И, как ни жалела сама Латынина бедную Петрушевскую, столь близкую к премии, но взяла себя в руки и вернула отщепенцев на твёрдую землю. Уж больно ответственна была цель: покончить с эпохой «политизированной литературы». Хватит, довольно воздали ей. «И только один тип творческого поведения,— пишет Латынина,— остался *не* вознаграждённым: когда художник занимается своим делом, *не* пытаясь ни вступить в борьбу с режимом, ни найти компромисс с ним».

В чём прелесть награждения «всем сестрам по серьгам»? Можно наградить тушившего пожар — за то, что тушил, но также и того, кто смотрел со стороны — за то, что любовался. Правда, и эта позиция, признался Харитонов, ему показалась дискомфортной: «Но ведь душа была оплёвана. Не оставляло чувство стыда, чувство унижения, бессилия». Но, может, оно легче бы — ведро схватить или там багор?.. А тогда изменится «тип творческого поведения». Выйдет, что *занимался не своим делом.*

Остаётся, правда, одно неудобное обстоятельство: именно то, что премией следовало наградить *русский роман.* Почитывая «Сундучок Милашевича», я не знал, что автор — многолетний переводчик, но явственно ощущалось нечто усреднённо европейское, нечто от позднего Макса Фриша, позднего Бёлля, сюда же Латынина добавляет «прустовское смакование деталей, создающее “зыбкий воздух повествования”, сюжет, развивающийся, как у Гессе, не от события к событию, а от истолкования к истолкованию»,— в общем, нарочито нудноватое, несколько даже старческое, словотечение, когда вяловатая проза то и дело перетекает через размытую границу в эссеистику, в пространные лирические отступления, в «поток сознания».

Но дело даже не в букве стиля, а в духе его. Русский роман — это, конечно же, роман *востребованный*, заведомо необходимый, ожидаемый, зачастую продирающийся сквозь цензурные заграждения, оставляя на них клочья мяса,— то, что называет Латынина, применительно к Маканину, «приспособлением»,— это роман, одухотворённый и верой автора, пусть наивной, что его слово что-то

исправит к лучшему в этом мире, но и со стороны читателя — ответной верой в писателя-пастыря, который научит, что делать, все тяготы вынести, нащупать смысл в хаосе и бессмыслице. Потому-то автор так дорожит своим присутствием в нашей духовной ситуации — и вот я ощущаю присутствие Петрушевской, Горенштейна, Маканина, но, извините, никогда Харитонова. И строится-то русский роман как история простая, внятная, слаженная, бережливая к читательскому времени, а написать о ней можно втрое больше её объёма, как написал, к примеру, Писарев об «Отцах и детях» Тургенева, тогда как Латынина о романе-фаворите произнесла две-три общие фразы, а далее предоставила автору говорить о себе, любимом. И вот он говорит — на снимке в «Литгазете», почти карикатурном,— воздевши руку и запрокинув голову, ни дать ни взять — Пушкин в Лицее читает стихи Державину. А за ним видится счастливое лицо Латыниной, которая усидеть не смогла от радостного волнения: с «политизированной литературой» покончено!

Но — странно. Так старательно хоронили русскую литературу общественного звучания, а теперь отчего-то стыдливо примолкли главные могильщики — Пётр Вайль, Александр Генис, Виктор Ерофеев, Борис Парамонов. Может быть, им всё-таки жаль гонимой социальной прозы или старинного умения занимательно рассказывать поучительные истории. Или они ещё не так постарели, чтобы проникнуться симпатией к тому персонажу Киплинга, насквозь книжному, из одних «НЕ» состоявшему Томлинсону, которого ни Господь на небо *не* взял, ни Дьявол в преисподнюю *не* впустил, а прогнал со словами:

«Живи на Земле и уст *не* смыкай, *не* закрывай очей!»

Похоже, поминки опять *не* состоялись, и с «иерархией предметов» дело срывается — *не* переменилась. И это значит, как говаривал Зощенко и любил повторять Сергей Довлатов: «Литература продолжается!» Я надеюсь, английскую премию за лучший роман о Милашевиче она, литература, как-нибудь пережуёт. Уже столько стегали её кнутами, что она *не* ощутит и сладости пряника.

«Русская мысль», декабрь 1992 г.
Радио «Свобода»

В ВЕКАХ НЕ ПОМЕРКНЕТ

Неделя Сталинграда проходит и в Германии. По телевидению крутят старую кинохронику, репортажи из Волгограда, выпущен масштабный игровой фильм «Сталинград». Похоже, этого слова немцы стесняются меньше, чем мы, победители, для них оно наполнено горечью трагедии, но не позора. Спустя полвека могли бы и мы проникнуться драмой, разыгравшейся на той стороне, в кольце окружения. Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба» рассказал, как немецкий лётчик пролетел сквозь огонь и, смертельно раненный, умер в кабине, посадив самолёт, нагруженный рождественскими подарками и ёлочками, как в блиндажах зажигали свечки — по убитому и по самим себе, ещё живым. Русский писатель снизошёл до жалости к врагу. Но, может быть, мы поднялись бы до уважения, если б узнали, почему 6-я армия Паулюса так долго, весь январь, не сдавалась, хотя уже знала, что обречена и что группа армий «Дон» к ней на помощь не пробьётся.

В мемуарах Манштейна говорится о подвиге окружённых, и тут суховатый стиль фельдмаршала наполняется пафосом, он убеждён, что в веках не померкнет слава 6-й армии. Так велика его благодарность людям, позволившим ему уйти от разгрома и гибели. Советские войска вышли тогда в тыл группировке Манштейна и потрепали изрядно, однако разбить её не хватило сил — их отвлекали, оттягивали на себя окружённые.

В те дни настроение фюрера выразилось в каламбуре: «Моё шестое чувство ведёт мою Шестую армию». И он пожаловал Фридриху Паулюсу фельдмаршала как раз накануне капитуляции. Он так и не понял, какие чувства вели солдат и офицеров Шестой, когда им сказали, что спасение не придёт и они сами должны спасать шедших к ним на помощь. Этот долг фронтового товарищества

они исполнили. Рассказывал Виктор Некрасов, что за всё время Сталинграда он не слышал ни об одном немецком перебежчике. В феврале, по приказу, они сдавались батальонами и полками.

С какими же чувствами смотрят немцы сегодня на длиннейшую, до горизонта, колонну соотечественников, измученных, обмороженных, бредущих в 12-летний плен, откуда вернётся на родину едва ли каждый десятый? Я думаю, они сознают, что иначе быть не могло. И они не хотят перевоевать войну, а лишь понять, с чего всё начинается и как удаётся фашизму поставить себе на службу лучшие свойства человека, в том числе — воинскую доблесть. Извлекая свой урок, бывшие противники показывают и нам, как можно осудить своё прошлое, не оплёвывая его.

Радио «Свобода», январь 1993 г.

«МОЕЙ ПОДПИСИ ТАМ НЕ НАЙДЁТЕ»

Открывать архивы или не открывать?

«Если открыть агентурные досье?..— такой вопрос в минувшем году предложила Наталия Геворкян, корреспондент «Московских новостей», пяти разным людям, которых сочла наиболее компетентными.— Что произошло бы в России, если б архивы КГБ были открыты?»

Насчёт депутатов парламента — может ли им быть агент КГБ, хоть и бывший,— адвокат Борис Золотухин, сам народный депутат, ответил, что нет, не может, но если уж избран, то должен объясниться с избирателями, и пусть они решают, оставить ли ему мандат. Насчёт же открытия архивов он отвечать уклонился, а другие компетенты высказались дружно и опасливо, что лучше бы не надо.

Олег Калугин, генерал КГБ в отставке, советует учитывать, что «на протяжении нашей истории в это дело было втянуто огромное количество граждан». Сергей Замошкин, юрист, считает, что «сфера интересов КГБ распространялась на всех», поэтому и «в архивах теоретически могут оказаться все за малым исключением». Ещё горестней высказался Вадим Бакатин, бывший шеф союзного КГБ: «Все были плохие. Хорошие давно истлели на Соловках или уехали». Если это — об эмигрантах, то, помнится, Кирилл Хенкин среди них насчитал процентов шестьдесят завербованных. Впрочем, Бакатина больше Россия тревожит: «Здесь хороших остались единицы. И я против открытия агентурных дел. Это возможно только в обществе с очень высокой взаимной терпимостью».

Но может быть, мы уже и превратились в такое общество? Почти радостно свидетельствует Замошкин, что «и нет особого интереса ко всей этой истории с тайными агентами». Также не сказать, чтоб Никиту Петрова, эксперта комиссии Верховного Совета по архивам КГБ и КПСС, сильно увлекала его задача: «это длительный и

кропотливый процесс выявления сведений о том, сотрудничал тот или иной человек с органами или нет, и если да, то в какой форме... Что же касается реакции общества, то, я думаю, наши люди выработали такой стойкий иммунитет к сенсациям и разоблачениям, что и это переживут относительно безболезненно». Послушав опрошенных, и сама Наталия Геворкян «склонна считать, что интерес к теме разоблачения агентов в какой-то момент резко упал».

Заметим, однако, что среди противников разоблачений нет диссидентов, узников совести, пострадавших от КГБ, подвергшихся обыску, аресту, заключению или изгнанию. Если у них ещё не пропал интерес к жизни, едва ли он пропал к вопросу: «Какая сука настучала, что я давал читать "Архипелаг"?»

Вот что имеет в виду подавляющее большинство «наших людей», а им предлагают задуматься о горестных судьбах выезжавших за границу. «Будем на этом спекулировать? — гневается Бакатин.— Прикидывать, кто писал отчёты о командировках?» Следом Замошкин приводит пример Казимеры Прунскене: «Она одна из миллионов, кто так или иначе был под колпаком у ГБ. Если её имя там фигурирует, означает ли это, что она предавала друзей?» Нет, не означает, точнее — не обязательно означает, но в этом контексте она и не «одна из миллионов»; миллионы наши были «невыездные» — и тем счастливо избавленные от мук творчества: писать отчёты о контактах с иноземцами. Хорошо бы уточнить, что понимаем мы под «сотрудничеством». Сотрудничает и дворник, убирая снег на Лубянской площади, и все мы согласны, что не обойтись без тех сотрудников, которых нужно внедрить, допустим, в мафию наркобизнеса; эти люди рискуют жизнью, бывает — и гибнут, почему же они — «плохие»? Давайте всё же выделим тех, кто, особенно не рискуя, поспособствовал многим своим согражданам посетить острова ГУЛАГа и кого прозывают в народе так непочтительно, грубо: «стукачи».

Почему-то я думаю, что их-то и держат в уме и Бакатин, предупреждающий, что с открытием архивов «возникла бы цепь личных трагедий», и Калугин, обеспокоенный тем, что процесс «может приобрести уродливые формы, в том числе сведение счётов». Как бережно отноше-

ние к «стукачам», как нежна забота! Но может быть, как ни страшно вымолвить, а пошло бы нам на пользу, если б нашлась тысяча-другая последователей графа Монте-Кристо, со вкусом к сведению счётов; мы бы очистились от скверны стукачества, и было бы закаяно предаваться этому небезвыгодному занятию — также и тем, кто, по мнению Бакатина, искренне верили, что исполняют гражданский долг? Если верили искренне, то, значит, нет и стыда открыться, покаяться? Но что-то не открываются. А ведь как выходили из КПСС! Как хлопали дверьми, каким жестом патрицианским выкладывали членские билеты! Один героического склада мужчина свою красную книжечку даже в пепельнице сжёг перед камерами телевидения. Со стукачами — не то. Ну один там, другой написали о себе в «Литгазету» — и заглох почин, не подхватили.

А ведь сведения счётов и не ожидалось, по крайней мере — в масштабах угрожающих. На то есть у нас исторический опыт. После XX, после XXII съездов поток возвращаемых из лагерей и тюрем исчислялся миллионами, и тогда сказала Анна Ахматова: «Теперь... две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». Анна Андреевна, верно, ждала невиданного взрыва, но и великим поэтам свойственно ошибаться насчёт своего отечества. Весь расклад смешала третья Россия, которая и сидела, и сама сажала, побывавшая и в жертвах и в палачах; она-то и внесла в сознание миллионов амортизирующий, умягчающий мотив: «С кого спрос, братцы, все ж виноваты!» Ещё раз подивимся предусмотрительности батьки Усатого, который то и дело перетасовывал карты и ниспровергал ниспровергателей; благодаря этому мы и сегодня слышим от интеллигентного на вид чекиста: «Все были плохие». Или в другом варианте: «Время было такое».

Сказав так, нужно же это подтвердить — желательно именем широко известным и считавшимся доселе вне подозрений, мы это примем даже поближе к сердцу, в особенности — когда об умершем речь, за кого бывает некому вступиться. Тут самое время ввести новое лицо — покаявшегося гебиста, полковника запаса Карповича Ярослава Васильевича, прозванного сослуживцами «Ярославом Мудрым». В 1989 году в «Огоньке» напечатал он статью «Стыдно молчать», поделился давними своими со-

мнениями, надо ли было преследовать и изгонять неугодных писателей и иных деятелей культуры, попутно рассказал, как он сам по мере сил помогал справляться с жизнью Василию Аксёнову. За ту статью Карпович был коллегами раскритикован, частью уличён во лжи, а нынешний узник «Матросской тишины» Крючков лишил его нагрудного знака «Почётный чекист».

Сейчас, правда, вся нерастраченная нежность Карповича к инакомыслящим достаётся Народно-Трудовому Союзу, он прямо-таки изощряется в комплиментах вождям НТС, не упускает отметить их алмазную идейную твёрдость и неподкупность, выказывая при этом, я бы сказал, сверхнаблюдательность и здоровый юмор. Некоторых он знает лично — вот недавно по радио «Свобода» рассказал об увлекательной детективной игре, в которой то ли Карпович десять лет дурачил НТС, то ли НТС — Карповича, а может статься, они сообща дурачили начальство, а теперь — и нас. Эту чудесную историю я пока оставлю без рассмотрения, а привлеку ещё одну фигуру, более интересную и значительную, именно маршала Жукова. Да, того самого, кто, по слову Бродского, «блеском манёвра о Ганнибале напоминал средь волжских степей».

В том же 1989 году в журнале «Знамя» военный писатель Владимир Карпов напечатал документальную повесть о Жукове и привёл там один прискорбный документ. Не привести нельзя было, коли читателю поклялся всю правду говорить без утайки. Это было письмо наркому Ворошилову, содержавшее донос на маршала Егорова, которого ждала участь Тухачевского, Уборевича, Примакова и других «изменников» и «заговорщиков», донос жалкий и глупый, даже не похоже, что генералом написанный: тот бы наплёл чего ни то про нанесение вреда нашей обороноспособности, здесь же — припоминалось давнее, ещё 1917 года, выступление Егорова, тогда подполковника и правого эсера, против Ленина, такое злостное, что даже какой-то меньшевик выступил против, то бишь Ленина защитил. Не знаю, отличал ли когда «железный маршал» правого эсера от меньшевика, но подписано: член ВКП(б) Жуков. И хранитель письма, Архив Советской Армии, подлинность его подтверждал.

Карпов, приведя это письмо, постарался Жукова оправдать — и тем, что *время было такое,* и что письмо

это уже не повредило бы Егорову, поскольку судьба его была предрешена. «Оправдание» замечательное, но не станем придираться к морали коммунистов, коснёмся — предрешённой судьбы. Маршал Егоров хотя и был отставлен от руководства Генеральным штабом, но ещё не расстрелян и даже не судим, так, может быть, этот донос и понадобился как последний аргумент? Прискорбно, что никто — даже из тех, кто называет Жукова «величайшим из маршалов», спасителем отечества,— сомнений не выразил, и так бы и ушёл он в историю с клеймом стукача, но оказались у него строптивые дочери Эра и Элла, и они сказали, что такого с их отцом быть не могло, они достаточно его знали, и направили злосчастное это письмо в Институт судебных экспертиз — до чего почтенный архив, конечно, не дотюпался,— где без особенного напряжения установили графологи: «подпись Жукова Г. К. выполнена не им самим, а другим лицом».

Обрадованный автор тотчас заверил читателей и родственников маршала в безграничном уважении и любви к Георгию Константиновичу, а редакция «Знамени», очень довольная и очень кстати, привела свидетельство Константина Симонова о том пленуме ЦК КПСС 1957 года, где произошла словесная баталия между Жуковым и приснопамятной группировкой Молотова—Маленкова—Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Некоторым из них Жуков напомнил об их причастности к репрессиям 1937—38 годов, а они, в свой черёд, освежили в его памяти и *какое было время*, и что приходилось кое-какие документы подписывать — жить хотелось, а помирать не так,— и что, наверное, если хорошо порыться, можно и такие найти, где стоит подпись товарища Жукова...

Он им ответил — резко и не без гордости: «Нет, не найдёте. Ройтесь! Моей подписи вы там не найдёте».

Я думаю, что порылись хорошо. И не нашли. Но вот, спустя 18 лет после смерти маршала, явился полковник Карпович и всем нам раскрыл глаза.

В беседах с корреспондентом радио «Свобода» он говорит об агентурных досье то же, что и все: «Я самый-самый резкий противник обнародования каких-либо списков. Да у кого не было отношений с госбезопасностью!»

Между прочим, и я против списков. Обнародование списков и доступ к архивам — не одно и то же. К спискам ещё доказательства нужны, досье — их содержат. Но вот,

оказывается, какие дела: мы можем и не найти там подписи агента. «Усилиями Бобкова, который был человеком широким,— так объясняет Карпович эту замечательную новинку,— разрешено было не во всех случаях отбирать формальную подписку». Ну, скажем, если «Иван Иванович является известным писателем, из соображений, так сказать, оперативной целесообразности, подписка о сотрудничестве не отбиралась». Тут о писателях говорится, поскольку сам Карпович «разрабатывал литераторов», но, наверное, равная честь оказывалась и лирикам, и физикам. Широкий человек Филипп Бобков, глава 5-го, идеологического, управления КГБ, лучше выдумать не мог: его «усилиями» сеть растягивается так эластично, что даже почти не беспокоит щепетильного «Ивана Ивановича». Ну покалякал с оперативником, проявившим интерес к его произведениям, заодно и к тому, что в Союзе писателей делается, ну встретились во второй, в третий раз, ну позвонил он Ярославу Васильевичу — свежей мыслью поделиться,— хоть и трудно себе представить, что за мысль спешит писатель сообщить полковнику КГБ,— и вот уже пишется «агентурная записка», а в ней: «источник Иванов сообщает...» И, как в 1937-м году, как и в 1948-м, всё пишется рукою чекиста. А тут, как со смешком признаётся Карпович, «и приврать можно для красного словца».

Здравая логика уже вопит, что вот бы и открыть архивы, чтобы разобраться, сколько там истины, а сколько приврано. Мы же знаем, в КГБ работают парняги творческие, с огоньком, с воображением, Софоклы и Еврипиды. Но знаем и то, что нет фальшивки, которую нельзя было бы, при желании, разоблачить. К примеру, такое желание я испытываю, услышав рассказ Карповича — о том же маршале Жукове.

В 1957 году рассказчик был в Кремле, на партийном активе — по случаю отставки Жукова с поста министра обороны. Доклад о прегрешениях маршала делал Хрущёв. Замечу Ярославу Васильевичу об его беллетристической ошибке: он трижды напомнил нам, что у Никиты Сергеевича была привычка отрываться от бумажки и говорить что бог на душу положит. Это значит, документов мы не найдём, придётся положиться на память Карповича. Когда он сказал это в третий раз, я и заподозрил неладное. Но что же бог на душу положил Хрущёву? Поведал ему

генерал Желтов, что Жуков его назначил начальником особо секретной школы. Тысячи две молодых людей, быстрых разумом и крепких телесно, должны были там изучать иностранные языки, радиосвязь, подрывное дело и прочие науки диверсантов, которых предполагалось забрасывать в соседние страны перед началом военных действий. Там бы они разрушали дороги, мосты, линии связи, наводили панику, дестабилизировали всю страну или район, назначенный для вторжения. Что же здесь поразило миролюбца Хрущёва? А то, что этот «бонапартист» готовит себе команду янычар, телохранителей, этакую преторианскую гвардию для дворцового переворота. Сказать по-нынешнему, для путча.

Рассказ достигает наших ушей через трёхзвенную цепочку — Желтов—Хрущёв—Карпович, и в любом звене возможно искажение. Но всё же проведём небольшое следствие. Желтов Алексей Сергеевич был начальником Главного Политуправления армии и флота, «ГлавПУРа», как говорят военные. Он генерал-полковник, а должность — маршальская, сменивший его Голиков тут и был произведён в маршалы. За что же такое понижение Желтову — командовать школой, где сгодился бы и полковник? Да ещё и в безвестность уйти, законспирироваться? А Жукову — зачем растить себе янычар из 18-летних юнцов, когда на дворе 1957 год, всего 12-й после Победы, ещё молоды и сильны сотни тысяч обстрелянных фронтовиков — разведчиков, десантников, снайперов, подрывников,— да хоть завтра дивизию формируй, готовую за Жуковым в пекло! И это отлично знает Хрущёв, и знает аудитория.

Обычный советский ритуал, мог бы сказать Карпович, докладчик плетёт околесицу, слушатели — делают вид, что верят. Но и сам же он верит, Карпович, только увидел иное, нежели Хрущёв: «Он не усмотрел здесь совершенно явный империалистический такой душок, который совершенно, так сказать, по-коммунистически Жуков сюда внёс. Это действительно шло на увеличение силы и значительности империи...»

Формально снимали Жукова за недооценку партийных организаций в армии, теперь он оказывается «совершенным коммунистом». А что же преторианский замысел? А вся эта затея с диверсантами? Были они? Каков Жуков бонапартист, он показал трижды: в 1941 году — когда

немцы обложили Москву и правительство сбежало в Куйбышев, в 1953-м — когда опрокидывали Берию, в 1957-м — когда помог Хрущёву сладить с «антипартийной группировкой». Трижды мог взять власть, стать главою государства, но хотел быть только главою армии. За что же снимает его Хрущёв? Ну, во-первых, не может доброе дело остаться без возмездия. И второе: что делать с таким министром обороны, который в правительстве чуть не единственная бесспорная величина и, хоть ты тресни, рядом с ним не выстроишь собственный культ? Только вот легенду об янычарах я бы всё же оставил на совести Карповича.

Маршал Жуков был человеком не самым приятным в обхождении. Знавшие его (к примеру, генерал П. Г. Григоренко) рассказывали о военачальнике жестоком и беспощадном, который нагонял ужас на подчинённых и ни с какими потерями не считался. Манёвром и впрямь нет-нет да поблескивал, но чаще бывало — числом воевал, нежели уменьем. Об этом не умолчим. Но Жуков-террорист, Жуков, разрабатывающий программу диверсий против сопредельной мирной державы... не вяжется как-то. И для чего понадобилось тревожить его прах Карповичу? Известно, что маршал сильно не жаловал армейских политработников и чекистов, они ему платили законной ненавистью — может быть, это её отголосок, запоздалая месть?

Так недоумевал я, покуда не прислали мне из Москвы — желая, верно, повеселить — пачку газет национал-патриотического направления. Это упоительное чтение. И чувствуется, как в мечтах о сильной руке, способной расшвырять всех этих «дерьмократов» и «оккупантов», взоры обращаются к властному облику «железного маршала». Да не могли не вспомнить о нём после фиаско язовских танков! Только кто бы мог хоть рядом с ним стать? Уже как-то потускнел, в тени Стерлигова, бравый Макашов. Ну а сам Стерлигов? Всем бы хорош — и статью вышел, и взгляд у него твёрдый, и слог императивный, одно худо — генеральство своё выслужил в КГБ. «Ну и что же, что КГБ, нашли страшные буквы — КГБ»,— возмущается Нина Карташова, корреспондент «Русского Востока». И рассказывает так трогательно, что вот и она сама попала под колпак, перепечатывая книгу Нилуса «Протоколы сионских мудрецов». «И моя цветущая молодость,— пишет она,— едва распустившись, могла увя-

нуть где-нибудь за решёткой в темнице сырой», но «спасли меня именно эти самые, ужасные КГБ-шники».

Милая Нина Карташова! Глядя на Ваш групповой портрет с генералом Макашовым, я всячески желаю Вашей цветущей молодости распуститься ещё пышнее, но из-за Нилуса и сионских мудрецов это Вы зря напугались, это для гебистов не криминал; вот если б Вы Шаламова перепечатывали, «Колымские рассказы», а ещё вернее — «Хронику текущих событий», тут бы они Вас беспременно под локотки проводили в темницу сырую.

Но, правда, не Стерлигов. Он инакомыслящими не занимался. Он свои усилия за рубеж направлял, против мирового империализма. Тоже ему очков не прибавляет, по нынешним понятиям. Но тут-то и пригождается полковник Карпович, «Ярослав Мудрый»,— заставляя прославленного полководца заниматься, в сущности, тем же, что и Стерлигов. Он, правда, Жукова корит за «империалистический такой душок», но знает хорошо, в какую аудиторию роняет свой рассказ. Здесь не сочтут грехом всё то, что идёт «на увеличение силы и значительности империи», и особо оценят, что маршал, имея иконостас наград, среди них две «Победы», не гнушался и тёмных дел, поскольку билось в нём сердце патриота. Вот так-то наша история и оказывается, по известному изречению М. Покровского, «политикой, опрокинутой в прошлое».

Поздравим же пенсионера Карповича с возвращением в строй и походатайствуем, чтоб вернули ему «Почётного чекиста». Но пусть всё же представит хоть какую бумажку, которой не могло не быть, если в самом деле замышлялся диверсионный питомник и сам Жуков занимался им. А то ведь всё выглядит преднамеренным поклёпом.

Так открывать архивы или не открывать? Этот гамлетический вопрос, стараниями Карповича, ещё затруднился, но и отчасти стал яснее. Открывать — зачем? Затем, что «страна должна знать своих стукачей»? Чушь какая, мы их и так знаем. За кем ведётся охота, в конце концов научается их распознавать. Есть у них устойчивые признаки, о которых я не говорю за недостатком места, но сводящиеся к тому, что они не Андреи Платоновы и не Иннокентии Смоктуновские. Они плохие сочинители и плохие актёры и очень скоро себя выдадут, нужно лишь внимательно смотреть и слушать.

Да вся беда не в том, что наводнили страну стукачами, а что посеяли всеобщее и разобщающее нас подозрение. Их, может быть, один на десять, а мы-то думаем на каждого пятого, на кого налгали — и лгать продолжают — сами же гебисты. Лгут же они не из одной привычки лгать, но потому что блатная «куча мала» или бакатинское «все были плохие» — чрезвычайно удобная завеса для сокрытия истины, та мутная водица, в которой безопаснее и бесхлопотнее плавать пескарям. Бог с ними, для нас другое важнее: страна должна знать своих НЕ-стукачей. Должна быть любому Ивану Ивановичу, будь он дворник или маршал, дана возможность рассеять нависшее подозрение и потребовать к ответу клеветника, а тот бы не мог отговориться закрытостью хранилища доносов. Правда, говорит Карпович, что многого мы там не найдём, но я не склонен верить ему. Мы найдём достаточно, чтобы обелить человека, живого или покойного, кого подозревали напрасно. И тогда действительно угаснет в обществе интерес к разоблачениям, об угасании которого мы не устаём твердить.

«Русская мысль», 29 января 1993 г.
Радио «Свобода»

ЕШЬТЕ ИКРУ ЛОЖКАМИ

Что сегодняшнюю Россию всяк видит по-своему, это мы догадывались. Допускали, что взгляд эмигранта — на происходящее, скажем, в Москве — и не может не отличаться значительно от взгляда безвыездного москвича. Но всё более кажется, они видят две разные реальности, меж собою не пересекающиеся, как Евклидовы параллели.

Русский еженедельник «Панорама», Лос-Анджелес, проделал недавно любопытный, но и коварный опыт: поместил беседу с Александром Глезером, только что вернувшимся из России, под названием «Русская культура не погибнет», и рядом — статью москвички Татьяны Успенской «Россия — громадная паперть». Александр Глезер, хорошо мне знакомый, худенький человек энергии неукротимой, многогранен и вездесущ. Он редактирует альманах «Стрелец» и выпускает книги в своём издательстве «Третья волна» совместно с издательствами московскими, он президентствует в Московском центре современной русской культуры и хлопочет о создании музея нового искусства, он устраивает вернисажи и фестивали, а в оставшееся время, которого у него никак остаться не может, он пишет статьи, берёт и даёт интервью, выступает по радио «Свобода». У меня стойкое впечатление, что он пребывает одновременно в нескольких местах: в Москве, в Париже, в Тбилиси, в Мюнхене, в Нижнем Новгороде. Всего интереснее ему — в России: «да, печального и тяжелого в России сейчас много, но тем не менее жизнь здесь захватывающе интересна. Особенно жизнь духовная: концерты, выставки, литературные дискуссии...»

Поверить ли после этого Татьяне Успенской, что «Москва сегодня — это большая толкучка», где «напоказ выставлена прожитая жизнь», отдают за бесценок всё, с чем связано прошлое, а на лицах сограждан — «смертная тоска и безысходность»? Пишет она, что не знает, «в ка-

ком масштабе развернётся полотно нашей трагедии, но уже в своих квартирах гибнут интеллигенты — от голода, медленной смертью, или кончают жизнь самоубийством, или идут на паперть — просить милостыню».

А как же концерты, выставки, дискуссии? Но, чёрт побери, заключает же Глезер свои бесчисленные контракты! Впрочем, можно ли равнять его, фонтанирующего идеями, в средствах не стеснённого, не озабоченного проблемами передвижения, пропитания, проживания в гостиницах, можно ли его шампанское мироощущение сравнивать с настроением Татьяны Успенской, потерявшей мужа в войну, а с помощью медиков — и взрослого сына, уже не помнящей, когда ела фрукты, ощущающей постоянный голод и чьё основное времяпровождение — на лавочке у подъезда?

Глезеру, к примеру, не интересно «говорить о преступности в Москве, здесь преступников не больше, чем в любом западном городе, скажем, в Нью-Йорке». Успенскую, напротив, преступность интересует чрезвычайно, поскольку обокрали её — унесли шубу, сапоги, фамильные драгоценности и «деньги в чулке — на чёрный день». Сберкассам она не доверяла — и вот к зиме у неё только пенсия 800 рублей. Милиция даже не берётся искать, у них в день по нескольку сотен заявлений. Один — молоденький — не выдержал её слёз и признался: «Поймите, мы сами боимся, они нас первыми убивают, форму снимают — и в нашей форме ходят по квартирам. Статистика гибели милиционеров — страшная». Не знаю, как сейчас в Нью-Йорке, а немецкие полицейские не выглядят трясущимися от страха.

В одном всё же сходятся Успенская и Глезер — что интеллигенции приходится выбирать между пищей духовной и телесной. У Глезера — больше на духовную налегают, покупают дорогие монографии по искусству, изданные «Третьей волной», отказываясь, как он посчитал, от двух кило мяса. Интеллигенты Успенской — «кто жаждал бы купить настоящие книги, купить их не может, он нищ, ему на еду не хватает...». Но что ещё трагичнее — отвергается даже доступное бедняку. Помнится, голодный Мартин Иден позволял себе роскошь брать книги в библиотеке. Но вот свидетельствует Успенская, там проработавшая почти 40 лет: «Раньше у нас были читатели, а

теперь книги никто не берёт, они пылятся, и наша жизнь никому не нужна».

Оба не рассчитывают на государство, что оно справится с засильем бульварщины, порнобеллетра. Но мажорному Глезеру не кажется, что это конец, он предлагает вспомнить «знаменитых дореволюционных купцов-меценатов. Удивительно, но они начинают появляться и в нынешней России». Называются имена. У меценатов Глезера открытые приятные лица, «без этих бегающих глаз торговцев воздухом». Успенская — видит именно «торговцев воздухом» и хотела бы понять, «откуда он взялся, новейший российский бизнесмен?.. Каким путём добыл он свои деньги? В лотерею выиграл? Ограбил кого-то?.. Кто — сегодняшние хозяева и как они стали хозяевами?».

И только потому, что больше надеяться не на что, она не призывает на их головы громы и молнии правосудия, но к этим «хозяевам» обращает свой последний вопрос: «Можно ли спасти погибающих людей, спасти душу России и саму Россию?.. Как разбудить душу бизнесменов?» В то, что это возможно, ей, похоже, не очень верится.

Но, может быть, не всё так мрачно, господа? Просто нужно ввести поправку — на возраст, одиночество, болезни? Однако ж, диагнозы и прогнозы оптимистов тоже чем-то объясняются — личным успехом, довольством, сытостью. А возможен ли взгляд поверх своей миски, сколько б там ни лежало мяса? Как ни удивительно, возможен, и удивила нас недавно газета «Русская мысль» — очерком писательницы Ирины Муравьёвой «Ты гуляй, гуляй, купец!». Это — из песни, сочинённой актёрами театра «Современник» для капустника по случаю открытия клуба московских бизнесменов. Ирина Муравьёва тоже наезжает в Россию — и тоже не туристкой, а в составе американской киногруппы, снимающей документальный фильм; она и автор сценария, и актриса-модератор. Это значит, и у неё нет бытовых проблем, её возят и кормят, оплачивают гостиницы, но она, помимо того, что ещё молода и хороша собою, обладает сильным писательским воображением, а это свойство необходимо не столько чтоб складывать затейливые сюжеты, но чтобы переживать чужой жизненный опыт как свой собственный — почувствовать чью-то боль, разделить унижение ближнего. Поэтому я могу сказать о ней, что ездит она, как Глезер, а видит и чувствует — как Успенская.

Возвратясь из Москвы, она мне писала, как неловко себя там чувствует: «...чужая, иностранка, и могу сесть в такси без очереди, потому что есть 3 доллара. Это мне всякий раз как ожог». Я верю ей, сам побывавши в Ленинграде: мучительно в родную страну приезжать гостем. Ещё она писала, что ей «московская жизнь показалась каким-то перепаханным пространством, землёй, в которой всё вывернуто наружу: камни, корни, черви». Писала и о множестве маленьких костров, у которых греются дети и старики: «...жизнь вынесена на улицы гораздо больше, чем прежде. Кажется, что с самой жизни, как с дома, сорвана крыша».

Одной из первых Ирина Муравьёва разглядела и мурло нынешнего российского бизнеса, очень точным и насмешливо образным описанием выразила его липовую суть и даже предрекла закат фирме «Алиса», названной так по кличке любимой суки 26-летнего миллионера, которым тогда восхищались. Посмотрим же глазами этого автора на праздник единения бизнеса и культуры. Он начинается с двух швейцаров в добротных ливреях, с вестибюля, «залитого медовым светом», и натюрморта, который выглядит ещё одной проделкой Воланда: «Накрытые столы в большой комнате... ломились от еды. Чёрная икра была выложена прямо на тарелки, и первый раз в жизни я увидела материализованную метафору — икру ели ложками. Из ананасов... варварски вырезали нутро и вставили в освобождённую кожуру красные фонарики... полуторатысячные плоды... горели между тарелками с икрой, лососиной, севрюгой. Большие, целиком запечённые рыбы лежали на овальных подносах, и было как-то даже неловко разрушить такое искусство...»

Подобные описания соблазнительны для пера и, может быть, избыточны, но не забудем о контрасте, не упускаемом ни на миг автором: перед нами «что угодно, только не реальная московская жизнь одна тысяча девятьсот девяносто второго года, на задворках которой маленькие Гавроши греются возле уличных костров». И, как ни покажется утрированным, но записан на плёнку косноязычный спич председателя, представляющего гостям «этот гостеприимный дом, где дадут хорошо покушать и чего-то вкусного закусить и выпить, и мы в своей среде сможем все расслабиться и попеть и хорошо поплясать с нашими прекрасными дамами». И конкретны имена этих

дам, среди которых какая же фантазия могла бы поместить таких звёзд, как Марина Неёлова и Лия Ахеджакова, да в сопровождении Валентина Гафта! Называя их, известных миллионам, автор меньше всего хочет устыдить их, совсем напротив, горестное перо — на их стороне, стремится защитить их, оберечь их облик от какого б то ни было искажения:

«В вошедшей стайке "Современника" было сочетание актёрской свободы с глубоко запрятанным презрением неимущей элиты к денежным мешкам с косноязычной речью, с отпечатками долларов на потных ладонях.

В дымном чаду перед моими слезящимися глазами... проходила раздробленная по позвоночнику Москва, новый вариант "Талантов и поклонников", Раневской и Лопатина, артистичность, брезгливость и бедность, сквозь горловой ком поющие, сахарно улыбающиеся тем, от кого зависит судьба твоей пьесы, задуманного фильма, поездка в Италию... А куда деваться? А как жить?»

А поди, ещё и не просто пробиться в заросшие складками уши этих джентльменов, если приходится Лии Ахеджаковой напрямую объяснять им, зачем она и её друзья здесь. Кто видел её в фильме «Гараж», живо себе представит, как она выкрикивает в микрофон свой отчаянный монолог:

«Дорогие, милые, хорошие бизнесмены! Вы наша надежда, вы наша гордость!.. Посмотрите на нас! Мы умные, мы талантливые, мы добрые, очень красивые!.. Нам так хочется работать, мы столько можем!.. У нас есть блестящие сценарии, замечательные идеи!.. Слушайте, надо же держаться вместе! Отчего вы не хотите нам помочь?»

А с чего мы взяли, что они *нам* хотят помочь? Кто нам внушил, что они только и мечтают — всех сделать богатыми? Да как же бы они себя называли «мы, люди», если б не было поблизости, для чудесного контраста, тех, не наживших миллиона, кого они в своём кругу называют с брезгливым удовольствием: «ни-щи-е»!

Один — не то чтобы видный, но шумный — деятель эмиграции, в своё время справедливо рассудивший, что бороться с советским тоталитаризмом удобнее из Парижа, и этой борьбой составивший себе неплохой капитал, сегодня учит Россию, что спасение — в работе; одним митингованием лучшей жизни не добьёшься. Но разве актёры «Современника», дающие капустник в клубе мос-

ковских бизнесменов,— не работают? Не трудится, что ли, Валентин Гафт, с видом страдания раздающий женщинам бананы — в качестве призов? Мы его знали, помимо сцены, как автора блестящих эпиграмм; вероятно, и в эту роль он не меньше души вкладывает. Каждая по-своему, развлекают публику и Марина Неёлова, и Лия Ахеджакова, и та, «писаная красотка в короткой, почти незаметной юбочке», с чёрной пиратской повязкой на лбу. Развлекать — очень нелегко, на Западе индустрия развлечений — одна из самых дорогостоящих. В Германии можно в ресторане поужинать с кинозвездой — расценки объявляются в прессе: несравненная Ирис Бербен рассеет вашу скуку за 15 тысяч марок. А если такого рода труд московских актёров кажется нам с непривычки унижающим достоинство артиста, так ведь они за искусство сражаются, за свой театр, за возможность в нём работать.

А бизнесмены — что же, только развлекаются? «Деловая Москва,— говорит Ирина Муравьёва,— не любит терять время даром». Вот реплика из одного угла: «Я тебе всю документацию представлю завтра же!» Вот — из другого: «А я говорю, что нам подвальное помещение не годится! Плевал я, что это в Амстердаме! Я в Амстердаме скоро дом куплю! И все дела!» Но это, впрочем, побочное. О сути — лишь намекает в своём косноязычном спиче председатель: «...наши гости и те актёры, музыканты и танцоры, которых мы будем приглашать сюда, смогут тоже получать от нас удовольствие, как и мы от них!»

С жёсткостью и зоркостью, каких я, увы, не дождался от коллег-шестидесятников, свидетельствует Ирина Муравьёва: здесь не праздник единения, здесь, при красном свете греха, битва идёт, совершаются торги — и похоже, не на равных. Экономическая свобода оборачивается экономическим принуждением. Всех выгод, какие извлечёт бизнес от сближения с миром кулис, как говаривали в старину, мы предвидеть не можем: сперва, должно быть, и правда — «расслабиться» и «получить удовольствие», а далее — подчинить себе жизнь во всех её проявлениях, духовную жизнь — вне сомнения. И, как водится, сделка сопровождается приветствиями и угощением. Гости спели «Ты гуляй, гуляй, купец!», хозяева — радушно пригласили: ешьте икру ложками.

Эта «материализованная метафора» уже однажды, в 30-е годы, потешила мир: ели икру ложками, черпая из

общей миски, русские офицеры в американском фильме «Анна Каренина», с Гретой Гарбо. Но, разумеется, «Божественная» не в ответе, что режиссёр так себе представлял россиян. Откушав и упившись, господа офицеры дружно, вслед за Вронским, лезли под стол. Русские эмигранты, русская аристократия сочли себя оскорблёнными. Где другим было только смешно, им неспроста послышались слово «жрать» и слово «скоты». Но те-то офицеры были по крайней мере детьми изобильной страны, что и демонстрировали; несколько иначе эта «метафора» прочитывается в согревающейся у костров, оголодавшей Москве. Здесь выдачей спецпайка повязывают и покупают. А если отчего и смешно, так оттого, что вас покупают за ваши же деньги.

Наши герои первоначального накопления, по всем приметам, не землепроходцы Редьярда Киплинга или Джека Лондона и не те поджарые джентльмены, которые, учась в колледжах, начинали собственное дело с мытья посуды в ресторанах. И это ведь только говорится: «деньги из воздуха». В стране, где уровень производства только падает, наживаются — на нищете. Как энергия не возникает из ничего и никуда не девается, а лишь переходит из одного состояния в другое, так и капитал перетекает, покидая одни карманы и скапливаясь в других. Уже, наверное, нет смысла допытываться, кто и как сделал свой миллион,— ну если не убил никого, не ограбил вдову или сирот, а только скупал и перепродавал, бог ему судья. Но что никогда не поздно — принять устоявшееся на Западе представление о богатстве, о частной, производящей собственности, что она не безраздельно принадлежит владельцу, но является достоянием всего общества, доверившего ему распоряжаться этим богатством — в рамках закона, разумно, рачительно. Всё общество и содержит культуру, подталкивая собственника к благотворительности и рычагом налоговой политики, и всей атмосферой публичного мнения. Можно ведь и так поставить дело, что не артисту придётся просить, а господин миллионер попросит артиста принять его дар.

Ещё одно шевеление мысли — и усвоим, что этим даром не может распоряжаться даритель. Меценат Боровой состоит в редколлегии «Литературных новостей» — что ему там делать? Савва Морозов давал Ленину деньги на «Искру» — был грех,— но в редакторах её не числился.

Меценатствовал, но не имел голоса в художественном совете МХТ. Глезер приводит пример Дмитрия Стреляева, президента московской фирмы «Дар», который «каждый свободный час посвящает чтению любимых поэтов — Мандельштама и Бродского». Как мы догадались, на их издание он и предпочтёт жертвовать. Данный случай хорошего вкуса не даёт ощутить зыбкость самого принципа. В деловом мире разграничивают деньги личные и капитал фирмы; личные — можно просадить в рулетку, истратить на любовниц и прочие безумства, но если отчисляется доля прибыли с оборота, которую государство освобождает от налога — и значит, тоже участвует в пожертвовании,— то справедливо вспомнить и о других поэтах, достойных издания и перечитывания в свободные часы.

Но если ещё поэт найдёт спонсора, то кинематограф не станет на ноги без мильярдных вливаний, а театры себя спокон веку не окупали. То-то приходилось актёрам не только на стороне выступать с эпиграммами и капустниками, но и самим репертуар пополнять. Одному такому трудяге, совладельцу театра, заплатили за его пьесу — сохранилась расписка — семь фунтов стерлингов. Пьеса называлась «Гамлет, принц Датский». Кто же знал, что её будут ставить не только в следующем сезоне, но ещё 400 лет! Скажут, то были другие фунты,— ну помножим на тысячу, всё равно выйдет меньше премии Букера. Естественно было рассчитывать больше на меценатов да на королевские щедроты, которые мы бы назвали «госдотацией». Дело было настолько привычное, этикетное — как охота на кабанов и оленей,— что история не сохранила имени монарха, даже среди злодеев и тиранов, кто бы уклонился от долга поощрять искусства. К сожалению, не сохранилось также имя того мерзавца, который первым сформулировал: кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

Этот принцип не стеснялись провозглашать — ну разве что в других выражениях — и коммунистические вожди. При этом упускалось одно важное словечко: *свои* деньги. Та идеологическая музыка, что, по мнению вождей, ласкала уши народонаселению, самими же слушателями и оплачивалась. Что ж, пусть оно так и останется. Нынче, с падением идеологии, когда позволено музыку выбирать, платой за неё едва ли следует обременять одних

меценатов, это должно быть делом всех и каждого поголовно. Вероятно, культурный фонд будет строиться на началах общественных, но под финансовым присмотром государства, с его принудительным налогообложением; важно только, чтоб каждый себя чувствовал его равноправным хозяином, внёс ли он туда мятую десятку или хрустящий миллион.

Как ни странно, слышны протестующие голоса (даже из Англии!), что это несправедливо: есть люди, которые благами культуры не пользуются, почему им платить за чужие прихоти? Я думаю, таких людей уже нет в природе, ибо культура – неделима. Если вы книг не читаете и не ходите на вернисажи, то всё же на вас что-то надето, и вы орудуете ножом и вилкой и передвигаетесь на колёсах, а то и на крыльях,– ко всем этим предметам имела касательство длиннейшая цепь всякого рода гениев, не исключая и тех, кто использовал зубило для наскальной живописи. Сказано было Альбертом Эйнштейном, что для теории относительности даже больше дал ему Достоевский, нежели математик Гаусс. Этой неделимости культуры никогда не понимали советские вожди; они ценили элиту научную и техническую, не считая «утечкой мозгов» выталкивание за границу гуманитариев, и, того не ведая, понижали общий творческий уровень в стране, как вдруг оказалось – для них именно вдруг! – что наши танки, былая гордость наша, хуже «леопардов» бундесвера, наши самолёты не выдерживают боя с «миражами» и «фантомами», наши подлодки выдают себя шумом, от которого давно избавились американские.

Этим генеральским аргументом, действующим и на другие умы, считающие себя государственными, я бы посоветовал запастись министру культуры Сидорову, идя на приём к Ельцину или к Черномырдину выбивать деньги на театры и музеи. Я всячески сочувствую Евгению Юрьевичу, давнему моему знакомому,– пост у него провальный, ведь у нас на культуру бросают людей, как на сельское хозяйство, где только осрамиться можно, а преуспеть – никогда. Было бы поэтому не лишним всем нам обратиться к тем, от кого всё-таки что-то зависит и к кому протянута его просящая рука.

Вам, господа, надлежит усвоить, что Марина Неёлова, Лия Ахеджакова и Валентин Гафт – это национальное достояние, а вас, дорогие, затем и выбрали, чтоб вы до-

стояние государства берегли и преумножали. Далее, вам должно быть известно понятие карточного долга — когда не могут его заплатить, принято стреляться, но не оправдываться пустотой в кармане. Вы сели играть, господа, вы знали, на что шли. Так же и с государственной казною — негоже оправдываться, да и не совсем же она пуста, если хватает денег на квартиры депутатов парламента, на бензин и покрышки для их машин (и сами машины), на охрану их высокоценных тел. Должны найтись деньги и на то, без чего мы просто не сможем существовать как общество цивилизованное.

Когда же дойдёт до их распределения, будет ещё одна просьба к вам, дорогие. Пожалуйста, воздержитесь заказывать музыку. Музыканты лучше вас знают, что им играть. Пусть они играют, что хотят.

«Московские новости», 14 февраля 1993 г.
Радио «Свобода»

ПО КОМ НЕ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

А в самом ли деле все мы вышли из «Шинели» Гоголя? Если на то пошло, так даже годом раньше явилась в русской литературе другая шинель, и тоже знаменитая — шинель Грушницкого. Та самая, толстая, под которой угадывалось сердце страстное и благородное и всех выгод которой её обладатель недооценивал, спеша к офицерским эполетам. «Помилуй! — возражал ему Печорин.— Да этак ты гораздо интереснее... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем».

В наш век эмансипации, когда чувствительные барышни сами пожелали быть героинями и страдалицами, они с большой охотою переняли это неизъяснимо притягательное одеяние. У Михаила Светлова девушка наша проходила в шинели горящей Каховкой — и так это нравилось ей, что она улыбалась сквозь дым сразу двоим обожателям. Девушку в шинели не по росту воспел Вертинский, на своей щиколотке показывая рукою, до каких пор она ей приходилась. Учтя поветрие, великий наш российский модельер Слава Зайцев сконструировал и поставил на поток новинку, уже исключительно дамскую — «шинель революционного покроя». Стало слегка надоедать — и чуткий Высоцкий возмечтал о времени, «когда наши девушки сменят шинели на платьица». Девушки постепенно сменили. Юноши — призадержались, и часто в возрасте много старше призывного.

В начале 80-х годов один такой юноша, Александр Проханов, к штыку приравнявший перо, поспешил в Афганщину, на свидание с войною, как не спешат к возлюбленной, и обо всём, что увидел там, а вернее, что позволила ему увидеть смотровая щель бронетранспортёра, поведал нам чуть не гекзаметром. К общему удивлению и, признаем всё же, к чести наших писателей, он

оказался едва ли не единственным, кто пожелал стать советским Киплингом; остальные хоть промолчали дружно, не имея духу проклясть ту войну, с которой и пошёл весь развал в нашем отечестве.

И кто б подумал, что в те же годы созревал другой юноша, возжаждавший прохановских лавров! В декабре 1987 года занесло меня в Вену, где проходила устроенная Фондом Поля Гетти эмигрантская конференция на тему «Писатель в изгнании». Полсотни писателей из разных стран убеждали там друг друга, а более самих себя, как замечательно они адаптировались в чужеземных культурах. Русские, как водится, держались особняком. А всех особеннее выглядели двое в шинелях — Юрий Милославский и Эдуард Лимонов. Шинели, впрочем, были разного свойства и назначения. У Милославского — сизо-голубая, итальянская, купленная, верно, по случаю у бывшего солдата или его родственников,— может быть, и по бедности, которая, как известно, не порок. На его плотной фигуре она сидела балахоном — одежда, и ничего больше. Зато у Лимонова была — со значением, с литерами «СА» на погонах, образцово советско-армейская. Для солдатской, правда, ей недоставало двух обязательных примет: горба на спине и бахромы на полах. Пошита она была как в лучших офицерских ателье, но именно поэтому — да ещё в сочетании с дорогими очками и цивильными брючинами — выглядела маскарадом штафирки, мучимого воинственными комплексами. Впрочем, на улицах Вены воспринимали её как обычную причуду; как раз тогда входило в моду носить фрагменты из советской униформы.

Знакомясь, я высказал Лимонову несколько тёплых слов о его рассказах; они мне и вправду нравились. Он выслушал недоверчиво и недовольно. Возможно, моя похвала была излишне лаконична и суха, а он, как многие мои коллеги, рассчитывал на более пылкое изъявление восторга. Так или иначе, Эдуард Вениаминыч все дни на меня дулись, а при случае, оказавшись на банкете за одним столиком, строго мне попеняли — за попытку сотрудничать с партией. Ещё свежа была история с «Гранями», со скандальным моим увольнением, он это и имел в виду. «Писатель и партия,— было сказано мне (и запито двумя глотками белого вина),— это несовместимо». Это я и сам всю жизнь проповедую, и он знал, что с «парти-

ей», то бишь с НТС, я разругался вдрызг, но слова были благородные и чрезвычайно Лимонова украшали. Мне в самом деле импонировала эта его позиция — неприсоединения ни к каким партиям, мафиям, шайкам и бандочкам, неучастия в разного рода «клубах», «движениях» и «согласиях». Но вот — не сильно много воды утекло, а принципиально внепартийный Лимонов примкнул к партии Жириновского и даже получил в его будущем правительстве портфель «силового» министра: то ли военного, то ли безопасности. А погодя и сам основал партиюшку — «национал-радикальную». Это можно понять как правее правых. «Национал» — известно откуда взято, а «радикалы» в нынешней Германии понимаются — даже без эпитета «правые» — как синоним слова оскорбительного и подсудного: «фашисты». Какая программа у партии Лимонова, не знаю; вполне возможно, что левее коммунистической, да не по словам судить о человеке надо, а по делам его, дела же Лимонова — истинно радикальные, крайнего свойства. Не знаю, жива ли ещё та шинель, пошитая для Вены, но вижу изящную его фигурку, опоясанную ремнём с портупеей и оттягивающим её пистолетом. Лимонов — воюет. Он воюет в Приднестровье, в Абхазии, в Югославии, повсюду, куда бы ни обращалось внимание мира, и повествует об этом в пространных репортажах, охотно подхватываемых изданиями эмигрантскими и отечественными. И так как человек он не лживый, даже на редкость откровенный, легко составляется впечатление, сколь серьёзна его война. Или — его борьба. Sein Kampf.

Всегда изумляет меня, как это наши национал-патриоты ухитряются мигом определить, чью сторону им принять, когда существо распри не очень внятно самим воюющим и по-своему правы обе стороны. А если сторон даже не две, а три, как в Югославии,— сербы, хорваты и мусульмане? Кто мне разъяснит толком, почему русскому человеку стоять за Сербию?

Прислушаемся к мнению компетентному: «Если брать наш курс... он в том, чтобы, во-первых, восстановить и укрепить исторические связи со всеми славянскими народами. А во-вторых, помирить их. А они все там славяне. Мне кажется, для наших национал-патриотов это незнакомый факт. Они почему-то считают, что славянский фактор — это только сербы... Но то, что хорваты — это те

же славяне, а то, что мусульмане — это те же сербы, только всего-навсего мусульманского исповедания, это, я думаю, тайна, покрытая мраком».

Так говорит министр иностранных дел — источник, откуда мы не привыкли черпать большие откровения. Благословим же время и перемены, благодаря которым министр Козырев считает должным разъяснить нам *наш курс.* Андрей Громыко, по которому, надо полагать, ностальгирует советская душа Лимонова, тут бы не разлепил рта. В лучшем случае рявкнул бы: «Сербы — наши братья». И точка. Как ни прискорбно, но не большего мы дождёмся от писателя, когда он утверждает, что правительство России должно быть «просербским».

Быть ни «про», ни «контра» в чужой войне ему невмоготу. Но можно быть другом сербов и всё-таки видеть трагедию всеобщую, всё-таки понимать, что колокол по всем звонит, даже и по тем, кто лишь наблюдает за схваткой. Эта мудрость, что надоумила генералиссимуса Франко спустя четверть века поставить общий памятник всем мертвецам Испанской войны, недоступна простому советскому Хемингуэю. Для него неприемлема и та норма, согласно которой третья сила теперь должна свои каски покрасить в голубой цвет, а всю технику — в белый; отказ от маскировки означает и просьбу не стрелять, и обещание самим не применять оружия иначе как для защиты и чтобы разнять дерущихся. В данном случае — для маломальского примирения сторон, но не для силового их удержания в распавшейся державе или империи.

«Нелепая парижская мораль»,— так Лимонов отвечает французскому журналисту, обвинившему его в нарушении журналистского кодекса. Оба не скрывают презрения друг к другу, но Лимонов ещё почему-то нервничает, грозится дать французу по физиономии, ежели не заткнётся. Никак не желая зла соотечественнику, всё же думаю, он переменит свой взгляд на «парижскую мораль», когда попадёт в плен к хорватам и пишущим собратьям (французу в том числе) придется его выручать. Где-нибудь на обменном пункте ему объяснят, что есть категории людей — врачи, священники, журналисты, кино- и телеоператоры,— которым не обязательно мозолить правую ягодицу тяжёлым пистолетом.

Ну, а пока воюет Эдуард Вениаминович — и всерьёз. В тылу не засиживается, просится на передовую — пооб-

щаться с бойцами. Это понятно. Непонятно — зачем ходить по переднему краю в полный рост; тем более непонятно, что рядом — со стороны противника — вышагивает полковник, отвечающий за сохранность гостя. Право же, описание это уникально в русской военной журналистике. Не назовём это трусостью, всё же передний край, где и вправду стреляют, и случается, пуля-дура пробивает человека навылет, не исключение — и плотные полковники, а всё же не самое благородное — соваться под пули, заслонясь чужой плотью. Как сказал бы Печорин: «Это что-то не русская храбрость».

Некоторые встречи, спору нет, небезынтересны для писателя — с президентом Караджичем, например,— тем более что есть и другая, чем у Лимонова, точка зрения на этого «импозантного героя»: что он не только «естественный лидер своего народа» и поэт в душе, но ещё военный преступник и фашист, должный предстать перед трибуналом и держать ответ за осуществляемый им геноцид по отношению к хорватам и боснийским мусульманам. К сожалению, внятный политический портрет Караджича, ну и просто человеческий, Лимонову не удался, для этого надо же дистанцироваться от предмета своего преклонения и хоть на минуту задуматься: зачем, по какому праву и в чьей игре ты сам участвуешь? Да всё некогда — и слишком велики соблазны.

Вот они с Караджичем прогуливаются близ передовой, осматривают новенькие орудия и миномёты. Далее — жанровая сценка:

«Парень с ручным пулемётом накрывает не видную нам цель. Лента укорачивается. Видит меня. Встаёт. Жестом предлагает — “желаешь?” Я ложусь к пулемёту. Лента патронов укорачивается, плечо обнимает приклад. “За Сербию!” — кричу я».

Тут прервём цитату и спросим: ну, а теперь, когда Вы, месье, изволили прилечь, и плечо обнимает приклад, и лента пошла (а стиль от тряски поехал: что тут что «обнимает», не понять. Такого от Вас не ожидал), теперь-то — в рамке прицела — видна Вам цель, прежде *невидная*? Не затем же Вам предложили эту забаву, чтоб с криком «За Сербию!» Вы посылали пули в молоко небес. В кого же Вы их садите, месье? Во что? В артиллерийскую позицию или в крестьянский двор? Об этом ни слова. Зато вот о чём: «Вставая, вижу, что команда Би-Би-Си успела меня

снять. Ну, сняли и сняли (ещё объявят военным преступником...)».

И что ужасного, если и объявят, с чего вдруг застеснялись? Да с этим поздравить надо! Да этой плёнке тогда бы цены не стало — и сколько прелестных кадров, сколько портретов неутомимого пулемётчика замелькало бы по экранам, по страницам журналов, газет... Но такая удача сама в руки не упадёт; ещё Жюль Ренар сказал: «Слава — это непрерывное усилие». И вот «Комсомольская правда» 17 марта спешит нас уведомить:

«“Эдичка”, прибывший в Белград после 10-дневного прямого участия в военных действиях... подтвердил также, что стрелял по хорватским позициям из 122-миллиметровой гаубицы “советского”, как он подчеркнул, образца.

С каждым приездом в бывшую Югославию Лимонов получает оружие всё большего калибра. Предыдущий раз он произвёл несколько очередей из крупнокалиберного пулемёта по мусульманской части Сараева. Какое оружие приведёт он в действие в следующий раз, можно только предполагать».

Сдаётся мне, это уже не Лимонов решает; оружие будет — какое покажется более киногеничным и впечатляющим команде Би-Би-Си или другой какой съёмочной группе. Гаубица образца 1960 года — это, в сущности, «плюсквамперфектум». Как говорится, сейчас уже такие не носят, в новом сезоне отдаётся предпочтение простым, строгим силуэтам. Есть орудия реактивные многозарядные залпового огня: установка «Град», установка «Ураган», хороша также «Алазань». Один «Град» чего стоит: накрывает 7 гектаров, полдеревни — как корова языком... Да много из чего можно собачить по чужим жизням, вписывая в рамку истории — свою!

А вот ещё горяченькое из «Московских новостей»:

«500 тысяч долларов пообещал за поимку Эдуарда Лимонова один из его недругов в Боснии за то, что тот воевал в отряде сербских партизан... По информации издательства “Палея”, в день своего 50-летия, 23 февраля, Лимонов захватил в Боснии почтовое отделение для того, чтобы позвонить в Москву и поздравить членов ГКЧП с днём Советской Армии».

И чёрт же догадал Эдуарда Вениаминовича — с душой и талантом — родиться в день Советской Армии! Но может быть, это и была его неопознанная стезя? Неясно

только, почему в своё 50-летие поздравляет он гекачепистов, а не они его. А ещё большая неясность — почему вся эта весёлая информация исходит от издательства «Палея». При чём здесь «Палея»? Но, кажется, это из тех вопросов, где содержится и ответ. Ну, так бы и объявила «Палея»: выпущен сборник рассказов Эдуарда Лимонова, спешите сделать заказ. Неужели, читатель, вы десять долларов пожалеете, когда за поимку автора уже полмиллиона отваливают!

А тем временем объявлено в Боснии о прекращении огня. Надолго ли — кто знает. Но по крайней мере, настоящий герой этой войны, генерал Филипп Морийон, в голубом берете набекрень, доставляет в осаждённую Сребреницу продовольствие и медикаменты и эвакуирует две тысячи женщин, стариков и детей. Что станет делать «Палея», когда мода переменится и самым популярным сделается тот, о ком Высоцкий сложил одну из лучших своих песен — «Тот, который не стрелял»?

«Русская мысль», 16—22 апреля 1993 г.
Радио «Свобода»

ДАЙТЕ НАМ ЭВТАНАЗИЮ

*Комментарий к одному интервью**

Нежное слово «эвтаназия» — это не имя женщины (вроде Аспазии) и не сорт вина (вроде «мальвазии»), это от древнегреческого «thánatos» — смерть. Отсюда же и «танатология» — учение о смерти, её причинах, механизмах и признаках. От мудрёного этого учения, как и от «науки страсти нежной», ни одному из нас не отвертеться, доступно лишь отдалить многими усилиями практическое знакомство с ним. Между тем в рамках учения существует, напротив, приближение к неотвратимому рубежу, притом — желанное, по крайней мере выбираемое — как меньшее из зол; оно-то и есть «эвтаназия», или «благая смерть», избавительница от страданий, которые уже пересиливают желание жить.

Так как в большинстве случае эвтаназия осуществляется не самим умирающим, а заботами и хлопотами ближних, она ещё называется «убийством из сострадания», или — гораздо деликатнее — «последней помощью». Нынче в России много пишут об эвтаназии, говорят по телевидению, высказываются медики, юристы, деятели культуры. Это не странно: сближаемся с Западом — перенимаем его проблемы и решения их, а на Западе эту процедуру уже лет двадцать широко практикуют; первенствующая в этом Голландия даже юридически её оформила парламентским решением, и ежегодно по приговорам врачей отправляются в лучший мир по 2300 подданных Её Величества. Что ж нам-то отставать! Странно лишь, что проблема сострадания так уж нас допекла в наше несострадательное время.

Но оказывается, мы не вдруг этим занялись, а уже 70 с лишним лет существует у нас особый Институт комплексных проблем танатологии и эвтаназии — в Москве,

* Юрий Чехонадский. «Новый порядок». Можно привыкнуть и к нему.— «Московский литератор», № 4, март 1993 г.

в районе Аминьевского шоссе. Впрочем, от шоссе ещё нужно пройти минут двадцать по безлюдной дороге через лесок и упереться в высокую бетонную ограду с железными глухими воротами. Вывески — никакой, большие строгости с пропусками. Проницательный читатель, верно, уже догадался, в чьём ведении находился все эти годы чудодейственный институт. Но всё же загадка: ведомство, причастное к миллионам смертей — из сострадания к неудавшемуся социализму,— неужели ещё нуждалось в специальной лаборатории по делам упокоения? Как будто и без неё не справлялось!

В этом году институт открыл свои ворота первому журналисту — Юрию Чехонадскому из «Московского литератора». Беседовал с ним — главный врач, доктор медицины Борис Семёнович Зорин. Почему медик, а не юрист? Ведь проблема, казалось бы, скорее правовая — можно или нельзя, а уж как, если можно, исполнить наинежнейше, было известно ещё египтянам при фараонах, едва ли это задача для института на 70 с лишним лет. В чём естественно соучаствовать медику — определять области применения эвтаназии, следить за изменчивым перечнем тех болезней и их стадий, где медицина уже не бессильна и что-то иное может предложить, кроме «последней помощи». В целом, вероятно, сфера эвтаназии должна сокращаться, а цель — оставаться неизменной: избавление от страданий.

Удивительное начинается там, где этот медик и определяет области применения. Мы думали — рак, непереносимые страдания толстовского Ивана Ильича, уремия, саркома. Оказывается, весомый вклад в эвтаназию привнёс Адольф Гитлер — в смысле самом буквальном, когда прислал своего врача решить участь девочки, родившейся слепою, без ноги и с дефектом руки. Её уморили голодом, что едва ли можно назвать безболезненным, но это как раз и выдало главную для Третьего рейха цель эвтаназии — не избавление от страданий, а — евгеника, усовершенствование человечества выбраковкой неудавшихся образцов. За первым случаем последовала, как водится, широкая кампания: были созданы «дома голодания» для неизлечимых больных, пациентов психиатрических клиник и... инвалидов первой мировой войны. Не отсюда ли заимствовало идею государство советское, когда ни к чему уже не пригодных инвалидов Великой Отечественной свозило на острова в Белом море?

С евгеникой дело пошло веселее, когда изобрели душегубку, средство бесхлопотное и дешёвое. И, как эпически замечает доктор Зорин, «*немецкая нация очистилась примерно от 270 тысяч своих неполноценных граждан*». А любопытно бы знать, сколькие из них прибаливали социально, попросту — не нравился им гитлеровский режим? Ну как нашим инакомыслящим не нравился брежневский, за что их упрятывали в психушки. Бориса Семёновича это решительно не занимает, ведь он учёный, а, как нам известно ещё от академика И. П. Павлова, «*воздух учёного — факты*», вот он лишь факты и констатирует. Но и не сказать, что он совсем безэмоционален насчёт евгеники. Родители-американцы, сами уморившие своего ребёнка с болезнью Дауна, вызывают у него большое уважение, «*они проявили настоящее мужество*», а кто осудил их, те придерживаются «*несовременных, пуританских взглядов*». Американское общество «Homeless Society», помогающее самоубийцам, для него — общество «*гуманитарное*». Что же, оно умеет как-то удержать колеблющихся от гибельного шага? Совсем даже наоборот, «*помогает проявить твёрдость*», решение своё — осуществить. Но ведь к самоубийству, сам же он замечает, «*человека может привести не только тяжёлая болезнь, но и множество иных причин*». А неважно, какие это причины, не станет наш медик в них копаться; похоже, для него уже самый замысел суицидный — свидетельство неполноценности. И так как говорит не частное лицо, не с кухни кума, но один из руководителей научного института, вырисовывается вся концепция этого замечательного учреждения.

Клятву Гиппократа здесь, очевидно, считают гнилым анахронизмом и стоят всячески за расширение «последней помощи». Даже не с точки зрения христианской, а сугубо прагматической, это же неразумно, скажете вы, это самой медицине во вред, которая медика, что ни говори, кормит. Так легко переправляя ближнего в мир иной, не пытаясь за него побороться, медицина упускает ещё один опыт — пусть заведомо негативный, но для науки цену всё равно имеющий,— ещё один шанс если не сегодня, то когда-нибудь в будущем всё же победить хворобу (хоть ту же болезнь Дауна). А кроме того, известно же, каким могучим стимулом к выздоровлению является для пациента вера в целителя, эскулапа; узаконенная и охотно применяемая эвтаназия эту веру подорвёт неизбежно. Какая уж тут психотерапия! Если прежде, бывало, вы-

лечивала мензурка с «aqua distillata», так теперь она для больного запахнет синильной кислотой.

Вот и корреспондент «Московского литератора» спрашивает:

«— А не могут ли здесь быть злоупотребления?

— Нет, нет и нет,— заверяет Борис Семёнович.— Необходимо *личное* и, что особенно важно подчеркнуть, *неоднократное* обращение человека, желающего таким образом покинуть земной мир».

Гарантия как будто надёжная; кто же в здравом уме трижды, четырежды попросит, чтоб его умертвили? А если — не в здравом? А кто, спросим ещё, даже и в здравом, признается в преступлении, коего не совершал? А вот кудесники наши, славные чекисты, как-то же этого добивались... Впрочем, Борис Семёнович сам эту гарантию обесценивает напрочь, когда говорит, что закон *«более демократичный»* разрешил бы эвтаназию недобровольную, когда бы решение принимали родственники, а то и сами врачи. И даже не только так, чтоб пациент не догадывался, не понимал бы, что́ ему там впрыскивают или глотнуть дают, но *«в некоторых случаях»* и *«против желания пациента»*.

Представим его себе, бьющегося в руках санитаров. А нельзя ли узнать, кто он, без суда казнимый? Почему же нельзя: *«например, если он имеет неизлечимое заболевание, в том числе и психическое, представляющее угрозу для общества»*. Вина, ясное дело, бесспорна, но неужто, гражданин медик, тянет на «высшую меру»? Мы уже здесь касались инакомыслящих, так это — не про них ли? Не про тех, кто высказывал «бредовые идеи реформаторства» и кого «исправляли» аминазином и галоперидолом? Что же, с этими радикальными средствами нынче дефицит? Или содержание в психушках так подорожало? Так грубо спрашивая, мы только расписываемся в дремучем готтентотстве. Мы даже представить себе не можем всех выгод, какие дала бы России недобровольная (т. е., как мы уже усвоили, *«более демократичная»*) эвтаназия.

Вот посудите: *«Всем известно, например, что в последний год жизни великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь находился в депрессивном состоянии, то есть фактически был душевнобольным. Если бы в практике врачей того времени была эвтаназия, то своевременное ока-*

зание писателю последней помощи помогло бы сохранить для нашей литературы второй том "Мёртвых душ"».

Литературоведы в штатском, изымавшие у Василия Гроссмана его роман «Жизнь и судьба», каюсь, я был о вас худшего мнения, чем вы того заслуживаете. Вам всё же в головы не пришло, что для изъятия рукописи нужно умертвить автора. Да притом — по варианту «*против желания пациента*»; ведь, как известно, Гоголь в его состоянии отказывался от пищи, так уж, верно, микстуру добровольно глотать бы не стал. Вообще же говоря, литературные заботы института смертных наук хоть и очень трогательны, но, право же, напрасны: а нужно ли было его спасать, второй том «Мёртвых душ», коли сам автор не пожелал, чтобы мы его читали? Может быть, сожжение его было не только следствием душевного расстройства, но и нравственным шагом, поступком взыскательнейшего художника?

По этому поводу вот что Иван Аксаков писал Тургеневу: «*...вся мученическая художественная деятельность Гоголя, всё его существование, писание "Мёртвых душ", сожжение и смерть — всё это составляет такое огромное историческое событие, с таким необъятным значением, от которого дух захватывает*».

А смерть Пушкина, последние его часы, столькими очевидцами расписанные по минутам, так полно рисующие его облик,— разве не такое же необъятное событие в нашей истории, в литературе? Но — зачем это нам? «*...доктор Арендт и Даль, приняв необходимое решение, смогли бы облегчить страдания умиравшего Пушкина*». Путём эвтаназии — могли бы, разумеется, но предпочли — бороться за каждый час его жизни. А «*необходимое решение*», если б кто-нибудь им подсказал его, они бы скорее всего отвергли, поскольку люди были глубоко верующие.

Как нам известно, к области танатологии, в её энциклопедическом значении, относятся и «проблемы облегчения предсмертных страданий больного», но — не одной же эвтаназией! Об этом — во всей беседе — ни слова. Похоже, в чудесном институте одно средство знают от головной боли — гильотину. Она же — от всех болячек хороша.

Со ссылкой на академика Чазова сообщается новинка, что Леонид Ильич Брежнев в последние годы жизни делами государства не занимался, пребывал в старческом маразме «*и из-за этого страна всё более и более погружа-*

лась в застой». Так вот, хорошо бы — Политбюро имело право принять постановление об оказании ему «последней помощи». Тогда бы и «перестройка» началась много раньше, «*и сегодня мы бы уже могли жить в истинно демократической, цивилизованной стране с развитой рыночной экономикой*». Концепции исторической я оспаривать не стану, только замечу, что в этом случае было бы не как с нижестоящим Гоголем, т. е. без санитаров и скручивания рук; это даже оговаривается особо: «*такое решение, конечно, должно было бы быть закрытым и неизвестным самому Брежневу*».

Не питая к высокому пациенту избыточного почтения, всё же не пожелал бы я, чтоб его участь решалась в духе известного анекдота из «чапаевской» серии: «Петька спрашивает: “Василь Иваныч, а у тя жена была?” — “Была, Петька, была”.— “А куда ж делась?” — “Да, понимаешь, ногу сломала, пришлось пристрелить...”» Ежели бы Политбюро имело право умертвить генсека, почему ж бы оно не обладало меньшим правом — отстранить его от власти? Был же опыт с Хрущёвым, обошлось бескровно. Правда, у Ильича Второго заслуг вроде побольше; ну так известно же *отстранение через повышение*: ещё пяток звёзд ему на грудь, ещё одну «Победу», чтоб как у маршала Жукова, и в почётные, пожизненные генсеки — с внучатами общаться, правнучков тетёшкать. И ребятишкам радость — дедулиными погремушками побрякать, и коллективная совесть Политбюро чиста и прозрачна хрустально...

Меньше всего мне хотелось бы представить главврача Зорина человеком кровожадным: скорее он добрый человек. Просто даёт себя знать профессия, а главное — его устами глаголет наше больное общество, наш, кровью набухший, ополоумевший век. И самое интересное — Борис Семёнович это прекрасно понимает. Не без горечи и удивления он рассказывает, что едва стало известно об его институте, как посыпались просьбы и списки, подобные древнеримским проскрипциям, кому бы оказать «последнюю помощь». Один такой список поступил из Союза журналистов, оформленный как решение правления, с соответствующими подписями и печатью, и в нём «*вы могли бы найти много хорошо известных имён*». Другой список пришёл от одной из депутатских фракций Верховного Совета... Аргументация «*довольно убедительная*», счи-

тает Борис Семёнович, но, *«к сожалению, почти не связана с медицинскими показаниями»*.

А если б была связана? Тогда бы для него, наверно, был извинительней тот жуткий курьёз, что люди, полагающие себя общественными деятелями, собираясь вместе — значит, друг друга не стесняясь,— заказывают для своих коллег эвтаназию, внесудебное умерщвление оппонента, соперника, политического противника. И, должно быть, такого числа заказов не знавал за свою историю горемычный институт — что-то грустно отмахивается Борис Семёнович: *«Не хочется говорить ни о съезде народных депутатов, ни об этой ошалевшей оппозиции, ни о так называемом Фронте национального спасения — обо всех этих красно-коричневых с больной психикой...»*

А психика здоровая, то бишь научная, она о чём грезит? А она прозревает *«недалёкое будущее, когда в большинстве стран эвтаназия будет узаконена»* и *«перед мировым сообществом откроются большие перспективы... Будет создан Международный центр танатологии и эвтаназии, возможно, при ООН. И тогда, опираясь на его экспертизы, тот же Совет Безопасности, к примеру, сможет эффективно и оперативно устранять многие социальные и политически опасные проблемы уже в мировом масштабе»*.

Размах, конечно, впечатляет, от перспектив дух захватывает, немеет язык. Но дело — вполне посильное, не из разряда невозможных. И всё же человечеству, так дружно преступившему заповедь «Не убий!», придётся кое с чем повозиться. Как известно из истории, массовые «мероприятия», вроде геноцидов, холокостов и прочих «окончательных решений», сами по себе проблемы не представляют. Проблема — куда трупы девать и как утилизировать «отходы». Но тут уже накоплен некоторый опыт, коим не следует пренебрегать. Банк запасных органов, к примеру,— для пересадки ценным людям почек, сердец, печеней, кое-чего по мелочи от людишек малоценных. Остальное — на мыловарню, а костную муку — на удобрение полей. А ещё матрасы хороши, набитые женскими локонами. И — абажуры из человеческой кожи...

Радио «Свобода», май 1993 г.
«Русская мысль», 4—10 июня 1993 г.
«Панорама», 4—10 августа 1993 г.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА

Мои танки скрежетали и лязгали на Вацлавской площади. То есть, конечно же, танки общественные, народные, но ведь отчасти и мои. И в некотором роде от моего имени оказывали они *братскую помощь* — утюжили «Пражскую весну». В то утро, 21 августа, я ушёл в лес над Москвой-рекой, чтоб там, никого не видя, наедине с собою пережить этот позор, это унижение и страх. После того как мы друг другу и самим себе доказали, что лишь безумцы посмеют на это пойти, а они посмели, как же обойтись без большого террора? Как заставить народ наш проглотить надругательство над ним самим? Только и надежда, что Запад не стерпит, выступит с ультиматумом, как во дни Карибского кризиса.

Но складывалось иначе. Народонаселение наше не пришлось укрощать террором, в большинстве оно осудило не оккупантов, а самих же чехов, которые слишком многого захотели: «Мы их освобождали в сорок пятом, всю дорогу их кормим, и слава богу, что скрутят этого Дубчека!» Запад, разумеется, осудил агрессию, но с ультиматумом не спешил. Ни одна десантная дивизия, ни один авианосец не переместились и на сантиметр поближе к Чехословакии — хоть обозначить *военное присутствие*. Генералы не скрывали профессионального восхищения: за каких-нибудь восемь часов, почти без выстрела, была оккупирована европейская страна и взята её столица. Это восторженное преклонение перед силой было похуже страха, который всё же вынуждает действовать. Увидев воочию, что́ могло бы произойти в одночасье со всей Европой, мир словно бы оцепенел — в растерянности, в параличе воли.

И вот тут случилось невероятное. Случилось в самом сердце всех напугавшей державы. На другую площадь, на её собственную, главную, парадную, священную, считав-

шуюся пупом Земли, вышли семеро. В полдень 25-го возле Лобного места они развернули жалкенькие свои плакатики: «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!»

Случайно в тот день оказался у меня там свой свидетель — знакомая лимитчица, спешившая в ГУМ: обещали «выбросить» перьевые подушки, производства отечественного, но, как гласила молва, не хуже китайских. И в это время какие-то туристы — так она рассказывала — только присели на парапет и что-то там подняли над головами, она и прочитать не успела, как вся площадь сбежалась к ним — штатские и военные, экскурсанты от Мавзолея — выхватывать у них эти плакатики, ломать и топтать, а самих избивать в кровь, выкручивать руки, заталкивать в подоспевшие «воронки». В пять минут управились,— так она подытожила эту вторую боевую операцию. В очередь за перьевыми подушками она не опоздала.

Нынче можно прочесть в российских газетах: «не злость застыла на лицах нашего срединного человека, а выражение глубокой усталости и страха — что дальше?» Оценим же страх этих семерых, знающих наперёд — что́ дальше, и всё же бредущих по брусчатке враждебной им площади — к старинному месту казней. Хорошего не будет, не погладят — ни за вашу свободу, ни за нашу. А будет «народное возмущение» дружинников и топтунов, будут мужчин метелить открыто, а женщин — в машине, будут суд и лагерь, а кому — психушка. Что же не даёт им остановиться, одуматься?

Собственно говоря, в их совестливости и высоте помысла не сомневался никто. Сомнение было в другом: чего они этим добились? Хоть кого-нибудь их жертвенность подвигла к действию, хотя бы устыдила? Как ни удивительно, вопросы эти слышались не только на интеллигентских кухнях, но и в среде правозащитников, где был излюблен знаменитый тост: «Выпьем же за успех нашего безнадёжного дела!»

А дело-то вовсе и не было безнадёжно. Слишком часто не понимаем мы или не помним, что живём — в истории, где никакой наш поступок не теряется бесследно. Год спустя после того, как мои танки победно вползли на Вацлавскую площадь, гостила у нас в Москве чешка из Праги, жена моего переводчика Яна Забраны, теперь по-

койного. Говорили, естественно, и о тех семерых, об их как будто напрасной жертве, и вот что сказала Мария Забранова: «Из-за этого их поступка все чехи не возненавидели всех русских». И я ощутил масштаб свершения. Да если только это одно поставить в заслугу нашему Демократическому движению, можно считать — оно состоялось.

Радио «Свобода», 25 августа 1993 г.

К 70-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА

Сказано про нашу безоружную Августовскую 1991 года революцию, что она была — «с лицом Ростроповича». Если так, то события второй половины 80-х годов, названные «перестройкой» — по крайней мере события литературные,— для многих из нас предстали с лицом Бакланова. Он принял тогда журнал «Знамя», многолетнее владение Вадима Кожевникова, и стал делать журнал кардинально иной — говорили, что в духе «Нового мира» Твардовского. Продолжение традиции отчасти даже персонифицировалось — в облике новомирца тех времён, Владимира Лакшина, которого Бакланов тоже пригласил в первые заместители. Безусловный поворот обозначился, скорее всего, «Собачьим сердцем» Булгакова, дожидавшимся публикации, наверное, полвека,— и писатели-эмигранты зашарили по сусекам, ища, что бы такое предложить революционному редактору.

Ждали встречи с Баклановым — и она состоялась в Дании, в Луизиане, близ Копенгагена, первая встреча писателей двух миров — родины и зарубежья. Советскую делегацию возглавлял Григорий Яковлевич, зарубежников — ясное дело, никто возглавлять не мог, на то ведь они и отщепенцы. Встречу снимало датское телевидение — и всяк может увидеть, раздобыв доступную плёнку, какое разочарование постигло многих участников. Похоже, советский гость вознамерился руководить и эмигрантами, с непонятным раздражением, с нотациями и обвинениями обрушился на Аксёнова, на Эткинда, говорил вещи обидные для изгнанников, в том числе и для тех, которых через полгода напечатает. Когда спросили, кого бы из эмигрантов он себе выбрал в собеседники, назвал Виктора Некрасова — тогда уже покойного. Значит — никого.

Мне это было тем более странно, что я знавал другого Григория Бакланова, с которым познакомился в «Новом

мире», где я работал редактором отдела прозы, а он там печатал свою «Пядь земли». Был он чрезвычайно прост, контактен, мягок и как автор уступчив, вполне учитывая шаткое положение журнала. Три года спустя, когда у меня там же вышла повесть «Большая руда», Бакланов едва не первым поздравил автора очень тёплым письмом. Спешу пояснить: я уже не был редактором и ещё не был членом Союза писателей, по нашим окаянным понятиям — никто, просто автор повести, и вот этому никому он прислал поздравление. Стало быть, обладал умением редкостным — и столь ценным для редактора журнала — радоваться чужому успеху. Говорил Тургенев, что сочувствовать умеют многие, со-радоваться — только ангелы. Бакланов Тургенева опроверг, ибо какой же он ангел? Однако ж, он — боец, всегда готовый защищать то, что дорого ему в литературе. Примеров достаточно. Дважды или трижды он вступался за впадавшего уже в опалу Солженицына, а я забыть не могу, как в трудные мои дни, когда наша критика устроила кошачий концерт вокруг романа «Три минуты молчания», Бакланов меня поддержал несколькими словами — да их не много и требовалось, чтоб показать, что есть и другое мнение. Что же такое с ним случилось в Луизиане? Может быть, встреча пошла не так, как планировалось, и он над нею утерял контроль? Да ведь не тот человек, чтоб у него из-за этого сдали нервы. При обстоятельствах куда более напряжённых, на 19-й партконференции, он себя вёл достойно, не дрогнул перед натиском пятитысячной аудитории, сгонявшей его с трибуны.

Ответ на все вопросы, какие задаст нам писатель своим поведением, ищите в его книгах: и там, где он прямо говорит о себе, и ещё пристальнее — где он проговаривается невольно. Хочет он того или же избегает, а всё равно напишет собственный портрет.

К 70-летию Бакланова он сам себе сделал подарок: вышли в «Знамени» два цикла его невыдуманных рассказов под названием «Входите узкими вратами». В них он рассказывает о своём пути в литературе, о своём становлении как личности, начиная от бесприютной, бездомной и несытой молодости и до тех дней, когда он выдвинулся в зачинатели, в «прорабы» перестройки и укрепился в журнале, ставшем собственностью коллектива редакции. Ко мне «Знамя» приходит из вторых, из четвёртых рук, и в этом своё преимущество — заранее видишь, что чи-

тать в первую очередь, эти страницы захватаны пальцами, загнуты, измяты. Книжка скреплена плохо, не как в блаженные годы «застоя», при Кожевникове, и те страницы, где Бакланов, попросту распадаются.

На мой взгляд, эти рассказы явились продолжением его же предыдущей, весьма любопытной повести «Свой человек» — о закате и падении номенклатурщика, символически обозначивших распад целой системы. Распад — не окончательный, как хотелось бы думать, об этом предупреждали такие предфинальные строки:

«...миллионы заинтересованы, чтобы гнило как можно дольше. От верху до низу миллионы временщиков, и каждый хочет при жизни получить свой кусок. Это прочно. И опирается на самые примитивные инстинкты, а в природе всё примитивное — самое жизнеспособное».

Отметим и прозорливость этих строк, и сквозящее в них трезвое, холодное, почти циническое понимание, с каким человеческим материалом придётся иметь дело преобразователю. Это слова отнюдь не романтика, призывающего покончить с прошлым безоглядной кавалерийской атакой, и в них содержится ответ, почему такова особенность наших «оттепелей» — что первой, что второй,— вожди прогресса, получающие власть, вербуются не из бунтарей, героев, идеалистов. Академику Сахарову чаще, нежели прочим, отключали микрофон, даже в Верховный Совет его не выбрали, и доброволец уступил своё место не ему, а Ельцину, родом из Политбюро. В парламенте мы видим из героев правозащитного движения лишь Сергея Ковалёва да о. Глеба Якунина — и те там не свои. Приходится признать, что сама история востребовала деятелей иного типа, со свойствами иными.

Григорий Бакланов, очевидно, эти свойства имел, а главное — полагал, что «перестройкой» можно управлять; это было услышано, и его-то и предпочли вышестоящие «прорабы», а не избрала в редакторы восставшая масса, сошедший с тормозов писательский пленум, как это было у кинематографистов. Кто именно пригласил Бакланова в «Знамя», он не сообщает, да это и неважно,— мог бы Яковлев, мог Лигачёв или сам генсек, важно — что он оказался готов к приглашению.

По крайней мере на первых порах можно было и споткнуться, если не иметь за плечами школы здорового бюрократизма, без которой не помогло бы и самое высо-

кое покровительство. Бакланов такую школу прошёл — да хоть в Союзе писателей, в этой империи секретарей, либо на «Мосфильме», где он был одним из руководителей объединения писателей и кинoработников,— и он не скрывает гордости по этому поводу, пересыпая текст выражениями: «аппаратные правила», «говоря аппаратным языком», «ритуал телефонной беседы», «канцелярская поэзия», щеголяя дотошным знанием чиновничьей психологии, проявляя, наконец, неподдельное любопытство к миру номенклатуры и вкус к общению с людьми власти.

О Гришине, для кого-то, наверное, решительно ничтожном, он говорит: «*Мне любопытен был этот человек... Было интересно наблюдать, как ведут себя люди в его присутствии. Театр — и какой театр!*»

А то из-под души вырывается: «*Я бы это сыграл!*» Что — «*это*»? Да хоть смирение, хоть воспылание праведным гневом.

Он знает биографии чиновников, жизненные истории Шауро, Маркова, Карпова, литературного генерала Ильина, их пути по длинным коридорам власти, и любо же ему описывать эти самые «коридоры», ковровые дорожки, массивные двери с табличками, державную тишину, закрытые — то есть для небожителей открытые — буфеты, распределители, комнаты отдыха. Он понимает трагедию секретаря, которого вдруг не выбрали в президиум и его из-за этого разбивает паралич. Он с уважением — и непременно по имени-отчеству — назовёт того чиновника, который помог с романом и ещё дважды выручил,— как можно забыть добро? Он знает, что такое для советского писателя быть упомянутым в докладе Маркова и быть не упомянутым. И притом — не упустит посплетничать, как выглядел Георгий Мокеич на пляже Рижского взморья в июльскую жару в костюме и при галстуке. Бывают подробности столь занятные, что уже и не важно, складываются ли они в цельный сюжет; стиль — вольный, эссеистический, с частыми и охотными отклонениями к аналогиям, нередко — военным, где была, конечно, своя бюрократия,— и это придаёт повествованию и ёмкость, и непринуждённость дыхания.

«Знаток аппаратной жизни» — называет он себя не без иронии, которой, заметим, подчас очень не хватало автору книги «Бодался телёнок с дубом». А ирония, верно, оттого, что никакое знание в конце концов не избавляло

от всех терний литератора советского — от запрета прозы, от закрытия фильма, от придирок цензора. Это и были те *узкие врата*, которыми входили *во власть* наши политики.

Зачастую они входили при помощи тех, кого завтра уберут либо просто забудут. Так входил Горбачёв. Путь Бакланова был другой — если не единственный, то очень редкий случай, когда пребывание в эшелонах власти — в седьмых, восьмых эшелонах — пошло на пользу как писателю. При всех потерях он многое увидел — и, значит, не прогадал.

Бывал ли он безукоризненно послушен, чтобы *колебаться вместе с линией*? О да, случалось ему осудить войну, которую вели американцы во Вьетнаме, не упоминая — в году 1985-м — войны своей, афганской. Случалось выругать Запад в путевых очерках «No parking», то есть выполнить непременное условие, позволяющее советскому рабу ещё когда-нибудь побывать в этом ужасном, ужасном Нью-Йорке, в кромешном аду с названием «Париж». Но выпадали случаи и покруче, когда требовалось обгадить своё имя всерьёз, складывалась та пикантная ситуация, о которой писал Борис Слуцкий:

Таланта нет — сослаться на болезнь,
Уменья нет — не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, что не дай Бог другому.

Это — о несчастном своём участии в гражданской казни Пастернака, чего никогда Слуцкий не мог простить себе и что, наверное, стало одной из причин душевной болезни и преждевременной смерти.

Бакланов достаточно честен, чтобы не выставлять себя героем: отказаться клеймить Сахарова и Солженицына или участвовать в антисионистском конгрессе — решимости не хватило, зато был талант не оказаться дома, когда придут за твоей подписью или позвонят. Это умение тоже приобретается плаваньем в заводях номенклатуры. Ну а дальнейшее — уже обязанность жены; считается, что у писательских жён нервы покрепче мужниных. Вениамину Каверину хватило юмора съязвить над собою: «Я храбро спрятался, а жена — твёрдо говорила по телефону...» Бакланов, сдаётся мне, с излишней серьёзностью рассказывает, как он храбро уезжал в Ленинград или в Болшево под Москву или пересиживал в скверике около дома,

договорившись с женой насчёт сигнализации. Спасибо ему, однако, за откровенность, с какой он передал, каких терзаний душевных, какого унижения стоило — подлостей не делать, а от подлостей бегать, особливо — бывшему фронтовику. Его и сейчас гложет:

«Но почему вообще я должен скрываться? Война? Враг вторгся? Так от врага я не бегал».

И вот что любопытно: казалось бы, познав такое унижение, можно и другого понять в сходной ситуации — ну, скажем, бывшего главу Союза писателей Карпова, укрывшегося в Барвихе. Ну неохота Карпову, Герою Советского Союза, выступать против Нины Андреевой, потому как это против Лигачёва,— и оставьте его в покое. Ан нет, совковая суть, которую не вытравишь из себя в одночасье, заставляет тащить коллегу на подпись, как на казнь.

О, непросто выдавливается раб! Зачем, спрашивается, сидя в редакторском кресле, куда был усажен свыше, отвечать уклончиво на звонки из ЦК, на дурацкие директивные письма, смиряя гнев иронией: *«Да что я, крепостной?»* И оказалось: как просто было освободиться, вся нечисть отпала сразу, разлетелась, как от крестного знамения. Оказалось: «перестройка» обгоняет наше сознание быстрее, чем даже того хотелось бы. Помню, печатая «Верного Руслана», редактор настоял вычеркнуть один абзац, который уже к выходу номера выглядел вполне безобидно.

От летописи, которая пишется по пятам событий, ждёшь не столько предвидений, сколько осмысления уже произошедшего. Но вот пишет Бакланов:

«Оглядываясь в недавнее прошлое, всё больше убеждаюсь: закон о печати приняли по недосмотру, просто депутаты оплошали... Где это видано, чтобы власть сама на себя надевала смирительную рубашку? Но помогли два обстоятельства: некоторый дух вольности, его ощутило общество, и твёрдое убеждение, что законы у нас пишут для наглядности, исполнять их необязательно».

Сдаётся мне, здесь больше остроумия, нежели точности. Не депутаты оплошали, а мы сами только моргали, когда власть именно то и делала, что надевала на себя кокетливо смирительную рубашку. Ведь была же у нас прекрасная солнечная Конституция, да ведь и Декларацию прав человека тоже мы вроде бы приняли, но ежели кто заикался насчёт гарантированных нам свобод, что мы говорили ему? «Старик, ну это же несерьёзно». А в лагерях говорили вертухаи: «Вы не поняли, это для негров».

И нужно было набраться немыслимого нахальства, чтобы воспользоваться законом о выборах, как это сделали диссиденты, выдвинув кандидатами Людмилу Агапову и Роя Медведева. Какой поднялся переполох! Как судорожно искали закорючку, чтоб отказать! И конечно же, нашли — в срок не уложились подать заявление, опоздали на день. Так вот, что законы пишутся не для исполнения, в этом мы сами были убеждены. А когда посмотрели на дело серьезно, тогда дарованная нам сверху «перестройка» и вышла из-под контроля.

Не знаю, отчего смеются над присказкой Горбачёва «Процесс пошёл». Очень даже точная фраза. Смеясь, мы расстаёмся с нашей ближней историей, худо лишь, что стремительно теряем историческую память. Вот уже исказилась фигура того же Горбачёва, он теперь «иуда всех времён и народов», он «тряпка». А давно ли восхищались, как он расшвырял зловещих старцев, геронтов, повисших гирями на шее России? Давно ли восхищались Ельциным, первым из наших деятелей, кто вернулся в политику, будучи выброшен и, как водится, жалко покаявшись? Давно ли слагали оды ему, поднявшемуся на танк? Теперь он «оккупант» и «клятвопреступник»... Так вот оно, ценнейшее, что делает Бакланов,— возвращает нас к недавней реальности, напоминает, какими мы были ещё вчера.

Писатель, выступающий с такими рассказами, куда и себя помещает в качестве главного персонажа, добровольно занимает скамью подсудимых и даже призывает нас вынести ему приговор. Таков закон этого жанра — покаяния и самооправдания, непременно его сопровождающего. Однако литература — всё же не зал заседания, здесь и обвиняемому дано вынести суждение — о ближних своих, о времени, о том, что происходит со всей страной.

Естественно, художник мыслит метафорами. Григорий Бакланов предлагает их даже две. В финале последнего рассказа он вспоминает себя 20-летнего, в окопе, перед началом наступления, когда он в рассветном сумраке *«вдруг почувствовал, что всё сдвинулось, движется, и это уже не зависит ни от кого из нас... вся махина из тысяч и тысяч людей и всего вокруг, как будто ещё неподвижного, стронулась, неостановимо движется к последней черте. И полыхнёт сейчас во тьме за нашими спинами, толкнётся в уши и будет грохотать и сверкать, а потом мы выскочим из окопов и побежим по полю, бодря себя криками».*

Этого образа, хоть и впечатляющего, но, кажется, уже запоздалого, применимого к первым лишь годам «перестройки», автору не хватает, и он его дополняет другим, заметно ему противоречащим:

«С того берега, от которого оторвало нас ходом истории, странно видеть, наверное, как люди всё сражаются, сражаются друг с другом, не замечая, что всех их вместе, будто на льдине, влечёт течением в раскинувшееся впереди открытое море, в никому не ведомое будущее».

Два образа вместо одного, исчерпывающего, говорят всё же о зыбкости, неопределённости суждения; никак не сочетаются они, как не складываются в единое представимое целое люди, готовящиеся согласно, вместе идти в атаку, и люди, сражающиеся друг с другом на оторвавшейся льдине. Эта картинка столь безрадостна, что сердце не соглашается с нею. Но кто сказал, что она — окончательна? Будем же благодарны автору за спасительную дозу яда, за тревожную ноту, которая продолжает в нас звучать, когда уже закрыта последняя страница. Иначе бы он был нечестен и не исполнил бы долг русского писателя.

Вероятно, в год Луизианы ещё казалось Бакланову, что на людей можно воздействовать указаниями и назиданиями, а теперь, я думаю, он понимает, что нет, если чем-то и можно их увлечь, так только полной искренностью и примером собственной жизни. Пройдя свой путь — непростой и непрямой, извилистый, хитроумный, не без потерь, но и не сломавшись, не уронив чести, не погрешив против самого главного, что в нём было в юные фронтовые годы, он готовно раскрывает секреты этого пути. Скажем прямо, они отличаются и от заповедей Христовых, и от тех, что на скрижалях «Жить не по лжи». Но человеку, прошедшему такой путь, верится больше, нежели тому, кто благополучно уклонялся или просто не выпало ему подобных испытаний.

Невыдуманные рассказы Григория Бакланова «Входите узкими вратами», в номере третьем этого года, как и предыдущие, в 1992 году, продолжения как будто не обещают. Может быть, его и не будет, а может быть, вспомнится ещё многое и напишется — покуда мы живы, покуда меняются люди и движется в никому не ведомое будущее Россия.

Радио «Свобода», 11 сентября 1993 г.

НА ДРУГОЕ УТРО

Два с лишним года назад, над гробами троих юношей, погибших за демократию, Борис Ельцин сказал их родителям слова, ставшие знаменитыми:

— Простите меня, вашего президента, что я не сумел спасти ваших сыновей, не смог их уберечь.

Сегодня он мог бы те слова повторить — но над куда большим числом гробов и с гораздо большим основанием.

Поражает неожиданность и размах мятежа, количество его участников: по скромным подсчётам, тысячи четыре, более двух полков, которые при условиях благоприятных могли бы ещё обрасти десятками тысяч примкнувших; поражает и число объектов, намеченных к захвату, притом в неблизких концах Москвы: где мэрия, а где Останкино? А сколько оружия оказалось в руках — и какая выучка, умение использовать невменяемость толпы! Значит, готовился широкий, во всех деталях продуманный заговор — и до последнего часа оставался тайной, как бывает, когда заговорщики обеспечены всеобщим сочувствием, даже сочувствием тех, кто обязан был о них донести.

Теперь укоряют Ельцина в нерешительности: когда мятежники уже сминали цепочки ОМОНа, захватывали этажи мэрии и громили телецентр, он всё не спешил призвать армию. Призови он её сразу же, насколько меньше было бы крови и трупов.

В этих укорах есть одна ошибка: армию следовало призвать ещё раньше, ещё до того, как объявлять указ об упразднении съезда и парламента; обошлось бы тогда и вовсе бескровно. Если прохлопала, проморгала опасность служба безопасности, если ничего путного не присоветовали советники, если всё никак не понимал министр обороны, что уже время не обороняться, а наступать, то хотя бы сам президент, не со вчерашнего дня политический боец, и мог и должен был предвидеть, что дело не огра-

ничится указом, не разойдутся покорно с насиженных тёплых мест, будет сопротивление яростное и придётся вызывать танки. Швыряя такую перчатку противнику, как же было не обнажить при этом шпагу? Мало того, ещё всерьёз уверять, что всячески избежит кровопролития?

Мы без конца твердим чеховскую формулу насчёт ружья, обязанного выстрелить в последнем акте, и не допускаем драматургии иной и более реальной: если ружьё висит — из него уже и стрелять не обязательно. На десятки лет нам обеспечила мир висевшая над враждующими сторонами ядерная угроза, не позволяя войнам локальным слиться в мировую.

Натерпевшись страху, мы теперь торопимся — по праву победителя — насытить мстительное чувство. Но кто же победители в этой странной битве, где наши танки расстреливали наш собственный рейхстаг? Над кем и над чем одерживают победу, разгоняя национальное законодательное собрание? Было бы чрезвычайно просто, если б его депутаты были сплошь красно-коричневые, коммунисты и фашисты, макашовцы с принципами и баркашовцы со свастикой. Но за какие скобки вынести обманутых, разочарованных, втянутых в сопротивление азартом молодости, ну и всерьёз опасающихся, не сосредоточит ли Ельцин в своих руках необъятную власть? За 70 лет «пролетарской диктатуры» мы научились панически её бояться.

На всех нас лежит вина — либо насильника, либо жертвы — и могут ли виновные судить виновных? А ведь уже судят и приговоры выносят. Вот Анатолий Собчак советует Руцкому поступить, как подобает офицеру. Все поняли: пустить себе пулю в лоб. А я слышал, что Собчак — верующий, ходит в церковь, как же он забыл, что самоубийство ею осуждается как величайший грех?

У гангстеров, у мафиози принято не считаться ни с какими прошлыми заслугами. Неужели и мы не постараемся прежде осмыслить случившееся, предпочтём — сразу мстить?

Лиону Фейхтвангеру, описывавшему наши политические процессы 30-х годов, они напоминали скорее диспут, в котором судьи и подсудимые вместе искали корни ошибок. На самом деле они были спектаклями, в которых актёрам справиться с ролью помогали пытками, угрозами и пустыми обещаниями. Теперь, когда мы это по-

стигли и от этого освободились и можем не прибегать к методу кнута и пряника, почему бы и вправду не обратить неизбежный будущий процесс в диспут, в котором целью было бы не наказание, но истина, в котором бы мы, помогая друг другу, может быть, осознали бы, что́ ждёт нас на другое утро после этой безрадостной победы, и добились бы ответа на те вечные безответные вопросы, которые всё задаёт нам русская литература: кто виноват? что делать? а судьи кто?

Радио «Свобода», 5 октября 1993 г.
«Московские новости», 10 октября 1993 г.

КОЕ-ЧТО О ФАКТОРЕ ГЛУПОСТИ

Уходит в прошлое октябрьская эпопея Белого дома, но не меньше остаётся вопросов и недоумений, а соответственно и попыток объяснения некоторых загадок и неясностей. Появляется искушение — представить эту эпопею как итог адского замысла, детально спланированной провокации, включавшей в себя и кровь, и трупы, и горе близких, и основательное повреждение столичных зданий. Всё для того, чтобы возбудить народную ненависть к своему парламенту. И если отвечать на вопрос римских юристов — «кому выгодно?» — не останется загадкою имя автора этого замысла. Знамо кто — президент.

Так прямо и излагается эта версия в «Московских новостях» от 17 октября, с прозрачным заголовком: «Парламент клюнул на президентскую блесну». Октябрьские события комментирует специалист редкой профессии, я бы сказал — экзотичной: по проведению путчей, переворотов, военно-политических провокаций, полковник из некоего тайного ведомства, который по заданию правительства СССР участвовал в подобных акциях в Латинской Америке и в Индокитае. Имени его газета не раскрывает — по понятным, как ей кажется, причинам,— хотя нет уже ни того правительства, ни резонов утаивать нынче, при свете гласности, былые славные дела полковника. К тому же он мог бы сейчас, по обычаю людей его ведомства, хорошо на этом заработать.

Версия, которую он излагает, сводится к тому, что у Ельцина был расчёт — на то, что нервы у сторонников Хасбулатова и Руцкого не выдержат и они не то что не усидят в своей цитадели, это заранее ясно, но вылезут непременно с оружием и наделают дел кровавых и смертоубийственных. Для этого, пишет полковник, «забаррикадировавшихся в Белом доме начинают планомерно обрабатывать убедительной дезинформацией. За 12 дней

людей в замкнутом пространстве можно довести до психоза, транслируя, например, всё время одну и ту же мелодию. Главное — не давать людям спать и держать их в напряжении. Параллельно используют провокаторов в среде врага, которые подготавливают нужное поведение лидеров (командиров) в кульминационный момент».

Не знаю, как это всё удавалось полковнику в Латинской Америке и в Индокитае, сходная ситуация в тех странах, где он интриговал, что-то не припоминается — в Чили, например, при штурме дворца Ла-Монеда она была другая,— но ситуацию московскую он заметно упрощает, представляя Белый дом как пространство замкнутое. Таким оно вовсе не было, туда проникали и многие добровольные защитники, и журналисты, могли проникать не только провокаторы, но и перебежчики из другого лагеря и просто люди грамотные, которые предупредили бы Хасбулатова и Руцкого, что их провоцируют. Вообще, если эту операцию поручили военным, они первые должны были ей воспротивиться. Из своих академий генералы должны были вынести основной закон оперативного искусства, известный как «правило Гинденбурга»: «Наибольший успех нам гарантирует самое простое решение». В соответствии с этим правилом военачальник стремится всякую сложную ситуацию предельно упростить, свести к примитиву, который бы можно было, подобно Василию Ивановичу Чапаеву в одноимённом фильме, объяснить с помощью нескольких картофелин. Самое же сложное, что может быть в оперативном замысле,— это манёвр с предоставлением инициативы противнику. Это расчёт на то, о чём и говорит таинственный полковник: «нужное поведение лидеров (командиров) в кульминационный момент». Очевидно, это нужное поведение да в нужный момент состояло бы в том, что в такой-то час противник поступил бы так-то и так-то, двинулся бы туда-то, а ежели он, мерзавец, так не поступит и туда не двинется или сделает это запоздало, а хуже того — преждевременно, то всё летит к чертям, и стройный замысел превращается в оперативный позор, вынуждая незадачливого автора, напрасно погубившего своих людей, искупить вину так, как это полагается по кодексу офицерской чести.

«Московские новости» в целом присоединяются к мнению эксперта. Как они считают, «события были сплани-

рованы так, чтобы подтолкнуть обитателей Белого дома к первому насильственному акту. И они в эту ловушку попались. Вопрос в том, кто моделировал ситуацию. Ельцин? Или иные влиятельные политические силы, которым беспомощность Ельцина, не справься он с ситуацией, помогла бы выйти на сцену?..».

Я бы прежде задался вопросом: а можно ли было эту ситуацию смоделировать? При всём злодействе и жестокости уж слишком тонок, слишком изыскан и красив был замысел, слишком рискован, чтобы удаться в нашем бардаке, при нашем разгильдяйстве и невменяемости. И между прочим, были же предпосылки, чтобы громоздкая эта затея не удалась. Сам же эксперт признаёт, что тактика Руцкого была не лишена смысла: забаррикадироваться в Белом доме и показать всему миру, «как умерщвляют депутатов! В то же время, как военный человек он не мог не понимать, что прямое вооружённое столкновение закончится не в пользу парламента. Слишком неравны силы. Поэтому и устроил головомойку Хасбулатову, поспешившему раздать оружие кому попало...».

Как мы знаем, оружие стали отбирать и складывать, и здесь наш полковник ставит Руцкому твёрдую пятёрку: теперь «колючая проволока и цепи ОМОНа вокруг Белого дома стали работать против Бориса Ельцина. Запад может закрыть глаза на противоправные действия угодного ему лидера (как было, например, с Пиночетом), но если этот лидер не в состоянии быстро переломить ситуацию в свою пользу, если репрессивные меры длятся достаточно долго, цивилизованный мир начинает хмуриться».

Итак, всё как нельзя лучше складывалось для Руцкого, который мог, пальцем не шевеля, набирать очки, а тем не менее победа, пусть и безрадостная, победителя не украсившая лаврами, досталась Ельцину. Какой же дьявол надоумил осаждённых от своей выигрышной тактики отказаться? Кто Руцкого за язык потянул — приказывать штурмовать мэрию, которая и не нужна ему была ни как военный объект, ни как политическая приманка, а в глазах этого самого *цивилизованного мира* уронила его безнадёжно, как и его истеричный призыв к авиации бомбить Кремль? Кто сунул в лапы Макашову пулемёт и погнал его боевиков к телецентру «Останкино», где больше сотни их полегло за великую цель — отвоевать для Руцкого полчаса эфира? Загадок действительно хоть от-

бавляй. Нападающая сторона и должна нести больше потерь, чем обороняющаяся, но раза в три, в четыре, не в десятки же раз. А самого Макашова, добавим для красоты рассказа, как элегантно все пули обошли — чтобы предстать ему перед судом без царапинки, не сделавшись трагическим героем. Обо всём этом нам остаётся либо гадать, либо дожидаться более подробных сведений. Но из того, что всё вышло в пользу Ельцина, ещё не следует, что вышло по его плану, что и вообще какой-то план существовал — к тому же так нелепо, так безобразно исполненный, с таким количеством трупов, со стрельбою из танковых пушек по зданию, ставшему уже легендарным, с пожаром, зачернившим и верхние этажи, и самую память о том героическом Августе.

Не проще ли было призвать армию в самом начале, при объявлении указа 1400-го, а лучше бы — до объявления? Почему это не было сделано — при таком умении всё рассчитать за 16 ходов вперёд? Здесь у эксперта откровенный разнобой: в одном пассаже своей экспертизы он пишет: «Судя по всему, ни Ельцин, ни Грачёв не были до конца уверены, как поведёт себя армия, включая высший генералитет...» В другом пассаже — допускает, что Ельцин, «возможно, доверился заверениям Ерина и Грачёва, обещавших обеспечить порядок в случае обострения...». И при таких-то шатаниях, в таком тумане — ещё включить в замысел 8-часовое опоздание армии в Москву, намеренное, рассчитанное, дистанционно управляемое? О, сколько хитростей! И какая уверенность, что тайна этого опоздания никогда не вскроется!

Английский дипломат Николсон как-то сказал, что события истории предстали бы нам куда более объяснимыми, если бы мы учитывали фактор глупости. Вот так, не искали бы в поведении исторического деятеля непременно глубоко продуманный манёвр, не подбирали бы к его шагам, для нас непонятным, убедительные мотивы, а сказали бы просто: «по глупости». Зачем, скажем, вёл Наполеон континентальную блокаду Англии, не нападая на неё, но стремясь покорить все страны, которые с нею торговали? Уж так хитроумно, так грандиозно это, и так мы убеждены в его гениальности, что не отважимся назвать эту затею её настоящим именем. Не осмелимся и бездействие нашего президента в отношении армии объяснить тем же фактором, какой бы ни принял он псевдоним —

самонадеянности, упрямства, генеральской дури, завышенной оценки своей популярности после референдума.

Пожалуй, в его поведении есть лишь один внятный мотив. Как бы он сам выглядел, объявляя свой указ под лязганье и рёвы танков, расставленных загодя по площадям столицы? Совершенно так же, как Язов и Крючков 19 августа 1991 года. И что сказал бы о нём цивилизованный мир, что сказала бы интеллигенция? «Узурпатор», «насильник», «завтрашний диктатор»... Но неужели этого можно убояться сильнее, нежели имени злодея, виновника массовой бойни?

Что до мнения Запада, то Клинтон как будто заранее все грехи отпустил своему партнёру. Да и все остальные были к этому склонны. Симпатии цивилизованного мира всегда обеспечены тому, кто справляется с ситуацией быстро и по возможности малой кровью. А насчёт интеллигенции знал президент прекрасно, что при любом его образе действий она всё равно поделится на оправдывающих и осуждающих, такова её стезя, её предназначение.

И сегодня одни благодарят президента за то, что армия защитила их, и призывают быть потвёрже, наказать по всей строгости закона зачинщиков мятежа, закрыть печатные издания сторонников парламента,— претендуя при этом на их фонды и запасы бумаги. Другие — обвиняют его в нарушении конституции и измене демократии. Есть и третьи — упрекающие в запоздалом применении силы. У каждого своя правота.

Но хотелось бы напомнить и тем, и другим, и третьим, что мы как демократия ещё так молоды, что нам, ей же богу, простительны некоторые глупости. Ведь всё у нас по первому разу: первый президент России и первый роспуск парламента, первая попытка импичмента и первое — да просто уникальное! — отступничество вице-президента. И мятеж у нас — тоже первый, ко второму-то мы лучше подготовимся.

Важно лишь осмыслить его во всей сложности и полноте — чтобы по крайней мере жертвы его не были напрасными. Чтобы мы чему-то научились, извлекли пусть кровавый и страшный, но тем и памятный урок.

Радио «Свобода», октябрь 1993 г.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЖИРИК?

Это ласковое прозвище нашего триумфатора я позаимствовал у г-на Невзорова, вместе с его замечательным вопросом. Поверить, что Александр Глебович не знает пути Жириновского, решительно невозможно; скорее всего на языке «наших» его вопрос означает: с чего вдруг такой успех? Меня же больше удивляет само это удивление. Чего же стоит чутьё наших политиков, не умеющих отслеживать и оценивать продвижение конкурента? Как мало знали они своего избирателя, если не приняли всерьёз обещаний «авантюриста» и «психа»,— так уж его обзывали, думая этим уничтожить. Вспомнили бы недавний польский урок, залётного эмигранта — Тыминьского, огрёбшего ту же четверть всех голосов за одно обещание — всех научить, как делать доллары.

Признаться, и я бы не поставил высоко шансы «Жирика», да помог Эдуард Лимонов; за этой занятной фигуркой я не устаю наблюдать. Когда он принял в будущем правительстве Жириновского портфель «силового министра», да ещё жену привлёк, Наталью Медведеву, попеть на предвыборном вечере избирателей, это было для меня вернейшим индикатором. Лимонов лишь бы к кому не примкнёт. Он может проиграть собственные выборы, недостаток харизмы не возместишь ни стрельбою по боснийским мусульманам и хорватам, ни содействием красивой супруги, однако чужой успех он предугадывает безошибочно. Да могли бы и все мы выступить недурными прорицателями, если б держали в уме, как опасно недооценивать человека с повадками шута или клоуна. Переоценивать его приходится, когда он уже рейхсканцлер и когда это грозит потерей свободы, а то и головы.

Всё, нами отвергнутое или не усвоенное, отлично усвоил талантливый Жирик. Не знаю, известен ли ему со-

вет Бонапарта говорить с толпою коротко и неясно, однако именно так он обещает вернуть России Аляску и что Финляндия и Прибалтика ещё к нам приползут. Спросить хотя бы про Аляску — что же, силой её возвращать? Так ведь ядерной войной пахнет. Откупить её? Так тут Высоцкий вспоминается: «Где деньги, Зин?» Не знаю, почитывает ли Владимир Вольфович речи Адольфа Алоизовича, но, подобно ему, облекает свои обещания в формы поэтические. «Ещё не покроются цветом деревья!» — так закручивал фюрер, но и у Жирика не хуже выходит — про то, как наши солдаты омоют сапоги в тёплых волнах океана Индийского. Как же они туда доберутся, хочется спросить, есть же печальный опыт Афганщины? Или уже договорено с Саддамом Хусейном, что пропустит без выстрела? Но кажется мне, наш несчастный избиратель вылавливает из этих речей не так об Аляске, о Курилах или про омовение сапог в субтропических водах — пусть россиянину это и ласкает слух и поглаживает по национальному самолюбию,— но куда жаднее о хлебе, о жилье, о водке за шесть рублей литр и о том, что в стране будет порядок.

Говоря по-блатному, кто-то «лепит горбатого», выставляется «паханом», Жириновский — лепит фашиста. Да ведь это слово давно у нас не оскорбление, в морду за него не дают, Александр Проханов даже теоретически его реабилитировал. А не скажешь, что безоглядно смелый, в пору «застоя» он лишнего не произносил. И вот наш возможный будущий президент, ступив на землю Европы, первым делом спрашивает: «Во ист майн фройнд Герхард Фрай?»* — и лобызает упитанного мясника и даже карикатурного коричneворубашечника. Пусть видят озадаченные немцы, что у неонацистов, как прежде у пролетариев, появилось на востоке своё отечество. А мы смекаем, что немецкие деньги Ленина, пожалуй, и впрямь — не фальшивка.

Когда же нравственные опоры у нас так сместились, что уже утрачен в народе иммунитет к фашизму, у нас, потерявших в кровавейшей с ним войне вроде бы 27 миллионов сограждан? Думается мне, что одновременно с утратой уважения к вымирающим поколениям фронтовиков. Когда издёрганная очередями женщина говорит

---

* Где мой друг Герхард Фрай? *(нем.)*

старику, «участнику ВОВ»,– так нынче зовём мы славных защитников отечества: «Хоть бы скорей вы все перемёрли!» – торжествует над нами развеянный пепел героев Нюрнберга, празднуют свою посмертную победу Геринг, Риббентроп, Кальтенбруннер. Интересно, довелось ли подобное услышать и пережить воинам 1812 года?

И всё же не думаю, что голоса отданы фашисту. Они отданы тому, кто себя выказал безумцем, навевающим золотые сны. Помните? – у Беранже:

Господа, если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Разумеется, не одни романтические струны перебирает Жирик в сердцах избирателей, он затрагивает и болевые точки. И дело не в гипнозе, и ни при чём тут магия Кашпировского, будто бы ему помогавшего, это мы себя оправдываем, виновных в том, что избирателю уже не претит выслушивать о людях иного цвета кожи: «Там эти обезьяны недавно слезли с дерева, занимаются людоедством и поеданием нашей колбасы, надо прекратить поставки колбасы в африканские страны, пускай жрут друг друга». Скажете, потакание низменным интересам обывателя? Но в самом деле, почему ему, обывателю, должно быть радостно десятилетиями содержать марксизм на Кубе? Почему измождённые и засиженные мухами дети благодатнейшей Сомали должны быть ему дороже своих детей, которых – ещё подумать надо – чем завтра кормить?

Как ни печален итог, свидетельствующий о крайней глубине кризиса, но всё же есть в этом итоге и нечто отрадное, что нелишне отметить. То, например, что выиграла не партия Жириновского, а сам Жириновский; это значит, у избирателя больше доверия личности и живому слову, нежели протокольной жвачке программ. Или то, что не помешал Жириновскому пятый пункт: сколько ни обыгрывалось, что мама у него русская, папа – юрист, а народ это пропустил мимо ушей, выказал себя в массе отнюдь не антисемитом; это, как мы и раньше догадывались, навязывалось и прививалось ему свыше, из соображений «государственных». Отметим и то, что впервые победил человек, не состоявший никогда в КПСС, это

неучастие значительным числом населения возведено в достоинство, так что товарищи коммунисты, ежели не упоены собственным успехом до глухоты, должны бы расслышать сигнал тревожный, приглашение на свалку истории.

Наконец, признаем, что выиграл человек неординарный, во всяком случае любопытный, которого ни с кем не спутаешь. Он недурён собою, телегеничен, умело овладевает аудиторией, говорит с толпою зажигательно и завлекательно. Есть у него неутомимое упорство и воля. На месте проигравших я бы у него поучился. И если бы снималась новая киноверсия «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка», я бы его пригласил на роль Остапа. Никто лучше его не произнесёт: «Командовать парадом буду я!»

Между прочим, идея: почему б не дать ему и покомандовать малость? А чего, в самом деле, пусть попашет! Пусть он постарается — накормить голодных, расселить и обогреть бездомных, напоить страждущих чарующим национальным напитком по шести рублей литр. Пусть выполнит хотя бы одно из бесчисленных своих обещаний. Получится у него — и слава богу. А не получится — что ж, увидит тогда горькую усмешку своего избирателя, услышит его убийственный вопрос:

— Жирик, так где ж твоя Аляска?

«Московские новости», 31 декабря 1993 г.
Радио «Свобода»

ТОЛЬКО ЧТО ЖЕ ОН СМОЖЕТ ОДИН...

К возвращению Солженицына

Что бы ни делал этот человек, почти любой его поступок может быть прочтён как жест, имеющий значение символическое.

Почему с Владивостока начинается его возвращение в Россию? Было бы логичнее изгнаннику высадиться на том же Шереметьевском аэродроме, откуда его вывозили под охраной,— при этом торжествовало бы законное чувство реванша. Но дело в том, что не изгнанник возвращается, который мог бы это сделать три года назад, возвращается отшельник, совершивший между делом кругосветное путешествие, возвращается писатель, прервавший свои труды ради того, что он считает важнее. И над кем, собственно, торжествовать ему? Над обитателями погоста у стен Мавзолея, двадцать лет назад состряпавшими свой позорный указ? Над братьями-писателями из гвардии секретарей, которые не защитили его и даже поспособствовали изгнанию и которым самой судьбой отмщено, чьи книги изъяты из обращения рыночной торговлей, а капиталами распорядилась инфляция? Не победитель возвращается — та Россия, которую мы приобрели в результате общих наших усилий, наших действий или бездействий, не снилась и самым безжалостным преобразователям. И знакомство со своей милой родиной, наверное, лучше начать с её первых страниц, освещаемых солнцем, с первых часовых поясов.

Полвека назад арестованный на западе, он так же, как и тогда, возвращается в срединную Россию с востока. Об этом очевидном сходстве, но больше — о различии, я писал Александру Исаевичу в декабре, поздравляя с 75-летием. Показалось мне, читая его статью «Как нам обустроить Россию»,— он несколько эйфорически видит своё будущее на родине, свою роль и участие в её обустройстве. Я на это смотрел с надеждой, но и с опаской —

нынешнее возвращение из Вермонта будет не легче, а много труднее, чем некогда из лагеря и ссылки. И тогда и теперь это возвращение не в ту страну, которую покинул. Но тогда его приняли дружественные руки, в том числе и наши — людей молодых тогда и по молодости не чересчур завистливых, приняли могучие руки Твардовского, который единственный захотел и смог пробить дорогу в печать «Ивану Денисовичу». А без этого не состоялось бы явление Солженицына или состоялось бы вовсе не празднично, и, может быть, закончил бы он свои дни в старческой психушке, подобно Варламу Шаламову. В России нынешней — вражда поколений небывалая, а командные высоты захвачены вполне бессовестными ситуантами, которые в трудные времена помалкивали и даже очень убедительно обосновывали своё невмешательство, а теперь, когда можненько, рвутся к почётным званиям, наградам и премиям ничуть не ленивее тех секретарей, что изгоняли его. Дорвавшись до власти материальной, они, естественно, замахиваются и на духовную — и тут Солженицын, никуда не примкнувший, избегший всех мафий, всяческой стадности, которую называл Пастернак «прибежищем неодарённости», будет костью в горле, досадным конкурентом, которого постараются сообща свалить.

Оказалось, он не питает никаких иллюзий и на происходящее в России смотрит много трезвее, чем я мог предположить. В ответном письме, из которого я осмелюсь без согласия автора процитировать совсем немного, он пишет вот что:

«Да, я отдаю себе полный отчёт, что возвращаюсь в Россию на тяжёлый жребий; ничто не дастся легко, всё будет встречать сопротивление и злобу с разных сторон. И, может быть, в пределах моего жизненного срока ничто существенное и не удастся. Но надо попробовать...»

Что же такое он попробует? Ещё строчка из его письма: *«Сегодняшнее бедственное положение нашей родины — необозримо, неисчерпаемо, неперечислимо»*.

Понятно, что именно это может заставить человека совестливого прервать свои труды и поспешить на помощь родной стране. Только чем же он ей поможет?

Возраст не позволит выставить себя в президенты. Да и что может в России президент? Я сомневаюсь, что у Александра Исаевича по части рыночных отношений кон-

цепции более верные и прогрессивные, чем у Явлинского или Гайдара. Сотрудничество с какой-либо партией, разумеется, придаст ей веса, но за счёт потери его у давшего ей своё имя. Так от веку складываются у нас взаимоотношения писателя и партии.

Все свои книги он уже написал. Их прочли — и ничто не перевернулось. Перевернётся ли от того, что автор будет жить рядом со своими читателями? Однако и не пройдёт незамеченным. К счастью или к сожалению, но люди склонны по-разному оценивать истины — в зависимости от того, чьи уста произносят их.

Всем известно, что брать взятки и лгать нехорошо, но есть люди, в присутствии которых это почему-то особенно неудобно делать. Не то чтобы стыдно, а неудобно как-то, не гладко сходит с рук подличать, занимать не своё место, навязывать себя в лидеры огромной стране с многовековой её историей, великой культурой. В своё время роли нравственных судей, точнее сказать — нравственных свидетелей, сыграли Твардовский и Сахаров. Теперь я склонен думать, что Россия не останется безразличной к присутствию Солженицына. По крайней мере там, где он находится, уже неинтересно слушать Жириновского, хотя говорит он занятно. Вот что и предстоит Солженицыну попробовать, вот в чём и будет заключаться миссия человека, крещённого войной, восемью годами несвободы, опасной болезнью, изгнанием из отечества и теперь возвращением к ограбленному дому, а всё-таки не сдавшегося, не поднявшего рук перед тяжестью испытаний. Только одно следует понять — исполнить эту миссию он не сможет без помощи всех нас.

Не об идеях речь — и, наверное, ничего нового из его уст мы не услышим, но, может быть, твёрже усвоим, что без нравственного стержня невозможна не только жизнь духовная, но и прежде всего жизнь хозяйственная, любое достойное существование.

Будет восточный базар, говорят экономисты. Но я думаю, и его не будет. Там, где как будто даже принято плутовать и где это составляет неотъемлемую прелесть купли-продажи, там вовсе не беспредел, там свой закон и порядок — старинная духовная традиция, много выше наших теперешних.

Итак, быть костью в горле, быть режущей соринкой в глазу, быть песчинкой, царапающей общественную со-

весть,— много это или мало? Бесконечно много, если общество сознаёт нужду в моральном авторитете. И бесконечно мало, если оно единственного желает — чтобы ему не мешали соскальзывать к пропасти.

Вот почему, сознавая всю чудовищную трудность задачи, выпавшей человеку очень немолодому и усталому, я желаю ему: «Счастливого Вам свидания с Россией, обоюдного с нею согласия. Хлеб да соль!»

«Русская мысль», 2—8 июня 1994 г.
«Московские новости», 5—12 июня 1994 г.
Радио «Свобода»

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?

Пятнадцать лет назад, в январские дни 1980-го, на квартире у Сахаровых сочинили мы знаменитый «афганский» документ «Хельсинкской группы» за № 119, призыв к мировой общественности сделать всё возможное, чтобы пресечь советскую интервенцию. Подписали то обращение восемь человек, затем ещё шесть, крохотная горстка, но и её было достаточно, чтобы разбить безгласное «единодушное одобрение»; к тому же и мировая общественность была тогда немножко другая. Она назвала нашу «братскую помощь» агрессией, а «бандформированиям» моджахедов присвоила статус защитников отечества и веры, которым следует помочь оружием, продовольствием, базами в соседнем Пакистане, военными консультантами и «врачами без границ». Сегодня чеченцам так не помогает никто, и мы бы не знали, к кому, собственно, мы обращаемся.

Патентованный демократ Ричард Пайпс находит российского президента даже обязанным навести порядок в Федерации, притом всеми средствами, иначе ведь и другим тоже захочется чеченской независимости, а тогда — полный распад. Президент США Билл Клинтон считает инцидент в Чечне внутренним делом россиян, в которое не следует вмешиваться. Бундесканцлер ФРГ Гельмут Коль и министр иностранных дел Клаус Кинкель хоть и опечалены человеческими жертвами и материальным ущербом, но не берутся поговорить с Ельциным по-мужски, должны же они заботиться о климате сложившихся отношений Германии и России. Так четыре весьма представительных джентльмена выражают сегодняшнее отношение Запада к обоюдной трагедии Чечни и России. Ричард перенимает логику наших продавщиц, для которых индивидуальный подход к покупателю был бы концом света («вас таких много, а я одна»), Билл повторяет заповеди

Брежнева о невмешательстве в наше внутреннее дело — давить инакомыслящих, Гельмут и Клаус не хотят осердить Бориса.

И положение чеченцев, да и наше тоже, было бы совсем безнадёжным, если бы мы сами не изменились за прошедшие годы — и так разительно, что осудившие агрессию уже составляют 57 процентов опрошенных, в статистике это считается подавляющим большинством. Журналисты не воспевают подвиги армии и не оправдывают её потерь, сама армия выказывает явные признаки нежелания воевать, генералы отказываются командовать наступлениями и выходят в отставку, не желая запятнать честь мундира (Эдуард Воробьев). Такого в пору Афганистана не было. Оказалось, есть ещё генералы в России! К сведению некоторых штатских, генерал — это не только чин или звание, это поступок и характер.

А было ли, чтоб осуждали интервенцию коммунисты? Вот и для них уроки Афгана даром не прошли, им уже не кажется, что покорить бедную и необустроенную страну легче, нежели богатую и благоустроенную. А если ничему не научился Жириновский, так ведь фашизм у нас ещё так молод! Что в самом деле печально, то, что уроки истории не усвоены президентом Ельциным и его присными. Трудно бывает нам разобраться в хитросплетениях политики, но есть закон простой и однозначный: никакого позитивного решения любой проблемы не добиваются оружием. Война — самая бездарная из всех такого рода попыток, и тут не должно сбивать нас с толку учение Ильича о войнах справедливых и несправедливых. Необходимейшие для России победы над Бонапартом и Гитлером всё же не принесли ей ни счастья, ни процветания, никакой выгоды. Применение же меча для развязывания запутанных узлов — занятная, не больше того, легенда.

Говорят теперь о Ельцине как о политике опасном и непредсказуемом. Опасный — да, но предсказание о нём было, и знаменательное, только не всеми отмеченное: снос Ипатьевского дома в бывшем Свердловске, уничтожение национальной реликвии, которую недостало характера Борису Николаевичу отстоять. А ведь посчитался бы с его упрямством Леонид Ильич, сам побывавший некогда секретарём обкома. Ныне точно так же недостаёт характера и упрямства противостоять алчным интересам не черес-

чур многочисленных людей, которым не претит выстраивать своё благополучие на страданиях многих других людей и даже целых народов. И с горьким чувством прощаемся мы с тем великолепным президентом, который в августе 1991-го взошёл на танк и пожал руки танкистам и объявил наступившей эру демократии в России.

Горько желать поражения своему народу, своей армии. Но именно отступления перед войсками Джохара Дудаева я желаю в новом, 1995-м году. Потому что два последствия могут быть у нашей возможной победы — неизвестно, какое страшнее. Первое из них касается президента: надеется ли он после этой кровавой, осуждаемой едва не всем обществом авантюры победить на следующих выборах — досрочных или очередных — или он выборов не хочет? А тогда чего же он хочет? А чего могут хотеть все умученные неудачами политики — чрезвычайных полномочий, неограниченной власти. Чтобы нам забыть о выборе между двумя или несколькими и вернуться к выборам одного из одного, притом — пожизненного.

Другое последствие видится мне в тех чеченских камикадзе, которые обвязываются гранатами, чтобы кидаться под русские танки. Война в Чечне, одновременно и гражданская, и национальная, приобретает ещё и черты религиозной войны, джихада. Не забудем — в Афганистане впервые ислам одержал военную победу над «иноверцами», теперь его воинственный дух не смирится никогда. И добровольцы со всего Кавказа уже спешат разделить судьбу несчастной Чечни. Если не прекратить немедленно эту войну, кому-то показавшуюся трёхдневной прогулкой, она вполне может перерасти в мировую — на сей раз между странами ислама и странами христианскими. Участия, неизменно жертвенного, в третьей мировой войне за один лишь XX век не перенесёт Россия, погибнет как государство и как семья народов.

«Московские новости»,
25 декабря 1994—1 января 1995 г.

МЫ ЖИВЁМ В СТРАНЕ, ГДЕ ПОКАЯНИЕ ВСЕГДА ЗАПАЗДЫВАЛО, НО НИКОГДА НЕ ОКАЗЫВАЛОСЬ ИЗЛИШНИМ

Речь на встрече старого Нового года и празднике журнала «Знамя»

Литературные премии дают награждённому то преимущество, что его хотят послушать. Награждённого дважды — очевидно, внимательнее вдвойне. Лауреату же приличествует благодарить устроивших ему «именины сердца», и я не уклонюсь от традиции — в сущности, довольно приятной, только прошу извинить меня, получающего премию впервые в жизни, за возможные нарушения протокола.

Я прежде всего благодарю трибуну, представившую меня немалой аудитории, то уникальное явление, которое называется российским толстым журналом. На его страницах вы видны отовсюду, как ни на одном книжном прилавке. К тому же прилавку вы безразличны, ему бы скорее от вас избавиться, журналу — хочется вас приобрести надолго, и он группирует вокруг себя авторов, которые уже поэтому должны друг с другом раскланиваться и иногда собираться в застолье. Стараниями Григория Бакланова задубелое кожевниковское «Знамя» сделалось первым журналом в стране, и таков был посыл, что и поныне сохраняется его лидерство. В конце концов, моего «Верного Руслана» приютил бы кто-нибудь другой, но когда это требовало некоторой смелости и усилий, позвонил в мою эмигрантскую Тмутаракань именно Бакланов. Естественно было мне сохранить верность «Знамени», когда его подхватили критики Наталья Иванова и Сергей Чупринин. (Кадетское воспитание велит мне упомянуть даму первой.) Их гостеприимство и радушие мне трудно забыть, не меньше значило одобрение их предшественника, фронтовика и автора военной прозы.

Далее моя благодарность обращается к методу, который никак не помешал, а скорее помог роману «Генерал и его армия» снискать интерес читателя. Это всё тот же добрый старый реализм, говоря по-научному — изображе-

ние жизни в формах самой жизни. Наши суетливые Бобчинские и Добчинские по обе стороны Атлантического океана, спешащие хоть конец света объявить радостно, лишь бы первыми, этот постылый реализм уложили в гроб, отпели и погребли, справили по нему поминки. Но вот стоило ему пошевелиться, и повышенный читательский интерес привлечён к роману, вполне консервативному, в котором нет привычных уже авангардных выкрутасов и постмодернистских загогулин. Похоже, надоели читателю эти выкрутасы и загогулины, точнее — надоело делать вид, что они ему интересны, захотелось чего-то внятного, где были бы на месте начало и конец, завязка и развязка, экспозиция и кульминация, всё по рецептам старика Гомера. Секрет прост: что жгуче интересно автору, то будет и читателю. Не обязательно таинства секса, не обязательно скандальная «ненормативная лексика»; в журнальном варианте нет постельных эпизодов, ни даже поцелуя в губы, и кажется, только дважды — в диалогах персонажей,— прорывается нечто не для любых ушей. Да и за эти два раза я прошу извинения. Толстому, при описании войны, где люди выражаются чуть погрубее, чем на светских раутах, не понадобилось и одного. Достойно внимания также, что интерес проявлен к шестидесятнику, из того всё не уходящего поколения, которое деятелям авангарда, постмодерна и андерграунда хочется перестрелять. Не туда наступаете, молодёжь за сорок с лишком. Убейте в себе желание убивать, оно ведёт к бесплодию, лучше усвойте, что все уходы от реализма кончаются покаянным возвращением к нему. Этот единственный укоренённый в жизни ствол будет ещё века держать и питать соками зеленеющую крону.

Я благодарен также и критикам, которые так дружно, несмотря на свои междоусобицы, поддержали мою рискованную попытку остаться старомодным. Да будет порицаем тот, кто определил место критики в лакейской. Ничего подобного, её место — в гостиной, у камина, в покойных креслах, со стаканом виски в одной руке и сигарой в другой. Её участие в литературном процессе по-особенному ощущает изгнанник, которому не видны лица его читателей и только статьи и рецензии приносят благую весть, что он не забыт, что его ждали.

Что касается другой премии — за стремление к идеалам просвещённого патриотизма, то, я надеюсь, учреди-

тели уже знали мою позицию, изложенную в новогодних «Московских новостях». Сегодня просвещённый патриотизм сводится к тому, чтоб не желать победы своей родине. Чем так провинились они перед нами, гордые чеченцы, что мы их всё покоряем и покоряем, что Старший Брат всё вымогает любовь младшего и добивается лишь законной ненависти? То, что творится вновь под небом воюющей России, показывает нам, в какое зыбкое время мы живём и как прост переход от мира к бойне. Боюсь, мы ещё увидим, как вся страна пожелает мира, а война будет продолжаться, потому что так пожелает один, от которого всё зависит, и те немногие, кто его окружают и кому это выгодно. А в основе непостижимого упрямства — даже не генеральская дурь, которая на самом деле есть разновидность русского ума, но особая обкомовская спесь, порождение семидесяти советских лет.

Получив слово, к кому обратить его, кроме вас, кто моё мнение и без того разделяет? Может быть, к женщине, которой надлежит быть началом умиротворяющим, но чьего влияния мы до сих пор не ощутили? А ведь Вы, Наина Иосифовна Ельцина, не только первая леди Российской Федерации, должная заботиться обо всех в ней живущих, Вы ещё и жена главнокомандующего. Фельдмаршал Кутузов оценивал жену главнокомандующего в две дивизии, так высоко ставил её роль в успехе или неуспехе кампании. Есть же в России традиция самостийного участия женщины, жены, в политической жизни, зачастую независимого от позиции супруга. Так жёны декабристов, не разделяя экстремизма своих мужей, едва ли зная об их замыслах, выиграли сражение, ими проигранное. Так великая княгиня Елизавета Фёдоровна вошла в камеру террориста и простила его, кто сделал её вдовой. Так в недавние годы жена Сахарова ему нередко противоречила — и тем помогала найти решение. Я это наблюдал и свидетельствую. Супруг Ваш производит впечатление человека, уже неспособного слушать никого, кроме своих неведомых нам информаторов; и разве только жена, которую он не заподозрит в интригах и в желании отобрать власть, сможет ему раскрыть глаза. Вас не видно в дорогих магазинах модной одежды и косметики, но не думаю, чтобы Вы оставались равнодушной и бездеятельной к тому, что могли бы увидеть по телевизору. Или российское телевидение Вам не показывает то, что

ужасает весь мир? Так попросите внуков настроить Ваш транзистор на любую русскую станцию. Вы услышите и поймёте, что война уже проиграна морально — в тот час, когда не российский президент, а чеченец Дудаев, имеющий право и обязанный сопротивляться, призвал свои войска прекратить борьбу. Но можно, сделав ответный благородный шаг, всё же сохранить большее, чем президентство, для некоторых большее, чем жизнь, сохранить — честь. Мы живём в стране, где покаяние всегда запаздывало, но никогда не оказывалось излишним.

В заключение моей затянувшейся речи мне пора наконец поблагодарить наградивших меня — «Книжную палату» и Совет по внешней и оборонной политике — за их, наверное, трудный выбор. И напоследок вас благодарю, мои читатели и коллеги, набравшиеся терпения меня выслушать. Я всем вам желаю безбедного года, а себе — возвращения.

Нидернхаузен

Передано по факсу

«Русская мысль», 19—25 января 1995 г.
«Знамя», 1995, № 3

ЧТО ЖЕ ОНА, ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА?

Чем дальше она уходит от нас, майская Победа, тем более вырастает в наших глазах. В последний её юбилей, ещё принадлежащий веку XX, уверенно можно сказать: Великая Отечественная война была самым значительным в этом веке событием истории России. Пожалуй, Октябрьская революция, наш мир перекроившая до неузнаваемости, и та с нею не сравнится ни размахом, ни числом участников, ни своими многими последствиями, среди них и благотворными. Если поискать метафору, позволившую бы нам сопоставить эти два события, то октябрьский переворот, вероятно, покажется кратким мигом, когда захлопнулись, лязгая, челюсти капкана, Великая Отечественная — предстанет началом долгого кровопролитного, богатого жертвами освобождения.

В сущности, материальная история Октября, привязанная своими вехами к ноябрю, самому противному месяцу в году, в ноябре и закончилась — в тот промозглый день 1989 года, когда толпы народа принялись рушить одно из самых нелепых и позорных сооружений — Берлинскую стену. Пожалуй, следовало бы её оставить — хотя бы фрагментами — для вечного напоминания, что приносит с собою коммунизм помимо лозунгов всемирного братства, но тогда бы толпа непременно разрушила что-нибудь другое, и это было бы жалко. Духовная же история Октября скончалась ещё раньше — когда разрозненные анекдоты о Ленине сложились в пышную ветвистую лениниану. «Человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым»,— не кем-нибудь, а Марксом было сказано. И так велико желание расстаться, что чёрный юмор истории не щадит даже мучеников. «Бьётся в тесной печурке Лазо», и народная симпатия выводит в советские Уленшпигели 32-летнего утопленника Чапаева. «Василий Иваныч,— взывает к нему анекдот вполне сочувствен-

ный,— брось чемодан, не выплывешь!» Великая Отечественная война таких персонажей не знает. Самый короткий её анекдот — орден «Победа» Брежневу — это всё же из другого времени, ещё одна гримаса «застоя», даже и не смешная.

Октябрь не имеет будущего, Великая Отечественная перешагнёт порог века, и в новом тысячелетии напишут книги о ней рождённые после Победы. Будут меняться взгляды на неё, вызревать новые концепции — по мере того, как она будет открывать одни свои тайны и заманивать другими. Одну концепцию уже пора бы сменить. Много лет мы всё твердим о нападении «военной машины гитлеризма», но не одни военные приглядели наши земли до Урала, целый народ, угнетённый своим жизненным пространством, уже рассчитал на них свое хозяйственное будущее, ждал из полунищей страны богатых посылок; время сказать, что против нас и воевал народ, из самых великих европейских, умелый, трудоупорный, с высокой обучаемостью, отважный, выносливый, свято поверивший в своего вождя и в «новый порядок», который следует принести на штыках и броне и назначить другому народу,— как и мы верили своему вождю и тому, что нам выпало осчастливить мир новым откровением. Народная война была с обеих сторон — и это не менее страшно, чем война гражданская. Плата, принесенная с той стороны, не так мала, как принято думать. По Францу Гальдеру, начальнику Генштаба сухопутных сил, экономные немцы в летние успешные месяцы 1941 года теряли убитыми по тысяче в день, в позднейшие неуспешные больше, а сколько теряли мы, говорить не станем — и чтобы лишний раз не расстраиваться, и потому, что мы их до сих пор не подсчитали, как следовало бы. Ещё желтеют кое-где по лесам и болотам кости непогребённых, и, значит, война, согласно некоторым теориям, вообще не считается законченной.

Но отчего же, когда заходит речь о ней, светлеют лица фронтовиков, отчего слёзы печали? Разве что о Курской дуге избегают говорить, но то была, как мне объяснил один побывавший там, «не война, а какая-то молотилка». Стало быть, война в её нормальном облике, если так позволительно выразиться, имеет не одни лишь мрачные и страшные стороны, было и нечто, о чём вспоминается с улыбкой и теплотою. Никак не могу согласиться с Сол-

женицыным, что победы нужны правителям, для народов же благодетельны поражения. Эта победа была нам нужнее, чем любому другому народу, чтоб не считать себя быдлом, которым всякий проходимец может повелевать. Как нельзя быть свободным, угнетая другой народ, так невозможно и рабом оставаться, противясь порабощению иноземному. Рассказывают нам, что в сырых окопах, под снегом или под дождём — атмосферным и пулемётным, было тогда познано истинно человечное меж людьми — дружба, взаимовыручка, сознание своей необходимости ближним. Там познали мы истину горькую — что, наверное, всякая война обойдётся нам большой кровью, это, пожалуй, наша национальная черта, мы иначе не воюем, и об этом должны были помнить генералы, готовившие план блицкрига в Чечне. Познали и другое: что Победа была делом наших рук, а не получена из рук вечной нашей кормилицы — партии. Отказавшись принять на себя всех мертвецов и всех нерождённых, даже подсчитать их точно, вправе ли она считать себя совестью нации? Так явилось нам самосознание и так началось освобождение от ложных воззрений, искалечивших нашу жизнь.

Будущему исследователю не покажется ли странным, что первым поспособствовал этому освобождению главный палач и тюремщик, позднее присвоивший себе все лавры? Такие лучше всего соображают со страху, и он первым сообразил в дни поражений, панического бегства и трёхмильонной сдачи в плен, что не так много поляжет животов за ценности передового учения, иное дело обида национальная, и поменял флаги, вернув из забвения «великие тени наших предков». На этом пути трудно остановиться, и свою спасительную идею он довёл до абсурда, преследуя космополитов и всех сомневавшихся, что изделие Можайского могло оторваться от земли; но начало было благое — и оно целиком обязано войне. Есть мнение — и всё чаще теперь высказывается, что лучше было бы нам покориться нашествию, был бы сейчас на Руси порядок (о, как жаждем мы его, самые беспорядочные на свете и находящие в беспорядке особую прелесть и блаженство!), но те, кто так считает, лучше бы вспомнили, как бы они реагировали на плевок в лицо, на любое оскорбление, унижение достоинства; почему же наши дедушки и бабушки обязаны были — и во имя чего — вытерпеть зрелище публичной порки или повешения с

недельным запретом хоронить трупы? Яснополянский миролюбец, учивший нас непротивлению злу насилием, и тот не возражал, что бывает святая обязанность взять в руки первую попавшуюся дубину.

Трудно, почти невозможно представить себе, как было бы, если б не эта война, как утвердилась бы, закаменела на века власть большевиков. Есть, правда, мнение и другое — что, победив, тем спасли сталинский режим. Это похоже на правду, но сдаётся мне, сам товарищ Сталин так не думал. По крайней мере не повёл себя, как триумфатор, спасённый своей армией, скорее как Тамерлан, которому и победа не праздник, если не попировать на раздавленных телах побеждённых. Изменника Власова, напугавшего его до дрожи, он, разумеется, не мог не казнить лютой казнью, тут ещё помнилось, как считали немцев избавителями и встречали хлебом-солью, покуда они не доказали, что не уступят большевикам; тут следовало самую мысль удавить, что не всё ладно в нашем воспетом отечестве, и настолько неладно, что можно принять и помощь врага. Но было ли так обязательно удавливать старичков-генералов гражданской войны — Краснова, Семёнова, Шкуро? Ведь они социализму не присягали и не могли поэтому ему изменить. Да и своих генералов пощёлкали неясно из каких выкладок — Понеделина, Гордова, попросту вздорного Кулика. Право, больше бы выгадали, проявив милость ко всем. Да не о престиже была забота, это мы переносим на наших правителей собственные дряблые представления, а они в корень зрят — и правы по-своему. А на каких радостях учреждены были 25-летние сроки и каторга? Чёрствые жестокие полководцы Рима, «солдатские императоры», уважали этикет победителя: на съедение львам отдать можно пленных, своим полагались бесплатный хлеб и зрелища. Полагалось, по случаю праздника, что будут освобождённые из темниц, кого-то избавят от казни. Многие ли помнят, на какой день после Победы была у нас массовая амнистия? Она была на 22-й день по смерти диктатора, 27 марта 1953 года — широчайшая для блатных, непролазно узкая для «врагов народа». И понадобилось ещё три года, чтоб повалили из лагерей миллионы, загнанные туда торжествующим победителем. Вина их была велика и непростительна — всё то же пробудившееся самосознание. Победивший народ стал страшнее, им стало труднее вертеть,

и следовало бы ему скорее забыть о победе. Вспомним же, 9 мая не всегда было праздником, долгие годы — по желанию самих трудящихся — оно было рядовым буднем. И вспомним, что вместе с расправой над военными начался и новый семестр воспитания интеллигенции — постановлением о «Звезде» и «Ленинграде».

Чем так допекла его в дни войны интеллигенция? Казалось бы, терпела, голодала наравне со всеми, когда надо — поднималась в атаки и увлекала других. Попробую ответить на уровне гипотезы, догадки. В мемуарах маршала Жукова отдаётся должное немецким генералам — высокообразованным, знающим своё дело, дерзким и самостоятельным в своих решениях; высказано одобрение немецкому солдату — храброму, самоуверенному, способному поставить себе самому боевую задачу и выполнить её средствами достаточными и разумными. А вот офицерское звено маршал не жалует — оно чванливо, спесиво и в то же время робко в принятии на себя ответственности, целиком в плену инструкций и циркуляров. Косвенно можно так понять, что маршалу хотелось бы в нашей армии отметить, напротив, именно офицерское звено. Разумеется, все конвенансы исполнены в отношении генералов, сказаны самые высокие слова в адрес нашего жертвенного солдата, так густо полёгшего от Немана до Волги и обратным путём до Эльбы и Шпрее, но в качестве главнейшей командной фигуры всё же справедливее возвести на пьедестал наших «навеки 19-летних», наших мальчишек-лейтенантов, недоучившихся в институтах и пошедших добровольцами, нашего Ваньку-взводного, самого большого начальника, имеющего в подчинении больше людей, нежели командарм, управляющий пятью—семью комдивами. Этих интеллигентных мальчишек, вытянувших безнадёжную войну, и держал в злой своей памяти лучший друг молодёжи, когда топтал и оплёвывал почитаемых ими Ахматову и Зощенко. И не только мальчишек держал, но и тех высоколобых специалистов, загнанных в «шарашки», кто за вторую миску похлёбки, за внеочередное свидание с женой сделали ему, вседержителю, лучший в мире танк, лучший самолёт-штурмовик, лучшую полковую пушку, лучший автомат ППШ — ну как было не отомстить им, что не они виноваты, если этого лучшего у нас так долго оказывалось меньше, чем у противника — худшего. Нормальный мозг отказывает-

ся это понять, но мы имели счастье подчиняться мозгу вывихнутому, едва ли не больному.

А за что, спросим, так ненавидел он деревню? Зачем ещё больше было её закрепощать, не отменить хоть закона о колосках? Она ли не клала головы в нужных количествах? Был знаменитый случай с матерью, отдавшей войне десять сыновей, всех, кого родила и вырастила. И не так эта покорная мать изумляет меня, как тупое безразличие военкомов, отнимавших у неё очередного сына по убытии предыдущего: ни один не догадался (и авторы чувствительного документального фильма не посмели сказать), что надо же оставить ей хоть одного, хоть самого младшего не брать на войну, даже запретить ему, если рвался добровольцем. В проклятой царской России, с её 25-летней солдатчиной и шпицрутенами, не забривали единственного кормильца. Вот символический образ нашей деревни, тем ему и ненавистной, что была покорна, что несла вину жертвы, а главной вины всё же за нею не было — что не смогла накормить армию, что приходилось нашим фронтовикам идти в атаки, разделив 400 граммов американской тушёнки на четверых (а мы им пожалели банки шпротов без очереди).

Они спасли сталинский режим, потому что спасли мир. Но они же этот режим и погубили, позволив всем нам взойти на такую ступень сознания, куда ему было за нами не поспеть, разве что тащить за собою в пропасть. И первой мыслью Никиты Хрущёва (а есть догадки, что даже Лаврентия Берии), когда он сменил Сталина, было как можно скорее отмежеваться от него, с этого и началась «оттепель». И Михаил Сергеевич, затевая отправить на заслуженный отдых наших засидевшихся геронтов и тем начать свою «перестройку», разве не был родом из военного детства? «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?» — спрашивает поэт. А то и сделала, что мы стали другими.

Вижу — во весь экран — лицо Веденкина, молодого фашиста, лицо холёное, сытенькое, эллипсом, с широко расставленными глазами, чем-то наводящее на подозрение, что у владельца нелады с гормонами; изящный дамский ротик с наслаждением изрыгает в камеру: «Их не так много, и мы их сразу всех расстреляем, при полном, уверяю вас, одобрении народа». Кого так люто он ненавидит, я не знаю,— ну, «дерьмократов», кого же ещё,— но знаю

точно, что при Иосифе Виссарионовиче, которого, без сомнения, чтит Веденкин, его бы за такие речи расстреляли в 24 часа, не заводя следственного дела. Этот, с позволения сказать, мужчина выказывает свою смелость, ничем, собственно, не рискуя. Чтоб не расстреливали Веденкина, чтобы он мог безнаказанно выражать свою собачью злобу на мир, и полегли солдаты наши и офицеры на крутых правобережьях европейских рек, на ступенях рейхстага. Это она тоже сделала, война!

Сколько ещё осталось у нас фронтовиков, знают, наверное, военкоматы, но сурово хранят государственную тайну. Судя по тем льготам, что сыплются на них в последнее время, осталось немного. Вот недавно всех наградили орденами «Отечественной войны», оскорбив тем самым не доживших, ещё один короткий анекдот, в придачу к брежневской «Победе». Время таких анекдотов подходит к концу — и это отчасти жалко. Может быть, ещё пять-шесть лет будем видеть их редеющие группки в скверике у Большого театра, послушаем их рассказы о том, какой зверский мороз был, когда резали проволоку, лёжа в снегу, или ещё про что-нибудь столь же занимательное, отчего-то вызывающее у них слёзы. Демократия наша пусть никогда не забудет о них, заложивших первый камень её здания. Они так надеялись, что их война будет последней. Но, кажется, последним будет нынешний юбилей. Другого такого юбилея, с участием живых, мы, пожалуй, и не соберём.

«Московские новости», 16—23 апреля 1995 г.
Радио «Свобода», 9 мая 1995 г.
«Бостонское время», 10 мая 1995 г.

ВЕЧЕР В БОСТОНЕ

Ответы читателям

Спрашивают: «Кто ваш любимый писатель? Не Набоков?» Отвечаю — Толстой. Что до Набокова — это огромный мастер, но, к сожалению, произведения его зачастую расходятся с нравственной традицией русской литературы. В романе «Дар», вы помните, он издевается над Чернышевским. Там было над чем поиздеваться, но Набоков высмеивает такие его поступки, такие черты характера, за которые человека можно только уважать. Вот он описывает — с какой-то, непонятной мне, ухмылкой — гражданскую казнь Чернышевского, его спокойствие на эшафоте, которое кажется автору тупым равнодушием, или как Чернышевский сидит 14 лет в Вилюйске и свою серебряную ложку, черпая кашу из миски, уже наполовину стёр, тогда как ему достаточно сказать несколько слов покаяния, извиниться перед вилюйским губернатором, перед царём, и его освободят, он вернётся в Петербург, к своей деятельности. В чём другом, а тут-то как раз этот деятель и велик, он не просит прощения за свои высказывания, за убеждения, это было бы для него смертью личности. В «Приглашении на казнь» жена осуждённого приходит к нему в тюрьму — и попутно заводит шашни с тюремщиками, даже как будто спит с его будущим палачом. Простите, но это неправда. Это, как говорил Белинский, «клевета на человеческое сердце». Какая б она ни была, эта жена, но она пришла к мужу-смертнику, что-то же толкнуло её прийти... Такие вещи писатель себе позволить не может, не должен...

Читаю вопрос: «Вашими коллегами на соискание премии Букера были авангардисты. Как вы к ним относитесь?» Отвечаю: моими соперниками были как раз реали-

---

Из репортажа о творческом вечере Г. Владимова в Morse Auditorium Бостонского университета, США, 20 сентября 1996 года.

сты: Олег Павлов и Василий Фёдоров. И в речи на церемонии я сказал, что по крайней мере один из них мог бы получить эту премию — и надеюсь, получит её в будущие годы,— просто на этот год расположение звёзд сложилось в мою пользу.

Вопрос — о посмертной публикации дневников Варлама Шаламова в «Знамени». Я должен вас ввести в курс дела, поскольку суть вопроса, как я понимаю, сводится к критике Солженицына в этих дневниках. Шаламов там несколько раз нападает на Солженицына, обвиняет его в спекуляциях на очень больных темах, в жизни по лжи. Я имел честь быть знакомым с Варламом Тихоновичем Шаламовым, когда работал в «Новом мире» — единственном журнале, куда Шаламов мог прийти, где он был желанным гостем, хотя мы не напечатали ни одной его строчки. Он приходил и приносил нам по рассказику в неделю из своего знаменитого колымского цикла — просто чтоб мы с Алексеем Ивановичем Кондратовичем, зав. отделом прозы, их почитали, без всякой надежды, что Симонов отважится это напечатать. И ещё до появления «Ивана Денисовича» я имел уже некоторое представление о том, что собой представляет лагерь, что такое архипелаг ГУЛАГ. Так что «Иван Денисович» не был для меня ошеломительной сенсацией. На XXII съезде КПСС Твардовский выразил желание напечатать что-то о лагерях, намекнул, что хорошо бы иметь в портфеле такое произведение, да, к сожалению, нет его пока. Солженицын пишет, что он этот зов услышал и решился дать своего «Зэка Щ-854». Ну а мы с Кондратовичем вспомнили о «Колымских рассказах» Шаламова. Твардовский, однако, увлёкся уже повестью рязанского учителя и решил «пробивать» её. У него были здравые, на мой взгляд, основания. Нужно было первым дать такое произведение, которое бы объяснило тем, кто ничего об этом не знал, не ведал, что такое лагерь. Нужен был *путеводитель по лагерю.* И таким путеводителем оказался «Иван Денисович». Эта вещь сообщала читателю все необходимые реалии и позволяла составить достаточно полное представление о чудесном архипелаге. Ни один рассказ Шаламова такого представления не даёт, нужно взять несколько рассказов — может быть, два десятка,— чтоб получилась более или менее ясная картина. Да, это очень сильная литература, в ней чув-

ствуешь ледяное дыхание Колымы. Но — существует цензура, и она непременно выгрызет что-то, «отвоюет» со снайперской точностью один-два рассказа, чтоб всё запуталось и сделалось непонятным. Вещь Солженицына прогремела, принесла ему мировую славу, а бедный Варлам Тихонович так и не дождался увидеть свою книгу изданной на родине. Он, если я не ошибаюсь, увидел лишь западное издание «Колымских рассказов», но, кажется, уже не смог оценить свою победу по достоинству, поскольку это было совсем незадолго до его смерти. Это печальная и страшная судьба. И вот человек такой судьбы бросает свой упрёк собрату, жизнь которого сложилась лучше, обвиняет его в отходе от нравственных принципов, в спекуляциях, в том, что своё заключение он превратил в товар, который можно продать выгодно.

Мне в связи с этим вспомнилась статья Дмитрия Писарева «Популяризаторы отрицательных доктрин», где он говорит о двух типах человеческого поведения. Говорит он о людях типа Джордано Бруно или Яна Гуса, которым «был прямой расчёт идти на костёр», потому что никаких других доказательств своей правоты у них не было. Обыватель, видя, что человек пошёл в пламя за свои убеждения, задумывался, что, наверное, что-то же истинное в этих убеждениях есть, не просто «за так», из пустой амбиции, идут на такую страшную смерть. А, скажем, у Галилея уже такой необходимости не было. В его время публика верила уже не столько клятвам, сколько научным доказательствам. Так что Галилей мог и отречься перед инквизиторами, признать, что Земля не вертится,— ну, а попозже, в других обстоятельствах, если верить легенде, мог и обратное утверждать: нет, всё-таки вертится! Тем самым он продлил свой век и высвободил себе время для научных занятий. И в конце концов он только выиграл. Далее Писарев говорит о Вольтере, у которого был в характере этакий «чичиковский элемент». При всём том, что Вольтер был несомненный боец, он был ещё и замечательный проныра. Он переписывался со всеми монархами Европы, льстил им, всячески старался им понравиться, получал от них богатые подарки, деньги, титулы, ордена,— и всё же ни у одного благодетеля не возникло мысли, что они могли бы подкупить Вольтера, то бишь заставить его отступиться от своих убеждений. Так вот, сравнивая путь Шаламова и путь Солженицына, я вижу,

что один из этих путей — гибельный, тупиковый, но предельно честный, благородный, вызывающий к себе огромное уважение, а другой путь — победительный, выигрышный, хотя при этом, быть может, и оказывается несколько нарушенной нравственность. Я никого не осуждаю, не осмеливаюсь указывать, чей путь — правильный, пусть каждый выбирает себе по душе. Но хочу заметить одно: когда выбираешь второй путь, то не надо призывать своих соотечественников «жить не по лжи». Это их способ выживания. Да жизнь, по-моему, и невозможна совершенно без всякой лжи. Вот и в животном мире без неё не обходится. Когда птица уводит охотничью собаку от гнезда, притворяясь полудохлой и такой доступной, она ведь тоже лжёт, но это ложь благородная, ложь во спасение.

Спрашивают о месте Солженицына в сегодняшней России. В газете «Московские новости» и в «Русской мысли» я приветствовал его возвращение, из своего изгнания пожелал Александру Исаевичу хлеба-соли на родной земле, а ещё пожелал ему стать чем-то вроде скребущей песчинки для нашей общественной совести. Это, если помните, у Карела Чапека сказано, что писатель должен быть «скребущей песчинкой в отлаженном механизме государства». Ну а в нашем-то, не отлаженном, тем более. И это — не мало для писателя, это огромная роль. Однако ж, по приезде Солженицын сделал, на мой взгляд, три крупных ошибки. Он, во-первых, устроил какую-то невероятную помпу из своего прибытия. Меня-то поначалу очень привлекло, что он решил заехать в Россию с востока. Ну, думаю, как прекрасно — совершил виток вокруг земного шара и вернулся, против всех ожиданий, не с той стороны, откуда его «выдворили», не стал добиваться копеечного «реванша». Теперь, думал я, он сядет в поезд, как любой нормальный гражданин, займёт там два купе, ну три, ну четыре, и будет себе ехать и смотреть Россию. А оказалось, что это какой-то зафрахтованный, отцепляемый на некоторых станциях вагон, как у Фрунзе или у Троцкого, только что не пломбированный, и к этому вагону сходятся для докладов, сгибаются в поклонах. По-человечески я его понимаю: хотелось поставить советскую власть по стойке «смирно». Всё-таки надо учесть, как грубо его «вы-

дворяли», не спросив даже, в какую страну он хотел бы выехать. Но ведь кроме советской власти есть ещё народ, которому тоже надлежит принять какую-то стойку перед этим отцепляемым вагоном. Мы ведь — страна спецраспределителей, спецпайков, спецрейсов, спецмашин, и вот появляется спецвагон, и к нему спешат граждане со спецхлебом и спецсолью. Что за притча такая — и зачем она? Если уж замаячили восточные ассоциации, то хорошо бы вспомнить «вермонтскому отшельнику»: пророки так не приезжают. Они приезжают на осле, на ишаке, в рваном бешмете и в запылённой чалме, а то они и пешком приходят, босые, у них ноги разбиты в кровь. А что же, во времена пророков не было другого транспорта? Почему же не было, были прекрасные арабские скакуны. Но их почему-то легенда не предоставляет пророкам, это — для воителей, для полководцев, для прочих оперных персонажей. Вот так... Затем он совершил ещё две ошибки: он пошёл выступать в Думу и он встретился с глазу на глаз с президентом. То есть и в том и в другом случае воспользовался привилегиями — и нобелевского лауреата, и незаслуженного изгнанника. Но у писателя не может быть никаких привилегий. Особенно если он собирается стать скребущей песчинкой. Я бы, скажем, не мог выступить в Думе, меня туда не пустят. Я не смог бы и с Ельциным поговорить с глазу на глаз, хотя мне тоже, может статься, было бы что сказать ему. Ни у меня, ни у моих коллег таких привилегий нет. И вот когда оттеснили Солженицына от телевидения, это, конечно, хамство, это против его заслуг и его славного имени, но это, возможно, и расплата за те три ошибки. И вот это всего печальней.

Спрашивают о новой вещи — «Долог путь до Типперэри», из которой я вам сейчас прочёл главу. Этот роман начинается с моего похода к Зощенко, в августе 46-го года, после доклада Жданова, и заканчивается августом 91-го. Видите, сколько годков надо уложить приблизительно в три журнальных номера. Это страшно трудно, приходится изобретать разного рода приёмы. А в целом — это вещь о том, как, однажды став на тропу сопротивления, трудно, да почти невозможно с неё сойти. В конце концов она приводит к изгнанию, к отчуждению, к весьма нежелательным переживаниям. Там будут эпи-

зоды из моей ленинградской и московской жизни — Суворовское училище, университет, арест матери,— и эмиграция будет, моё нынешнее житьё в Германии, всё каким-то боком должно войти.

Вот какой вопрос: как-то Иосиф Бродский сказал, что ему не важно, где стоит его письменный стол, ему пишется одинаково хорошо и в Ленинграде, и в Нью-Йорке, и меня в связи с этим спрашивают, уютно ли мне в Германии, не планирую ли я вернуться в Россию. Мне, пожалуй, тоже всё равно, где стоит мой стол, но не всё равно — где жить. Я всегда считал, что писатель должен подвергаться тому же давлению жизни, которое испытывает его читатель. Жить одной с ним жизнью, болеть его болячками. Тогда мотор души получает достаточно топлива, чтоб не терять интереса к своим согражданам. Я предпринимал попытки вернуться, но пока ощущаю к этому странное сопротивление. Мои коллеги написали письмо президенту, чтоб мне возвратили квартиру в Москве, по существу конфискованную в 83-м году, но тут решает Лужков — если вообще кто-нибудь что-то там решает,— а Лужков сказал: «У нас и своим квартир не хватает». Очевидно, я для него — не свой. Что, впрочем, и всегда я подозревал насчёт чиновников. У Бродского вопрос стоял иначе, для него невозможно было возвращение в Россию. Нельзя,— говорил он,— возвращаться к бывшим возлюбленным. Но я никогда не переставал любить своих возлюбленных, и я бы хотел иметь возможность, как Аксёнов или Войнович, жить на два дома. Я мало повидал Запад, хотел бы ещё повидать, но если возьму российский внутренний паспорт, выехать мне будет трудненько. То, что другим можно, мне почему-то всегда было низзя...

Два вопроса на одну и ту же тему: «Как вы относитесь к власовскому движению, к Власову? В романе, в журнальном варианте всё это было сказано не до конца». Отвечаю: я ведь не ставил себе целью написать роман о генерале Власове. Я хотел изобразить его всего в одном эпизоде. Но я так работаю, так изучаю материал, что если мне предстоит написать одну страничку, я прочту сто пятьдесят книжек по этой теме. И мой интерес к власовскому движению был сразу же замечен

славными нашими чекистами. Они, подозреваю, и родили эту легенду — будто бы я пишу роман о генерале Власове. Это им было нужно, чтобы прийти в мою квартиру с обыском. И они первым делом хватали мои листки и тут же при мне читали. Но я всей рукописи не держал дома, а если где-то упоминался Власов, то под именем «генерал Андреев». Удивительно, но и такую простую, прозрачную шифровку эти пинкертоны разгадать не смогли... Как я отношусь к этому движению? Как к большой народной трагедии, всю глубину которой наша литература ещё не постигла и не выразила. При этом меня не столько сам Власов интересует, сколько те люди, которые за ним пошли, повернули оружие против своих. К сожалению, многое скрыто в архивах, а хранители этих архивов — люди сверхнадёжные. Из-за этого появляются и бродят разные слухи и домыслы — например, о зверской казни, которой подверглись Власов и его подельники. Будто бы их, после страшных пыток, подвешивали крюком под ребро или под челюсть или на рояльной проволоке, которая их резала до кости, и умирали они часами от кровопотери. Но вот недавно в Германии по телевидению показали фильм «Генерал Андрей Власов», там были кадры суда и казни. И меня поразило изумление на лицах этих двенадцати человек, когда им зачитывают смертный приговор. Похоже, они ожидали чего-то другого. Может быть, им обещали смягчение наказания, если покаются чистосердечно. Возможно, и такой был ход — но ведь он исключает пытки. И последний кадр — виселица, на ней шестеро, крайний справа — Власов, но на лицах не видно больших страданий, шрамов, следов крови. Может быть, для съёмки привели трупы в порядок, это у нас умеют. Но я всё же думаю, что была немудрящая пеньковая верёвка, обычное трибунальское удушение. Помещается на виселице шестеро — ну, стало быть, в две смены, через пятнадцать минут, как положено...

Спрашивают, почему у меня не сложились отношения в журнале «Грани». Отвечаю: и журнал «Грани», и всё издательство «Посев» принадлежат НТС, Народно-Трудовому Союзу российских солидаристов, организации сильно подозрительной и, как не раз подтвердилось, «бывшей в употреблении» — в борьбе с Демократическим движением в России. На сей счёт бытуют два мнения:

одни говорят, что если бы этой «партии» не существовало, КГБ её непременно бы придумал, а другие — что и придумал, что это попросту его филиал на Западе. И какой же удобный филиал: вы помните знаменитое дело Якира—Красина, на чём их «раскололи», за что пригрозили статьёй 64-й, предусматривающей высшую меру? Вместо того чтобы доказывать состав преступления, довольно лишь доказать «связь с НТС», а это куда как проще! Курьер их посетил, литературку оттуда получали — вот и связь. Ни с какой другой организацией этот номер бы не прошёл, а «солидаристы» — они же сотрудничали с гитлеровцами. И только на этом двое непримиримых и неподкупных борцов с режимом — сломались. Мне из России виделась картинка даже трогательная: маленькая, но идейно сплочённая организация отважно борется с могучим и всепроникающим КГБ, и никак он её раздавить не может. А здесь понемногу начинаешь понимать, что КГБ должен бы с этой организации пылинки сдувать, так она ему нужна, до зарезу.

Что касается чисто издательских моих отношений с «Посевом», то вели себя эти люди со мною грязно, просто жульнически, присваивали мои гонорары с переводных изданий — ещё когда я жил в Москве и подвергался гонениям — вы уже догадались — «за связь с НТС». Выяснилось это поздно, когда более десяти лет прошло и миновал срок хранения документов, о чём они меня с большой радостью известили. Более подробно, с живыми фигурами и картинками, расскажу в романе «Долог путь до Типперэри».

Последний, кажется, вопрос: «Нравится ли вам быть писателем?» Это интересный вопрос. Очень не нравится. И что там может нравиться? Тяжёлая и нудная работа, которая непонятно кому нужна, ведь тиражи стремительно падают. Тут вот спрашивали, как я отношусь к авангардистам. Так вот, помимо всех прочих причин, их вина, или вклад, тоже есть — они отогнали, отвратили читателя от журналов. Долгое время они были в «подполье», и мы многие говорили, что это несправедливо, нужно их печатать, дать им возможность проявить себя. Но едва они из своего «подполья», из своего «андерграунда» вылезли, как стали выталкивать из литературы шестидесятников, которые им помогли вылезти, зачастую помогали

материально, поселяли в своих кварирах или на дачах. Ну что ж, спасибо им за это. Подтвердили тот постулат, что люди не прощают добра. Но главное — что же это за «авангард», который вот уже десять лет существует и никакой следующий авангард его не сменяет? Извините, но так с авангардами не бывает; одна заря, как сказал поэт, спешит сменить другую... И был у них исторический шанс — утвердить себя, да они его не смогли использовать, за десять лет не создали ни одного мало-мальски значительного произведения (кроме слова «милицанер» и тугой струи, которая звонко бьёт в унитаз!), то есть такого произведения, которым бы они свою марку подкрепили: да, вот это авангард, не баран чихал! Чтобы как-то удержаться на плаву, они к себе пристёгивают знаменитые имена — к примеру, Ерофеева Венедикта. Но он же к ним никакого отношения не имеет, он сугубый реалист, родоначальник нового жанра — реалистического абсурда. А вот читателя они отвратили. Я помню, когда в «Знамени» печатался «Верный Руслан», тираж был 985 тысяч, это же почти миллион, а сейчас осталось — тысяч 15—17. Та же трагедия у «Нового мира», только ему пришлось падать с высоты чуть не четырёх миллионов. Вот что такое — быть писателем.

Есть мнение, что миновала эпоха «толстых» журналов, что компьютерная «виртуальная реальность» отвлекает людей от книги, и вообще-то писательство — профессия вымирающая. Объяснение, я бы сказал, некорректное. Ну, скажем, если б журнальный номер стоил не 10 тысяч рублей, а, как при Твардовском — 80 копеек, то и подписчиков было бы раз в 10—20 больше и мы бы не говорили об угасании «толстого» журнала — нашей национальной формы общения писателя и читателя. А книга — величайшее изобретение человечества — вообще никогда не умрёт, и она в конце концов поставит компьютер на его надлежащее место — быть вспомогательным инструментом, очень удобным и насущно необходимым, но не господствующим в культуре. Дело в другом — мы все высказались наконец, мы сказали всё, что хотели сказать, и были выслушаны с пониманием и сочувствием; за такую свободу приходится платить, и мы платим обесцениванием нашего слова — надеюсь, кратковременным. Надо понять, что читатель прав — жизнь переменилась круто и меняется с каждым днём, другие проблемы волнуют

читателя, и он ждет от нас нового слова. Наступает экзамен, неизбежный для всякого пишущего,— показать, насколько он готов это новое слово произнести. Выяснилось, что далеко не все эту переэкзаменовку выдерживают. Да уж такая наша доля — всю жизнь сдавать экзамен на зрелость, сколько бы лет ни отделяло нас от невозвратимой школьной поры и какие бы высокие отметки мы ни получали в прошлом...

«Бостонское время», 9 октября 1996 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимов Г.

В 57 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Литературная критика и публицистика / М.: АОЗТ «NFQ/2Print», 1998. 462 с.

ISBN 5-900041-05-0 (Т.4)

ISBN 5-900041-01-8

В четвёртом томе Собрания сочинений Георгия Владимова помещены его избранные литературно-критические статьи, открытые письма, интервью, выступления по радио «Свобода». Многие из них публикуются в России впервые.

Расположение в хронологическом порядке позволяет увидеть весь творческий и общественный путь автора, становление его личности — вначале вполне «благонамеренного» литератора, стремившегося посильно способствовать расцвету советской литературы, но вскоре оказавшегося в глубоком разладе с нею, оппозиционера, участника Демократического движения, сподвижника А. Д. Сахарова, наконец — изгнанника, «отщепенца», лишённого гражданства и возможности вернуться в своё отечество.

Подтверждается та мысль, что никто не рождается диссидентом, врагом советского строя, но сама тоталитарная система назначает и выращивает своего врага. И, как ни покажется иному читателю странным, судьбы таких людей складываются одинаково трудно как на родине, так и за её пределами, в так называемом «свободном мире», где требуется не меньше мужества, чтобы остаться суверенным, не поступиться ни перед кем своими убеждениями, отстаивать своё понимание истины.

ББК 84(2Рос=Рус)6

Георгий Николаевич
Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

Том четвёртый

✦

Редактор *Е. Дворецкая*

Технический редактор *В. Кулагина*

Вёрстка *В. Андрейчикова*

Корректоры *Г. Асланянц, Г. Киселёва*

✦

Издат. лицензия ЛП № 090105 от 31 октября 1997 г.

Сдано в набор 25.03.98. Подписано к печати 30.04.98.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. Гарнитура «Миниатюр».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24,36+альб.=25,2.
Уч.-изд. л. 24,44 +альб.=25,15.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 3710

АОЗТ «NFQ/2Print»
117303, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ППП «Типография "Наука"»
Академиздатцентр РАН
121099, Москва, Шубинский пер., 6